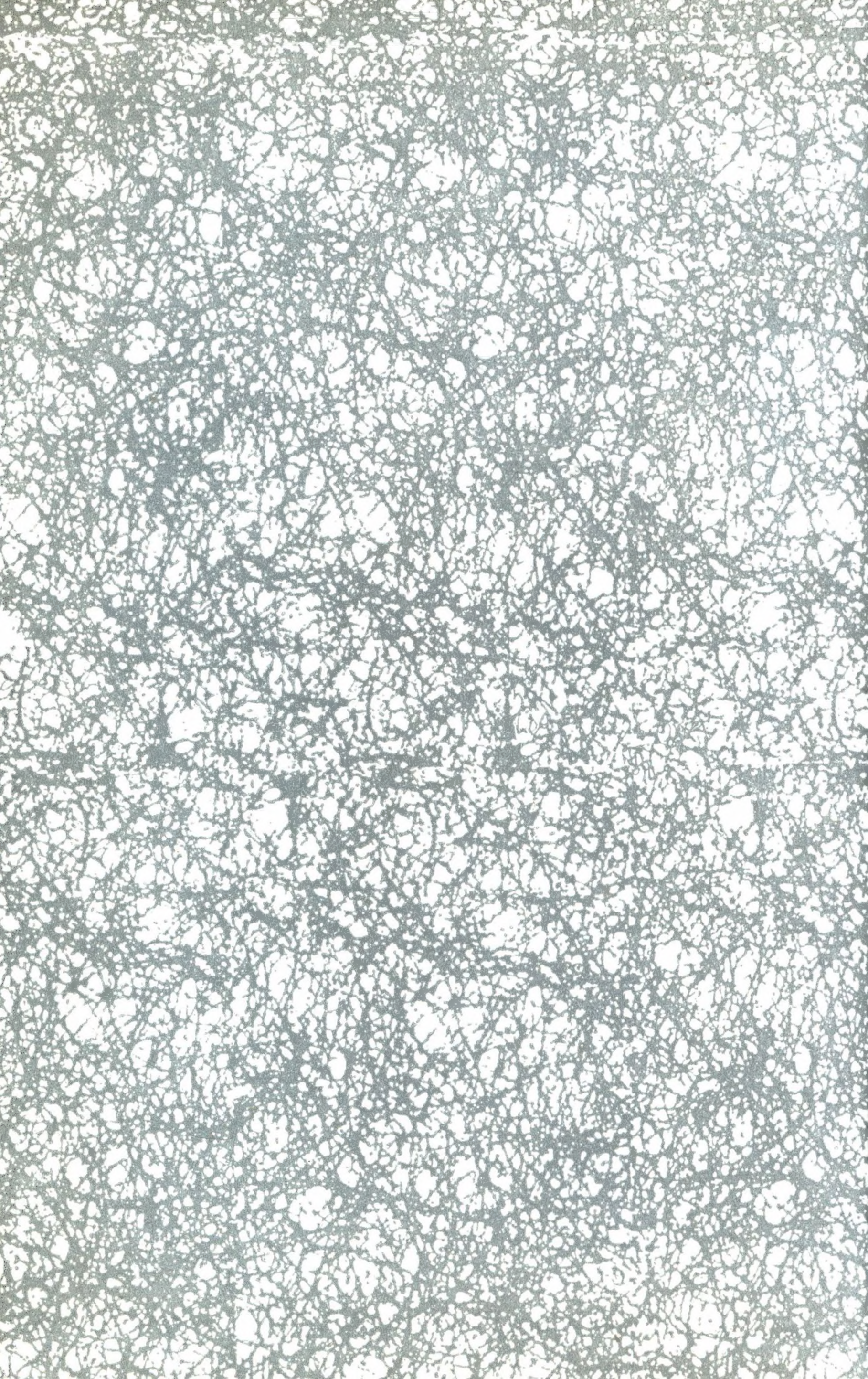
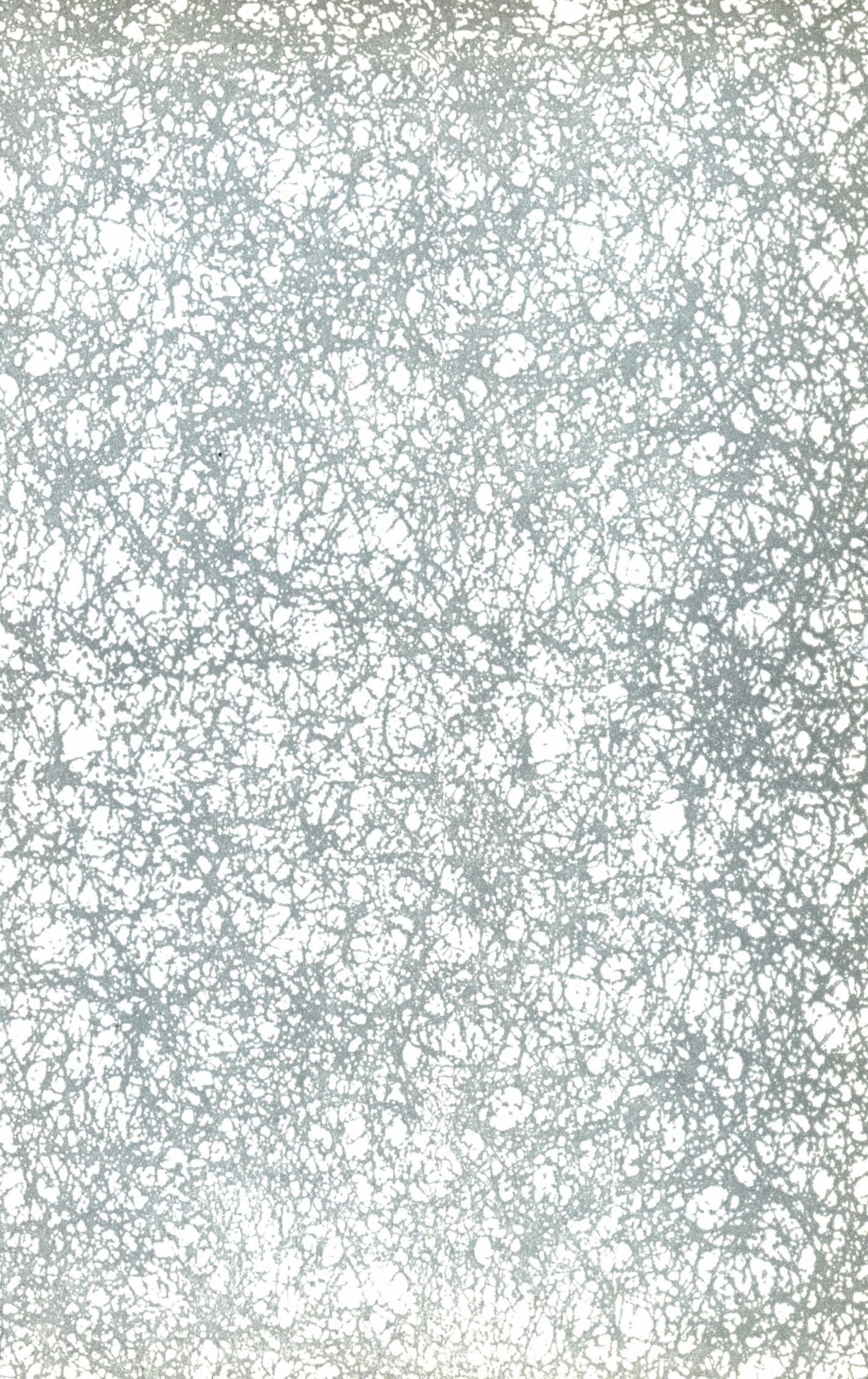
ХОЛОДНАЯ МЯТА





Б

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ГРИГОР ТЮТЮННИК

ХОЛОДНАЯ МЯТА

ПОВЕСТЬ. РАССКАЗЫ

Авторизованный перевод с украинского Н. ДАНГУЛОВОЙ

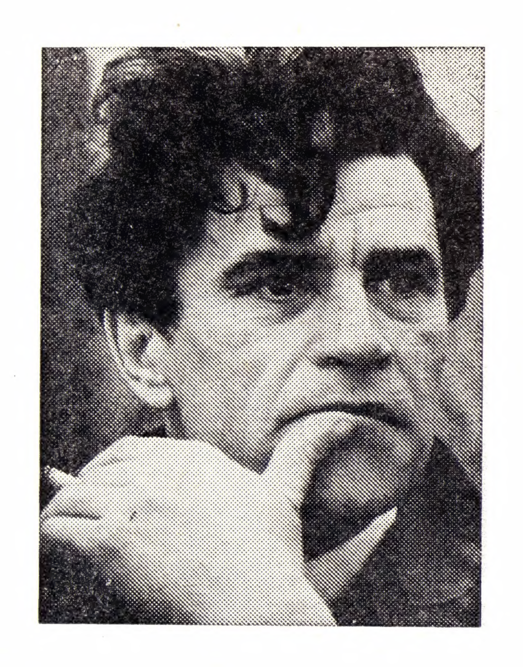
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1981

С 2
Т 98

Художник С. ХАЛИЗОВ

Т $\frac{70302-027}{074(02)-81}$ 441—81 подписное





ОКРУЖЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

Бреду полем, заросшим бурьяном, то и дело обходя глубокие воронки от снарядов, чуть ли не до краев залитые мутными талыми водами — оттепель уже третий день,— и прислушиваюсь к туману: не отзовется ли где-нибудь колодезный ворот, а может, потянет откуда-нибудь пахучим соломенным дымом, вот так, по низу, у самой земли,— в туман всегда низом тянет.

Но вокруг тишина. Только синицы посвистывают да изредка прошелестит вверху невидимая стая ворон, словно ветер в соснах.

— Крра, крра... — раздается в тумане, а чуть погодя, уже где-то дальше и глуше, снова: — Крра... Крра...

Тогда я хватаю с земли мокрый оттаявший ком и наугад запускаю в густое серое месиво.

— Малча-ать! — ору что есть мочи, зная от старших, что воронье каркает не к добру, а еще потому, что слово это хлесткое, увесистое.

Я слышал его, когда ехал в фуражном обозе в Знаменку — большую разбитую станцию. Кто и на кого кричал так, не знаю — дело было ночью,— но слово мне понравилось, как нравилось когда-то, еще до войны, кнутом на стадо щелкать.

Когда стая залетит далеко и в тумане станет тихо, я останавливаюсь и прислушиваюсь: что там впереди? Чаще всего впереди ничего не происходит. Тихо. А бывает, и зашелестит что-то или в воду бултыхнет. Тогда у меня гудят все жилы: на шее, на лбу, на висках, — и я кричу еще злее, чем на воронье:

— Стой! Кто идет?

Никто не идет. Я это наверняка знаю. А крикнуть хочется — жутко одному в степи, среди грязи и тумана. Да еще и воронье каркает...

И снова иду. Под ногами чавкает мокрый снег, в бурьяне вода журчит, к оврагам пробивается, синички порхают со стебля на стебель. А раз прямо из-под ног заяц выскочил. Отбежал шагов на пять и стал, как колышек: передние лапки к груди прижал, уши торчком поставил, а потом как рванет! Худой, измокший. Мокро ведь. ...Я вот в ботинках и обмотках до колен, и то ноги промокли, а он-то босой. И убегает, глупенький. Разве я тебя тронул бы? Рассмотрел бы сблизка (интересно, какие у него глаза?), да и беги себе на все четыре стороны...

Это так говорят: «четыре стороны». А их не четыре, а великое множество. Вот я иду прямо — раз. Захочу, пойду назад — это два... Потом, как захочу, пойду налево или направо. Это четыре. А если наискось пойду — сколько будет?..

Вот так и развлекаю себя то тем, то этим. А туман как пепел: сеется и сеется, опадает седой росою на мои плечи, ресницы, брови.

Чтобы не так нудно было идти, принимаюсь вспоминать, как мне жилось до войны. Бабусю вспоминаю, хату нашу с образами на покуте — мне почему-то больше всего запомнилась федоровская пресвятая богородица с ласковыми глазами и младенцем на руках. Еще в хате были рушники роменские с красными начесами, сундук, жердочка, печь, сволок желтый и на нем крест, выжженный дедушкой. Я не помню деда, он умер, когда я еще и ходить не умел. Наелся горячего хлеба со жмыхом и умер. Потом и отца не стало. А мать из дому ушла, «повеялась», как говорила бабуся Марфа. Она не любила о матери вспоминать. И остались мы с бабусей вдвоем.

Хорошо жилось нам. Летом я каждый день купался в речке и бегал на ток обедать — бабуся там стряпала,— а зимой ходил в луга пеньки корчевать, хворост соби-

рать, мерзлую калину ломать на пироги и кататься по льду меж кустами.

Но крепче всего в памяти сохранились зимние вечера. Бывало, на дворе метет, стекла в лед оденутся, а мы с бабусей пшено трем и пшенники печем — на припечке, чтоб дров меньше ушло. Поужинаем — и за работу: бабуся — прясть, а я готовую пряжу мотать, пока не устанем оба.

Спали мы на печи, вернее, я спал, а бабуся ворочалась с боку на бок и бормотала что-то, обращаясь то ко мне, то к себе, то к богу. А утром, бывало, говорит: «Приходил нынешнюю ночь твой дедушка и пальцем манил за собой. Говорю ему: погоди, вот внучек на ноги станет, тогда уж и приду... Гневается, видно, покойник, что нынешний год не поминала...»

И говорила в печь горшкам да пламени:

«Хотела, Василь, помянуть, да не получилось. Ходила аж в Опошню — нашей ведь церкви уже нет: половину люди растащили, а из другой клуб построили. Прихожу, слышишь, в Опошню, расспрашиваю. Нет службы, говорят, попа забрали, а другой стал на его место, так безбожник и пьет... Рассказывают, потеряет кнут, крестом нагрудным коня погоняет. Разве ему с богом разговаривать? С чертом! Так что напрасно ходила. Правда, слив корзину купила да крынку луженую... Ох, господи, прости нас, грешных...»

Дальше мне не хочется вспоминать. Разве то, что бабуся сказала перед смертью... Это ночью было, уже при лампе. Подозвала меня, заплакала потихоньку да: «Ничего, Харитоша, даст бог, вырастешь и без бабы. Да не пугайся, как умру, а сбегай к тетке Насте и скажи: так, мол, и так, чистая сорочка и юбка бабушкина в кладовке, в зеленом сундуке... Кусок полотна, гроб опускать, платок новый тоже там. А на ноги, скажи, бабе ничего не нужно: там стерни нет, пятки не поколет... Да не плачь, не гневи господа, а живи смирно и учтиво. Возле людей и проживешь. Белый свет, детка, что маков цвет: кто-то и за тобой присмотрит...»

После смерти бабуси хотели меня в патронат забрать. Уже и хату колхозу отписали, и иконы председатель сельсовета поснимал, а тут война... С тех пор я и хожу от села к селу, от хутора к хутору, сплю где придется: в хатах, в стогах, в клунях; ем, что дадут. Сразу не очень-то давали, потому что не умел я просить. Промямлю себе

под нос: «Дайте, тетенька, чего-нибудь поесть»,— и деру! Пока не вернут да не накормят. А возвращали нечасто: побежал — ну и беги себе, набегаешься... Потом научился.

Было это осенью. Как-то застала меня посреди степи ночь. Будто и солнце недавно зашло, и тропку было видно, а тут сразу и ночь наступила, звезды высеялись, по земле туманец простелился, седой и негустой, как Млечный Путь на небе. Сорвался я бежать — страшно ведь: ни людей, ни хат поблизости, а тут еще и тропка потерялась. Только звезды и туман. Да полынью пахнет — отсырела за ночь. Пробежал, должно быть, с версту. И вдруг холодом откуда-то потянуло, будто от пруда или речки. Оказалось, не пруд это и не речка, а овраг. Кругом бурьян чуть ли не по плечи мне, а посредине овраг. На дне его туман лежит, а в тумане люди гомонят, дети плачут. Нарвал я полыни снопик, под голову подложил да и прилег в какой-то норе. Тепло мне, уютно, как на печи, только и того, что небо видно. А потом и неба не стало. Задремал.

И вдруг слышу сквозь сон — самолет гудит. Кто-то громко сказал: «Наш». Потом самолет затих, а над оврагом ракета повисла. Туман на дне покраснел, словно кровью подплыл. Небо тоже покраснело, а из ракеты на землю красная смолка закапала.

Люди умолкли, так и влипли спинами в кручу. Вдруг как грохнет — раз, второй, третий... Близко где-то — на меня даже комья земли покатились сверху. И опять самолет загудел, только уже подальше. И снова зашумели, заметались люди, укладываясь на ночь. Какая-то женщина тихо, почти шепотом запела ребенку про котика, что поймал себе мышку и бросил в колыбельку...

Я эту песню сразу узнал, ее мне еще отец пел и бабуся.

Когда самолет затих, в соседней со мной норе кто-то заворочался, забубнил и принялся ломать хворост. А вскоре вспыхнуло пламя, желтое в тумане. Гляжу, у огня дед бородатый сидит, положив под себя вместо ноги деревяшку.

На него закричали со всех сторон:

— Эй, дед, что это вы затеваете? Хотите, чтобы нас всех тут перетолкло?

— Ну-ка затопчите огонь!

— Ишь, герой выискался!

— Ша-ша-ша,— затараторил старик.— Чего это вы перепугались. Пока он во второй раз зарядится, я себе бураков напеку!

И, уже не прислушиваясь к тому, что ему ответили, начал бросать в костер бураки: гуп, гуп, гуп — аж искры вверх стрельнули.

Потом повернулся ко мне:

— А ты, недоуздок, чего тут трешься?

— Спать лег,— говорю, а сам улыбаюсь. Веселый дед, все на нем так и играет: и брови, и усы, и культя в штанине дрыг, дрыг, словно пританцовывает.

— Угу. А есть хочешь?

— Хочу...

— Тогда не спи, сейчас бураки испекутся.

Дед сгреб жарок и присыпал сверху землею, чтобы не рдело.

— Просишь?

— Что?

— Есть.

— Прошу.

— Дают?

— Когда как...

— Значит, не умеешь просить.

— Стыдно ведь...

— Гм... Стыдно. Гордишься, что ли? Если так, то плохо тебе жить будет. У-у, трудно... — И, помолчав, добавил: — Гордым всегда плохо живется.

— Почему?

— А потому, что всем хочется быть гордыми, да не все способны, вот они и ущемляют гордых, потому что завидуют им.

— Разве просить милостыню можно уметь?

— Конечно! Вот, к примеру, подошел ты ко двору, глядишь — мужчина или там женщина делает что-то. Подойди поближе, скажи: «Господи, помоги в час добрый». Тебя непременно начнут благодарить. Вот тогда и лепи: «Не нашлось бы у вас, тетенька (или дяденька), чего-нибудь перекусить?» А сам в глаза, в глаза смотри! Не дай увильнуть глазам-то... Это первое дело — в глаза смотреть, в божий колодец заглянуть. Тогда, врут, дадут!

В овраге притихли. Уснули люди. Только вода где-то на дне щекотала камни и шелестели крыльями летучие мыши.

— А можно просить весело, — вновь заговорил дед. — Можно так: «Здрасьте, люди-человеки! Дым вам из трубы, краюху на стол да густой борщ и в снег и в дождь!» Ну а дальше уже по делу... Просят еще жалобно, однако это для тебя не годится; это уже юродство — болезнь такая...

Печеных бураков я в ту ночь так и не поел, потому что во второй раз самолет все же попал в овраг и деда убило, а меня лишь в сторону отбросило...

И стал я просить весело. Так легче: можно и в глаза не смотреть, и подадут. Засмеются, покачают головой — на тебе, парнишка, что есть, чем богаты...

Ну, вот наконец и село. Черное, хмурое. Маячит в тумане, как старые скирды соломы. Подхожу к крайней хате, одолеваю перелаз. Во дворе люди какие-то, в окна, в сени заглядывают и молчат!

— Здрасьте, люди-человеки! — кричу весело. А они на меня оглядываются странно как-то, словно бы на полоумного, аж у меня в груди застонало. Потом начали креститься, слезы вытирают и молчат по-прежнему. А какая-то бабуся и говорит:

— Иди, сынок, в хату, там такой, как и ты, хлопчик лежит... Попрощайся... Да шапку сними, да перекрестись. Там тебе и кутьи дадут, и пирожка... Иди, иди.

Вхожу в хату, а у самого по спине мурашки, мурашки. На лавке, под рыжими карточками в рамках, хлопчик лежит, руки на груди сложены — желтые, как из воска вылепленные. Голова рушником обмотана, только носик остренький видно. Возле лавки на коленях женщина стоит, наверно, его мать, лбом о его руки трется и молчит. А в ногах у покойника малыш в одной рубашонке до пупка сидит, крутит ему большой синий палец и плачет:

— Петька, открой глаза-а-а... Слышишь, Петька!

Кто-то наклонился ко мне, шепчет:

— Видишь? То-то... Смотри же, ничего военного, как найдешь, не тронь, боже тебя упаси...

А в хате чем-то таким холодным пахнет, как земля в овраге. И хлопчик на лавке молчит, и мать его молчит. Только люди потихоньку шепчутся да глазами иконы ищут.

Нет, не хочу я кутьи и пирожков не хочу...

Иду к воротам, не оглядываюсь, а от хаты:

— Куда же ты, хлопчик? Пообедал бы. Голодный ведь, по глазам видать. Верни его, Татьяна!

— Да не трогайте его, тетя, пусть идет. Испугался он...

Из последнего двора, к которому я почему-то едва отважился подойти, мне вынесли три теплых картофелины, большой сплюснутый огурец и кусок черного, вязкого, как замазка, хлеба. Устроившись тут же, под тыном, на какой-то колоде, покрытой мхом, я быстренько перекусил и почти рысцой двинулся в степь. А когда оглянулся, села уже не было видно — словно кануло в густую серую морось...

В полдень туман развеялся. Из-за туч показалось солнце, и стали видны далекие серые, в голых деревьях, села, реденькие перелески, припушенные инеем, да черная лента дороги впереди, взбиравшаяся среди снегов на подъем. Где-то там, за горой, погромыхивало.

Подмораживало. Снег и земля затвердели, захрустели под ногами. Идти стало легче, я даже пробежал немного, хотя торопиться мне и некуда: ведь там, за горою, фронт...

Меня уже не раз спрашивали, почему не назад иду, не от фронта, а следом. Но почему я назад должен идти и к кому? Там, позади, я кто? Сирота, нищий, приблудный, и меня заберут в патронат или еще куда. А тут я сам себе пан: захочу — к части пристану, буду чистить картошку, мыть машины или кормить лошадей, тогда и меня прокормят; а захочу — поживу у какой-нибудь старушки немощной, буду носить ей воду, дрова колоть, снег во дворе расчищать, а весна наступит, еще и огород вскопаю. Кто меня выгонит, если я помощь? Сказал же мне тот солдат из трудармии, который обмотки подарил: «Ты, сынок, за фронтом иди. Как воробей за конским табуном. Жить будешь — во!» Верно говорил! Так что возвращаться мне назад ни к чему.

И снова бегу: нужно до захода солнца на ту гору взобраться. А там какое село увижу, в том и заночую.

Вскоре дорога пошла круто вниз, в глубокую, заметенную снегом и запруженную машинами балку. Возле машин горели костры — грелись солдаты, столпившись вокруг огня. Гудели моторы, кто-то хрипло и сердито выкрикивал команду, пахло бензином, распаренной ко-

страми землею и острым вечерним заморозком. Машины стояли колонной. Один трактор, попыхивая густым черным дымом, по очереди вытягивал их на гору вместе с пушками на прицепе.

Подхожу ближе, лихо беру под козырек:

— Здравия желаю!

— Хо-хо!

— Га-га!

— Здоров, здоров!

— Куда идешь, малый?

— Вперед, на запад! — отвечаю с удовольствием, проталкиваюсь к огню и протягиваю над ним покрасневшие, как бурак, руки. Солдаты расступаются. Хлопают меня ладонями по спине, оглядывают со всех сторон, и я мимоходом вместе с ними оглядываю самого себя: ботинки — твердые, красные, американские; новенькие, хотя и забрызганные грязью обмотки; зеленая стеганка, подпоясанная брезентовым ремнем с трехлинейки...

— Молодчина! — хвалят, а я краснею и улыбаюсь так, будто у меня губы замерзли: это со мной всегда бывает, когда меня хвалят.

Я уже знаю, как себя с ними держать: с молоденькими солдатиками нужно шутить и быть веселым, потому что кислых они не признают, а вот от старших, которые в большинстве не больно-то охочи до смеха и посматривают на меня сочувственно и печально, — от старших лучше отворачиваться и не скалить зубы — они этого не любят.

— Так чей же ты будешь, орел?

— Ничей.

— А звать как?

— Харитон Демьяныч.

Солдаты смеются. От их шинелей, полушубков, бушлатов валит пар; на сапогах, от которых тоже подымается парок, выступают сухие белые пятна.

— Есть хочешь?

— Нет. Я там наелся, — киваю назад.

Костер шипит: сырые дрова, кукурузные будылья, солома — не столько огня, сколько дыма. Когда жар пригасает, в него льют бензин баночкой из-под консервов, и тогда пламя столбом шарахается вверх, лица солдат делаются красными, веселыми, а брови почти у всех рыжие, обгоревшие, и ресницы слипаются — тоже обгоревшие.

Машин в балке становится все меньше и меньше, людей у костра тоже. Большинство уже там, на горе. «Студебеккеры» с пушками — я знаю, это зенитки-восьмидесятипятимиллиметровки — медленно, сгребая буферами сырой чернозем, смешанный со снегом, ползут за тягачом, а следом за ними почти по пояс в колее идут артиллеристы.

— Ну как, Харитон Демьяныч, поедешь с нами?

Конечно, поеду. Хоть к пристанищу какому-нибудь подвезут. И чтобы не отстать, тоже иду по глубокой колее.

На горе снега меньше, дорога лучше. Впереди, над равниной, повисло мягкое красное солнце, громче слышен грохот, хотя небо в том краю чистое и жгуче-морозное.

Меня сажают в последнюю машину, крытую вылинявшим брезентом и без пушек. Солдаты (их четверо: трое молодых и один постарше, давно не бритый, грустный и, видно, неразговорчивый) устраиваются вдоль бортов, вбирают головы в плечи, поднятые так высоко, что погоны выгибаются дугами, и мгновенно засыпают, а я тем временем рассматриваю их причиндалы: складную бамбуковую антенну, какие-то ящики, обернутые войлоком, и, наконец, автоматы с круглыми, натертыми до блеска дисками.

Нашу машину иногда заносит то вправо, то влево, тогда солдаты медленно кивают головами, словно молча соглашаются с кем-то. Не спит лишь старший. Он смотрит куда-то назад, в степь, покрытую сизым от инея бурьяном, да время от времени искоса поглядывает на меня и молчит.

— Вы кто? — заговариваю первым.

— Они? — кивает старший на тех, которые спят. — Они радисты. А я почтальон.

— Как почтальон?

— А так. Письма, газеты разношу. Кому что придет.

Это удивляет и разочаровывает меня: на войне — и вдруг почтальон. Я вспоминаю нашего сельского почтаря, одноглазого Клима Чичкала. Покойная бабуся каждый день высматривала его у ворот и, как только он выходил из соседней улочки, неся на груди тощую кирзовую сумку, непременно звала: «А ну-ка, Климушка, зайди ко мне на минутку!» Клим подходил. Из его прикрытого, глубоко запавшего глаза выкатывалась слеза,

а веко часто вздрагивало. «Нет вам, тетя Марфа, — говорил он всегда одно и то же. — Придет, я вам первой принесу. Знаю, ведь, как ждете». — «А ты, сынок, смотри, смотри», — просила бабуся. Клим склонял голову набок и по-куриному, одноглазо заглядывал в сумку. Потом вынимал оттуда несколько конвертов и, поднося каждый по очереди к зрячему глазу, читал по слогам: «Пили-пен-ко... Гу-зий... Шаб-лий... А это и не разберешь кому, только не вам. Говорю же, если б было, то...»

И брел дальше, вычитывая на ходу, кому все-таки то письмо. «Лих? Нет. Мих?.. Вот и разбери: то ли это «ми», то ли «ли»! Грамотеи называются!»

Когда он исчезал между вербами на плотине, бабуся вытирала кончиком платка глаза и, сгорбившись, шла в хату. Я знал, от кого она ждет письма вот уже третий год — от отца...

— Почему же вы не на фронте? — спрашиваю у почтаря. — Вон сколько пушек...

Солдат неохотно улыбается.

— В резерве были, на отдыхе. Теперь вот едем... — И, помолчав, спросил: — А ты откуда такой любопытный будешь?

— С Полтавщины.

— Галушник, выходит?

— Угу.

— А я из Люботина, под Харьковом это. Не слышал?

— Нет...

Почтальон снова грустно, даже тоскливо как-то смотрит в степь и медленно, мягко трет ладонью густую, с сединой щетину на подбородке.

— А отец-мать твои где же?

— Мама и бабуся умерли, а отец где-то воюет, — вру быстро и решительно, потому что хорошо помню бабушкино наставление: «Ты, Харитоша, об отце лучше никому не рассказывай, а то ведь всякие люди на свете есть: один поймет, другой отвернется, еще и пальцем вслед будет тыкать... Господь с ними...»

— Ну вот, видишь, — солдат смотрит на меня с ласковым укором, — может, отец разыскивает, где ты да что с тобой, а тебя и в селе нет, пропал без вести. Что ему родичи ответят?

— У нас нет родичей, — говорю сердито, потому что до этого почтаря мне еще никто ни за что акафиста не читал, а только жалели.

— Ну, тогда сельсовет ответит: так, мол, и так, нет вашего сына. Думаешь, отцу легко будет?

Легко, тяжело... Отцу никто не напишет, потому что никто не знает его адреса. И я не знаю. Если б знал, то давно уже к нему добрался бы...

Солнце, наверно, зашло. Под брезентом стало темно, снега окутала печальная синеватая дымка, и две черные колеи позади нас, которые только что было видно до самого горизонта, исчезли.

Почтальон умолк и закурил. Кто-то из молодых проснулся, громко зевнул.

— Это вы, Калюжный, отравляете солдатский сон? — спросил хрипло.

— Я, Костя, я, — отозвался из темноты почтарь.

— Калю-у-ужный, — с деланной досадой простонал солдат. — Сколько раз объяснял вам: не Костя, а Котя. Ко-тя, понимаете? Ах эти мне ученые-педагоги — или кем вы там были до войны?

— Учителем, — с улыбкой в голосе ответил почтальон. — А читал историю...

— Ну вот, учитель! — воскликнул Котя так, будто и не спал. — Учитель, образованный человек, а не понимаете, что Костя при наших с вами интимно-товарищеских отношениях звучит слишком официально и, я бы сказал, оскорбительно. Так вот, запомните: я удерживаю вас от дурных поступков, что и требует от настоящих воинов Устав внутренней службы...

Калюжный тихо засмеялся, а Котя театрально откашлялся и запел печальным тенорком — видно, кого-то передразнивая:

Ох, машина, колпак мэдний,
Сидить милый худой-блэдний.
Тир-ди-ри-ри, тир-ди-ри-гри-и...

— Скажите, Калюжный, как, по-вашему, скоро ли мы доберемся до передовой и когда на моей доблестной груди затанцуют черти или кто там главный на том свете?

Почтальон сверкнул цигаркой.

— До передовой уже недалеко. А что касается чертей, трудно сказать. Кому что судилось...

— Ах, милый учитель, — вздохнул Котя. — Не вспоминайте при мне этого романтического слова — судимость, ибо тогда меня неудержимо тянет в родное Дебальцево. Вы были когда-нибудь на этой чудесной стан-

ции? Нет? Вы много потеряли, Калюжный. Н-да... Выйдешь, бывало, вечером на перрон, народу тьма: фонари, паровозные гудки, рельсы блестят во все концы мира: Полтава, Сталино, Ворошиловград, Зверево... В деповском парке музыка играет, атласные блестящие петушки на палочках продают, шатенки, брюнетки, блондинки... Букет! Потрогаешь коленом чей-нибудь симпатичный чемодан — тяжелый. Так и знай: крупа, мука, сало... Не то! Потрогаешь другой — легкий. Значит, на шахты человек едет, на заработки. Тоже не подходит. Потрогаешь третий — средней тяжести. Вот это он и есть! Конечно, если хозяин чемодана человек с манерами и с кировскими часами в кармане: начальник шахты, главный врач или просто рядовой слуга народа...

— Вы были тогда еще ребенком, Костя, — заметил почтальон.

— Ну-у, каким ребенком! — капризно возразил Котя. — В ту пору мне уже стукнуло шестнадцать лет плюс год детской колонии имени А. С. Макаренко, плюс две ухажерки!

— Из вас, Костя, мог бы выйти прекрасный актер типа Алейникова. Вчера перед телефонистками вы, кажется, выступали в роли жениха какой-то стахановки,— смеялся Калюжный. —Кто же вы в самом деле?

— На самом деле? Пожалуйста: человек с большой буквы. А конкретнее: токарь, член Осоавиахима, конферансье, суфлер, перронный парень и активист, а ныне гвардии рядовой, начальник радиостанции — марка засекречена, особенно от своих.

Котя рывком поднялся и твердо, не останавливаясь, хотя машину бросало из стороны в сторону, пошел к заднему борту.

— Пахнет, кажется, селом, — сообщил через минуту, всматриваясь во тьму. В этот момент машина круто взяла влево. Котя выхватил из кармана трехцветный немецкий фонарик — в узенькой полоске света мимо нас проплыл наклоненный телеграфный столб и белая, затесанная стрелкой дощечка с надписью: «с. Тридоли». — На одно село три доли? — весело удивляется Котя. — Не многовато ли?

Вскоре колонна останавливается. Один за другим умолкают моторы, и в тишине, которая наступает так внезапно, что даже ушам больно, четко слышна не толь-

ко канонада, но и отдельные пушечные выстрелы, и глухое дудуканье тяжелых пулеметов.

Мы стоим посреди села, на просторной площади. С чуть заметным шорохом сеется сухой бледно-розовый от близкого зарева снег. Сквозь него там и сям виднеются резкие на оранжевом фоне силуэты хат, машин, подвод. У сараев фыркают кони, тепло, затишно, пахнет сеном. Вдоль колонны, у каждой машины, топочут сапогами артиллеристы, рдеют прикрытые ладонями огоньки цигарок. В двери ближних хат стучат, бьют кулаками, и они неохотно, узко открываются, выбрасывая во двор желтые полосы света.

— Занято!

— Ну? Кому сказано: за-анято!

Артиллеристы ругаются, просят, угрожают, наконец, приказывают чьим-то именем — и двери открываются настежь. Вскоре первые машины разворачиваются и, завывая моторами, въезжают во дворы.

Неожиданно из красной тьмы показывается низенькая, перекрещенная блестящими портупеями фигура военного в белом полушубке.

— Стоволос! — тихо говорит кто-то из радистов. Они уже проснулись, толпятся у радиатора, от которого веет теплом и валит пар.

— Кузовчиков есть? — коротко и сурово спрашивает Стоволос, подходя.

— Точно так, тарщ-ста-нант! — лихо отвечает Котя, высокий, широкоплечий, с надвинутой на одну бровь шапкой, но не тянется и не козыряет.

— Ищите, Кузовчиков, какую-нибудь хату, — не вынимая рук из карманов белого как снег кожуха, приказывает Стоволос, — желательно на западной окраине и повыше. Разворачивайте станцию и ищите наших.

— Заводи, Антоша! — кричит Котя шоферу, а Калюжный подходит ближе к командиру и, запинаясь на каждом слове, говорит:

— Тут с нами... малый, товарищ старший лейтенант... Приблудный хлопчина... Не взять ли нам его с собой?

— Приблудный хлопец сам справится, — сухо чеканит Стоволос, потом, уже отойдя, оборачивается: — А вдруг случится что, засекут например, кто будет отвечать, Михал Васильич? — и вновь исчезает во тьме.

— Ну что ж, бывай, Харитон. — Калюжный кладет мне руку на голову так, что шапка наползает на глаза, и,

наклонившись к уху, шепчет: — Заходи завтра к нам. Где увидишь антенну над хатой, туда и заходи... А лучше... возвращался бы ты назад, на Полтавщину, а? Ну, об этом мы еще потолкуем. Беги вон в ту хату, напротив. — Он легонько подталкивает меня в спину, становится на подножку, и машина, выбрасывая из-под колес грязь, двигается с места.

В горле у меня щекочет, глаза застилает горячий туман, но я знаю, что это ненадолго, что это пройдет. Вот не станет видно машины — и пройдет.

Площадь быстро пустеет, некоторое время моторы гудят во всех концах села, потом все затихает. Лишь собаки лают да зарево за хатами медленно растет, подсвечивая низкие снеговые тучи.

Иду вдоль тынов, заглядываю в каждый двор, может, где-нибудь не так много постояльцев. Но всюду машины, кухни, тягачи; пахнет холодным железом и соляркой, теплым дымком из труб и пепелищами — видно, село недавно горело.

Сворачиваю в узенькую улочку, которая ведет круто в гору, прикидывая, что сюда не всякая машина, а то и подвода взберется, и останавливаюсь у самой крайней хаты: из трубы идет дым, маленькие низкие окна завешены неплотно, и сквозь них наружу пробивается непонятный, приглушенный гомон. Неужели и тут полно? Стучу. Сильно, чтобы услышали. Вскоре в сенях скрипнула дверь и возбужденный женский голос весело спросил в дырочку над засовом:

— Кто? У нас, родненький, и так полным-полно!

Я прижимаюсь носом к щели в двери и нарочно хрипло, чтобы голос казался грубее, кричу:

— Да я, хозяечка, один, много места не займу!

Засов скрипит, двери открываются, и я быстро вставляю свой твердый американский ботинок между нею и порогом.

— Я один, — говорю, — один... — И едва не захлебываюсь от дыма и крутого самогонного угара.

Женщина, в распахнутой белой кофточке и с распущенными по плечам волосами, осердилась:

— Ты какого черта в полночь топчешься тут, а? Ну-ка, марш отсюда! — и толкнула меня в грудь. — Иди, иди, говорю!

Я уже хотел вытащить ботинок — такие злые женщины мне еще не попадались! — но в это время дверь

в хату отворилась, и в ней появился солдат. Упершись руками в косяки, он спросил:

— В чем дело?

На груди у него отвисли и позванивали медали, а за спиной в дыму шипела патефонная пластинка, и перепуганно-удивленный голос, будто сам над собой насмехаясь, весело перечислял:

Носив жито і пшеницю,
Кукурудзу, чечевицю,
Поросята, і качата,
І курчата, і гусята,
Носив-таки й грошенята
За чорнії бровенята...

— Что, ночевать? — спросил солдат. — Принимай, Меланья, хлопца. Будет нам иголки точить.

Хозяйка колебалась.

— А у тебя вшей нет? — спросила, отпуская дверь.

...що тільки тьху! —

выкрикнула пластинка.

— Что вы, тетя, я недавно в прожарке был!

— Ну тогда заходи.

Хата дохнула на меня теплом и дымом. Это дымила печка, наверно, давно уже не мазанная, — выше дверцы чернела широкая полоска сажи. У стола, заставленного закусками из солдатского пайка и разнокалиберными бутылками, положив голову на руки, спал еще один солдат. Патефон в углу на лавке уже не играл, а только шипел — пластинка кончилась. Я быстренько разделся у порога, размотал обмотки — внизу они смерзлись и трещали, постреливая льдинками, — потом подошел к патефону и заломил мембрану назад.

— Ставь ту же самую, на другой стороне уже стерлась, — сказала хозяйка, — да иди перекуси.

Она уже сидела за столом и нарезала черствый солдатский хлеб, красная, распатланная. Однако я заметил, что она тоненькая в стане и остогрудая.

Солдат, мой благодетель, одной рукой наливал в кружки водку, а другой расталкивал своего товарища.

— Коляша, подъем! Слышь? Подъем, — говорил он ласково. — Давай выпьем по махонькой за Меланью!

— Да не тронь его, Сереженька, пусть спит, — сказала хозяйка, склоняя голову к солдатским медалям.

— Да? Ну пускай. Садись, малый! — солдат протянул мне кружку и пододвинул еще не начатую банку тушенки. — Сколько тебе лет, Ваня?

— Меня зовут Харитоном, — говорю улыбаясь. Сереженька мне нравится. — А лет — четырнадцать...

— Четырнадцать? — удивляется он, высоко поднимая красивую, рассеченную узким шрамом бровь. — Тогда нет, молод еще, — и забирает кружку назад. — Рубай тушенку.

Я наспех завожу патефон — в нем что-то скрипит и звякает, — раскручиваю пальцем пластинку, потому что она не двигается, и принимаюсь за еду тут же, на лавке, соображая, что от меня требуется только одно — крутить музыку.

Солдат и Меланья обнимаются в дыму за столом; я достаю корочкой душистое мясо из банки, подставляя под подбородок ладонь, чтобы не терять крошек, а пластинка тем же озадаченно-удивленным голосом выводит:

Удовицю я любив,
Подарунки їй носив,
Носив сало, носив свічки,
Носив м'ясо, носив стрічки...

Иголок всего две, да и те тупые, как нарубленные из проволоки сапожные гвоздики. Я точу их на бруске по очереди: одна играет, вторую точу, пока она не становится такой, что и в пальцах не удержать, потом горячую вставляю, а холодную точу. Солдат меня хвалит, хозяйка, узнав, что я сирота, жалеет и кладет мои обмотки на лежанку просушить, а я, чтобы отблагодарить их за ласку, отворачиваюсь, когда они целуются, и точу иголки еще старательней.

И так до полночи: я у патефона (уже и кончиков пальцев не чувствую), а они за столом, обнявшись. Потом все вместе, уставшие, одуревшие от дыма и одной и той же песни, весело переносим товарища Сергея на лежанку — они держат его за ноги и под мышками, а я посредине — и укладываемся спать. Я лезу на печь, устраиваю себе постель из всякого тряпья и своей одежды, а Сергей и Меланья обессиленные падают в широченную, побитую тлей и вымощенную цветастыми подушками деревянную кровать. Слышно, как шуршит по стеклу сухой снег, в хате время от времени то светлеет от зарева, то снова меркнет. Сергей и Меланья шепчут-

ся в темноте. Она часто и подолгу смеется, а то вдруг умолкнет и ни с того ни с сего начинает всхлипывать и допытываться:

— А завтра снова туда? Как же я без тебя жить буду? Ох...

— Другие придут, — равнодушно отвечает Сергей, и тотчас же слышно: шлеп!

— Ну, может, еще раз скажешь?! — гневным шепотом придирается Меланья.

— Скажу-у, — гудит солдат, — потому что уверен...

— У-у-у... ты! — смеется Меланья странно как-то: в том смехе и обида, и боязнь обидеть, и согласие с тем, что так оно и будет. И снова, но уже нежнее и мягче, слышно: шлеп!

Я накрываю голову подушкой, от которой пахнет горячей глиняной пылью, и сразу же, будто в теплое марево, что качается и тихо звенит вокруг меня, погружаюсь в сон.

Утром меня разбудило солнце. Его желтовато-медовые лучи, чуть заметно дрожавшие на стене, на какой-то миг воскресили во мне тихую, давно забытую радость, с которой я встречал зимние рассветы в нашей с бабушкой хате: намерзшие за ночь окна, веселое гоготание пламени в печи, возле которой уже возилась бабушка, непременно воркуя что-то сама себе; умиротворяющее сияние икон в углу, окаймленных под стеклом серебристыми узорами и восковыми цветами. Услышав, что я уже проснулся, бабушка, подрумяненная, разомлевшая у огня, заглядывала в мой угол и спрашивала: «А что снилось сегодня внучку?» Я выдумывал какую-нибудь чепуху — мне тогда ничего не снилось — или же отвечал твердо, чтобы похоже было на правду: «Железные коньки!» — и, затаив дыхание, ждал ответа.

Бабушка в таких случаях долго молчала, потом с притворным удивлением говорила: «Ишь ты... Примерещится же этакое ребенку. Ну, да с этим ничего не выйдет. За коньками надо ехать в самую Полтаву. Так что, скажи им, пусть не снятся... — И смеялась каждой морщинкой на озаренном пламенем лице, и плечами, и грудью. Вся смеялась. — Вставай-ка да будем завтракать».

Лежу, улыбаюсь в потолок, и вдруг до слуха моего доносится словно бы сквозь сон протяжный, похожий

на песню плач. Вылезаю из своего теплого гнезда, смотрю через ко́мин[1] в избу. За неубранным столом, сжав ладонями щеки, спиной ко мне сидит Меланья, а перед нею прислоненная к пустой бутылке фотография Сергея: одна его бровь на взлете, круто изломанная посредине, а другая, казалось, аж дрожит — не то от боли, не то от нетерпения. Он смотрит на свою руку, перебинтованную выше локтя, и на чьи-то пальцы, что завязывают узел. Я догадываюсь, что ни Сергея, ни его товарища уже нет...

Наверное, почувствовав на себе мой взгляд, Меланья вздрогнула и замолчала. Она, видать, забыла обо мне, потому что, когда оглянулась, я заметил на ее лице испуг.

— А-а, это ты... — отыскав над комином мои глаза, сказала Меланья и криво, неохотно улыбнулась. Лицо ее припухло, красивые влажные глаза излучали грусть, и в них тяжело было смотреть, а припухшие губы чуточку дрожали. Она взяла со стола карточку, спрятала на груди и, не оборачиваясь, позвала: — Иди есть, патефонщик...

Только теперь я рассмотрел, что это была не тетка, а молодая девушка. Наверное, пьяненькая и не совсем опрятно одетая, она показалась мне вчера намного старше.

За завтраком из остатков вчерашнего солдатского пайка Меланья старалась не встречаться со мной глазами и не вспоминала о квартирантах, лишь изредка, словно перебирая пуговицы на прозрачной кофточке, касалась пальцами карточки, исподтишка посматривала на меня и молчала. Потом отпила немного из кружки, смешно, по-детски скривившись, и повеселела.

Вскоре я узнал, что она не местная, а из Донбасса, что матери у нее нет с малых лет, а отца перед самой войной придавило в шахте, и она осталась с мачехой.

— Такая была сварливая да ненавистная, — рассказывала Меланья, хмуря блестящие, словно подзолоченные солнцем брови, — а после смерти отца еще и запила. Вылезет, бывало, из шахты и, ни помывшись, ни переодевшись, в буфет. Притащится домой в полночь и, в чем была, в постель. Стащу, помою, переодену, а она лежит и тянет: «Жаль, что ты, стерва, не моя, а той... Думаешь, я пила бы? Хе... Я тебя как куклу одевала бы

---

[1] Ко́мин — передняя часть печи, сооружаемая для прохода дыма в трубу.

и обувала. А ради чужой не хочу! Душа не лежит! И людей обманывать не хочу, потому не люблю, значит, не люблю!»

Меланья вздохнула и еще раз пригубила водку.

— А тут пришли немцы. Начали записывать добровольцев в Германию. Я и записалась. Думала, хуже, чем с мачехой, не будет. Да и посмотреть хотелось, как на других землях люди живут... Глупая... Может, так вот и заехала бы на чужбину, если бы не... Сопровождал нас один. Немец. Красивый такой, черт. Он ко мне... Ну, как бы тебе сказать... Гонялся за мной. Чуть поезд остановится где-нибудь, он уже тут как тут, в нашем вагоне. Подсядет, говорит, говорит что-то по-своему, шоколадки раздает, потом подмигнет девчатам, а они хи-хи, ха-ха — и в соседнее купе. Я за ними — не пускает. Руки так наломал, что недели две потом болели.

Но однажды остановился наш поезд посреди степи. Девчата спали, немца того не было — первых, добровольцев, они не очень-то сторожили. Вышла я в тамбур — темновато еще, тепло, кузнечики стрекочут, а впереди красный огонек горит: семафор закрыт. Соскочила на землю — нигде ни души, только машинисты возле паровоза переговариваются — и пошла прямо на зарю. Решила так: служанкой буду, за калеку выйду, только бы свой, только бы не чужбина...

Меланья, прижмурившись, смотрела на ледяные блестки, что играли на оконном стекле, и время от времени улыбалась горьковато-насмешливой улыбкою.

— Он здесь недалеко и живет. Отец, мать и он. Зашла я к ним утром — солнышко только поднялось, а припекает уже — воды напиться. Они как раз завтракали. Садись да садись, приглашают. Сняла я свой жакет, ношеный-переношеный, платок... Я его тогда низко напускала, чтобы и глаз никто не видел. Ну, отец, мать — известно, как у нас гостей потчуют — и печеным и вареным угощать стали, расспрашивают, кто я да как сюда попала, жалеют, хвалят, что убежала. А он молчит. Ложку положил, глаз с меня не сводит. Славный такой, хотя и угрюмый немножко, глазами из-под чуба так меня и прожигает. Посмотришь в глазищи эти — в груди тесно делается. Не естся мне, губы раскрыть невмочь — отродясь со мной такого не было... Отчего же ты, парень, не на войне, думаю? Ведь годы-то, вижу, призывные. Уже когда встали из-за стола, поняла: хромой он. Ходит вот

так боком чуть-чуть. Ну ты скажи, будто нашептал мне кто-то, чтобы в ту хату зашла. А говорят, судьбы нету.

Посидела я еще немного — неудобно же поесть и бежать, — поблагодарила и стала прощаться. Куда там! Не пускают. Живи у нас, да и только. Семья небольшая, еды хватает, будешь нам как своя. Это — старики. А он (его Кириллом зовут) молчит, только побледнел как полотно. И уж не на меня, а под ноги себе смотрит да все воротник то застегивает, то расстегивает...

Осталась я. Думаю, если не у них, то у других все равно оставаться придется. Это уже так, сама перед собой оправдывалась, потому что из-за него — теперь уже знаю — не пошла тогда куда глаза глядят. Может, оно и лучше было бы...

А вскоре нас и поженили. Настоящую свадьбу сыграли, только ночью: фата, венок, у жениха цветок, водка на столе, каравай, свечи — все как полагается, но без людей и при закрытых окнах. Они хотели, чтобы обо мне никто не знал до тех пор, пока наши не придут.

Сначала, с год, наверно, хорошо жили, весело, словно каждый день праздник в доме. Свекровь мне ни за какое дело браться не велит, свекор вроде бы помолодел, все песни какие-то напевает и дратвой — он сапожник — посвистывает. А о Кирилле нечего и говорить. Будто выше ростом стал, ходит ровнее, от грусти в глазах и следа не осталось. А ночью, бывало, как обнимет, так словно хватается за меня, словно боится, что я вот-вот исчезну. Да все выспрашивает: «Ты меня любишь? Ты меня любишь?» Я поперва отвечала или вместо ответа — надоедает ведь повторять одно и то же — ласкала его как умела. А однажды возьми да и засмейся. В самом деле, как ребенок, ест пенку с молока и спрашивает у мамы: «А она вкусная?» «Отодвинь лучше ногу, тесно мне». Забыла, что он же хромой, привыкла так, что уж и не замечала. На том и закончился наш праздник. Словно покойника в хату занесли. Кирилл целыми днями молчит, даже с родителями не разговаривает. На меня исподлобья так огонь и мечет. А вечер придет — выпьет, чтобы смелей, не так совестно было издеваться. Поначалу ластится, делает со мной что хочет, потом притихнет. Слышу: уснул. Радуюсь, думаю, слава богу, унялся. Какой там! В полночь, когда родители уснут, подхватится как ошалелый и ни с того ни с сего хвать за глотку: «Говори, любишь?» Плачу, обнимаю его, клянусь. «Врешь! — ши-

пит. — Если бы любила, не смеялась бы». Начну объяснять, как это получилось, слушать не хочет. Вцепится пятерней в губы. «Замолчи, не растравляй! Шкура! Доброволка! Немецкая подстилка». «Ты что, — плачу, — забыл, какой меня взял».

Замолчит, как будто спохватится. Потом — цап пальцами за грудь: «Может, скажешь, гадина, что он и здесь не был? — на немца того намекает, потому что я же ему все до капли рассказала. — Что, молчишь?» — и смеется, рад, что мне ответить нечего... И так каждую ночь.

А день придет — старики мучают. Свекор еще туда-сюда, молчит, только молотком злее орудует, зато свекровь и за него, и за себя старается: не там сяду, не там стану, и руки бы мои отнялись, и ноги бы меня не носили, и где я, блудница, выискалась на их беду... Оно и понятно: для них Кирилл сын, а я? И потом, ни разу я на него не пожаловалась: отвыкла, с мачехой живя...

Меланья умолкла. Я слышал, как о ее зубы стучал венчик большой луженой кружки, и, не подымая головы, сказал:

— Зачем вы, тетенька, столько пьете?

Меланья засмеялась и, перегнувшись через стол, приподняла мой подбородок мягкими, пахнущими тройным одеколоном пальцами.

— Тебе противно, правда? — посмотрела на меня своими уже посоловевшими, тупыми — я даже не понял, какого они цвета, — глазами. — Ишь, какой симпатичный хлопчик. Ты, поди, добрый, потому глаза измученные. Такие добрые. А кому сейчас доброта нужна? Ха... И никакая я тебе не тетенька. Мне всего двадцать годочков!

Я видел близко перед собой ее трепетные в улыбке пьяные губы, нежно-белые ямочки над ключицами и уголок Сергеевой фотографии, которая выглядывала из-за пазухи.

— Как же вы здесь очутились, в этой хате? — спросил, краснея отчего-то и думая неприязненно: с какой это стати меня вот так запросто, как ребенка, берут за подбородок и рассматривают? Я уже давно отвык от того, чтобы мне ладушки играли.

Меланья какое-то время смотрела в окно, хмурясь и улыбаясь солнцу. Ей, наверное, уже не хотелось рассказывать.

— Что? — вяло переспросила она. — Убежала я от

них на прошлой неделе. Ночью, когда все заснули. Очнулась только в этой хате. Тут одинокая старушка живет. Она позавчера, как наши вступили, к родне в Крюков пошла, а я вот хату стерегу, пока вернется.

— А те?

— Ходят каждый день. Уговаривают меня вернуться. Или, когда стемнеет, под окнами лазят. Шпионят. Они и сегодня придут. Ну да ладно об этом, надоело...

Меланья встала из-за стола и принялась подметать хату. А я оделся в сухие и теплые тряпки свои, расспросил, где здесь дров можно раздобыть — надо же чем-нибудь отблагодарить за хлеб-соль да постой, — и, узнав, что леса поблизости нет, топят все дерезой[1], вышел на улицу.

Солнце стояло уже высоко, но мороз не слабел. Сверху мне видно было все село — большое, беспорядочно разбросанное между балками да крутосклонными оврагами. Короткие глухие улочки, проулки петляли от избы к избе, но, не найдя выхода на простор, упирались либо в овраг, либо в густые заросли дерезы, покрытой глыбами снега. Там копошились люди и чернели пятна вырубленного кустарника. Во дворах кое-где курились дымки солдатских кухонь, ржали кони, под моторами окрашенных белилами машин дымились факелы, но пушек-восьмидесятипятимиллиметровок, сколько я ни приглядывался, нигде не было. Видать, артиллеристы ночью выехали.

Ненадолго и совсем не больно меня задела мысль о радистах: где-то они сейчас — на фронте или в другом каком-нибудь селе?

От толпы женщин, которые пересмеивались с солдатами возле обледенелого колодца, я узнал, что фронт продвинулся дальше, куда-то под Кировоград, и что в бывшей школе сегодня будут показывать немое кино. Я решил непременно сказать об этом Меланье.

Дерезу рубили больше лопатами — солдаты, женщины, подростки. Детвора, игравшая тут же, возле своих мам, притихла, с интересом посматривала в мою сторону, и я сначала не понял почему. Затем кто-то из этой компании сказал:

— Ну-ка, Леша, поди спроси, не с «катюшниками» ли он ездит?

---

[1] Дереза — кустарник.

— Ни-и, — возразили ему. — Такие оборванцы только в обозах бывают!

— Хи-хи... Обозная крыса!

— А ботинки, гляди, сорок последний номер!

— Ладно вам! Может, у него отца и мать убили, а вы...

Затем ко мне подошел серьезный, аккуратно одетый, как видно, учительский хлопчик и, наблюдая, как я голыми руками управляюсь с кустарником, предложил:

— Может, вам помочь? У нас топорик есть.

— Ничего, обойдется, — сказал я несколько свысока и поспешил улыбнуться, чтобы хлопчик (ему было лет десять) не обиделся.

— Ну, тогда до свидания, — так же вежливо, хотя немножко заученно, сказал мальчик и пошел к своим.

Его окружила детвора, пошепталась о чем-то и тут же принялась играть в войну.

Мне не хотелось к ним. После бабушкиной смерти я играл один — в бурьяне где-нибудь или на лугу, чтобы никто не видел, — и тянулся больше ко взрослым. Они, всяк на свой манер, поучали меня, как жить, но по-ихнему у меня никогда не выходило: посоветуют украсть у немцев мыло и поменять на продукты либо одежду — меня непременно поймают и побьют; пошлют к самому богатому в селе человеку попросить милостыню — там не дадут, да к тому же и уркой обругают. Но чаще всего меня учили поговорками: «Ласковый теленок двух маток сосет»; «Не все перескакивай, а иногда и ползи»; «Береженого и бог бережет».

Я не понимал, почему у одного теленка бывают сразу две матки, в каких случаях надо ползти, в каких перескакивать, а что означает слово «береженый», вовсе не понимал и жил как приходилось...

Дереза была мерзлая, я не ломал ее, а, запрятав руки под мышки, сбивал ботинками, вязал своим ремнем с трехлинейки и носил в хату.

Меланья, проворная, порывистая, в новой зеленой стеганке (я подумал: «Сергей подарил!»), секла дерезу, что-то напевая, а потом сказала:

— Хватит. Нам ведь тут не век жить! — и засмеялась. — Как только станет теплее, уйду отсюда.

— Куда? — спросил я.

— В Донбасс.

— К мачехе?

— Нет. На шахту какую-нибудь. Заработаю денег, оденусь по-человечески, замуж выйду... А тут меня съедят. Доброволка!

Перед заходом солнца над селом появилась «рама» — диковинный самолет с двумя хвостами и черно-белыми крестами на фюзеляжах. Солдаты стреляли по ней из карабинов, петеэров, ручных пулеметов и ругались. Одни кричали: «Отставить!», другие возражали: «А че ейной в зубы смотреть, стерве!» — и, припав на колено, снова целились. «Рама» кружилась низко, переворачивалась на бок, и тогда было видно летчиков в черных шлемах и блестящих солнцезащитных очках. Сделав несколько облетов, «рама» выровнялась и стала отдаляться.

— Сейчас приведет... — переговаривались солдаты в соседнем дворе, закинув карабины за плечи.

Но в это время вокруг «рамы» поднялась глухая стрельба. Четыре маленьких тупоносых самолетика окружили ее со всех сторон, засверкали огненные пули, зеленые струи пулеметных очередей. Солдаты следили за боем, прикрыв глаза от солнца ладонями, но оно светило так ярко и так красно-остро пламенели снега на горизонте, что трудно было что-нибудь увидеть.

Но вот в воздухе, почти над самой землей, вновь появилась «рама», а рядом с нею и сверху, сбавив скорость, хрипло похлопывая моторами, летели четыре истребителя.

— Ура! Взяли! Ведут! — радостно закричали солдаты. Село вдруг будто взорвалось. Кричали во всех дворах, размахивали шапками, оружием, факелами.

— А-а-а...

Я тоже кричал что-то, махал шапкой и пританцовывал, а Меланья, сжав ладонями разрумянившиеся щеки, нежно стонала:

— Ой, мои соколики... Мои рыбоньки...

Вечером, завесив окна тряпьем, мы пекли в печке картошку. Как и вчера, хату от потолка и до подоконников заволокло дымом. Пришлось устраиваться на полу. Меланья следила за жаром, время от времени сгребая его в кучу, а я дробил молотком большой ком соли. Она была серая и твердая как кремень. От неточного удара из нее высекались искры. Над нашими головами чуть приметно колыхался дым, и вместе с ним колебалось пламя в лампе. От печки пахло углями, пригоревшей картофельной кожицей и горячим испарением дерезы.

На какой-то миг мне показалось вдруг, что это не я стою на коленях и толку скользкую захватанную соль, а кто-то другой, чужой и одновременно будто знакомый мне... Как я сюда попал? Почему? Ведь я где-то там, в своем селе, где каждая травинка мне знакома, каждый клочок земли. Вот у самой нашей хаты растет гибкая, никогда никем не стриженная акация (такой ни у кого больше в селе нет); в ней густо гудят пчелы, перелетают с цветка на цветок, впиваются хоботками в чашечки и дрожат от напряжения среди желтых, разомлевших на солнце цветов. Под акацией, в тени, мое гнездышко, моя «хата», обнесенная берестовыми ветками и украшенная битым кирпичом да колесиками из часов, футляр из-под которых висит в хате над сундуком пустой, затканный внутри паутиной, унизанной сухими мухами, — бабуся прятала в этот футляр деньги, когда они бывали...

Но вот на мосту слышится медленное поскрипывание колес, и вскоре из-за верб на запруде появляются серые волы, запряженные в повозку. «Гей»! — слышится с ее дна, выстланного привядшей осокой (она тянется и за осями), а погоныча не видно: лежит, дремлет или в небо глядит, только острые в заплатах колени торчат...

О, если бы кто знал, как хорошо жить у дороги, под самой запрудой, да чтобы еще и колодец во дворе был. Кто ни едет, кто ни идет, заворачивают. Напоит скотину или сам напьется, сядет на завалинку покалякать с бабусей, а заметив меня, сунет руку в кошелку или узелок: на вот тебе, сынок, гостинец — пряник, яблоко или свистульку... И будешь знать ты, хотя словно бы и не прислушивался к обстоятельной беседе, где и что случилось в целой округе, кто, как и когда умер, кто, когда и на ком женился и не дал магарыча за невесту, потому что «из поколенья в поколенье жмоты»; узнаешь, где прошли обильные дожди, а где только «краем зацепило», кто и зачем поехал в «город», — все будешь знать, живя у дороги...

Когда это было — сегодня, вчера или целую вечность назад? Как и для чего я тут очутился, если где-то там, далеко-предалеко, моя хата, желтая акация, бабусина могила на песчаном Чабрецовом бугре, против развесистой сосны с отломанной верхушкой?..

— Ты что, не слышишь? — трясет меня Меланья. — Говорю, давай есть, а ты молчишь. Напугал даже.

Мы чистим обуглившуюся картошку, дуем на кончики пальцев, когда уж чересчур припекает, и сочувственко переглядываемся.

— Горячо?..

— Горя-ачо...

— Хоть согреемся!

И хохочем как маленькие.

Зубы у Меланьи розовые от пламени в печи. Картошка тоже розовая и густо парует, как разломишь, потому что в хате еще мало тепла.

Соль приходится лизать: крепкая, ее разве что в мешке можно истолочь как следует.

— Хорошо, что хоть такая есть, — говорит Меланья.

— А вы борщ с рассолом или солеными огурцами ели?

— Нет. А что?

— Противный.

От картошки становится теплее, а ее запах — степной, осенний, довоенный — туманит голову, и ни о чем не хочется думать, кроме одного: побольше было бы ее, картошки...

Однако поесть нам всласть не дают. Под окнами слышны чьи-то шаги. Потом они замирают, и в стекло кто-то тихонько трижды стучит.

— Это они! — испуганно шепчет Меланья.

— Кто? — не понимаю.

— Личаки. Старый и Кирилло...

— Так, может, не открывать?

— Нет, нет. Беги открой, не то окна выбьют. Они бешеные!

Иду в сени, долго нащупываю засов.

— Кто?! — спрашиваю сердитым баском.

За дверью некоторое время молчат, нерешительно покашливают:

— Кхе... кхе... Да это, товарищ, мы... Соседи.

Я щелкаю засовом и отступаю в темный угол. В сени входят двое. Тот, который впереди, выше и, наверно, в кожухе, потому что от него пахнет кислой шерстью, присматривается ко мне в темноте, льстиво бормочет:

— Хе-хе... Извините, что побеспокоили. Дело у нас к хозяечке вашей... Так если вы не против...

— А может, отец, как-нибудь в другой раз,— вмешивается тот, что пониже, наверно, он и есть Кирилл.

— Идите уже, идите, раз решились! — сердито кричит из хаты Меланья.

Входим все сразу. Старик, увидя, что перед ним не военный, а черт знает что — так он на меня и посмотрел, — решительно шагнул к лавке, сел. А Кирилл прислонился к косяку и спрятал кривую левую ногу за правую. Одет он был красиво, по-парубоцки: новая куртка, хромовые сапоги, на шее поблескивал при свете лампы белый шелковый шарф, который прикрывал и смуглый, чисто выбритый подбородок. Кирилл смотрел себе под ноги, поэтому я не видел его глаз — «божьего колодца»...

— Так как же, — ласково сказал старший Личак, улыбаясь одной щекой, и я заметил, что Меланья содрогнулась, — долго мы будем с тобой, невестка, в кто кого перетянет играть?

Меланья чуть приметно повела плечом.

— Нет. Недолго. Скоро я уйду отсюда.

— Куда глаза глядят? — поинтересовался старик.

— Куда глаза глядят.

— Угу... Ну, это мы еще увидим.

— Да ну? — Меланья выпрямилась и вызывающе выставила грудь.

— Вот тебе и ну... — Старик смотрел на нее, склонив голову на плечо и прищурив глаза. — Говорю, мать плачет день и ночь, дите вон (при этом он кивнул на Кирилла, а Меланья презрительно улыбнулась) как в воду опущенное ходит... Тебе что, все равно?

— Нужно было тогда уважать, когда я вас всех уважала.

— И... и... Мы ли тебя не уважали? — сморщился старый. — Только не нянчили, как дитя малое.

Меланья прищурила глаза.

— Я вам, папаша мой бывший, никогда не желала плохого. Ну а теперь скажу... Чтоб вас на том свете так нянчило, как ваше дите меня на этом.

Левая нога Кирилла вырвалась из-за правой. Он смущенно кашлянул и опять спрятал ее.

— Спасибо тебе, дочка, и на этом, — ехидно произнес Личак и низенько поклонился. — Отец, старый хрыч, все стерпит... На то он и отец... Но к чему ты моего ребенка славишь ни за что?

— А-а, ни за что! — выкрикнула Меланья, быстро, дрожащими пальцами расстегивая кофточку. — А это видели? Нет? Так поглядите!

Треснул лифчик, я на один миг лишь увидел Меланьину грудь, рябую от больших черных синяков, и отвернулся.

— И... и... — скривил губы Личак. — И тебе не стыдно и не противно показывать старому человеку солдатские щипки? Думаешь, люди не знают, что у тебя как ночь, так и новые квартиранты?

— Убирайся отсюда, — тихо сказала Меланья и указала на дверь.

— Пошли, папа, — сердито буркнул Кирилл.

— Бесстыдница, — уже из сеней, надевая шапку, визжал старый. — Мало ей солдатни, так она еще и с дитем связалась... Распутница окаянная!

...О том, что произошло дальше, я узнал лишь перед рассветом, проснувшись от тяжелого, как бред, сна. В окна заглядывала яркая утренняя заря, а в хате стоял синеватый холодный полумрак. Я вспомнил, что при последних словах старого Личака в руках у меня каким-то чудом оказался молоток, которым я крошил соль, и я запустил его в сени на голос Личака. Еще слышал, как под окнами стонали, ругались, дубасили кулаками в раму. Потом кто-то крикнул: «Эй, вы там! В чом дзело! Ну-ка убирайцесь вон, не то подстрелю!» — и все стихло, будто провалилось в бездну...

Я попробовал пошевелиться и застонал.

— Лежи, лежи, — зашептала Меланья, наклоняясь ко мне с лежанки, и положила на голову что-то холодное. — Больно? Что у тебя болит?

У меня болело все: виски, плечи, грудь...

— Горюшко ты мое, как ты вчера разошелся!.. Сроду б не подумала, что ты такой отчаянный! Ну? — Меланья тихонько засмеялась, белая, в ночной сорочке, как привидение. — А дрался... Мамочка ты моя родная! И кулаками, и, ногами, и головой... И кричал не своим голосом! А в кулаке была соль...

— Куда они делись? — спросил я, прислушиваясь к собственному голосу, который казался мне чужим.

— Ушли. Ты их вытолкал и дверь на засов закрыл! Потом долго плакал, рвался у меня из рук... Пока не заснул, — и спросила осторожно: — Это у тебя что, болезнь такая?

— Кто его знает...

— Ты их не бойся. Сегодня они будут как святые и тебя не тронут. Вот увидишь. Ну спи, еще рано.

Я смотрел в потолок, который с каждой минутой становился синее, выше, и думал: «Уйду из этой хаты. Сегодня же. Буду искать радистов...»

И быстро заснул.

Мне привиделось наводнение, которое я запомнил еще сызмала, наверно, потому, что в тот день — последний день моего детства — ушла из дому моя мама, или, может, потому, что бабуся часто рассказывала про то «страшилище» каким-то сдавленным шепотом, а закончив рассказ, ревностно крестилась перед иконой и просила: «Отврати, господи, и заступись...»

...Вода стояла на лугах сколько видел глаз — от одиноких сосен на песчаной горе и до самого ветряка, который чернел на некошенном еще Басовом острове. В разливе расхаживали аисты — так медленно, будто плыли, вода была им по грудь, и в ней были видны их красные ноги да мягкие шелковые переливы молодых отав.

Потом аистам стало глубоко, и они взлетели. А копенки сена, стоявшие до сих пор неподвижно, поплыли и, медленно поворачиваясь, как в хороводе, двигались друг другу навстречу, толкаясь мягкими боками и расходясь, как живые...

«Вода-а!..» — разнеслось над селом среди вялой знойной тишины, и эхо, затерявшееся в тальнике, залитом половодьем, глухо, жутко простонало: «А-а-а...»

На церкви ударили в колокола.

«Бем... бем... бем...»

Откуда они взялись? Ведь их давно поснимали... Я помню, как они падали, перевертываясь в воздухе, словно гигантские подстреленные птицы, прощально бемкали на лету, входили краями глубоко в землю и немели...

«Бем... бем... бем...»

«О, слышишь, слышишь?..»

Кто это? А это бабуся...

На косогоры высыпали люди со всех краев села: Троещины, Мятинцев, Перечатного... Они стояли молча, прижав к груди младенцев, а у кого их не было — руки.

Над разливом кружились аисты, вытянув стрелами длинные красные ноги, и бемкали колокола.

Мужчины, хмуро опустив головы, молча вошли в воду. Сначала брели по икры, затем по колено, а вскоре вода дошла им чуть ли не до груди.

Я знал их, кажется, с пеленок.

Вон дядько Быб, молчаливый увалень, первый на селе молотильщик и косарь, пильщик и бондарь, а если ветер «подходящий», то еще и мирошник. Он всегда пилил дрова в паре с моим отцом длинной двуручной пилой, стоя внизу, потому его густые, удивленно поднятые брови всегда были в опилках, а руки и одежда, как и у отца, пахли березовым солодом. Выпивая у нас по случаю воскресенья или в какой-нибудь праздник, дядько Быб говорил, бывало, отцу: «Я тебе, Демьян, небо пригнул бы, если б достал, такой ты мне... приятный!»

А вон дядько Марко-Накат-Його-Бог в своей вечной, вылинявшей на плечах рубахе с твердым от залубенелого пота воротником. Я этот воротник хорошо знаю, потому что Марко каждый вечер ходил к нам на посиделки или стричься, а отец, обчекрыжив его «под покрышку» и наглядевшись на этот черепяный воротник, говорил: «Снимай, Марко, рубаху, пусть бабы выстирают, а мою наденешь». Дядько и не отказывался долго. Бормотал только: «Да мне хоть один воротник, а то, накат його бог, шею уже так нарезал, что аж горит...»

Дядько Марко был старым холостяком, и женщины — даже моя мать, которая, как мне казалось, всегда смотрела на людей несколько сверху и через плечо, — жалели его.

А вот еще дядько Артем Грушка, прославившийся на селе тем, что, везя от родичей полную тачку груш на крижалки [1], лакомился ими до тех пор, пока их осталось «на два узвара», а когда отец спросил у него, почему так мало привез, ответил: «Да разве ж я знаю? Ну, съел, может, с пригоршню, а остальные кто знает где... Может, растряслись дорогой. Бги-ги-ги...» Отец при людях выпорол его за это вожжами, припрятанными от коллективизации, — так выпорол, что Артем плакал, хотя был уже женат и имел двух детей. Жена утешала его, как ребенка, а соседи заявили про вожжи председателю сельсовета, и их конфисковали...

Мужчины охапками складывали сено в лодки и, перебросив цепи-привязи через плечо, волоком, уже по самую грудь в воде, тащили эти лодки к берегу. А безумная бабка Палазя (про нее говорили: «Тронулась старая») с жиденькими седыми волосками на верхней губе и под-

---

[1] Крижалки — нарезанные сушеные фрукты.

бородке слонялась между людьми на косогорах и, тыча скрюченным пальцем в лицо каждому, стрекотала по-сорочьи: «А я что говорила? Пущу петуха! Пущу петуха! Не верили? Теперь глядите, чтоб вам повылазило! Кыш-кыш-кыш... Неси уголек! Гальку, Ивана, Карпа — сожги вражину, сожги вражину! Кыш!»

Копенки одна за другой вспыхнули и двинулись к селу. И уже над ними кружились не аисты, а оранжевый петух с угольком в клюве...

«А-а... — тряслась от хохота Палазя. — Все пропадете, всех слизнет!»

«Бем... Бем... Бем...»

Но вот половодье подступило и к нашей хате. Я слышал, как оно сосало завалинку, сладко, с хищным прихлебыванием, как булькали в воду куски глины, отвалившись от глухой стены, а пчелы в акации тянули из желтого цветка сладкую юшечку и, напившись, отяжелевшие, тоже падали в воду, словно майские жуки, хватались лапками за стебельки сена, но ненадолго: полая вода поглощала их или крутила в грязной пене и несла прочь.

«Отврати, господи, и заступи...» — молила бабуся шепотом.

— Па-апа! — закричал я так громко, что проснулся на миг и подумал: «Это сон... сон».

«Зови, зови! — просила бабуся. Может, хоть тебя послушает».

И тут появилась откуда-то мама — в черном, надвинутом на лоб платке и с желтыми распущенными косами на груди.

«Как же, — сказала она, глядя на бабусю свысока и через плечо, — теперь зовите, хоть разорвитесь. У-у... Ироды! Завязали мне свет своим арестантом, теперь хнычете! «Зови...» Проклятые! Чтоб вы пропали! Уйду... На шахты, в Харьков, в Алма-Ату... Я еще жить хочу, жить! Ха! Мне еще, слава богу, не пятьдесят, а двадцать пять!» — и бросилась выбирать из сундука свои манатки: сорочки, кофты, платья, монисто...

«А ребенок? — заплакала бабуся. — Опомнись, дочка, что ты делаешь?»

«И... И... — косорото улыбнулся старый Личак. — От живого, теплого мужа уходит, бесстыдница!..»

«Бем... бем... бем...»

— Па-апа! — закричал я и сразу увидел его.

Он стоял под берестом, росшим посреди нашего двора, прислонившись к нему широкими плечами, сложив руки на груди, и смотрел на наводнение равнодушными, полуприкрытыми глазами — там стлались черные над прозрачным разливом дымы и гоготало пламя.

— Папа!

Я крепко обнял его ногу и, немея от страха, почувствовал, что она твердая, холодная и негнущаяся...

— О господи, что с тобой! — застонал кто-то знакомым мне голосом так близко, что я задрожал и медленно, словно всплывая из холодной бездны, проснулся.

Надо мною склонилась Меланья. В глазах у нее стыл испуг.

— Чего ты плачешь, а? Болит? Ну зачем ты лез не в свое дело. Они погавкали да и ушли бы... А теперь — что мне с тобой делать?..

Когда я уже одетый, со слабыми, дрожащими ногами поблагодарил Меланью за постой и сказал, что ухожу, она поцеловала меня в лоб и всплакнула:

— Куда же ты сейчас пойдешь, рыбонька моя хворенькая, бледненькая?..

— К красноармейцам, — сказал я, отворачиваясь. — Тут у меня знакомые есть.

— А... Ну, гляди. Жалко только... Так хорошо мне с тобой было... Словно братика приобрела... Картошку пекли... Весело ведь было? — и замялась, забегав глазами туда-сюда. — А если хочешь, то оставайся...

И хотя Меланья плакала, я чувствовал, что она будет рада, если я уйду.

— Прощайте, — сказал я, уже держась за дверную ручку, и попробовал улыбнуться, но не смог: что-то незнакомое до сих пор, холодное и равнодушное, как отцовские глаза во сне, не дало мне это сделать, — только губы скривил. — А Личакам лучше бы вы не открывали...

Меланья быстро закивала головой, утирая слезы.

Уже спускаясь вниз по улочке и держась за тын, чтобы не упасть, я услышал, как весело — будто и не плакала только что! — кричала Меланья соседке:

— Галя, приходи вечером, на патефоне поиграем!

Я понимал, что это приглашение касалось больше Галиных постояльцев, которые как раз вышли из хаты покурить в расстегнутых гимнастерках и в бушлатах внакидку.

— Глядзи, Гришаня, свирисцьолка вон какая бландзинистая... — сказал молоденькому румянощекому солдатику длинный, как жердина, веселоротый сержант. — Схадзив бы к ней на пацефон, а?..

Солдатик только стыдливо улыбнулся на это.

— А чо? Мо-ожна... — щурясь от табачного дыма, подкинул третий. — У нее там вчера вечером давали увертюру, так сержант прогнал. Скажешь, ты выручил, так давай, соседка, шильце за мыльце... У-га-га.

И все захохотали.

Когда Меланьина хата спряталась за другими, я почувствовал уже знакомую за два года скитаний сладковатую, противно щемящую боль в груди, а как вспомнил нежное Меланьино «рыбонька моя хворенькая, бледненькая», аж захлебнулся, аж пискнул от жалости к себе, тоненько, по-мышиному, и испуганно оглянулся, не слышал ли кто случайно... От стыда этого стало легче, пришел на память совет веселого безногого деда перед тем, как самолет прилетел к оврагу во второй раз.

«Ты только, милый, не очень слушай жалельщиков всяких. Жалеют — ну и пусть себе жалеют, у кого язык не болит. А ты свое знай: упал, поднялся и снова скачи. Делайте, как сказал Иисус Христос, то, что поп говорит, но не делайте того, что поп делает... Сам жалей сколько хочешь и кого вздумается, а себя — чур! А то как начнешь себя жалеть, не человек из тебя выйдет, а бог знает что — квашня, нюня, размазня! Вот... И то запомни: великий печальник суть великий брехун и фарисей».

«Кто это — фарисей?» — спросил я, потому что слышал это слово впервые.

«Говорю же тебе — брехун», — сердито буркнул дед.

Это были последние его слова...

А со временем я убедился, что дед говорил правду. Как-то в одном селе, голодный и уставший, подошел к первому попавшемуся двору выпросить что-нибудь. Возле хаты, над обгороженной камышом пасекой, гудели пчелы, гремел цепью пес за воротами, под навесом кто-то, видать, плотничал, потому что слышен был рубанок, а у тына на скамеечке сидела рябая сгорбленная тетенька и пасла цыплят. Выслушав мою присказку про «дождь и борщ», она печально улыбнулась, склонила набок маленькую ящериную голову, словно хотела сказать:

«А ну-ка, мои гули!» — и стала расспрашивать, почему, да как, да когда остался я «без папочки и мамочки, как былиночка в поле». Жалостливых поговорок она знала множество, прибавляла их почти к каждому слову и выговаривала с таким наслаждением, будто пела самую любимую песню.

«И-и-и... моя ж ты кровиночка бесприютненькая, бесталанненькая... И-и-и... боже ж ты мой, боже, тринадцать лишь годиков прожил, а вкусил за двадцать... И-и... куда ж ты, господи наш милосердный, смотришь, что не смилостивишься...»

Я уже чуть не плакал — так меня разобрало от ее слов, а она, заметив это, даже обрадовалась, будто даже возгордилась, напустила на глаза туманец и уже несла к ним подол широкой цветастой юбки, как вдруг быстро вскочила и закричала, ощеряя мелкие желтые зубы:

«А чтоб ты сдохла, зануда проклятая-окаянная-анафемская! Альга-льга-а-а... И-и, чтоб тебе добра не было!»

«Что там такое?» — спросил со двора мужчина.

«Цыпленка сорока взяла».

«А разве я не говорил: разиня», — равнодушно произнес дядько и снова зашаркал рубанком.

«Если б не лазили тут всякие нищие... — пробурчала женщина, но, опомнившись, громко сказала: — Нет у нас ничего. Тыквы сырой волошской есть половинка, да где ж ты ее сваришь. Зайди лучше вот по соседству, к попу, тот подаст. Только скажи, что ты крещеный...»

Попу, наверно, было все равно, крещеный я или некрещеный. Он вынес кусок житной лепешки, разрезанной пополам и переложенной яичницей, и спросил, у кого я еще был.

Я сказал.

«Ха! — ухмыльнулся поп. — Нашел у кого просить. Они еще смолоду г...ноеды! — Лихо, как это делают парубки, откинул полу заношенного подрясника, достал из кармана помятую, видно, давно свернутую цигарку и, послюнив ее, закурил. — Так ты, значит, яко наг, яко благ, яко нет ничего? Угу... Ну, если будешь в наших краях еще когда-нибудь, заходи прямо ко мне. Ночь-полночь — накормлю, приютю где-нибудь, как же...»

Потом, идя под тынами, я слышал, как бабы говорили про него на завалинке: «Разве ж это батюшка? Тьфу, да и только! Махает кадилом, как саблею...»

Месяца через четыре, зимою, я снова попал в это село, однако попа уже не застал: немцы убили его за что-то, а на месте его хаты торчала из снега лишь черная обмерзшая труба...

Посреди площади, где меня в позапрошлую ночь оставили радисты, я замешкался, не зная, куда теперь направиться. На дворе стояла первая весенняя оттепель, звонко чирикали воробьи в садах и на дерезе, густо, серо, как зимой листья на дубе, облепив ветки, а когда из-за туч на миг проглядывало солнце, принимались озорничать в лужах, брызгая друг на друга крылышками. Тут и там у ворот играли дети, тоже весело, как воробьи: военные встречались редко, да и те были какие-то вялые, форма на них словно на пугале — похоже, что обозники.

Я бродил по селу почти до самого вечера, но хаты с антеннами так и не нашел.

— А по овражку туда дальше не ходил? — спросил меня пожилой уже солдат, узнав, кого я ищу. Он был одет во все военное, хотя и ношеное, но шапка, натянутая на уши, была черной, вылинявшей и сапоги сбитые, домашние. — Там стоят какие-то.

Я пошел по оврагу в ту сторону, куда показал солдат и откуда отчетливее слышался перекатистый грохот. Тропка между густым кустарником была узка и извилиста, как заячий след. Мне сначала даже показалось, что я кружусь на одном месте. Но вскоре кустарник поредел, впереди в глубокой ложбинке замаячили десятка два хаток. Над одной из них я разглядел блестящие под заходящим солнцем шпили антенн и так обрадовался, что хотел уже бежать, но так и застыл на месте.

— Х-ха! — вырвалось у меня невольно, а волосы под шапкой словно бы зашевелились: прямо передо мной, на просторной поляне, врывшись пушками в снег, стояли четыре танка, а рядом выглядывал из сугроба толстый свежеотесанный столбик, и черный танкистский шлем покачивался на нем. На шлеме стоял ворон и выщипывал желтую вату.

— Кыш! — крикнул я, но крика не получилось, только зашипел.

Ворон повернул голову в мою сторону, крякнул, ударил крыльями о шлем так, что тесемки на нем заболтались, и взлетел.

Едва переставляя отяжелевшие ноги, я подошел к столбику. На дощечке, прибитой под шлемом, было написано рыжим мазутом:

«Вечная память героям-танкистам ст. л-ту Козаренко, серж. Файзулину, Ситнику, ряд. Марчуку, Ласкину, Кановцу и 3-м неизвестн. 1/I. 44 г.».

Я обошел вокруг танков. От них еще пахло горелым железом, люки были открыты — из черных отверстий тянуло холодом и еще каким-то жутко сладковатым запахом, от которого встали перед моими глазами и покойная бабуся, бледная, вытянувшаяся аж на два стола, и мальчик с остреньким носиком, и веселый дедусь, которого люди закапывали утром посреди бурьяна над оврагом, а я все ползал на четвереньках по влажным от ночного тумана закоулкам и искал для чего-то его деревяшку...

Над танками кружил ворон, тот самый, которого я согнал, сердито, хрипло, словно клюя меня в голову, каркал:

«Крр... Крр...»

Будто прогонял меня... Стиснув зубы, чтобы не так дрожать от холода в груди, я побрел к хаткам, на которых блестели антенны. Мне было уже все равно, «мои» в том хуторе стоят радисты или не «мои» — лишь бы скорее к людям...

Солнце было на закате, красное, без лучей, тихое и печальное. На него то и дело наплывали черненькие точки далекой стаи ворон. Наплывут и исчезнут, и исчезнут — все в одну сторону: туда, где грохотало...

Я оглянулся на танки: ворон вновь сидел на шлеме и выщипывал из него вату.

Это уже было, было... И шлем, и дырки на нем, и солнце заходило точно так же — тихо, багрово, в трагическом одиночестве, только стаи не летели все в одну и в одну сторону...

Я со страхом чувствую, как где-то глубоко в душе завязывается и растет уже знакомая, изведанная мною гнетущая усталость от этого грустного солнца и вороньих теней на нем, а еще от бессилия понять, что творят взрослые. Их отношения всегда оставляли во мне липкую, как паутина, тоску, — может, потому меня так влекло к людям светлым, простым, понятным, в чьих поступках я видел ответ на вопрос: «Для чего?»

«Ходи, Харитон, смотри, да не все к сердцу прини-

май, — советовал мне как-то немощный дедусь по ту сторону Днепра. — Отворачивайся, беги, если некуда отвернуться будет, а то такого насмотришься, что и сам себя погубишь... Вспоминай что-нибудь свое, детское, хорошее, что с тобою было когда-то, — вот и станешь забывать дурное».

Хорошее... Если бы оно было!

«Крр...» — сыто, удовлетворенно каркнул ворон позади.

И снова встал передо мной закат солнца, пробитый в нескольких местах шлем и новенькая гимнастерка, что трепетала на ветру, словно жаждала полететь в меркнущее вечернее небо...

Я ночевал тогда в небольшом хуторе, запруженном немецкими мотоциклистами. В каждом дворе под стенами хат и сараев стояло по три, а то и по четыре мотоцикла с колясками и затянутыми в брезентовые чехлы пулеметами. Не было их только возле одной хаты, низенькой, обшарпанной, в которой жила, как мне сказали, «беспалая Ленка». Ни огорода, ни садика, ни хотя бы куста смородины вокруг — пустырь, выгоревший молочай и кашка. Под завалинкой вровень с окнами росла старая аж красная крапива, а в хате было смрадно и грязно: стены голые, рябые — засиженные мухами, по углам качались серые, тяжелые от пыли кошельки из паутины, лишь над примисткой [1], отшлифованной до воскового блеска, висел старый порыжевший рушник с вышитой черными нитками угрюмой надписью: «Под крестом моя могила, на кресте моя любовь».

Ленка приняла меня на ночлег в боковушку с разваленной печкой. Еще тут стоял трухлявый верстак, на котором, должно быть, давно не столярничали, и точило, а маленькое перекошенное окошко у самой земли заросло пылью и паутиной так, что едва серело в темноте.

«Есть не дам, самой нечего», — сказала Ленка (от нее несло самогоном) и хотела закрыть за мною дверь, но она не закрывалась, потому что вошла нижней частью в земляной пол.

Потом Ленка пила из бутылки, ела чищеные перезревшие огурцы, макая их в соль, высыпанную прямо на стол, хрипло смеялась, ругалась, передразнивала кого-то,

---

[1] Примистка — деревянная кровать без спинок.

а натешившись таким образом, завела жалобную песню про коногона, растрогалась, заплакала и сказала:

«Эй ты, шкварка! Иди поешь».

Я ответил, что не голоден.

«Брезгуешь, мерзавец? Ты гляди, какой фу-ты ну-ты... А я, чтоб ты знал, аккуратнее всех вот тут в селе хозяек. Думаешь, я родилась калекой? Дудки! Я до войны шахтеркой была, плитовой. Я одной рукой груженый вагон переворачивала, чтобы ты знал, пока пальцы не прищемило. И кавалеров имела — закачаешься! А платья носила... Тут сроду никто таких не носил: маркизетовые, насквозь просвечивались!»

Она вздохнула, кинула бутылку под лавку и запела слабеньким хриплым голосом:

Ночка-х тьома, тьомная-х,
Ночка тьомная-х, тьомная,
Освищают хвонаря...

Я уже давно заметил, что взрослые любят рассказывать мне про свои мучения и всякие нелады — словно мусор в корзину высыпали, совсем не думая о том, для чего мне все это знать... А рассказав, бывало, веселели, обновлялись словно: «Ну вот, будто аж полегчало...»

Солнце заглянуло в окошко, заплывшее красной гущей, бросило на неровный пол холодный луч закатного зарева. Под верстаком завозились и запищали мыши — дрались, видно, за какую-то добычу. Ленка снова захлипала и захрустела огурцом — я еще никогда не видел, чтобы человек ел и плакал... «Пьяная она, — подумалось мне, — лучше бы уйти отсюда. Но куда я теперь, на ночь глядя, денусь?..» И начал устраиваться на верстаке.

На дворе, совсем недалеко, затрещал мотоцикл, чихнул под окнами и умолк, а вслед за этим в хату вошли двое немцев — в касках, с автоматами на груди, в мятых, полосатых от пыли френчах.

Ленка быстро смела со стола объедки прямо на пол, пошлепала ладонью по лавке возле себя и, юродиво улыбаясь, промямлила: «Проходите, господа, ком-цурик, зеценән зих возле барышни!..» Немцы что-то сердито застрекотали меж собой, заглянули в боковушку, но, не увидя меня со света, только брезгливо поморщились. Потом один из них подошел к венику, стоявшему у печи, швырнул его сапогом на средину хаты и показал Ленке,

чтоб подмела, а второй, с перебинтованной левой рукой — из рукава выглядывала только круглая грязная кудель, пропитанная кровью, — выбил автоматом два верхних стекла в окне, сел на лавку и осторожно положил на стол раненую руку. Он был еще совсем молоденький, года на четыре старше меня, и осматривал хату удивленно-вопросительным взглядом загнанного щенка.

«А что, болит рученька, котик? — подсела к нему с веником Ленка. — А-я-яй, какая беда... Русский Иван пух-пух, а теперь болит... Это еще хорошо, что не сюда (она постучала пальцем себе по лбу), а если б сюда — афидерзейн! Га? Ты хоть немножко по-нашему кумекаешь или совсем ни бум-бум?»

Немец расстегнул китель на груди, осторожно вложил туда грязную кудель, потом наклонился к Ленке и здоровой рукой наотмашь ударил ее по лицу. Она выпустила веник, прижала к щеке искалеченную ладонь и сказала: «Дурак ненормальный из сватовской психиатрички. Я тебе, выродок, в матери гожусь, а ты... коротышка несчастный. Попался б ты мне в шахте... Собака!»

Она стояла посреди хаты выпрямившись — высокая, не по-женски крутоплечая, и я поверил в тот миг, что Ленка и вправду могла когда-то перекинуть вагонетку одной рукой.

«Verfluchte Schwein...» [1] — бормотал немец, покачивая раненую руку.

Ленка накинула платок и, не оглядываясь на меня, сказала: «Выскакивай через сенешные двери, а то это такие подлюки, что убьют, как найдут».

«Reite dich oder ich frasse dich! Weg! Verfluchte!» [2] — закричал немец, подумав, наверно, что она его до сих пор ругает, и схватил автомат.

В это время в хату вошел другой, неся охапку бутылок и два ранца за плечами.

«Los, los!» [3] — крикнул весело, блеснув золотым зубом, и замахнулся на Ленку ногой, но не ударил: неудобно было.

Я выскользнул в сени. Следом за мною, согнувшись и держась обеими руками за грудь, вышла Ленка.

«Дулом ткнул, гад, — сказала, улыбаясь так, как это делают мужчины, когда у них что-то болит, и свернула

---

[1] Проклятая свинья!
[2] Замолчи, а то хуже будет! Вон! Проклятая!
[3] Живей, живей!

за хату. — Айда, пересидим где-нибудь, может, они нажрутся да и уедут...»

Однако немцы, похоже, и не думали уезжать. Не дозвавшись Ленки («Матка! Матка!»), они сами вытащили из колодца воды, разделись догола и, крякая по-утиному, стали мыться прямо посреди двора.

Вечером к ним пришли гости — мотоциклисты из других дворов, тоже с бутылками (прислушиваясь к разговору, я понял из отдельных знакомых мне слов, что эти двое были на передовой, теперь их поздравляли со счастливым возвращением), и началась пьянка — крик, свист, песни, из выбитого окна тянулся сигаретный дым.

Вскоре вся компания высыпала во двор. Слышно было: спорили, кто лучший стрелок — Горст или Фридрих. Раненый вынес из хаты какой-то пакет и бросил на землю, сказав: «Das ist unsere Trophäe» [1].

Немцы умолкли, присели на корточки вокруг пакета и вдруг дико взревели:

«Bravo, Fridrich!» [2]

«Das ist aber fein!» [3]

«Ein Moment, ein Moment!..» [4]

Один из них метнулся в хату, вынес деревянную лопату, на которой сажают хлеб в печь, и все вместе, хохоча, принялись что-то мастерить.

«Что они затевают?» — спросила Ленка, сидевшая до сих пор молча и неподвижными глазами глядевшая прямо перед собой.

«Будут мериться, кто лучше стреляет», — сказал я.

«Попался бы ты мне в шахте, — пробормотала она, растирая грудь, — я б тебе...»

И вымолвила такое похабное наказание, какого я еще не слышал...

Тем временем немцы закончили приготовления. Тот, который выносил лопату, низенький, вислозадый, как утка, поднялся с земли и под общий хохот поставил рядом с собой чучело в новенькой, с несколькими орденами над карманами, гимнастерке, перекрещенной портупеями, и с планшетом через плечо.

---

[1] Это наш трофей!

[2] Браво, Фридрих!

[3] Вот это здорово!

[4] Одну минутку, одну минутку!..

«Achtung!»[1] — крикнул он и, выдернув руку из-за спины, ловко, как циркач, надел на чучело рубчатый танкистский шлем.

Компания захлопала в ладоши, двинулась прочь от хаты. Впереди, подняв чучело высоко над головами, словно плащаницу, шел низенький и считал шаги:

«Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig... Genug?»[2]

«Also gut»[3].

Солнце, коснувшись земли, быстро ущерблялось снизу, будто подтаивало. И на его фоне, четко очерченное, как живой человек, стояло в бурьяне жуткое распятие — танкист... Гимнастерка слегка колебалась на тихом закатном ветру, багрянило небо, а там, где был Днепр, за селом, грохотал фронт.

Первым стрелял раненый — из трофейного ТТ. Он долго целился, выставив ногу далеко вперед, и откинул голову (видно, так его когда-то учили), но ни разу не попал. Над ним смеялись, уговаривали передать оружие другому. Тогда он рассердился, запустил пистолет далеко в бурьян и, схватив автомат, ругаясь, одной рукой стрелял по распятию до тех пор, пока не сделал из него решето. Немцы перестали смеяться и смотрели на раненого с каким-то страхом.

На стрельбу из ближних хат повыходили люди и молча наблюдали это развлечение, а Ленка, когда чучело упало, опустила голову на руки и заплакала.

Мы сидели в бурьяне до самого утра. Ночь была сухая и теплая, как перед грозой. Тихо мерцали звезды, на полынь опускалась красная при свете зарева паутина — начиналось бабье лето, а на Днепре или уже где-то ближе, по эту сторону, нестройно били пушки и низко над землей взвивались далекие ракеты.

Ленка спала, подложив под голову скомканный платок, тихо стонала во сне, всхлипывала, бормотала всякие некрасивые слова и угрозы, а я смотрел на зарево — мне казалось, что оно хохочет и вытанцовывает, как сумасшедшая бабка Палазя в воскресенье у сельского клуба, — и ощущал такую черную, всевластную тоску от своего одиночества и страха перед окружающей тишиной (село будто вымерло), что не в силах был поше-

[1] Внимание!
[2] Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Достаточно?
[3] Хорошо.

вельнуться и деревенел. Такое бывало со мной и прежде, когда бабуся рассказывала темными глухими вечерами про наводнение, а еще когда на кладбище плакал филин или выла на чьем-нибудь дворе собака. Бабуся никогда не пропускала случая сказать: «Если в небо воет — на пожар, а если в землю — на похороны». Я пытался представить себе, какие у собаки глаза, когда она воет, но не мог и спрашивал бабусю.

«Печальные, дитятко, бог с ними, — отвечала она и украдкой крестила меня. — Спи. Или думай лучше, во что бы ты завтра поиграл...»

Потом мне не раз приходилось оставаться одному где-нибудь в степи — только луна, солома и мыши, бегающие под ногами, а то и по ногам — или в гулкой, брошенной хозяевами хате; меня часто били, унижали до слез, но так болезненно одиноко, как тогда в бурьяне, мне еще никогда не было. Будто отравился я этой ночью...

На хуторе меня уже нагнала ночь. Я дошел до большой, в две трубы и на две двери хаты, над которой возвышались тускло-блестящие мачты антенн, и стал у калитки. За тыном чернел сад, в котором тихо, по-весеннему перешептывались черные ветви (из овражка от сгоревших танков тянуло ветерком), пахло мокрыми вишнями и не скошенным с осени бурьяном.

У первой двери — она была открыта в сени — кто-то курил и покашливал. Потом позвал:

— Заходите, кто там...

Я узнал голос Калюжного и, едва переставляя ноги, подошел ближе. Калюжный наклонился приглядываясь:

— Харитон Демьянович.

Он сказал это так ласково, радостно, улыбчато и... по-отцовски, что я, не ведая и сам, что со мной случилось, ткнулся ему лицом в расстегнутую на груди шинель и заплакал.

— Ну вот... — легонько прижимая мою голову к себе, бормотал письмоносец. — Такой веселый хлопчина, и на тебе... Ну, ну... Ничего... Это бывает и с нами, грешными.

Первым, кого я увидел, переступив порог, был Стоволос. Он сидел на низенькой скамеечке за таким же низеньким круглым столиком и ел тыквенную кашу распис-



ной деревянной ложкой — воротник гимнастерки расстегнут, ремень и портупея ослаблены, будто не ел, а тесал или ворочал тяжести.

Печь, разукрашенная синькой, топилась. Возле нее хлопотала женщина — маленькая, седая, с обвисшими пухлыми щеками. Во второй комнате — дверь в нее была распахнута настежь — с наушниками сидел Котя и тихо, но четко говорил в микрофон, держа его немного на расстоянии:

— «Береза», я «Трава»... «Береза», я «Трава»... Как слышите меня? Я «Трава», прием...

Земляной пол в обеих комнатах был прикрыт толстым слоем медно-желтой гречаной соломы, окна занавешены плотными, наверно, недавно вытканными ряднами в черную и красную полоску, стены белые, ровно подведенные снизу зеленой глиной, — чисто, уютно, празднично; давно уж не случалось мне бывать в такой ласковой хате.

Калюжный легонько подтолкнул меня в спину, как и тогда, на площади, и сказал:

— Проходи, не бойся.

Я снял шапку, тихо поздоровался, однако с места не сдвинулся: тут, у порога, в тени, хоть не видно, что зареванный.

Стоволос обернулся и, наверно, не узнав меня, равнодушно кивнул; Котя приветливо блеснул зубами и опять припал к микрофону;

— «Береза», я «Трава»...

— Это тот самый? — разглядывая меня, спросила у Калюжного седая женщина. Глаза ее влажно блестели от пламени в печи, а щеки были очень бледные, болезненно одутловатые.

Стоволос отложил ложку, тоже внимательно искоса глянул на меня, потом, суровее, — на Калюжного (я торопливо натянул шапку) и сказал женщине, ласково, даже льстиво улыбаясь:

— Спасибо, ненько. Не каша — мед. — И наклонился к ее руке, чтобы поцеловать, но она высвободила свои пухленькие пальцы из его длинных и, наверно, цепких, взлохматила ему волнистый русый чуб и сказала:

— Ну, ну, хватит ластиться... Ступай делай свое...

Стоволос все-таки поцеловал ее в запястье, быстро вышел в другую комнату и заговорил с Котей:

— Не слышно?

— Плохо. Как с того света. Забивают, черти...

— Давай попробуем еще.

Калюжный снял с меня шапку, обнял за плечи, прижимая щекой к холодной шинельной пуговице.

— Так примете хлопчину, Кондратьевна?

— А чего не принять, — женщина подошла ко мне, потрогала чуб (от нее горячо пахло печным пламенем). — Только куда его спать покласть? Разве что с Катериной на печи?.. — И засмеялась. — Ты как, смирный парубок или не очень? Не защекочешь мне девку?

У меня хватило сил лишь улыбнуться в ответ, но улыбка получилась, видно, плохонькая, потому что женщина отвела глаза в сторону, щеки ее дрогнули и, казалось, сползли еще ниже.

— Ну, ну, не обижайся. Я шучу. Стаскивай свой лапсердак да садись есть кашу, а я тем временем нагрею тебе воды. Ты ж, наверно, давно не мылся?

Я промямлил, что был недавно в прожарке, но не по-

мылся: на меня, как постороннего, не хватило воды. Однако объяснение это было похоже больше на вранье, чем на правду. Я рассердился сам на себя и сказал, как было:

— В прошлом году осенью.

Хозяйка тихо, почти неслышно засмеялась.

— Давненько, давненько...

Пока я мялся возле каши — если б хоть Стоволоса не было! — Калюжный внес со двора ведро воды, в которой плавали вишневые листья и льдинки, хозяйка перелила ее в большой чугун (льдинки вызванивали об его края) и засунула в печь. Потом они вдвоем вытащили из-под лавки широкое деревянное корыто, переговариваясь шепотом, во что бы меня переодеть, а Котя все звал и звал:

— «Береза», я «Трава»... Как слышите меня, «Береза»? Прием, прием...

Каша и вправду была как мед, сладкая и душистая. Чувствуя на себе пытливые взгляды хозяйки, я сначала ел медленно, набирал в ложку только под один бочок, потом наклонился ниже, чтобы спрятать глаза, и уже не ел, а уплетал, сгорая от стыда, что не могу себя сдержать: мне казалось, что все смотрят, как я торопливо глотаю, и от этого я давился, кашлял, утирал слезы, а когда выскреб дно, долго еще сидел над пустой миской, не решаясь поднять голову.

Между тем на меня никто не обращал внимания: хозяйка завешивала большой рядниной угол возле печи — там уже шел пар над корытом, — Калюжный копался в вещевом мешке, доставая оттуда махорку, мыло, новенькое слежавшееся белье...

Вскоре я плескался в корыте, чувствуя, как тело мое с каждой минутой становится легче, приятно щемит и пахнет черным солдатским мылом, а в голове туманится, туманится... За рядниной мерцал от пара каганец, хозяйка о чем-то вполголоса говорила с Калюжным, почтительно называя его Михаилом Васильевичем, печка дышала теплом, а на скамеечке возле корыта лежало чистое, настоящее белье... Грудь моя стеснилась от мысли, что мог бы и не попасть сюда, но я боялся радоваться, потому что уже заметил, что следом за радостью ходит беда и ждет меня...

На печи, куда меня спровадила хозяйка, а Калюжный еще и подсадил, улыбаясь и будто шутя, щекотливо

ощупывая мои сухие ребра, было чисто, бело, как в маленькой светлице. От коминов пахло свежим мелом и сухими вишнями — на них стояли жаровни, до краев наполненные сушеными фруктами. В маленькое круглое окошко, вмазанное со двора, чуть слышно, по-кошачьи царапалась веточка, и слышно было, как гудели деревья, будто там, за стеной, был не сад, а целый лес. Белье не облегало меня, а топорщилось и пахло махоркой; тело в нем казалось маленьким, и я сам себе показался на минуту еще ребенком, хотя давно уже так не думал, — даже ногами подрыгать захотелось, потолок достать или ухо большим пальцем ноги. «А ну достань ушко, сынок... Вот так, вот так... Вот и молодец!» Это когда-то отец меня учил.

За комином в другой комнате задребезжала телефонная ручка.

— Примите донесение от тридцать четвертого, — устало сказал Стоволос и принялся диктовать, твердо выговаривая каждую цифру, — восемь, три, один... Четыреста два, шестьсот сорок четыре... Повторяю... Что?! Отставить! Слушайте внимательней! Повторяю...

— А вашему старшенькому сколько? — спрашивала хозяйка Калюжного.

— Такой, как вот этот хлопчик.

— Как его зовут — этого?

— Харитон... Демьянович. По крайней мере, он так представляется.

Они тихо засмеялись.

— А младшему?

— Не знаю... Приблизительно три с половиной. Он родился уже без меня. А может, и не он, а она...

— Не слыхать?

— Нет. Уже пятое послал.

Хозяйка вздохнула:

— Ничего. Даст бог, отзовутся... — и торопливо добавила: — Ох, и ветрено сегодня, гудит, как на покрову.

Я прижал ладони к вискам, чтобы заслониться от света, и приник лбом к окошку. В садике шевелились черные, как змеи, ветки, хлестали по туго натянутым проволочным растяжкам, которые держали антенную мачту, и тоскливо подвывали деревьям; между низкими стволами яблонь и вишенок тускло белел снег, лишь кое-где над кронами деревьев мерцали звезды, мелкие, неспокойные, словно перепуганные...

Чувство неуверенности, тревоги, ожидание чего-то страшного вновь охватило меня. Я с головой укрылся теплым колючим рядном, зажал ладони коленями — эта поза еще сызмалу навевала на меня уют и блаженство — и стал припоминать свои давние радости: как отец принес когда-то с поля ежа и я катал его по хате веником, потому что он был колючий; в другой раз опять-таки отец внес только что сорванный арбуз в росе, и роса стреляла по хате острыми солнечными лучиками, а отец улыбался (его зрачки немного прятались под верхние ресницы) и говорил: «Это не арбуз, а королевская корона. Гляди, сияет!..»

А еще он любил меня стричь. Посадит посреди хаты на высокий, для меня же сделанный стульчик, обернет шею и плечи накрахмаленным рушником — чик, чик ножницами за ухом: «Не бойся, папа не порежет сына, нет...» Чик, чик... «Такая эта головка кругленькая, такая это моя крыночка. А теперь давай затылочек...» Чик, чик... «Гляди, мама: ну точно твои ушки, как лепестки. Аж солнышко просевают. А макушка отцова, одна. Мы, мама, один раз жениться будем... Да, сынок? Вот и умница...»

«У-у, умники, чтоб вы пропали!»

Почему она тогда так обзывала отца, за что? Ведь раньше — я это чуть-чуть помню — она часто заходила к нему в сарай, где он по вечерам плотничал при каганце, подвязав волосы конопляной веревочкой, а я играл на пахучих опилках и стружках, легко, словно крыло, клала ему на шею красиво согнутую в локте руку и, став стройнее, чем всегда, потому что тянулась к нему на цыпочках, приказывала: «Поцелуй меня... Еще... Еще... Ну вот, слава богу, хоть сама напросилась», — и смеялась ему в глаза.

Тогда я хватал отца за ногу, прижимался к ней, пританцовывал и неизвестно почему громко смеялся, а мама легонько, но настойчиво отталкивала меня круглым холодным коленом и говорила недовольно, даже сердито: «Подожди, не съем твоего папу. Родичи какие...»

Порою же с ней творилось что-то непонятное для меня и обидное: она целовала отца нехотя и, манежась, приговаривала: «Фу! Живицей от тебя пахнет, как от покойника, аж тошнит. И пóтом... Фу!»

Она улыбалась, произнося эти слова, но такая улыбка всегда неприятно поражала меня, и было почему-то

жаль отца. А он наклонял голову и говорил тихо: «Не знаю, по-моему, живица пахнет хорошо...»

«Не любила она его и все наше семейство, — рассказывала бабуся дядьку Марку-Накат-Його-Бог после того, как отца не стало, — потому что больше всех любила себя. Они, Короткие, все такие характером: умом не взяли, так хоть спесью наверстывали. А тут, на беду, еще и грамоту узнала, хоть и плохонькую, — Демьянко, бывало, днем плотничает, а вечером ей книжки к урокам разжевывает и в рот кладет... Он каждый день в работе и в работе, а ей в любовь поиграть хочется, как той кошке ленивой. Она и в подушки ложилась, прости господи, как та кошка: и так и эдак потянется, зевнет. Тьфу! Хоть бы с ребенком когда-нибудь поиграла, шлендра, а не мать, прости господи. Ну, теперь наживется, нашла себе пару... — Бабуся наклонялась к дядькину уху и быстро-быстро шептала что-то, а он только бровями водил то вверх, то вниз. — Словом, как говорится, какое брело, такое и нашло. Ну да господь ей судья. Пойдем, Марко, в хату, да выпьешь наливки, чтоб ему там легко икнулось, козаку...»

Дядько Марко не отказывался. А выпив, долго сидел без шапки под иконами, молчал, утирая глаза рукавом, и мигал жидкими ресницами. Потом бабуся наливала ему еще, и он начинал рассказывать про отца медленно, плотно кладя слово к слову. Может, потому его рассказ мне и запомнился:

«Как-то косили мы с ним за оврагом. Он впереди — косарь ведь был хороший, на ять! — а я за ним, хоть тоже не давал мужикам себе на пятки наступать. Косим и косим. Уже и солнышко заходить стало, вот-вот земли коснется, а нам еще работы — конца не видно... Вдруг гляжу: присел мой Демьян, косу бросил, говорит что-то потихоньку. Подхожу, а он перышко перепелиное нашел и рассматривает. Да так уж его голубит, так ласкает пальцами, словно птицу маленькую на ладони держит... «Гляди, — говорит, — Марко, перышко какое! Умрешь, а руками такого не сделаешь». — «Конечно, — говорю, — это дело божье». По мне, что оно? Перышко, да и только. А ему, видишь, нет...»

Ветер за окошком разбушевался вконец; сад уже не гудел, как раньше, а стонал, и веточка не царапалась, а мелко стучала в черное стеклышко, будто со двора кто-

то испуганно звал кого-то или предупреждал об опасности: цок-цок-цок, цок-цок-цок-цок...

Я уже дремал, когда в сенях хлопнула дверь, которая вела в другую половину хаты, послышался звонкий девичий хохот и оживленный молодой басок:

— Ступай, ступай, хватит вертихвостничать!..

И снова скрипнула дверь, кто-то хрипло, нетрезво молил:

— Ката! Ка-а-туша! Не уходи, родная... Адной минуты без тебя не магу! Жизнь ва-азми, но не ухади! Ката...

— Ой, да ну вас, дядя, к монахам... — давилась от смеха дивчина. — Ну, пустите!

Затем в хату, быстро закрыв за собой дверь, вбежали дивчина и хлопец, невысокий, но стройный, с детскими еще ямочками на щеках. Дивчина спрятала лицо в ладони и смеялась, я видел лишь ее густые роскошные волосы, небрежно заплетенные в косу, толстую, пушистую, такого цвета, как дым в лучах заходящего солнца — с позолотой...

— Катуша!.. — скреблось в сенях. — А-адну минуточку...

— Сколько раз тебе было сказано: чтоб и ноги твоей не было у этого архаровца! — рассердилась Кондратьевна и легонько шлепнула дивчину по бедру. Та гибко отшатнулась, махнув юбочкой, засмеялась еще громче.

— А ты? — хозяйка выгнула брови на хлопца. — Тоже мне сторож...

Хлопец весело заиграл ямочками.

— Разве я виноват? Говорю ей, идем, а она: «Как он чудно говорит!» Напился и лезет к ней целоваться. Я не пускаю, а он: «Вазьми мое галифе парадное с лампасами, шашку вазьми, только пазволь...» И Тельнов, ординарец его, тоже не пускает, а он: «Уйди, ты пока мой слуга, а не повелитель!..»

Наконец тот, что шарил в сенях, нащупал щеколду и, низко наклоняясь в дверях, вошел в хату. Это был долговязый, под самый потолок, горбоносый капитан в синем галифе с широкими кавалерийскими лампасами. Брови его срослись над черными острыми глазами в широкую, как лампасы, полоску, гимнастерка расстегнута, аж погоны за плечи съехали, и на груди виден синеватый треугольничек кудрявых, словно ягнячья смушка, волос. Капитан опирался на саблю в ножнах, покачи-

вался и улыбался сверху всем, показывая длинные и желтые, как тыквенные семечки, зубы...

— Катуша... Хозяечка-мамаша! Вазьми моя душа, — капитан ткнул себя кулаком в волосы на груди. — Только пазволь хатя бы адин раз пацилавать дочь Катушу! Адин раз, гаварю! Ну? Пайми: завтра Дженджибаров пайдет в бой, пагибнет, может быть, навеки, и коршун выклюет ему па-аследние глаза... Пазволь, мамаша!

Его хриплый от водки голос, звучавший из-под самого потолка, распространялся по обеим комнатам, перекрывая стон ветра за стенами, треск рации и устало-тревожное допытывание Коти у кого-то далекого, неведомого:

— Как слышите меня, «Береза», как слышите? Вас не обнаруживаю, не обнаруживаю вас! Прием...

Стоволос быстро подошел к капитану, туго подпоясанный, стройный, с тоненькой, будто ненастоящей морщинкой между бровями, и сказал резко, глядя ему в грудь:

— Вы мешаете работать, капитан. Прошу вас выйти.

— Зачем так строго, старлей! — Дженджибаров покачнулся и хотел обнять Стоволоса, но тот уклонился.

— Повторяю...

— Ну, если ты на принсип, я тоже на принсип! — вскипел капитан и сел на лавку, протянув ноги чуть ли не на середину комнаты. — Вот так. Не пайду сафсем!

— Я прикажу вас... выбросить!

— Ревнуешь, да? — Дженджибаров положил подбородок на эфес сабли и прищурил глаз. — Ревнуешь, да? Па-ани-маю... Ка-а-нешно! Ты сам фчера целовал ее в саду.

Стоволос вытянулся, сделал шаг к лавке. Катя вскрикнула, у Кондратьевны побледнели и задрожали пухлые щеки, а хлопец Иванько нахмурился.

— Выйдите, товарищ капитан, — примирительно сказал Калюжный. — Вы и в самом деле мешаете.

— Что? — удивился Дженджибаров. — Никагда в жизни не слушал приказаний... ефрейтора!

Во второй комнате цокнули о стол наушники, и через миг возле Дженджибарова очутился Котя. Он пригладил обеими руками густой блестящий ежик на голове, почтительно улыбнулся.

— Прошу извинить меня, капитан, за нарушение субординации, но мы вынуждены...

Дальше все произошло так быстро, как в немом кино перед тем, когда рвется лента: звякнула об пол сабля, капитан, взмахнув руками и ногами, очутился в воздухе, коротко охнул, скрипнул зубами и... вылетел в сени.

— Вот так, — сказал Котя, одергивая гимнастерку и сияя всем извиняющейся улыбкой. — Давайте, хозяечка, ужинать, а Калюжный послушает пока «Березу», хорошо?

— Тельнов, ка мне! — хрипло вопил в сенях капитан. — Писталет сюда! За-ви эскадрон!

— Ну полно вам, полно... Идите-ка лучше спать... — рассудительно бубнил кто-то за дверьми и покряхтывал.

— Застрелю, са-абак!

— Полноте, говорю... Чего там... Все правильно...

Потом грохнула дверь в другую половину хаты, и все умолкло.

Котя повел Калюжного к рации и тихо объяснял там:

— «Береза» работает вот тут, в сторону — ни на микрон, кругом их станции, лай страшенный... Если услышите число тридцать четыре, зовите меня, это срочное сообщение. С богом!

— Приятного аппетита.

А в это время Стоволос, высоко подняв брови, отчитывал хлопца.

— Это несерьезно, Ваня. Мы учим вас, чтобы забрать в свою часть, в связисты, а вы гулянки справляете. Поймите, что попасть на фронт человеку необученному, необстрелянному — перспектива почти нулевая. Вас просто... убьют в первом же бою. Я понимаю, вы хлопец совестливый, самоотверженный, вам себя не жаль, но подумайте о маме...

Кондратьевна благодарно-умоляюще смотрела на него, вздыхала и утирала платком глаза, а Катя сидела понурившись. Когда она на миг поднимала голову, ее глаза лукаво стреляли исподлобья на старшего лейтенанта... Он, заметив это, стал еще строже, на щеках его выступил круглый маковый румянец, как у дивчины, а голос, и без того не очень мужественный, делался еще тоньше...

За время своих скитаний я видел много влюбленных и знал, что это такое — любовь, потому что от меня этого не скрывали, просто не обращали на меня никакого внимания, и по тому, как смело, даже дерзко-весело Ка-

тя встречалась со Стоволосом глазами, я понял, что она играет с ним, а не любит.

Котя ел красиво, благородно держа ложку, не повисая над миской, как делают почти все селяне и солдаты, даже Стоволос, и разговаривал с Кондратьевной и Катей, которая низко наклонила голову и быстро-быстро перебирала пальцами распущенный кончик косы:

— Дженджибаров, хозяечка, еще ребенок, но уже испорченный. Власть... Ему сколько? Двадцать семь. А уже капитан, имеет ординарца, в какой-то степени даже козачка. Кроме того, ордена, лампасы, сабля, бурка... Чапаев! Понятно, что Калюжный для него только ефрейтор... Если бы он не обидел Михаила Васильевича, поверьте, мадонна, — Котя прижал свободную без ложки руку к груди и слегка поклонился Кате, — я никогда бы не тронул его...

Катя резко встала и кинула сердито:

— Давайте, мама, гасить свет, я хочу спать!

— Пусть же человек доест.

— Пусть человек забирает миску и кончает ужин в той комнате.

Котя тихо засмеялся, обеими руками взял миску с кашей и вышел, закрыв за собой дверь ногою в блестящем хромовом сапожке.

Я откатился к стене, укрылся рядном и зажмурился. Ветер на дворе гремел чем-то железным, поскрипывала мачта, и тоскливо гудел сад.

— ...Радиостанция РБМ-64 способна работать в двух режимах, — учительским тоном объяснял Стоволос в другой комнате, — микрофонном и телеграфном, Микрофонный режим применяется... Слушайте, Ваня, внимательно, это важный раздел...

Хозяйка что-то шептала Кате, а та сердилась:

— Ну такое вы придумаете.

— Ничего, ничего, он хлопчик смирный, ребенок еще совсем.

— Ой, ну такое...

Потом кто-то дунул на каганец, стало темно, только через комин струился приглушенный желтый свет.

— «Береза», я «Трава», вы слышите меня? — рассудительно произносил Калюжный, будто тот, кого он спрашивал, был где-то рядом.

По лежанке зашуршали босые ноги, чиркнула, загорелась спичка — и я совсем близко увидел Катю: при-

щуренные глаза сухо блестели за длинными и густыми ресницами, волосы упали на щеки, широкая белая сорочка остро натянулась на груди.

Она какое-то время смотрела на меня, свернувшегося в самом углу, потом тихо, только грудью засмеялась, и на щеках у нее задрожали две глубокие дужки-ямочки.

— Ох, какие же у него глаза, горюшко ты мое! Не глаза, а головастики! — удивилась она шепотом.— Пустишь тетку переночевать?

— Ложитесь, — я хотел отодвинуться еще дальше, но дальше уже было некуда.

— Ну, ну, чего ты меня робеешь? Я не кусаюсь! — Катя быстро юркнула под рядно и хотела обнять меня за плечи, но я отвел ее руку.

— Не нужно, мне тепло.

— О, да мы еще и с гонором!

Катя зевнула, улеглась поудобнее и вмиг уснула. А я долго слушал потом, как она дышит — словно листва на дереве шелестит летним утром; как Стоволос вполголоса учил Ваню, время от времени приказывая ему не дремать; как стелила постель в той комнате Кондратьевна, взбивая подушки, и устало потрескивал приемник.

Среди ночи меня разбудил тихий, вкрадчивый шепот над самым лицом и сильный запах винного перегара, забивавший мне дыхание.

— Ка-та... Катуша... — чьи-то цепкие пальцы быстро и больно ощупали мои бедра, живот и на какой-то миг замерли холодными клещами на груди.

— Что?.. Кто здесь?.. Катуша!..

Увидев прямо перед собой большие блестящие во тьме глаза и хищный оскал зубов, я вскрикнул и рванулся, чтобы подняться, но руки сильно прижали меня к постели.

— Кто? Кто это?..

Вдруг руки, державшие меня, увяли, и глазастое, оскаленное привидение, застонав, начало отдаляться, растворяясь в темноте. Оттуда донесся издевательски-поучающий шепот Коти:

— Ах капитан, капитан... Ты не багаж, а я не носильщик... Неужели ты этого не понимаешь, бездарный Ромео!.. Н-да, а руки у тебя тонкие, брат, — одни косточки... Как же ты саблей орудуешь?..

— Ша!.. Ч-ш-ш... — шипел Дженджибаров. — Зачем шум па-аднимать?

А рядом со мною, под комином, где я засыпал, едва сдерживала смех Катя. Как она очутилась там, а я тут?

После короткого разговора в сенях щелкнула задвижка на двери, шелестнула солома под ногами, и на печь заглянул Котя.

— Что, Харитон, струхнул? — спросил он. — Ничего, пьяный человек, вот и дебоширит. Ты спи, браток, спи...

Катя притаилась в углу, даже дышать перестала, а я, сдерживая внутреннюю дрожь, укрылся с головой и закусил губу, чтобы не заплакать от страха и обиды: что я всем им — там, у Меланьи, а теперь тут — затычка?..

Заснуть мне так и не пришлось до самого утра, потому что перед рассветом Стоволос, подменивший Котю и Калюжного, громко и, как мне показалось сквозь дрему, испуганно закричал:

— Кузовичков, Калюжный, подъем! Котя, голубчик, мигом на телефон! Михаил Васильевич, на дубляж! «Береза», я «Трава», слышу вас хорошо, хорошо слышу... Котя, передавайте...

Зашуршала одежда, задребезжал телефон, проснулась Кондратьевна:

— Что там, хлопцы, а?

— Ничего, мамаша, спите, спите... Девять, семь, четыре, три...

— Наш квадрат?

— Соседей и наш... Один, два, восемь...

— Прорыв?

— Похоже.

Я приник к окошку. На дворе белели острые сугробы, в полосках теней, за садом, над припорошенными ветвями повисла узенькая, как рубец, красная луна, а под ней вспыхивало пламя от разрывов и глухо гудела канонада.

Луна быстро меркла, тускнели звезды, ветви на деревьях проглядывали все четче и четче. Светало.

Склонив голову так, чтобы она пролезла между потолком и комином, я заглянул в другую комнату. Стоволос уже не диктовал цифр, а писал их на узкой бумажной ленте, Котя сидел рядом, держа эту ленту на пальцах, и быстро передавал:

— Два, один, шесть, четыре, ноль... Даю последнюю: Наталья, Ольга... Дальше...

— Даю дубляж, примите дубляж от тридцать четвер-

того, — неторопливо говорил в трубку другого телефона Калюжный, однако в его всегда ровном, приглушенном голосе слышалась тревога. — Что? Так... Сосед, кажется... — И он стал повторять те же цифры, что и Котя.

Где-то недалеко за селом жутко, с надрывом завыли «катюши». В окошке засверкали всполохи, часто, один за другим. На печи стало видно от резкого зеленого света, Катино лицо казалось в нем бескровным, словно меловое. Она спала на спине, закинув руки за голову, и казалось, что пальцы ее заблудились в рассыпанных на подушке подзелененных волосах да так и заснули в них... Только сорочка на груди то натягивалась туго, то опадала.

Поймав себя на том, что слишком долго, с каким-то тошновато-горячим приливом в груди смотрю туда, где шевелится Катина сорочка, я быстро отвернулся к окошку, чувствуя, как щеки мои осыпает жаром от незнанного прежде приятного стыда.

Канонада не утихала до самого утра. Однако по тому, что Котя и Калюжный говорили по телефону все реже и спокойнее, я понял, что там, далеко, где был тридцать четвертый, должно было случиться что-то страшное, но уже прошло или проходит.

Утро было безветренное, тихо пролетала негустая пороша, и сад словно отдыхал в подвижных ее сетях после ночной непогоды — ни одна веточка не шевелилась. С запада над старым, верно, еще довоенным кукурузным полем (из-под снега только кое-где торчали сломанные почерневшие стебли) почти над самой землей тащились тучи, которые, как казалось мне, пахли дымом, и солнце в прогалинах между ними чуть проглядывало сквозь холодную мглу — желтое, хмурое, слепое.

Я вышел в сад — ветки задевали мои плечи и шапку, оставляя на них белые пушистые цветочки из снега, и стал смотреть на дорогу, которой въехал позавчера в это большое овражное село. Вон тот наклоненный столб с затесанной стрелкой-указателем, похожий на перекошенный крест посреди снегов; от него дальше в гору виднеются две колеи и сходятся у горизонта клинышком; там что-то чернеет, движется, отдаляясь, становясь все меньше и меньше, пока не исчезает совсем на острие того клинышка. Где-то там Днепр. Сейчас он еще покрыт льдом, и хотя моста нет, можно перейти на тот берег.

А там уже Полтавщина: Манжелия, Пески, Шишаки, Артилярщина — в том краю я не только все дороги и проселки, а все стежки знаю.

Устроившись на куче подсолнечника, я прячу руки в рукава своего обшарпанного пиджачка, ссутуливаюсь, чтоб дышать в пазуху, закрываю глаза и дремлю на холоде, под шорох пороши в яблоневых ветвях, а передо мною — привядшие от жары сады, бузина, увешанная черными плоскими кистями, глиняные хатки позади, и солнца вокруг столько, что тени от деревьев млеют, пропитанные духотой и пылью; на пригорках — желтые тыквы между серыми опавшими листьями, а внизу пруд, усеянный режущими глаз блестками. Посреди него — загнанная, уставшая утка, а на берегу — полицаи, пьяно хохоча и лениво переругиваясь, потому что жара такая, что и говорить неохота, щелкают по ней из карабинов; утка же не кахкает и не хлопает крыльями по воде, убегая от пуль, а только хрипло вскрякивает и, видать, едва шевелит желтыми уставшими лапками; наконец голова ее падает клювом в воду, и старая серая птица замирает, вытянув в сторону одно крыло; тогда полицай бредет за нею, подкатав синие суконные штаны выше колен, и кричит своим товарищам, стоящим на берегу:

— А вода горячая, как моча, га-га-га!..

Это было в Артилярщине, соседнем с нашим селе, где я, отдыхая в холодке, впервые осознал свое одиночество, — наверно, потому, что впервые за двенадцать лет жизни очутился среди чужих людей, а может, это подстреленная утка и молчаливые увядшие сады нагнали тоску. Не знаю. Но ненадолго, потому что ощущение безграничной свободы, радость оттого, что впереди меня ждет огромный неведомый мир и никто мне в этом мире не указ, подняли меня с горячей земли под чьим-то тыном, и я пошел узенькой улочкой под вербами, ныряя из тени в солнце и снова в тень. И никто не спрашивал у меня, кто я, откуда, куда иду... Я повеселел, подбросил выше на плечо полотняную торбу-котомку с харчами, которую сам же и смастерил, и даже песню замурлыкал, шлепая подошвами по теплой пыли:

По дорозі жук, жук,
Чобітками стук, стук...—

так мне легко казалось уходить от своей пустой хаты — только пауки в ней остались, рогачи, стол да белые пятна от икон на покуте.

Дорога за селом пошла круто в гору. По обеим сторонам ее на облогах[1] роняла зерно кустистая падалишная смесь: жито, просо, гречиха, — но больше стоял безлистый от жары бурьян и сухо блестела паутина меж ним. Неподалеку от дороги кто-то пахал, прокладывая среди серого бурьяна черную полосу пашни.

Взобравшись на гору, я оглянулся: далеко в низине, за Артилярщиной, словно на ладони, виднелось в мареве мое село — узенькими коленцами изгибалась речка на лугах, белели рядами хаты, желтой полосой лежал песчаный косогор возле кладбища (он всегда спасал село от наводнения), а немного дальше, на отшибе, будто человек, выбежавший за село, стояла мельница, подняв вверх два крыла, как две руки, и будто звала: сюда, сюда...

Я припустился бежать с пригорка, торба толкала меня в спину и съезжала на затылок, как хомут, глаза жгло и резало, словно от дыма. А когда оглянулся, остановясь, чтобы отдышаться, села уже было не видно, только два крыла вырисовывались над горизонтом, но они уже не звали.

Сколько прошло времени с тех пор — год, два, три?..

Позади меня едва слышно заскрипел снег. Подошел Иванько.

— Чего ты тут, ги-ги, сидишь? — спросил он, играя ямочками на нежных девичьих щеках. — Идем синиц ловить.

— Как?

— А я покажу.

По дороге он успел рассказать мне, что радисты еще «дерут храпака», потому что ночью была какая-то заваруха и не выспались, что мать печет хлеб, что синиц он ловит каждую зиму — только в этом году не ловил, потому что прятался в погребе, чтоб не угнали в Германию, — привязывает к их ногам соломинки и выпускает.

— Для чего соломинки? — спросил я.

— А просто так, — хохотнул Иванько. — Смешно, как они болтаются.

Он достал из сарайчика сачок, поставил на снег вверх дном, сыпнул под него горсть пшена, потом достал из

[1] Облоги — залежь, невозделанная земля.

кармана палочку, к которой была привязана длинная суровая нитка, подпер ею один бок сачка так, чтобы под него свободно подлетела птичка, и получился капкан. Все это он делал быстро, суетливо, прикусив кончик высунутого языка. А когда кончил, потащил меня в сени, и мы притаились там за дверью, выжидая добычу.

Две желтогрудки, до сих пор весело чирикавшие в припорошенных ветвях — они уже чувствовали приближающуюся весну, — притихли и, вопросительно склонив головки набок, смотрели сверху сквозь сетку на пшено, потом осмелели, спорхнули с дерева на снег... Иванько затоптался на месте, шумно задышал у меня над ухом, раскрыв припухшие губы, и так сосредоточился, что из уголка рта потекла слюна.

Синички опасливо подпрыгивали все ближе и ближе к сачку, и вскоре одна из них клевала пшено уже возле колышка.

— Иди-иди-иди... — шептал Иванько, зажав нитку в пальцах так, что они аж побелели... И вдруг дерг: — Цоп! На-аша...

Синичка подпрыгнула, ударилась спинкой об сеть, упала, забила крыльями, потом застряла головкой в ячейке и, раскрыв клювик, тоненько запищала. Иванько достал ее, подсунув руку под сачок, спрятал в руке и на минуту замер улыбаясь.

— Сердечко бьется! Сквозь перья слышно: стук-стук-стук... Вот на, послушай.

— Не хочу.

Мне не понравилась эта игра и хотелось в хату, хотя и страшно было: я чувствовал, что даже глаз на Катю не посмею поднять, что сердит на нее, и не мог понять почему...

— Может, выпустим? — нерешительно спросил Иванько.

— Угу.

Он разжал руку, и синица черным комочком взлетела в порошу.

— Не нужно соломинку, правда? — Он заглянул мне в глаза. — А то еще запутается где-нибудь, повиснет, правда?

И вздохнул.

В это время на крыльцо вышел Дженджибаров, в шапке-кубанке, сбитой на затылок, в длинной, до пят, лохматой бурке.

— Привет, Вано! — весело крикнул он, показывая свои длинные желтые зубы, но, увидев меня, сморщился, прищурив глаз, плюнул далеко в снег и спросил: — А ты откуда взялся? Ты кто?

— Никто! — сказал я сердито и отвернулся.

— Видал! — весело воскликнул Дженджибаров и добавил снисходительно: — Шпана...

— Ромео! — как можно презрительней сказал я, хотя и не знал, что означает это слово, и тоже плюнул сквозь зубы.

Дженджибаров смущенно замигал, отвернулся, делая вид, будто смотрит куда-то далеко и сосредоточенно, потом сбил кубанку на брови и пошел к калитке, подбрасывая шпорами бурку, которая едва не волочилась по снегу.

— Товарищ капитан, товарищ капитан! — вынырнул из сеней лысый приземистый солдатик с большими, поросшими щетиной ушами и замахал надетым на руку сапогом.

— Ну? — неохотно обернулся Дженджибаров.

— Радисты, соседи-то наши, просили вчера лошаденку и сани в лес по дровишки съездить, хозяйке топить нечем, а вы, под мухой будучи, — виноват! — пообещали. Да как нынче-то быть, дадим?

— Ка-анешно, — равнодушно бросил капитан и, посвистывая, пошел улицей вдоль сада.

— «Ка-анешно»! — передразнил солдатик (это, наверно, и был ординарец Тельнов). — Он обещал, а мне бегай в эскадрон клянчить! — И исчез так же неприметно, как и появился.

— Чего ты с ним так, с Дженджибаровым? — спросил Иванько и снова, как это делают младшие, заглянул мне в глаза.

— Того, что он меня лапал ночью, думал — Катя.

Иванько сначала удивленно, точно так, как его мама, Кондратьевна, выгнул брови, а потом засмеялся.

— Ну и что? Подумаешь! Нельзя разве пошутить?

— Чудило ты... — сказал я ласково, чтобы не рассердить его, хотя знал, что такие хлопцы, как Иванько, не умеют сердиться, и мы молча принялись собирать снасти.

Понуря голову, лошаденка плелась степью, проваливаясь в снег чуть ли не по грудь. Сани, наезжая на су-

гробы, проваливались в них по самую плетенку, тогда Калюжный спрыгивал с передка, почмокивал губами, нокал несердито, как это делают добрые дядьки-ездовые на тяжелой дороге, и помогал лошаденке, упершись рукою в дровни.

— Ты, Харитон, сиди, сиди, — тяжело дыша мне в ухо, говорил он. — Ты, брат, не велик груз...

Шинель его обмерзла снизу, на полах висели ледяные шарики и щелкали о кирзовые голенища, позванивая, как стеклянные.

Котя шел позади саней, закинув полы расстегнутого бушлата за спину и тихо посвистывая. По степи ходили вороны, степенные и неторопливые, как озабоченные церковные старосты в серых жилетах (сколько я их ни видел при немцах, все они были с брюшками и в жилетках), а перед лошаденкой время от времени поднимались зайцы и, прижав уши, стремительно мчались по равнине. Котя по-мальчишечьи свистел им вслед, улюлюкал или запускал вдогонку снежки. И когда он размахивался, занося руку за спину, будто в ней была граната, на груди у него ослепительно взблескивали ордена.

Солнце стояло уже высоко и пригревало так, что чувствовалось сквозь одежду, а у лошаденки шел пар от шерсти на худых ребрах, шерсть сохла и делалась полосатой. Далеко впереди чернел лес, опоясанный снизу седой кромкой заснеженного кустарника — наверно, терна или молодого боярышника. Мы выбрались на проселок, лошаденка взбодрилась, пошла быстрее, выцокивая подковами по наезженной блестящей наледи.

Котя завалился боком в сани, подпер голову ладонью и потихоньку запел. А Калюжный, подложив под себя брезентовую почтовую сумку (на обратном пути он должен был заскочить «в дивизию», что разместилась на небольшой станции Треповка, и захватить почту), привлек меня свободной рукой к себе и сказал:

— Вот так, Харитон,— перебудешь с нами еще одну ночь, а назавтра снарядим тебя в дорогу. Пойдешь домой, на Полтавщину, хорошо? Ну, ну, не сердись... Не думай, что тебя кто-то прогоняет. Я понимаю, хлопец ты уже взрослый, не так годами, как... характером, наставников не потребуешь, потому что и сам насмотрелся немало, а все же послушай. И скажи по правде честно: у тебя действительно нет никого из родни или, может, убежал, побродить захотелось, а?

Он посмотрел мне в глаза так внимательно и в то же время ласково, что я даже не обиделся на такое подозрение, а в груди стало тепло, как бывает рукам, когда отойдут с мороза.

— Не я от родни, а родня от меня, — сказал я, чувствуя, что не могу да и не хочу врать дальше — устал. Да и кому бы я еще сказал правду, кто ею интересовался за эти три года? А если и интересовались, то разве что для развлечения — почмокают языком, пожалеют, вынесут кусок хлеба — и проваливай.

— Как же это случилось? — помолчав, спросил Калюжный.

Я вспомнил, как хватался за материну юбку, когда она ночью тайком уходила из хаты, как уцепился за теплое красное монисто на ее высокой белой под луной шее, и оно порвалось, прыснуло в траву посреди двора, как бабуся стояла перед ней на коленях и плакала, раскинув руки, будто хотела поймать ее, молила опомниться, и рассказал все, что помнил, что слышал долгими зимними вечерами от бабуси, и то, что придумал сам, играя в бурьяне или сидя в полутемном уголке на печи, но так привык к этому, что оно казалось мне вернее самой правды. Так я выдумал себе отца, и, когда бабуся показала мне его карточку, снятую со стены и припрятанную в сундуке под разным тряпьем, я не поверил, что это он, потому что мой отец был выше, шире в плечах, у него были длинные густые волосы и большие огнистые глаза...

...Он вернулся в тот вечер с работы невеселый, умылся, вычесал гребенкой опилки из чуба и, отказавшись от ужина, пошел в сарай, где стоял его верстак, а на полу было по колено пахучей желтой стружки. Однако за работу, как это было всегда, не принимался. Сидел на скамеечке у окна, по очереди брал в руки инструменты, рассматривал их, гладил ладонью и ровненько складывал в кучку. А когда к нему вошла бабуся Марфа спросить, что случилось, рассказал.

Под вечер, когда они с дядьком Быбом допиливали последний осокорь и торопились, к ним подъехал на линейке наш сосед Данило Птаха. Остановив коня, достал из кармана новенькой кожаной тужурки длинную папиросу и закурил, попыхивая дымом и прищуривая глаз то на отца, то на дядька Быба. Потом спросил: «А кому из вас, мужики, соб'сно го'ря, легче — тому, кто внизу, или тому, кто вверху?»

Дядько Быб молча тянул пилку (он и на посиделках, бывало, если обронит слово-два, то и хорошо), а отец сказал, вытирая пот со лба:

«Тому, кто спрашивает...»

Птаха перестал сосать папиросу, вывернул на отца вверх один глаз и медленно произнес: «Что-то у тебя, Демьян, соб'сно го'ря, ума много стало. Гляди, как бы не урезали...» — хлестнул коня и поехал.

Тогда дядько Быб сказал: «Ты, Демьянушка, не трогал бы его, так оно и не воняло бы б...»

А через несколько дней отца увезли в Полтаву.

Я даже не попрощался с ним, потому что он не велел меня будить, только поцеловал сонного и сказал матери и бабусе: «За сыном присматривайте, пока меня нет...»

Помню, что дядьки в этот день пробыли у нас до сумерек. Быб сложил в кадку инструменты отца, завернув их по одному в промасленные тряпочки, и сказал: «Если что... то целенькие будут, пригодятся, словом, а если... то продайте или еще как. Струмент добрый, в золотых руках был...» А дядько Марко посадил меня верхом на плечи и бормотал: «Если уж Демьяна, тогда и меня можно и... и...»

Когда же наступила ночь, дядьки поднялись, Марко задержался у порога: «Кто ж теперь меня подстрижет, а?»

И только тогда я понял, что отец не просто поехал куда-то, что его уже не будет, наверно, никогда, уткнулся лицом в бабусин фартук и заплакал.

Длинной была та осень. Днем дожди, по ночам ветер гудит в берестах посреди двора и рвет ворота, будто вот-вот сорвет их с петель. А вечера тоскливые, как поминки. Посидим немного при свете в сумерках, протопим печку и ложимся. Бабуся на печи стонет, молится шепотом, мама вздыхает и смотрит в потолок жутко-блестящими в темноте глазами (из школы ее выставили), и она отдала мне свои книжки играться, а мне все слышится, что в боковушке кто-то есть и рубанок будто шепчет: «ч-ши... ч-ши...»

Когда подморозило и дорога стала лучше, мама, если не было метели, шла с какими-то бумагами — сочинялись они по нескольку раз и по нескольку раз переписывались — в район и возвращалась уже под вечер, уставшая и равнодушная ко всему.

«Ничего из этой писанины не выйдет», — говорила она бабусе.

А однажды, уже весной, вернулась домой веселая и словно помолодевшая.

«Налаживается что-то. Обещают написать ходатайство в высшие инстанции», — сказала бабусе. Ко мне же с тех пор стала внимательной, нежной, даже играть со мной и сказки читать вечерами начала. А как запоздает, бывало, придет, когда уже свет зажжем, то хватает меня на руки, целует в щеки, в лоб, в глаза, больно прижимает к себе, как ненормальная сделалась.

Бабуся Марфа сначала радовалась этому — ей все казалось, что мама безразлична ко мне, раз даже сказала про нее шепотом дядьку Марку так, что я услышал: «Не женщина, не мать, прости господи!» Потом стала смотреть на эти нежности с каким-то страхом, а то и затаенной злостью. Я не понимал, что случилось, но тянуться к маме с той легкостью и доверием, как прежде, перестал. А однажды, когда она одевалась перед уходом, стоя у зеркала, бабуся спросила у нее, словно между прочим: «К чему это ты, Наталка, так наряжаешься — в гости к кому идешь, что ли?..»

«Что же мне, в лохмотья одеваться?» — удивилась мама, и я видел в зеркале, как она покраснела, а рука с ваткой, обмакнутой в пудру, вздрогнула.

— Я-а-асно... — сказал Котя, соскочил с саней и пошел рядом. — С кем же она ум... ум... снюхалась?

— Ко-стя!.. — укоризненно глянул на него Калюжный, но я не понял почему, и охотно ответил:

— Кто знает. Говорила бабуся, что с кем-то из города.

Мне стало холодно, может, потому, что засиделся в санях, а может, потому, что в груди, только начал рассказывать, ожила знакомая зябкая дрожь. Такое со мной уже было — у Меланьи, когда запустил молоток в старого Личака. Должно быть, у меня и вправду какая-то болезнь...

— Та-ак... — произнес Котя, поглядывая на Калюжного. — Ну, с матерью все понятно... А с отцом — что-то не то, брат. Что-то тут бабуся твоя не договорила, или же ты забыл. Как это так: раз-два, и нет человека! Не-ет, такого не может быть. Правду я говорю, Михал Васильич?

Калюжный опустил голову и молчал, подергивая вожжи.

— А если это правда, — распалялся Котя, — тогда... Вот он рассказывает, Михал Васильич, про этих двух отцовских товарищей, и выходит, что они люди. А по-моему, кугуты[1]! «Кто меня подстрижет...», «Тогда и меня можно...» Ну, не кугуты? Да я... я голову сверну каждому, кто хоть пальцем шевельнет против честного человека, если я знаю, что он честный, тем более мой друг, работяга, напарник! Ну? Ах, черт! Шапки поснимали... Разве ж это люди, а? «Человек — это звучит гордо!» А? К-кугуты!

Калюжный невесело усмехнулся.

— Вы, Костя, рыцарь... Но рыцарь без щита. Хотя и это славно, и это прекрасно...

У леса сугробы стали выше, дорога пошла вдоль кустарника, придавленного к земле тяжелыми глыбами мерзлого снега. Из-под кустов зияли круглые черные норы — лисьи и заячьи ходы. На опушке в стороне от дороги сновали какие-то люди, копались в сугробах, как воронье, там, в степи.

— Что они делают? — спросил я.

Котя и Калюжный переглянулись.

— Убитых ищут, — сказал Калюжный. — Ночью тут был бой...

Мы поравнялись с машиной, которая стояла на дороге и потихоньку гудела, чадя из-под кузова голубым дымком. У открытой дверцы кабины, в которой, положив на руль большую тетрадь, сидел офицер в новенькой шинели и быстро писал, толпились солдаты, листали на ладонях истрепанные документы и докладывали:

— Миленький Петр Федорович, номер книжки 3462800, год рождения 1922, рядовой...

— Хараша-а-а... — причмокивал толстыми губами другой солдат в сбитой на глаз шапке, разглядывая карточку. — Да-а, с такой не мешало бы и пошшикотацца, га-га!..

— Скотина ты, Петров, животная. Вот...

— А че?

— Да ниче. Давай улепетывай...

— Ну ты!..

[1] Кугут (*презрит.*) — равнодушный, бездеятельный человек, «моя хата с краю».

— Д-дура!..

— Прекратить базар! — крикнул из кабины офицер. — Следующий.

— Дятлов Иннокентий, номер книжки...

— Сердитые хлопцы,— невесело улыбнулся Котя.

— Такая работа... — сказал Калюжный.

В лесу стояла храмовая тишина. С деревьев неслышно, словно белые птицы, спархивали и садились на сугробы пушистые, легонькие гроздья снега; сквозь голые ветви чуть наискосок светило солнце, тут и там зияли на стволах свежие нежно-желтые зазубрины от осколков, и казалось, что эти раненые деревья потихоньку стонут, обласканные теплыми в затишке лучами.

Оставив лошаденку на опушке — она сразу же подломила задние ноги, словно присела, и опустила голову, — Калюжный с Костей, проваливаясь в сугробах, пошли искать сухостой.

— А ты, Харитон, побегай вокруг саней да погрейся — сказал мне Калюжный, улыбаясь так, что я аж вздрогнул: в его улыбке было что-то очень знакомое, родное мне, но забытое, точно снилось когда-то давно, давно...

«Отец! — вспомнил я вдруг. — Так улыбался отец!» И было это в лесу, тоже зимой. И у нас была такая же старая лошаденка. И отец сказал мне тогда: «Попрыгай, сынок, а я пойду волчика-братика из лесу выгоню».

А может, он сказал это в другой раз? Может. Но я твердо знаю, что это было, было...

Когда на опушке, горбясь под длинным сухим стволом (срез у него был красный), показался Калюжный, я побежал ему навстречу, ухватился за сучок и тоже принялся тащить, хекая, дергая сильнее, чем нужно, потому что хотел, чтобы ему было совсем легко. И он сказал, переводя дух:

— Не очень, не очень, сынок (он так и сказал: «сынок»!), налегай, а то меня аж в сторону ведет. Старый уже, заезженный конь, так ведь?

— Нет, нет!

— Ну вот и хорошо. А ты цепкий в руках, видно, жилистый...

Мы взвалили дерево на сани и стояли друг против друга, тяжело дыша, согретые и возбужденные работой.

— Чего ты, сынок, смотришь на меня так, будто только что узнал?

— Да...

Калюжный опустил глаза, торопливо достал из кармана табак, газету и стал сворачивать цигарку трясущимися от недавнего напряжения пальцами. Из-под седых волос на висках выкатились две крупные капли пота и проложили дорожки к обветренной, в красных прожилках шее.

— Ничего, Харитон, — сказал он, вытерев виски рукавом шинели. — Вот закончится война, и заживем мы с тобой вместе. Хочешь?

— Не знаю...

— Почему бы и нет? Пойдешь в школу... Ты сколько классов кончил? Четыре? Ничего, ты свое еще догонишь. В институт или техникум поступишь. В Харькове их много. И будут з тебе люде, как говорил Шевченко. Знаешь, кто это?

— Я и стих знаю один.

— А ну какой?

— Вот этот, что

І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краі,
то одинокому мені
здається — кращого немає
нічого в бога, як Дніпро
та наша славная країна...
Аж бачу, там тільки добро,
де нас нема...

— А еще какой знаешь?

— Ну вот этот еще, в школе учили:

Іде брат мій в армію
посеред зими.
Братику мій, братику,
ти й мене візьми...

Калюжный слушал внимательно, потом сказал:

— Ну, это не то. Не стихотворение, а кленовый пропеллер: сюда-туда круть-верть... Война в нем — игрушка. А разве она такая? Ты ж видел, знаешь. Не то, так ведь?

— Угу...

— А уходить тебе отсюда нужно как можно скорее, потому что... фронт сейчас не там, — Калюжный кивнул головой на запад, — а по бокам у нас. Слышал, что ночью творилось? Ну вот. Отрезать нас хотели немцы,

окружить. Сегодня не удалось, а завтра, может, и удастся... Вот так. А придешь домой, первое, что нужно тебе сделать, — расспроси у людей или в сельсовете, не было ли письма от отца... Если есть, напиши ему, что ты жив-здоров, учишься, помнишь и ждешь его. Веселенькое, одним словом, письмо пошли. А о матери, о том, что с нею случилось, не пиши пока. Выдумай что-нибудь. Ну, например, что вы растерялись с нею где-то — война, мол, всякое бывает... Да не хмурься, не хмурься, я не о ней забочусь, а об отце... Если же никакой весточки нет, все равно никуда из села не уходи, потому что я тебя буду искать после войны. А сейчас письма писать буду. Хочешь?

— А если вас окружат?

— Ну, об этом ты не тревожься. Окружат — выскочим как-нибудь, не впервой.

Котя притащил сразу два дерева, на обоих плечах, кинул их в сани, утерся ладонью.

— Ах, какое милое дело работа, Михал Васильич! Вот так впрягся бы и ни о чем больше не думал, ни о чем.

— Соскучились?

— О-о!..

— А чемоданы — легкого, тяжелого, среднего веса? — прищурил глаза Калюжный. — Вы так красочно, с таким знанием дела рассказывали...

— Чемоданы? — Котя весело засмеялся. — Это, Михал Васильич, результат перронных наблюдений вечерами после работы. Перрон и вообще станция на Донбассе — это место отдыха, встреч, развлечений: поезда, пассажиры, «Жигулевское», машинисты с железными сундучками в руках... Не знаю, как где, а у нас, в Донбассе, машинистов принято встречать. Жены, дети... Стоят в самом конце перрона, у пакгаузов — отец скоро приведет поезд. Они узнают гудок его паровоза безошибочно, просыпаются от него ночью. Женщины говорят: «Это мой поехал», отцы — «Наш Петя или Коля», дети — «Папа свистит». У меня в детстве только и мечта была — стать машинистом ФД и водить бронепоезда. Старенькая, потрескавшаяся кожанка, натянутый на брови козырек, взрывы впереди, позади, я резко торможу, хватаюсь за раненое плечо, но не бросаю рычагов. «Вы ранены! — кричит мне кочегар. — Товарищ Кузовчиков, разрешите вас перевязать!» — «Некогда, потом, по-

том», — говорю я ему сквозь стиснутые зубы. Н-да... Вот только фамилия мне моя не нравилась, несерьезная для такой ситуации... Представьте себе: Чапаев, Голота, Жухрай, Корчагин и... Кузовчиков! Ну, не трагедия, скажете?!

Мы возвращались назад, когда солнце стояло уже над головой. В стороне от дороги, прямо посреди поля несколько солдат рыли яму, а остальные сносили убитых, без носилок, держа их за руки и за ноги, так что полы их шинелей волочились по снегу. Машина — старенький ЗИС, — как и прежде, стояла на дороге, урчала, содрогалась от мотора. В кабине, уронив голову на грудь, спал офицер. Рядом с ним на сиденье лежала развернутая тетрадь, исписанная ровными столбиками.

— Сто восемьдесят семь душ, — сказал Котя, мимоходом заглянув в тетрадь. — И это за какие-нибудь полтора часа...

Черный холмик посреди снегов, где рыли братскую могилу, быстро рос, наверно, грунт шел уже не мерзлый, и солдаты-могильщики стояли в яме по плечи.

— Война, Костя, да и всякие другие драматические периоды в жизни людей, — заговорил Калюжный, надевая сплюснутую почтовую сумку через плечо (впереди уже виднелся проселок на станцию, где под снегами торчал темный грибок водонапорной башни), — ужасны тем, что забирают в первую очередь людей самоотверженных, которые живут по принципу: «Если я только для себя, то зачем я?» А мелкое, эгоистическое, осторожное во имя самого себя и только своих интересов — обыватель, короче говоря, выживает, потому что лучше приспособлен к жизни... У него более развитый инстинкт самосохранения. «Выжил, потому что сумел» — формула обывателя, его катехизис и заповедь потомкам. Как сумел — это не имеет значения. Смолчал, спрятался за чью-то спину, прикинулся дурачком или оболгал неугодного соседа, как этот вот Птаха, — какая, в конце концов, разница? На кого, подумай, делал ставку Гитлер? На обывателя, Spießbürger, на его обывательский желудок, самовлюбленность и так называемый патриотизм, Patriatismus, уничтоживший не только граждан, но и самую идею гражданственности...

— Вы тоже соскучились по своему предмету, — заметил Котя.

— Соскучился, откровенно говоря, — согласился Ка-

люжный. — Верите, уже три года не держал в руках ни одной книжки по истории, а предмет, кажется, знаю теперь лучше, чем до войны. Прочувствовал!

— Как я сегодня работу, — подхватил Котя и посмотрел на меня задумчиво-серьезными, умными глазами. — Вот так, Харитон Демьянович, — прибавил он. — Учиться нам с тобою нужно, брат, учиться...

«А Катя... — подумалось мне, — неужели она не видит, что он самый лучший?» И я поклялся себе, что больше никогда не посмотрю на нее так, как этой ночью. И мне стало неожиданно легко, весело от этой первой в моей жизни тайны. Так со мною было только раз, когда отдал самую лучшую свою игрушку (кукушку из часов) Птаховой девочке Гале, хотя бабуся и рассердилась тогда и сказала: «Нашел кому подарки дарить...»

На развилке дорог, между селом и станцией, Калюжный завязал треух под подбородком — крепчал вечерний мороз, — спрятал руки в рукава, улыбнулся нам с Котей: «Поезжайте, счастливо», — и пошел по сугробам, прижимая локтем пустую сумку. Потом обернулся, кивнул головой — я понял, что это он мне, — и снова зашагал, невысокий, сгорбленный, в длинной шинели, подпоясанной ниже хлястика...

Мы были уже у села, когда из левад, между вербами вдоль дороги, показалась длинная колонна людей в штатском.

— Котомошников ведут, что ли? — сказал Котя, приглядываясь.

Мы свернули с дороги и стали.

Колонна — впереди нее шло несколько военных — быстро приближалась: старые, молодые, высокие, низенькие люди, улыбающиеся, хмурые, безликие; стеганки, кожухи, пальто, вылинявшие брезентовые плащи, натянутые поверх теплой одежды; белые, черные, одноцветные, полосатые, из рядна торбы — скрип, скрип, скрип снега под ногами.

— Ну-ка не наступай на пятки!

— А ты иди да не лови ворон.

— Митька, подбери ногу!

— У меня своих две, ха-ха!

— Замолчите, сверчки!..

— А разве нельзя?

— Р-р-разговорчики!

— Слыхал?

— Так ведь это не я, а он начал...

И вдруг:

— Дядя Костя, Харитон! А я вот! Вот я!

Почти в конце колонны шел Иванько. Щеки красные, глаза возбужденно блестят, и две ямки, словно два гнездышка, у уголков улыбчатого рта.

— Ах, черт! — воскликнул Котя, подбежал к колонне, выдернул из нее Иванька. — Стой, как же это, а? А Стоволос? Как случилось, что тебя взяли?

— А что? — весело удивился Иванько. — Взяли, и все. Пришел в хату какой-то капитан, спросил фамилию. «Так что, орел, пойдем воевать?» — смеется. «Пойдем»,— говорю. «Ну тогда давай с вещами в школу». А Стоволос: «Мы его, товарищ капитан, себе оставляем, при нашей части». А тот: «Бросьте, старший лейтенант, эту самодеятельность». Даже поругались. А что? Так еще лучше. Обмундируют, сказали, автомат дадут — мы все автоматчиками будем! — а после обучения, говорят, в оборону станем.

— Догоняй! — крикнули из колонны.

Котя побежал вместе с Иваньком, обняв его за плечи, поверх белой полотняной сумки, что-то говоря ему на ходу и жестикулируя свободной рукой. Но Иванько, наверно, плохо слушал его, потому что обернулся и крикнул мне:

— Харитон! Слышишь? Сачок там, в сарае, и палочка с веревочкой там, над дверью. Если захочешь половить синиц — бери. Лыжи тоже там, бери. Слышишь?.. — и голос его сломался, задрожал.

Я сорвал с головы шапку и помахал ему. А Котя притянул его к себе, поцеловал и все что-то говорил, говорил. Дальше Иванько побежал один, то и дело оглядываясь, споткнулся, заковылял и в последний раз засиял улыбкой, когда уже пристал к колонне.

— Пропадет хлопчина, — сказал Котя, вернувшись, и молчал до самого двора.

Сумерки в хате были печальные. Кондратьевна и Катя тихо плакали, склонившись друг к другу головами, уговаривали одна другую перестать и снова плакали.

— Погибнет ведь он, соколик мой, несмышленый, неразумный, — шептала Кондратьевна. — Да хоть бы

ему товарищ попался путный, постарше да поразумнее, так, может, присмотрел бы за ним, наставил, когда нужно...

Стоволос сидел во второй комнате с наушниками на висках и неподвижными глазами смотрел на зеленый огонек рации, что чуть приметно пульсировал в полутьме, — было в нем что-то тревожное, как предчувствие грозы, может, потому, что станция молчала. А в другой половине хаты, через сени, тоскливо ныл пьяный Джендживаров:

Ка-ак я лублу
а глубину тваих ласкавых глас,
ка-ак я хачу к ним прижацца сичас
а губами-и...

Котя, до сих пор молча копавшийся в разобранном телефонном аппарате при свете керосиновой лампы-трехлинейки, сказал Стоволосу, не оборачиваясь:

— Я до комдива дошел бы, до штаба фронта, а не отдал бы хлопца...

Стоволос вскочил из-за радиостанции, сбил наушники на затылок и тоненько выкрикнул:

— Вы, товарищ Кузовчиков, можете не уважать меня как человека, но обязаны уважать мое звание и не вмешиваться в мои действия!

Котя пожал плечами, ниже склонился над телефоном. Они долго молчали. Потом Котя сказал негромко:

— Прости, Рома, я понимаю, что ты не мог ничего сделать, прости...

В хате сгустилась тьма, тупо бухали взрывы неподалеку, и гудели самолеты, то завывая натужно, перегруженно, то вдруг совсем затихая. Я выглянул в окно: над белыми призраками деревьев за садом двумя багряными коронами поднималось зарево: оно быстро поднималось, разливалось вширь, заполняя хату подвижными черно-розовыми отблесками.

...Ве-еру тебе-е-е,
а дарагай-а па-адруга май-а-а...

— О господи, хоть бы он замолчал, — простонала Кондратьевна. — Воет, прости господи, как собака на пожар... Завешивай, Катерина, окна да зажигай свет.

Катя медленно поднялась с лавки, зашуршала ряднами, а я, нащупав каганец, засветил его и, не разде-

ваясь, присел на полу у лежанки. Котя, переговорив о чем-то вполголоса со Стоволосом, вошел в комнату (Катя сразу наклонила голову и пальцы ее забегали по бахроме черного в цветах платка) и сказал:

— Сегодня, хозяюшка, должны вернуться наши хлопцы из тыла на машине, так вы бы собрали свои вещи, самые необходимые... Старший лейтенант прикажет шоферу отвезти вас отсюда, в Знаменку хотя бы... У вас нет там родичей или хороших знакомых?

— Спасибо, сынок, — тихо ответила Кондратьевна. — Родичей у меня нигде нет, знакомых тоже. Да хотя бы и были, никуда я отсюда не уеду.

— Понимаете, — сказал Котя сурово, — оставаться тут сейчас небезопасно: со дня на день, если не с часу на час, тут может начаться бой.

— Ничего, пересидим как-нибудь, — вздохнула Кондратьевна. — Всю войну переждали, а теперь... Иванько за версту от дома, а я уеду?

— Иванько уже солдат, вы ему ничем не сможете помочь, мама...

При последнем слове Катя быстро взглянула на Котю и покраснела.

— Нет, нет, — покачала головой Кондратьевна. — И не беспокойтесь...

— А вы тут останетесь, если будет бой? — чуть слышно спросила Катя.

— Мы тоже солдаты, Катенька... — улыбнулся ей Котя.

В это время во дворе загудела машина, послышались чьи-то голоса. Потом кто-то постучал в окно.

— Отворяйте, хозяйка!

Кондратьевна отвела конец рядна, прильнула к стеклу:

— Сейчас, голубчик, сейчас, — и пошла отворять.

— Давай, хлопцы! — крикнули от окна.

Послышался топот многих ног, скрипнули двери в сенях.

— Сюда заноси... Так, выше поднимай...

— Ой боже, кто это?! — вскрикнула Кондратьевна.

— Посторонитесь, мамаша, посторонитесь...

Распахнулись двери, и в хату, пятясь и загребая солому сапогами, вошли солдаты, неся на плащ-палатке что-то тяжелое, накрытое шинелью. Следом за ними, ударившись плечом о косяк, вбежала Кондратьевна.

— Да скажите же мне, кто это? — она упала на колени, рванула к себе шинель.

На плащ-палатке боком, по-детски поджав ноги и прижав к животу почтовую сумку, лежал Калюжный. Холодные пустые глаза его были широко раскрыты, руки, сомкнутые поверх сумки, затекли меж пальцами кровью, шея неестественно вытянулась, и воротник, подшитый снизу белым, стоял над нею, как обод.

Кондратьевна выпустила из рук окровавленную полу шинели и прошептала:

— Михайло Васильевич... Как же это вы, Васильевич, не убереглись, а?.. Господи...

Котя стал на колени, взял Калюжного за руку и легонько потянул к себе, но пальцы не разомкнулись, только хрустнули.

— Пульс? — спросил Стоволос. — Что, нет?..

— Какой пульс! — рассердился Котя. — Холодный он... Руки сложить нужно, глаза закрыть.

Кто-то из солдат, толпившихся у порога с шапками в руках (тут были и знакомые мне два радиста, которые спали тогда в кузове), сказал:

— Он еще в Треповке умер... Осколок такой вот в живот... Целый хвостовик с бомбы...

Котя взглянул на меня и сказал:

— Сними, Харитон, шапку.

Я поднялся и, не отводя взгляда от пустых глаз Калюжного, вышел из хаты в сад. Твердая, как петля, судорога свела мне горло, я не плакал, лишь пищал тоненько, пробовал откашляться, однако от этого писк становился сильнее; голова наливалась чем-то горячим, заболели уши и шея. Я еще чувствовал, что падаю, погружаюсь в теплое вязкое месиво ночи, схватился руками за холодную ветку, но не удержался...

Солнце, молодое, весеннее, аж трубит над степью. Черные полосы земли курятся зыбкими испарениями, ломая очертания хат, деревьев, телефонных столбов вдали, а по оврагам и балкам белые косяки снега, как взмах белого платочка — прощай, прощай...

Я иду, опираясь на палку и едва переставляя ноги. Одолею метров триста и, увидя сухой клочок земли, сажусь передохнуть. В ногах слабость, в висках стоит непрерывный тоненький звон, и глазам больно смотреть на

дрожащее марево — тогда я крепко смыкаю веки и кладу голову на согнутые колени.

Харчи у меня бедненькие: черствая солдатская буханка, порезанная на большие неровные ломти, кусочек маргарина и спичечный коробочек соли. Но я и не прошу больше, потому что не естся и то, что есть. Отщипну хлеба, макну сначала в маргарин — он растаял в сумке от солнца, — потом в соль, пожую, напьюсь воды из погнутой алюминиевой фляжки и иду потихоньку дальше. В дороге я уже вторую неделю, а еще и до Днепра не добрался. Все мне тяжело: и сумка с харчами, и одежда, и ноги, и плечи, даже палка. Пробовал идти без нее — качает, так меня болезнь истрепала. А теперь ничего, дело пошло на поправку, «отпустило», как любила говорить покойная бабуся Марфа. И с каждым днем все чаще словно из тумана выплывают воспоминания о той последней ночи в Тридолях, когда я заболел вот так неожиданно.

Сколько лежал тогда в саду в сугробе, не знаю. Слышал лишь как во сне, что меня звали, разговаривали где-то рядом, пилили, стучали, звенели лопатами о замерзшую землю, а подняться, откликнуться, даже шевелиться не мог, потому что тело будто поделилось на частички, и каждая из них не слушалась, не подчинялась другим.

Меня нашел Котя, взял на руки — я сам себе показался перышком — понес в хату, выдыхая мне в лицо:

«Ну вот, совсем расклеился ты, брат Харитон... Нельзя же так...»

В хате было полно солдат. Они рылись в окровавленных письмах, высыпав их из сумки прямо на пол, пробирались с ними к каганчику, чтобы разобрать, кому эти письма адресованы. Калюжный лежал в гробу из старых серых досок — худенький, как мальчик, седой, с закрытыми уже глазами. У гроба сидела Кондратьевна, Кати не было видно, наверно, спряталась на печь, а в другой комнате суетились радисты, звонили телефоны, напряженно пульсировал огонек на радиостанции.

Потом Калюжного вынесли — Тельнов, Котя и еще два солдата, а Дженджибаров заглядывал через их головы в гроб, хмурился и бормотал: «Ай-я-я... Как не уберьогся, старик, а?.. Сафсем не уберьогся...»

Что было дальше, не помню, — должно быть, я заснул. Проснулся уже в кузове машины оттого, что бился

головой о что-то твердое и тупое. Небо светлело, завывал мотор, где-то близко разрывались снаряды, свистели осколки и ударялись в кабину. Меня кто-то прижимал к кованному железом дну кузова и кричал:

«Мамаша, Катя, головы прячьте, головы! Ну! Ложись, говорю!»

Это был Стоволос. Он налег на меня боком и давил локтем в грудь, а другой рукой хватал Катю за плечо и тащил к себе. Рот его скривился набок, шапка над ухом была прорвана, и из-под нее на подбородок узенькой полоской стекала кровь.

«А Котя, где Котя?! — закричал я, оттолкнув обеими руками плечо Стоволоса. — Котя где, спрашиваю!»

«Лежи, малый!» — Стоволос сердито прижал меня к борту.

Машину бросало из стороны в сторону, дребезжало какое-то железо, двигались и подпрыгивали ящики, я отталкивал их ногами. Потом почти рядом с бортом вспыхнул красный столб огня, меня подбросило вверх, обдало пороховым дымом, в глазах зажглось, и сразу стало легко дышать, потому что уже никто не давил мне на грудь.

«Вот и хорошо. Вот так бы и ехать», — промелькнула последняя мысль, и меня окутало мягкое, словно шерсть кожуха, тепло...

Очнулся я уже в хате, на твердой соломенной трухе. По обеим сторонам от меня лежали какие-то люди, белели бинты, мерцал каганец — утро ли это было или вечер, кто знает, — остро пахло лекарствами, а возле лавки, уткнувшись лбом в забинтованную грудь солдата, стояла на коленях женщина в клетчатой шали и плакала, приговаривая шепотом:

— Дмитрик, рыбонька моя золотая... Не молчи... Хоть словечком отзовись, слышишь?..

Я узнал Меланью, хотел окликнуть ее, но не хватило голоса, только прошипело что-то в горле, и снова меня убаюкало в теплом меху. Слышал только, как кто-то входил и выходил из хаты, как на ноги накатывалась и ложилась холодная волна от порога, как меня щупали за руки и укрывали чем-то тяжелым. Потом кто-то приказал твердым, немного хрипловатым баском:

— Уберите эту женщину!

— Ну что еще? Он вам кто — муж, брат? Ах, знакомый? Уходите, уходите, пожалуйста! Здесь не место

посторонним. Что? За кем присматривать? У нас есть кому присматривать!

Я тоже, наверно, говорил что-то, потому что меня легонько расталкивали, наклонялись ко мне так близко, что я чувствовал табачный дым изо рта, и спрашивали:

— О чем ты, мальчик, а? Котя, Катя... Что за чепуха? О ком ты спрашиваешь? Ах, Стоволос. Не знаю, дорогой, не знаю.

Потом говорил не со мной и очень сердито:

— Я, кажется, приказывал никого сюда не пускать! Что? К мальчику? Да, пусть пройдут.

Я открыл глаза. У порога стоял Котя. Он был бледный, небритый и улыбался мне серыми, как у больного, губами. Одна рука его была подвязана бинтом и лежала на груди, а в другой он держал шапку. Котя шагнул ко мне и присел на корточки.

— Живой-крепкий!.. — сморщился в улыбке. — Вот и молодец.

— Вас ранило? — спросил я и впервые услышал свой голос. Он казался мне совсем чужим.

— Клюнуло малость...

— А Катя, Кондратьевна, Стоволос где?

— Нет Кати... — тихо проговорил он и отвернулся.— И старшего лейтенанта нет. Их обоих посекло так, что трудно было узнать. Тебя шофер оттуда вынес. А Кондратьевна жива. И Иванько. Он тут в соседней хате лежит. В колени ранен, в обе чашечки...

— Что тогда было ночью?

— Прорыв... То, чего мы и ждали. А Михаил Васильевич... Помнишь? Ну, ну, не плачь... Тут что ж... война... Ничего не поделаешь...

— Уходите, товарищ, — сказал Коте седой человек в белом халате, из-под которого на плечах твердо выступали погоны. — Зачем ему, — он кивнул на меня, — все эти ваши новости?

Котя поднялся.

— Я буду забегать к тебе, пока нас переформируют, — сказал, одной рукой надевая шапку, подмигнул мне уже от порога, улыбнулся криво. — Выздоравливай, брат...

Я больше не видел его. Ходил по селу, когда меня выпустили из хаты-госпиталя, расспрашивал незнакомых солдат, но никто из них о радистах ничего не знал. Кондратьевны и Иванька тоже не было. Тяжелораненых вы-

везли куда-то на Знаменку, как мне сказали, за ними пошли пешком все женщины и матери, потому что на машины их не взяли.

...Далеко впереди блеснула под солнцем узкая голубая полоска воды и снова исчезла. Воздух стал прохладнее, потянуло влагой. А вечером я сидел на берегу Днепра. Внизу под кручей бились волны, шелестела, осыпаясь струйками, красная сухая глина, и пена от нее у берега тоже была красная. А за Днепром купались в мареве знакомые мне уже села и курились дымки над садами — скоро огороды копать начнут, деревья подбеливать, хаты... Уцелела ли наша хата? Может, теперь, как пойду работать в колхоз, ее уже не отпишут?

Я поднялся с теплой прошлогодней травы, причесанной в одну сторону, наверно, весенними потоками, и, опираясь на палку, побрел потихоньку вдоль берега искать перевоз...

РАССКАЗЫ

ЗАВЯЗЬ

— Куда это ты, парень, вырядился? — спрашивает дед Лаврин, сидящий на полу, и покашливает насмешливо, словно и вправду что-то обо мне знает. А что в том такого, что я новую рубашку напялил и хохолок на голове прислюнил, — может, я на собрание пойду?

В хате стемнело так, что и плесени по углам не видно, и стекла посинели, как в предгрозье. А под полом белеет картошка: ростки выбросила, в землю просится.

Пора мне идти.

Достаю из сундучка одеколон, поливаю носовой платок и замечаю, как на щеке у деда шевелится черненькое дупло, вывернутое когда-то больным зубом: смеется. Въедливый — страх! И я знаю почему.

Прежде, бывало, только вечер наступит, так он и заводит: про то, как ему в австрийском плену жилось, какие там пироги пекут да как там хорошо из-под коров вычищают. А уж как зима придет, как завьюжит, я и с печи не слезаю. Сижу, пою с дедом колядки разные: он — басом, а я — альтом:

Звiзда гряде чудно
З восток на полудно.

Над вертепом сіяє
Христа-царя являє...

А теперь кончилось. Теперь я... сам ведь говорит: парубок...

Иду к двери, а он:

— Вот как женишься на той вертихвостке, так кислички тебе, внучек, не только сниться будут, а еще и мерещиться.

— Деда, перестаньте, — прошу я.

— ...потому как эта девка из той пыли, что черти на дорогах крутят!

— Просто у нее крепкий характер, — говорю спокойно, лишь бы поскорее вырваться из дома.

— Ну да, — бубнит, — и тюрьма крепкая, да черт ей рад...

А, хватит. Хлопаю дверью и выхожу.

На дворе пахнет молодыми листьями осокоря, а с грядок тянет теплым перегноем, прошлогодним бурьяном и мокрой золой. Сад уже отцвел и густо укрыл землю белыми лепестками. Ветер каждый день понемногу выгребает их на дорогу, а если ночью идет какая-нибудь заблудившаяся машина, они розовым валом катятся за нею следом до самого моста, а там падают в реку.

По ту сторону дороги, где-то далеко в степи, за садами, трепещет красное зарево: то присядет до самой земли — и тогда в селе становится по-ночному темно и глухо, то вновь взлетает вверх до Стожар, подкрашивая молоденькие осокорчики красным мелом, — видно, трактористы старую солому жгут.

Иду в самый конец сада, к оврагу, и уже издали вижу белую фигурку на меже нашего огорода и соседского. Это — Соня. Ждет... Мне кажется, что я раздаюсь в плечах, и шаг мой становится тверже, и что вроде бы я вот-вот взлечу. А голоса — голоса вдруг не хватает...

— Соня, — бормочу шепеляво и противно, — это ты?

— Нет, это не я, — отзывается она и тихонько смеется. — Это ведьма.

Потом крепко берет меня под руку, слегка налегает на нее теплой упругой грудью.

— Идем, я тебе снег покажу, — воркует на ухо. — Там, в овраге.

Мы спускаемся с кручи в черную холодную пропасть,

поддерживая друг друга и хватаясь руками за мокрые, крепкие стебли. В овраге и вправду пахнет талым снегом, — точно кора усохшей ольхи, а под ногами что-то гудит и поскрипывает.

— Гляди, — говорит Соня, запрокидывая голову и щекоча мой подбородок горячими губами. — Ну что, а ты не верил...

В небо снова вырвалось зарево, и в овраге посветлело настолько, что мне становятся хорошо видны Сонины глаза. Они какие-то странные: будто и испуганные немного, и смеются. У меня немеют ноги, делаются, как тряпочные. А голова клонится, клонится...

А что, думаю, как я ее поцелую, а она мне пощечину влепит? Бывает же так. Вон и в кино показывают... И шея перестает гнуться, словно ее судорога сводит.

А Соня уже и не смеется, и глаза прищурила так сердито, что... Нет. Пусть лучше в другой раз.

Вот так и торчу столбом возле нее, не зная, что и сказать, пока она не заговаривает:

— Миколка, давай я будут падать, а ты меня держи. А ну, удержишь?

— Ого, еще как! — вскрикиваю, хватаю ее за тоненькую талию, но вдруг оскальзываюсь и со страхом и отвращением к себе чувствую, что вот-вот шлепнемся в грязь.

А она сердито вырывается из рук и, как кипятком, ошпаривает меня злым взглядом:

— Пусти! Силач...

— Поскользнулся, — мямлю, — разве я виноват, что тут скользко?

Соня упрямо отворачивается и молчит. А у меня перед глазами возникает дед Лаврин, шевелит черным дуплом на щеке, ухмыляется. Может, он и вправду сказал, что — кислички...

Воспоминание о дедушке придает мне смелости.

— Ну, — говорю, — раз так, то что ж...

Берусь рукой за куст и, тверже, чем нужно, упираясь ногами в кручу, лезу вверх.

— Миколка, а я? — жалобно шепчет Соня.

И от этого шепота у меня мутится в голове, а сердце начинает вызванивать, как колокол. Прыгаю вниз, сердито хватаю ее за плечи и с разгона целую в шуршащий холодный платок.

— Что же ты... аж за ухо, глупенький... — выдыхает

Соня и смеется как-то покорно и ласково. — Идем, здесь уже холодно.

Я не помогаю, а почти выношу ее вверх на руках. И силы у меня, как у вола. Оглядываемся на то место, где только что были. Там белеет снег.

— Вот чудно, — говорит Соня, вздыхая, — кругом сады цветут, а там — снег...

— Туда солнце не достает, — поясняю. — Да еще он и землей был прикрыт. Теперь растает.

Идем к дороге, на лавочку, что у нас под хлевом. Соня дрожит, жмется к плечу и дышит мне за воротник.

— Ты не замерз? — спрашивает.

Я изо всех сил сжимаю зубы, чтобы не трястись, а ей говорю:

— Да б-будто нет...

В степи еще сильнее разгорелось, и на грядках, у кого уже вскопано, красно выблескивает влажная от росы земля, а в бороздах, как снег в овраге, белеют опавшие лепестки. Листья в садах еще только проклюнулись, поэтому в ветвях густо мерцают мелкие, словно роса, зеленоватые капельки: это завязь.

— Вот если бы мне такое монисто, — говорит Соня, — сроду бы не снимала...

— Купим, — обещаю уверенно. — Вот как только выучусь на шофера, так и купим.

— А я тебе буду рубашки вышивать. Красивые-прекрасивые, лучше, чем в магазине!

Соня вдруг останавливается, тянется на цыпочках к моему лицу и потихоньку, обеими ладонями, наклоняет мою голову. На какой-то миг я вижу ее сухие требовательные глаза и слышу стыдливый шепот:

— В сто раз красивее... милый... в тысячу!

А дальше уже ничего не вижу и ничего не слышу...

Потом мы еще долго сидим на лавочке между осокорями, не расплетая объятий даже тогда, когда мимо нас на Полтаву мчат машины — завтра воскресный базар — и шоферы кричат из кабин что-то веселое, поощряющее и бесстыжее.

Расходимся далеко за полночь, едва переставляя занемевшие ноги и неся на губах сладостную жгучую жажду.

На пороге я еще немного задерживаюсь, прислушиваюсь, как Соня щелкает засовом и тихо, наверно, чтобы не разбудить мать, закрывает дверь.

И тут вдруг слышу в саду у нас: хрусть, хрусть — ветки под ногами. Из-за хлева выходит дед, в стеганке, с вилами. А над деревьями синеет, клубится дым.

— Ну-ка, ухажер, помогай окуривать сад, не то завязь пропадет к чертям.

Я опрометью бросаюсь в сад, нагребаю пятернями валежник, опавшие листья и раскладываю огонь возле самой межи, чтоб тянуло дым и на Сонин сад.

— Да не там, ближе к хлеву раскидывай! — сердито кричит дед.

— Ничего, — отвечаю так, как он меня учил, — будет у людей — будет и у нас...

А сам думаю: за чем бы это сегодня забежать к соседям, — до вечера ведь просто не дотерплю, не доживу...

В СУМЕРКАХ

Темнеет в нашей хате рано, особенно зимой. Это потому, что лес под боком. Еще на верхушках деревьев рдеет наледь, а меж стволами и в занесенных снегом кустах уже проступают тени, лезут в окна и застывают по углам — немые и холодные. Хата сразу становится меньше, потолок ниже.

Тревожно гудит лес, вызванивая ледяными оковами, стучат обмерзшими коготками по земляному полу куры в сенях и, высвистывая крыльями, взлетают на насест.

Управившись во дворе, мать пропихивает в дверь вязанку соломы и бросает ее возле печки. Солома ежится от изморози и пахнет стужей. Доливку[1] омывает холодная волна.

— Примораживает, — говорит мать и, ссутулившись, долго хукает в ладони, опускает руки в ведро с водою.— Пощипывает пальчики! Скучаешь, сынок? — спрашивает и с каким-то страхом, униженно заглядывает мне в глаза.

Я вижу ее черные в темноте губы и морщины под глазами, слившиеся в круглые пятна.

— Боже, какой ты худенький... словно щегленок. Разве студентов не кормят, как солдат?

Мне хочется взять ее руки в свои, оттирать, прятать

[1] Доливка — земляной пол.



в них лицо и радоваться, что у меня вот тоже есть мать — хорошая, как у всех. Но это лишь на миг... А она несмело лохматит мой чуб, и я чувствую, как дрожат ее пальцы: мама плачет.

— Ты, сынок, уж лучше бы ругал меня, чем вот так... Три дня, как приехал, а все молчишь. Или в сердце уж нет места для матери, пусто?..

Она долго сидит на лавке у порога, словно и не хозяйка в этом доме. Потом медленно раздевается, уставшая и подавленная, и зажигает керосиновую лампу.

Солома оттаяла и подтекла лужей. И когда мать, став на колени, затапливает печку, хата наполняется шипением и горьковатым дымом.

Так было и в тот вечер. Я помню его во всех подробностях, он не раз уже вставал перед моими глазами и не раз снился за эти восемнадцать лет без матери, без наставницы — восемнадцать лет с чужими людьми, часто очень хорошими, но чужими...

Это было в сорок втором году. Зима. Вьюга. Изредка с левад доносится приглушенное буханье — это лопается лед на реке. Я по целым дням пропадаю там и знаю каждую трещину, как заплаты на своей одежде.

Мне нужно знать их, эти трещины, потому что мой единственный деревянный конек, прикрученный к старому отцовскому сапогу телефонным кабелем, не раз попадал в них. Это еще и не беда, как упадешь. А вот если рукав треснет или штаны на коленях, тогда...

Я прихожу домой, когда уже стемнеет. Может, до утра мать ничего не заметит, а там будь что будет!

Пролезаю в дверь осторожно, бочком и уже с порога смирненько так:

— Ма, может, соломки принести да протопить в хате?

А она:

— Ну-ка, подь сюда.

И уже по этому самому «подь» я понимаю, что наказания не миновать...

Потом, когда высохнут слезы, я все-таки втаскиваю солому и принимаюсь топить. По доливке, присыпанной песком, начинают прыгать красные зайчики, в хате светлеет. Я становлюсь на коленки у дверцы и шевелю жарок старым обожженным кнутовищем.

Мать сидит на лавке, подобрав под себя ноги, и смотрит в окно. В черном стекле, словно в проруби, отражается ее красивое девичье лицо с черненькой родинкой на подбородке. Когда мама смеется, эта родинка становится доброй и милой, а когда сердится — хищной и злой. Одета мать сегодня празднично: в белой кофточке из парашютного шелка, а юбка черная, сливается с темнотой, поэтому мне кажется, будто мать по пояс в черном тумане...

Она уже забыла обо мне. Ей грустно, горько и, наверно, хочется плакать, потому что ОН не идет. А она ждет его весь вечер, да и весь день ждала. Знает, что у него есть жена и дети, знает, что завтра наши ворота будут облиты дегтем и ей придется скрести их ножом, пряча лицо в платок, — знает, а ждет.

Но вот гнетущую тишину в хате расплескала песня. Она подкралась из тьмы так тихо и незаметно, словно не человек родил ее, а сказочная тень людская... Песня эта морозом прошла у меня по спине, заскреблась в горле, потому что пела ее не мать, а какая-то чужая красивая женщина, которую я почему-то называю матерью.

Может, меня и вправду нашли в капусте и отдали этой женщине...

Ой, боже мій, боже,
Що я наробила —
Що є в нього жінка,
А я полюбила...

И так каждый день: кричит, колотит, а потом плачет или поет, как сейчас. Мне обидно и грустно. Хочется крикнуть ей: «Замолчи!» — но я боюсь и потихоньку ворошу в печке жар, что слипается в тугие комья, — говорят, это к морозу.

Зозуле, зозуле,
Чого рано куєш,
Чи, може, зозуле,
Моє горе чуєш?..

Но вот песня оборвалась. За окном отозвался скрипящий снег, кто-то подергал дверь. Мать вскочила. Длинные волосы, скрученные узлом, рассыпались и черными извилистыми ручейками растеклись по плечам. Босая, растрепанная, захмелевшая от радости, выбежала в сени. Мне слышен оттуда ее громкий самодовольный смех. Они входят в хату обнявшись — радостные, счастливые... какое им до меня дело?

Я хорошо знаю его. Ходит он всегда в коротком дубленом полушубке и в гимнастерке, с которой срезаны пуговицы со звездочками, а пришиты другие, роговые. Еще он носит галифе, похожее на балалайку, и узенький наборный ремешок — им он бьет мать, когда напьется...

— Ну-ка марш на печь! — слышу за спиной, и кнутовище выпадает у меня из рук.

— Зачем ты на него так? — с легким укором говорит она.

Но в его голосе нет жалости. В нем я слышу унизительную, как подаяние, снисходительность самоуверенного человека. Я готов подскочить к нему с кулаками, но вместо этого быстренько, словно загнанная ящерица, карабкаюсь на печку. Там пахнет горячей глиной и пылью.

Они долго шепчутся. Мать старается говорить сердито и независимо, но я знаю: это только так, отомстить ему хочет за то, что долго ждала... А потом

начнет вымаливать прощения, называть «дорогушей», «медвежонком» и еще какими-то приторными, мурлыкающими словами.

Наверное, для того чтобы задеть его за живое, она начинает рассказывать о моем отце, о том, как он молился на нее, словно на икону, работу из рук выхватывал.

— Я еще, бывало, сплю, а он, глядишь, уже и корову подоил, и дровишек принес. Станет вот так на колени и складывает по одному полену, чтобы не стукнуть, не разбудить.

— Ну и дурак. Вам, бабам, чем больше ублажай, тем скорее опротивеешь...

Над головой у меня что-то стучит, погромыхивает. Это мышь катает на чердаке кукурузный початок. А в трубе гогочет ветер и пыхкает из-под вьюшек холодной сажей.

Я вспоминаю тот день, когда отец уходил на фронт. Он, этот чужак, обнимался тогда с отцом и говорил:

— Ну что ж, Микола, ты там старайся, а мы, тыловики, здесь не подкачаем.

И отец ушел.

А спустя полгода, ночью, я услышал сквозь сон тяжелую возню в сенях и какой-то странный, не то злой, не то восторженный голос матери:

«У, бесстыдник! Не успел муж за порог...» Я похолодел от испуга и заметался на печке, ища выхода, но рука моя все время натыкалась на стену, и это еще больше испугало меня.

— Мама! — закричал я и заплакал.

Она ответила спокойно и даже с досадой:

— Чего тебе?

— Кто там?

— Никого. Спи!

Я немного успокоился, прилег и долго слушал, как где-то в подушке стучит мое сердце...

А вот в тот последний вечер, слушая их влюбленный шепот, я вдруг понял, что меня обманули. Понял, и чувство мести сбросило меня с печки. Прыгая на доливку, я зацепил ногой рогачи, и они попадали на пол.

Мать в страхе вскочила с постели.

— Ты куда это, сынок?

Я ответил нарочно равнодушно и грубо:

— Чего вскочила? На двор хочу, вот и встал.

Потом не спеша натянул на голову буденовку с оторванным шишаком, стал в сапоги и вышел в сени.

— Стеганку надень, холодно, — крикнула мать вдогонку.

Наружная дверь примерзла, поддается нехотя, со скрипом, впуская в сени узенькую полоску лунного света.

«Куд-ку-да?» — спрашивают потревоженные куры с насеста. Обжигающий ветер затыкает мне рот холодным чопом, а снег искрится и словно бы подмигивает: не бойся, мол, беги.

Я перемахнул через соседский плетень и притаился за сугробом.

Вскоре скрипнула дверь, и в черном проеме показалась мать, в одной сорочке, босая, растрепанная.

— Сынок! Слышишь, сынок! Где ты?..

Я не отозвался, а, пригибаясь и стуча зубами, побежал к реке. Вот уже и огороды кончились, начался луг. А дальше — речка льдом блестит.

— Сы-но-ок, — доносится издалека, — ин-о-очек... О-о-о...

«Теперь кричи, сколько хочешь», — думаю я и, хорошенько разогнавшись, весело, как на коньках, лечу по льду.

Мне нужно пробежать три километра. За речкой, на хуторе, живет моя тетка, сестра отца. Она меня любит, жалеет и называет сироткой, а мать мою — пройдой. Там я переночую, возьму стеганку, портянки и пойду на фронт, к отцу. А тетке скажу — к матери.

Мне становится весело и как будто даже теплее...

...Потом я часто слышал от взрослых живучую в те годы поговорку: кому война, а кому мать родна, и всегда, — будь сказана она шепотом, с оглядкой, или громко, негодующе, — эта поговорка будила во мне жестокую ненависть к чужаку и гордую, по-детски ревнивую любовь к отцу. Я только чуть-чуть помню отца: он был большой, и рука у него тоже была большая. Он часто клал эту руку мне на голову, и под ней было тепло и уютно, как под шапкой. Может, потому и сейчас, когда я вижу на голове какого-нибудь мальчонки отцовскую руку, мне тоже хочется стать маленьким...

В хате стало еще темнее: это стекло на лампе закоптилось. Солома в печке погасла, и жар подернулся зыбким серым пеплом.

Мать нежно лохматит мой чуб, и рука у нее легкая, как крыло птицы.

— Не нужно, сынок, думать об этом. Не нужно. Я и так всю жизнь буду казнить себя, хотя и жить-то осталось уже немного...

Она вытирает шершавым пальцем мои глаза.

«КОМЕТА»

Дядько Тихон возится у лодки в зарослях чернотала. Скрежещет ключ в замке так, словно ветер ночью ворота отворяет.

— Вот если б керосину влил, — говорит дядько, — тогда, может, оно и отпустило бы.

А потом, верно, кирпичом по замку: звяк, звяк...

Посреди речки чернеют под луной жерди — видать, кто-то сеть на ночь поставил, — и тени от них длинными полосами лежат на воде — луна еще низко. В осоке кигикнула дикая курочка, завозилась, ударила крыльями с испуга...

Я сижу на чернотале и покачиваюсь. Не сильно, чтобы ветки не поломать. Сижу и слушаю, как рождается вечер. Сначала где-то поблизости томно затрепетали листья на осокоре, потом этот шелест перенесся на дуб, а с него посыпались желуди в траву, загудели ольхи — влажно и густо, словно вихрь в мокрых после дождя крыльях ветряка. И заговорил лес шире, громче. Наверно, вот так рождаются реки, чувства, музыка.

Вверху прошелестело, а внизу, на реке, и камышинка не шевельнулась. Вода блестит, словно мед в сотах.

Звякнула цепь о днище лодки. Стукнулось весло о борт.

— Ну, с богом, как говорится, — бормочет дядько Тихон. Качнулась и побежала от берега волна, подкатилась к луне, колыхнула ее, и та сначала сделалась длинной и плоской, а потом вновь округлилась.

Дядько не берет меня с собой, потому что лодка старая. Нажмешь пальцем на днище — так и увязает.

Лодка высовывается из-под кустов черным клином, и на воду сползает дядькина тень так, что головой он у самых кувшинок на той стороне реки.

А луна плывет и плывет вверх. Черные зазубренные тени берега лезут под берег.

— Вот мы ее в вентерь и поймаем, — говорит дядько Тихон.

Это он о луне. Покачивает неторопливо жердину и тянет. В вентере и вправду блестит луна мелкими капельками. А как вся почти вынырнула из воды, слышно — бултых. И блеснуло красным. Это карась. Он лодырь. Хвостом раз ударит и лежит, как поросенок в луже.

— Завтра мы его на сковородку да в печь, — обещает дядько.

— Караси красивые, — говорю я.

— Верно, у них и мясо хорошее. Сладкое.

— Дядь, а вы сомов ловили? — спрашиваю.

— А чего ж не ловить. Ловил. На удочку. Зацепишь, а он, понимаешь, упирается, словно бычок-первачок. Пока со дна не сорвешь. А дальше идет, как миленький. Ловил, слышь, и сомов. А чего ж?

Дядько веселенький: радуется, что поймал.

Вдруг еще чья-то тень черным мостком легла через речку. С кручи грозно крикнули:

— Тихон, ты, что ли? — Это дед Юхим. Его прозывают Онайко, потому что по батюшке — Онаньевич.

— Я, Юхим, — смиренно как-то отвечает дядько. — Чего тебе?

На круче тихо. Тропкой к селу потопало.

— Дядь, чего это вы боитесь Онайка? — спрашиваю полушепотом.

А он как бы про себя:

— Ишь ты, пугает. Зачем пугаешь? Думаешь, боюсь?

Потом пристает к берегу, выбрасывает рыбу в траву, прячет весло, сопит и что-то бормочет. А лодка хлюп-хлюп под лозою. Никак вода под ней не устоится.

Мы возвращаемся домой лесом, мимо страшного, черного при луне горелого дуба (в него когда-то молния попала и сожгла), дальше пробираемся орешником, и мне хочется нащупать во тьме хоть одну гроздь орехов. Они, конечно, еще зеленые, а почему-то хочется найти... Пахнет мокрым мешком, рыбой и сонной крапивой.

— Чего боюсь Юхима, спрашиваешь? — отзывается дядько Тихон.

И снова молчит. Наскреб в кармане табачной пыли, садится на пень, крутит цигарку. Тарахтят спички. Чирк — огонек. Стеганка на груди блестит — замаслена

бородою. Цигарка пыхнула, загорелась пламенем, зашипели дядькины усы.

— Тьфу, проклятая... — на цигарку. И ко мне: — Виноват я, проштрафился перед ним когда-то.

Цигарка погасла: высыпалась.

Где-то над урочищем тюгукнула цапля. Не спится ей, видно: лунно...

— Ну, двинули. Дорогой расскажу.

До села далековато. Хаты на пригорке, словно копенки под луной. Темно везде. Только в школе еще светится, у директора.

— Когда-то мы с Юхимом товарищами были, — начинает дядько. — Хотя он и старше меня лет, наверное, на семь. Парубковать тогда — это еще до революции — начинали рано и козаковали долго. Я еще совсем мальчишкой был, а он уже сватался к сестре моей, Татьяне. Юхим собой красив был, сказать, видный парень. Да и Татьяна славная. Бывало, встретятся на леваде, да как обнимутся, ну словно поумирают... Уж как трудно было с одежей — полотна да сирячина [1], — а она ж ему, слышишь, платочки шелковенькие вышивала.

По вечерам все к нам ходил. Пристроится под окнами, да и выводит на сопилке, да и выводит — тоскливо так, словно выговаривает:

Чорна хмара наступає,—
Сестра з братом размовляє...

Да и накликал тучу эту. Пошла как-то Татьяна на реку белье полоскать, поскользнулась и — в прорубь, утопла. С той поры с Юхимом неладное что-то началось: стал каждую ночь на кладбище ходить. Сядет на холмике, вынет из-за пазухи сопилку и играет...

Жили мы в те времена хотя и не так, как люди, ну да все ж не нищенствовали. Еды хватало. А он даже хаты не имел. В землянке маялся. Покойный батько частенько ему говорил: «Ты, Юхим, на хату как-нибудь расстарался бы. Расстараешься — отдам Татьянку, еще и клочок земли отпишу».

Юхим, правду сказать, до работы охочий был. И сильный. Выкопал пану Троецкому ров под фундамент на целые хоромы. И ночью копал. Вот он каков!

---

[1] Сирячина — домотканое серое сукно, из которого шили верхнюю одежду.

Пан глядел-глядел, а потом: «На тебе, Юхим, сто рублей и слепи себе избенку». А тут вот с Татьяной такое приключилось...

Остался Юхим в землянке, а на деньги те, панские, купил жеребенка. Чудак! Тут, значит, революция, частную собственность отбирать грозятся, а он — коня. И уж так его любил, так за ним ухаживал, что куда там. Гриву гребенкой расчесывает, копытца обрезает. Теперь городским бабам ногти на руках так не обрезают.

Выведет, бывало, того конька ночью во двор (а жил он вон там на бугре, где сейчас песок берут), сядет на бугре да как заиграет на сопилке, как заиграет, а тот конек анафемский танцевать начинает... Песок под луною блестит, а конь точно пламя — вот те крест, не вру. Недаром он его «Кометой» нарек...

...Уже мы и возле села, из хлевов теплом потягивает, скотина вздыхает, в загородках сонные гуси стонут, а возле клуба хохот и кто-то на гармошке пиликает.

— Так оно все и шло до самой коллективизации. Тогда начали записываться в колхозы. Люди лошадей, коровенок отводят. А Юхим запер своего плясуна в сарае и ночью уже не выводит — боится.

Пришли мы к нему — меня тогда в правление выбрали, в активисты — целой компанией. Давай коня, говорим.

А он шасть да к сараю, да и распялся на дверях. «Порешу, — кричит, — первого, кто подойдет. — И за вилы хватается. — Я этим конем пашу? — спрашивает. — Сею? Добро наживаю? Вон со двора!» И на меня вызверился. Ну, меня и взбесило...

Возле клуба на танцплощадке — гульня. Танцуют, духами пахнет и папиросами. Харитон Тыркало, гармонист, должно быть пьяненький, подпевает:

Я на бочке сижу,
Бочка котится,
Никто замуж не берет,
Замуж хочется...

А луна так светит, хоть нитку в иголку протягивай.

Пока шли мимо клуба и магазина, дядько Тихон молчал. А как свернули в улочку, уже к хате, вновь заговорил:

— Оно конечно, если б мне тот разум, какой сейчас, то, может, я такого и не сделал бы. А тогда... Прихожу



к Юхиму через неделю да и говорю: «Дай мне конька на Човновую съездить». А сам не знаю, куда и глаза девать... Он сразу заартачился, не поверил, что, значит, на Човновую. Но я все же выклянчил. И Татьяну вспомнил, и парубоцтво наше... Дал. А я на коня да в колхоз, да и поставил в конюшню. Выходит, позавидовал цыган нищему, что у того сума новая... Вот так-то.

Мы забрели на грядки. Запахло помидорной ботвой.

— В сарае будем спать? — спрашиваю дядька.

Идем к сараю. Дядько зажигает коптилку, а я взбираюсь на сено под самые стропила. Сквозь щелку в стрехе луна проткнула серебристый лучик, в моем углу пахнет улежавшимися яблоками и огурцами — это мама ужин оставила.

Дядько принимается чистить рыбу, а я лежу с закрытыми глазами, и вижу лунное сияние на Онайковом бугре, и слышу, как поет-выговаривает сопилка и цокают копытца жеребенка, а сам он сияет, как пламя, как настоящая комета...

А дядько пусть так и знает: завтра я с ним на рыбалку не пойду.

И никогда не пойду.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

— Когда же началась Великая Отечественная война, Оксанка?

С последней парты поднялась курносенькая девчушка, растерянно замигала ресницами.

— Война началась в тысяча девятьсот сорок вто... — и украдкой взглянула на учителя.

Тот медленно закрыл глаза: неверно.

— В сорок тре...?

Учитель шевельнул ногою под столом и свалил палку. Она стукнула об пол так громко, словно выстрел из карабина.

— Я забыла, Федор Несторович, — прошептала Оксанка.

Учитель обеими руками обхватил протез, отодвинул его в сторону, чтобы не мешал, и, опершись ладонью о стол, наклонился за палкой.

Дети притихли, опустили головы.

— Садись, Оксанка, — сказал Федор Несторович и отвернулся к окну. Во дворе, припадая жесткими полированными листьями к окну, шелестела дикая груша. В расщелину между стволами провалилась желтенькая груша, и, когда стволы раскачивались, грушку сжимало, из нее цедился на кору прозрачный сок. «Нужно бы вынуть», — подумал.

До конца урока он уже никого не спрашивал. А после звонка, гремя железными замками в протезе, поковылял домой.

Стоял ясный день. На горячие железные крыши падали спелые каштаны, подпрыгивали, как на жаровне, и скатывались на мостовую. Под окнами домов в вишняках чирикали воробьи, у ворот играли дети. Федор Несторович порой тупо наезжал протезом на каштан и, оскользнувшись, едва не падал. Потом ступал осмотрительнее.

— Дядя пьяный... — шепнул какой-то ребятенок.

— Цыц! — сказал старший. — У дяди ножки нет. Верно, дядя?

Федор Несторович остановился, поднял глаза. В карей их глубине застыла тихая давняя печаль, приглушенная всплеском доброй улыбки.

— Верно, сынок, верно... — отозвался весело и пошел дальше, внимательно глядя под ноги.

На краю поселка свернул в улочку, застланную дымом — жгли ботву на грядках, — и остановился. Отсюда были хорошо видны поле, полоса срезанных подсолнухов у подножья горы и лес, начинавший уже редеть. Из-за леса поднималась туча, и солнце сеяло на долину желтую пыльцу, — должно быть, на дождь. А на горизонте небо чистое и голубое, лишь кое-где на нем золотистые облачка, словно валы соломы после жнивья.

Дома Федор Несторович долго возился в чулане, пока нашел старенькие, еще госпитальные костыли. Они были густо поедены древоточцем и окутаны паутиной; клеенка на подплечьях пересохла и потрескалась.

Несколько раз прошелся в них по хате, поскрипывая и ковыряя земляной пол. Потом отцепил протез. Штанина сразу опустела, сплюснулась, тело потеряло равновесие и уверенность.

Со двора вошла Одарка — немолодая, но красивая еще женщина с черными от земли руками. Федор Несторович квартировал у нее с тех пор, как вернулся из госпиталя — в смятой шинели, с последней новенькой медалью на груди, с тощим вещевым мешком за плечами и на костылях, окрашенных под цвет военного грузовика.

— Вы, может, и плащ прихватили бы? — спросила Одарка. — На дождь похоже...

Потом еще долго стояла посреди двора и печальными глазами смотрела ему вслед. А он шел по меже, раскачиваясь между костылями, далеко вперед выбрасывая ногу. Плащ на спине натянулся, плечи остро поднялись вверх.

В степи запахло разворошенной лемехами землею. В бороздах похаживали вороны, из ложбинок выглядывали коровьи спины и поднимались прозрачные голубые дымы — видать, пастухи жгли бурьян.

Федору Несторовичу припомнилось, как в детстве шлепал босыми ногами по разбитой стадом степной дороге, крутая пыль горячими струйками цедилась сквозь пальцы, а ветерок приносил от копнушек теплый дух спелого жита. Корова шла с пастбища домой медленно, не спеша, словно с работы, теленок терся у нее под бо-

ком и лез к вымени. Заходило солнце, в узеньких хуторских улочках стояла красная пыль, в садах варился на треногах ужин, гулко падали на землю спелые яблоки... Жизнь казалась тогда вечно счастливой.

Вышел на луга. Костыли начали сильнее увязать в мягком дерне. Заблестели зеленые лужи, затканные болотной травой, от Псла потянуло сырыми глинистыми берегами.

Лес обнял тихим шелестом листвы, терпковатым запахом спелых кисличек, в глазах зарябили кружева теней.

Тропка пошла вниз, через балки, занесенные еще с весны трухлявым камышом, хворостом и перьями из старых вороньих гнезд. Идти стало труднее. Но Федор Несторович, сам того не замечая, прибавил шагу, спотыкался, тяжело дышал, выжимался на костылях, перепрыгивая завалы.

И в этом умиротворяющем шелесте леса, и в дымах, и в каждом неожиданном изломе тропки чувствовал он упрек в том, что так долго сюда не наведывался.

Преодолев балки, свернул на тропу — свою... Она почти заросла крапивой и подорожником, по обе ее стороны на травах не серела пыль, взбитая прохожими: недолго жила тропка после того, как забыли ее люди. И Федор Несторович сердился на людей, но больше на самого себя.

Вышел на просторную опушку с одинокой хатой Макара Залужного над самой речкой и остановился у кладбища. Кресты на нем почти все подгнили и попадали, а оставшиеся заросли бурьяном и кустарником. Только возле памятника — нескладной кирпичной тумбы, — под которым лежали порубанные махновцами красноармейцы, было прокошено и посыпано песком — там лежал и старший сын Макара, Филипп. В кирпич на тумбе уже после войны вмазал Макар старый кусок железа, а к нему приклепал жестяную звезду... С годами заклепка ослабла, изъеденная ржавчиной, и в ветреную погоду звездочка вертелась и свистела, как пропеллер.

Федор Несторович направился к прежнему своему двору и едва узнал его среди других пепелищ — так он зарос и одичал. Лишь на маленьком току, где когда-то молотили, выбивали подсолнухи, лущили фасоль, где не было ни одного комочка земли, которого бы он не раздавил босой пяткой, и ни одной занозы, которую не

загнал бы в детстве, — лишь там проглядывали сквозь густую траву лоскутки голой, обжитой когда-то земли.

Федор Несторович подошел к колодцу. Он перекосился и осел так, что сверху остался только низенький, в два бревна, сруб, густо заплатанный мохом. Заглянул вниз. Вода была близко. В ней плавал мусор, плавали лягушки, раздвигая лапки и вытаращив в небо лупатые холодные глаза. Федор Несторович ткнул в воду костылем, и лягушки нырнули.

— Ишь проклятые! — сказал возмущенно и даже гневно, будто ему непременно нужно было набрать этой воды...

Но вот у колодца как-то сразу стемнело, вода ушла глубже, зловеще заблестела зелеными пузырьками.

Федор Несторович оглянулся — из-за Макаровой хаты выкатывалась туча, укрывая поляну преждевременными сумерками. Сверкнула молния, громыхнул гром, словно на железную крышу высыпали полный мешок каштанов. И на какой-то миг между рождением и смертью молнии он увидел на фоне тучи белые стены своей старенькой хаты, перекошенной, с потрескавшейся низенькой завалинкой, по которой деловито сновали красные божьи коровки, прячась от непогоды в щели. Шальной ветер рвал ворота, оббивал на акациях рыжие плоские стручочки, и они жужжали в воздухе, как шмели. А он с отцом бегал вокруг копны сена, пытаясь удержать ее вилами.

— Бревно, Федя, бревно забрось наверх! — кричал отец и лихо, по-молодецки сверкал глазами.

Но копенку все-таки перекинуло, и сено целыми охапками покатилось на огород. Тогда отец швырнул вилы и сказал:

— Ну и бог с ним. Пусть несет. На край света, врет, не занесет, — плюнул и пошел в хату, неся в опущенных плечах стариковскую усталость.

А он остался посреди двора — крепкий, дебелый, и ветер не мог пошатнуть его на сильных ногах, только чуб рвал да рубаху надувал парусом. Потом пошел дождь. Стена хаты почернела, во дворе забелели меловые лужи. В них плавало сено и рыжие стручочки акации.

Катерина, молодая жена, звала его сквозь мокрое окно в хату, ломая посредине пугливые тонкие брови, а сын прилип пятернями к черному стеклу и, сложив губы,

словно для свирели, издавал какие-то звуки — наверно, передразнивал гром. Вокруг ротика лежали у него чуть приметные складочки, как у всех детей, которые недавно перестали сосать.

Вечером, после дождя, хутор захлестнула тьма, и трудно было разобрать, где блестят лужи, а где — островочки земли. Он сидел за столом и читал при коптилке историю Древней Греции; отец крошил в корытце стебли табака, а Катерина устроилась с Дмитриком на полу и певуче твердила ему: «Не та-ак, совсем не так, вот как нужно: сорока-воровка на печке сидела, детям кашку варила...» — водила пальцем по ладошке, показывая, как возилась сорока. Сын внимательно слушал и повторял. Его слова строчками ложились меж греческими походами и грызней тиранов: «Рока-рона в прицьку дера, діді кашку варира...»

— Эгей, чоловиче! — прокатилось вдруг над опушкой. — Сюда-а-а...

Федор Несторович пошевелился, с картуза полилась за воротник холодная вода — шел дождь. Едва сообразил, что это Макар его зовет. Старик стоял у распахнутых дверей своей хаты в какой-то одежонке, напяленной на голову, и размахивал руками:

— Сюда-а-а!

Федор Несторович повыдергивал из грязи костыли — их присосало — и пошел со двора, таща по мокрому бурьяну пустую штанину.

— А я в окно выглянул, — затараторил навстречу Макар, — гляжу, человек на дожде мокнет...

Он подслеповато щурился и лез бородою прямо в лицо Федору Несторовичу.

— А-а, это ты, Федька! А я и не узнал. Своих проведать пришел!

Когда-то, еще до войны, Федор Несторович любил захаживать к Макару. У них была большая семья — девять человек. Обедали всегда вместе, обсев низенький стол посреди хаты так плотно, что десятую ложку уже некуда было просунуть. В сорок первом Макаровых хлопцев забрали на войну, девчат — в Германию, а Макариху с самым младшим, Сашком, разорвало снарядом на огороде. Только клочок синих штанишек нашел Макар...

Теперь в хате Макара было пусто, она казалась непомерно большой. Из каждого уголка так и веяло за-

пустением. На полу, свернувшись калачиком, лежал козленок. Увидя чужого, вскочил, стал на дыбки и стукнул лбом о костыль.

— Как живете, дядя? — спросил Федор Несторович, стягивая с головы мокрый картуз.

Макар положил козленка на лежанку, прикрыл какими-то лохмотьями.

— Живу, Федя, как тот сапог ночью — то в ров ступит, то в кизяк... Разве в мои годы живут? Жду, когда черти возьмут, да и все тут. А ты ж как, молодицы себе еще не приглядел?

Федор Несторович наклонил голову, не зная, что и сказать.

— Коли есть, бери. До каких же пор бобылем жить... А мертвые за это в горло не вцепятся.

Макар примостился возле лавки на стульчике и начал скрипеть напильником по резине.

— А я вот занятие нашел — калоши клею. Заезжали ко мне позавчера какие-то инженеры, воду из колодца термометром мерили для чего-то и сказали: «Лучшей воды, дедушка, чем у вас, нет во всей России...» Это они и камеру бросили, спасибо им, потому что я к клееным калошам еще с войны так приспособился, что магазинные надену, так словно совсем босой.

Макар ощупывал камеру, разминая ее пальцами, как кожевник телячью кожу. Перекладывал из руки в руку разные деревяшки, оббитые теркой из тоненькой белой жести, и уже в который раз рассказывал Федору Несторовичу во всех подробностях, как в их хату попала бомба прямо у него на глазах, как в воздухе долго оседали перья из подушек, а самолет кружился так низко, что даже были видны оскаленные зубы летчика и блестящая змейка на комбинезоне. И не было в этом рассказе ни трагических оборотов, ни вздохов, были лишь старческие потуги вспомнить все таким, каким оно было в самом деле.

— Всего-то и не запомнишь, — сокрушался Макар, — потому что у старого память, как дым: все вверх да вверх...

На дворе начало проясняться. В хате посветлело так, что на потолке стали видны синие дождевые пятна. На пол закапала вода — размеренно, словно стук часов. Но Макар не обращал на это внимания — он был туговат на ухо.



— Буду я двигаться, — сказал Федор Несторович, поднимаясь.

— Ну, как знаешь.

Макар отложил напильник, высморкался и вновь стал мять резину.

— Когда наведаешься еще, загляни.

Солнце заходило красно. Дождевые капельки на деревьях и травах сверкали пурпурно-зелеными искорками, наполняли лес тонким звоном. Туча сползла за реку и остановилась там, раскинув над лесом гигантские вороньи крылья. Где-то далеко между стогами соломы взблескивали молнии, погромыхивало.

Федор Несторович запрыгал следом за грозой, обходя лужи и орошенные кусты. Из-под земли, размытой дождем, из-под корней бурьяна поднимался над опушкой едва ощутимый, горьковатый запах мокрой сажи и старого обгорелого кирпича. Дышали гнилью старые пни.

И снова были балки, размытые дождевой водой; и снова Федору Несторовичу приходилось выжиматься на

костылях, прыгая через рвы. А ветер бил мокрую штанину, наматывал ее на костыль, мешая идти.

Смеркалось. На левадах белыми озерами разлился туман, в нем неясно чернели кусты чернотала, словно шалаши на бахче.

Из тумана навстречу Федору Несторовичу выплыла какая-то фигура. Кинулась к нему почти бегом. Это была Одарка — дрожащая, промокшая до костей. Видно, ждала вот тут, под копной, пока он вернется...

— Поздно уже, — сказала она. — Не успеете и к урокам подготовиться.

И пошла впереди, сбивая сапогами росу на травах.

Федор Несторович замедлил шаг.

— Я уже приготовился, — сказал тихо, словно сам себе, вздохнул и вновь заторопился, закачался на костылях, далеко вперед выбрасывая ногу.

ЧУДАК

В начале зимы ходить Олесю в школу можно двумя стежками: одна ведет через бор, вторая — по реке. Вторая удобнее, но в зазимье лед на речке тоненький, так и зияет черной бездной. Оттого каждый раз, когда Олесь выходит из дому, мать наказывает ему:

— Гляди же, сынок, по речке не иди. Там еще лед молодой.

Олесь смирно стоит у порога, слушает. Он еще совсем маленький — головой едва до щеколды достает. Глаза у него черные, глубокие, как вода в тени, смотрят широко, словно хотят сразу постичь весь мир.

Олесь любит зиму. Ему нравится первым протаптывать тропки в сугробах, снимать снежные шапки с кольев в плетнях — они становятся тогда голыми и стыдливыми, как стриженые призывники.

Еще любит Олесь рисовать на снегу всякую всячину. Присядет на корточки и водит пальцем туда-сюда. Глядишь, хата выходит, из трубы дым валит, а на плетне петух горланит, раскрыв клюв ножницами. Олесь сует застывший палец в рот и, стуча сапожком о сапожок, любуется своим твореньем до тех пор, пока кто-нибудь не крикнет со двора:

— А что это ты, парень, в школу не идешь? Вот погоди, я матери скажу!

Олесь подпрыгнет, как испуганный выстрелом зверек, засмеется тоненько: ги-ги — и подастся в сосны.

В бору снегу мало. То там, то сям проглядывает сквозь порошу трава с примерзшими к земле зелеными чубчиками, торчат низенькие пеньки с желтоватой, словно старый мед, смолкой на срезах. Тихо вокруг и затишно. Только порой скатится по ветке снега комок, сбитый ветром с верхушки. Где-то неподалеку слышно: тук-тук-тук — дятел орудует. Олесь наклоняется, кряхтит, старательно всматривается. Пальтишко у него толстое, грубое, а сам он тоненький, тяжело наклоняться: дух спирает, под глазами набрякает, оттого каждый сучок птицей кажется.

Глядь, под старой сосной шишки рябят. Ба! Еще одна упала. Вот где он, дровосек! Олесь встает на цыпочки и крадучись взбирается на косогор.

Заслышав человека, дятел перестал долбить, повел каленым клювом из стороны в сторону и нацелил его на Олеся: чего, мол, тебе тут надо? Вздрогнул, хлестнул крылом по коре и исчез, оставив в узеньком дупле шишку. Олесь хотел достать ее и попробовать на вкус, да передумал — и прижался ухом к стволу. Ствол чуть заметно раскачивало, под корой что-то жалобно скрипело, а внизу под ногами у Олеся шевелились корни — умирает сосна... Олесь нагреб сапожками снега под комель, утрамбовал его хорошенько и, решив, что сосна теперь не упадет, помчался через сугробы в школу.

Еще издали увидел мост с гатями по обе стороны.

За мостом краснеет сквозь белое кружево запорошенных деревьев кирпичная школа. Из труб дым валит тополиными столбами. Воздух пропитан запахом торфа и весенней испариной сырых ольховых дров. Слева от моста чернеют промоины, играя на солнце блестящей зыбью, — там бьют ключи; а справа, на мелководье, где лед покрепче, носится ватага школьников. Лед гнется, трещит от берега к берегу, вздуваясь впереди ватаги, словно одеяло на сене. Из пробоин струйками вырывается вода и заливает плес.

— Эй, Олесь! — кричат из толпы. — Айда с нами подушки гнуть!

— Зачем лед портите? — Олесь им в ответ. — Он еще молодой.

Детвора смеется: чудак.

А Федька Тойкало, задиристо оскалив зубы и указы-

вая рукавом на Олеся, закричал так, что шея вытянулась, сразу сделалась тоненькой:

— Бей изменника! — Подскочил, стукнул Олеся локтем по лицу и исчез между сваями.

Олесь сгоряча смущенно улыбнулся, потрогал мокрой варежкой синяк под глазом и, скользя, побрел в школу. Под ногами мирно, словно валежник в лесу, потрескивал лед, а у глаза что-то отяжелело и дергалось. Олесь лег ничком, прижался ушибленным местом ко льду и начал рассматривать дно. Оно туманилось илистой пыльцой, пускало пузыри, которые прилипали ко льду, — белые, круглые, как монеты. Течение расчесывало зеленый роголистник, сучили тоненькими ножками какие-то жучки-паучки, боком преодолевая упругую струю. И чудится Олесю маленькая хатка под кустом водяного папоротника, а в той хатке — он, у окошка сидит, рыбку стережет. Захотел — вышел. Никто тебя не тронет. Иди, куда захочешь. Вон карасик плывет. Цап его за перышко: «Добрый день, дядько! Как поживаете?» Олесь сладко вскрикивает, ерзает ногами по льду.

Вдруг между водорослями промелькнула черная молния и замерла в стороне длинным пятном. Олесь подполз ближе, пригляделся и застонал от удивления: щука! В зубах у нее трепетала маленькая плотичка.

— Пусти, — выдохнул Олесь и шлепнул ладонью по льду. Но щука даже не шевельнулась. А плотичка исчезла.

Он вскочил на ноги и стал бить сапожком в то место, где стояла щука, и бил до тех пор, пока под сапогом не хлюпнула вода.

В школе прозвенел звонок, улегся шум. А Олесь сидел посреди реки, подле зеленой, с ряскою, лужи, и плакал. Под мостом бился о сваи вихрь, сметал в кучу сухой камышовый лист и гнал его к берегу.

Олесь поднялся, засунул книжки за пазуху и поплелся в школу.

На первом уроке было рисование. Старенькая учительница Матильда Петровна ходила между партами и, делая загадочное лицо, медленно говорила: «А сегодня, дети, мы будем рисовать... перегнойный горшочек. Благодаря этим горшочкам в передовых колхозах выращивают...» Потом она достала из портфеля горшочек и торжественно водворила его на стол.

Дети начали рисовать, выводя каждый свое: кто кув-

шинчик, кто глиняную миску, а иной и вовсе непонятное что-то. Так как дырку в донышке передать было никак невозможно, то ее приделывали сбоку. Олесь старательно скрипел карандашом и вдохновенно причмокивал. Когда же учительница остановилась у его парты, с тетради на нее, презрительно прищурив глаз, глядел дятел: чего, мол, тебе тут надо?

— Олесь, я ведь всем задала рисовать горшочек, — сурово сказала Матильда Петровна.

Ей понравился дятел, но она хорошо знала, что такое принципиальность учителя, потому и прибавила:

— Я поставлю тебе двойку.

В классе притихли. Отличники смотрели на своего вчерашнего побратима сочувственно, а те, кто учился через пень-колоду, с радостью ждали, что их полка прибудет. Олесь собрал книжки, вылез из-за парты и пошел к двери.

— Куда это ты? — удивилась учительница.

Олесь нахмурился.

— Я так не хочу!

— Как это — так?

— Горшочек не хочу рисовать.

— Почему?

— Дятла хочу...

Пока Матильда Петровна размышляла о судьбе своего авторитета, Олесь вышел в коридор, торопливо накинул пальтишко и выскочил на крыльцо.

В школьном саду порхали синицы. В бурьяне возились воробьи, склевывая гроздья репейника. Где-то в зарослях ольхи, за рекой, рубили пеньки: бух, бух дзень — топор соскользнул.

Олесь представил себе, как хорошо сейчас на лугу, и побежал к тальникам.

Там он бродил до самого вечера. Ощупывал холодные птичьи гнезда, ел мерзлую калину, пока не набил оскомины. Потом искал осиновые гнилушки, прятал за пазуху и, напялив пальтишко на голову, смотрел: светятся или не светятся? В кустах, заплетенных осокой, шуршал ветер, попискивали мыши; у берега терлись друг о друга ольхи, наполняя луг тревожным стоном.

Солнце пробило в тучах над горизонтом узенькую щелочку, ярким лучом стрельнуло на левады. Олесь радостно щурился ему навстречу, сводил глаза к переносице, ловя золотую мушку на кончике носа.

К вечеру тучи опустились ниже, а тополя над селом стали выше и приняли воинственный вид. Надо было идти домой. Олесь огородами выбрался на выгон и стал ждать, когда отпустят школьников.

Под плетнями на бревнах или просто на корточках сидели дядьки, курили самокрутки и вели неторопливый разговор:

— Гляди: ольха на лугу почернела... к оттепели, должно быть.

— Ага, стало быть, рыба в вентерь пойдет...

Распахнулись школьные двери. Дети толпами повалили по домам.

Еще издали заприметив взрослых, мальчишки затевают борьбу. Глядь: схватились, возятся, хекают, прислушиваясь краем уха, что скажут у плетня. А там:

— Ишь ты, геройский парень!

— А тот вон, наверно, Натальин, — говорят, заметив Олеся. — Вишь какой смирный...

— Угу, чудаковатый какой-то...

Слушает Олесь и не понимает: хвалят его или бранят.

На мосту Олеся поджидал Федька Тойкало.

— На, поешь, — сказал, краснея, и втиснул Олесю в руку помятый теплый пирог. — Бери, дурень, с мясом.

Олесю не хотелось пирога, но он обрадовался примирению и, чтобы отдарить товарища, быстренько зашарил по карманам, доставая оттуда душистые клубки хмеля, сухие листья разной чеканки, сплетенное из пряжи и воловьей шерсти гнездо ремеза, похожее на башлычок.

— Глянь-ка, промок ты, — сказал Федька и начал зачем-то отряхивать Олесю пальтишко.

Олесь еще сильнее заволновался, чуть не расплакался от сердечности и сладкого чувства братства. Он схватил гнездо ремеза и обеими руками подал его Федьке. Тот спрятал подарок под полу, замялся.

— А учительница сердилась, как ты ушел... ги-ги... страх!

Потом ударил себя книжками по задку, крикнул: «Гат-тя-вьйо!» — и побежал к реке обшаривать чужие вентери.

В селе едва вечереет, а в сосняке уже кроны сомкнуло тьмою. Олесь бежит вприпрыжку и вдруг замечает, что деревья тоже бегут, кружатся, прячутся друг

за дружку, словно в прятки играют. Олесь останавливается — и деревья замирают.

По ту сторону бора слышно: сани скрипят, кони фыркают и голос деда Прокопа:

— А но-но!

Увидев Олеся, дед натягивает вожжи:

— Садись, внучек, поедем за соломой.

Олесь радостно умащивается в санях, машет на лошадей:

— Гат-тя-вьйо!

— А что, получил пятерку? — спрашивает Прокоп, ощеряя пустые десны.

Олесь стыдливо прячет лицо в рукав.

— Сегодня не ставили. Вчера только.

Миновали овраг, почти до краев занесенный снегом. На полях целым хутором замаячили скирды.

— Но-ноу... — стонет Прокоп и шевелит кнутом.

Кони прижимают уши, порываются бежать. А сосны позади покачиваются «шу-ши-ши-и» — и кони почти останавливаются.

— Деда, почему про меня говорят — чудак?

— Чудной ты, значит. Странен еси. — Прокоп двумя пальцами, как щипцами, ухватил себя за нос и высморкался так громко, что кони вздрогнули и побежали. — Кто ж это такое плетет? — спросил немного погодя.

— Дядьки на выгоне.

— Экие фармазоны... Ты их не слушай. — Помолчал. А потом: — Оно, конечно, правильно, прыти у тебя маловато. Все чего-то в земле копаешься. А нужно к людям поближе. Да вот так возле них, вот так... Того — локтем, того — почетом... Глядишь — вперед вышел. А первого не опередишь, потому что не догонишь. Вот!

Олесь виновато шмыгает носом.

— Деда, почему дятел шишки ест, а щука — плотичек?

— А это уже кто какой породы...

— А я не забрал у дятла шишку,— хвалится Олесь.

— И правильно. На что она тебе сдалась. Это если стоящее что увидишь — дощечку, скажем, или гвоздик, — тогда бери.

— Зачем?

— Пригодится.

Когда набирали солому, дед часто сползал со скир-

ды, нанизывал солому на рожны и прыгал по ней так, что оплетка дровней скрипела.

— Утаптывай, внучек, утаптывай! — хрипел. — А я еще подброшу. — И снова лез на скирду.

Сначала Олесь старался, потом притомился и сел.

— Зачем столько берем?

— Как зачем? — отозвался из темноты Прокоп. — Себе ведь, не теще. Хе-хе! Ты знаешь, что такое теща? Нет? Подрастешь — узнаешь. Клятая баба.

— А если коням будет тяжело? — тянул свое Олесь.

— Ничего. Зато нам легко. Натопил — и отлеживайся себе на печи. Ты отдохни, а потом еще попрыгаешь. Как-никак — груз.

Возвращались домой в темноте. Лепил мокрый снег, припорашивая белым лошадиные спины. Прокоп хлестал кнутом и ругался. А Олесь сердито сопел у него над ухом и подбивал руку. Замахнется Прокоп хорошенько, хлесь — и мимо.

— Не бей, — умоляет Олесь. — Видишь: тяжело.

Прокоп вздохнул и, намотав кнут на руку, чтобы не потерять, повернулся к Олесю.

— Послушай-ка, дурачок, что я тебе скажу. Слушай и на ус мотай. Тут, на земле, не бить нельзя. Тут ежели не ты, так тебя отделают и плакать не дадут.

Подался вперед и, обдавая Олеся прелым запахом давно не мытой бороды, зашипел в самое ухо:

— Понял?

Олесю стало грустно. Захотелось поскорей туда, в село, где снег плетет вокруг электрических фонарей густые розовые сети и приветливо светятся окна в хатах.

Впереди белой стеною поднялся бор. Он уже не гудел и не шикал на лошадей.

— Молчит, — тихо сказал Олесь.

— Снегом забило, — пояснил Прокоп. — Ветер ветки не шевельнет. Потому — тяжелые.

Дома Олесь не стал дожидаться, пока дед с матерью сбросят солому, быстренько разделся и полез на печь. Через некоторое время в сенях затопали ногами, послышался голос деда.

— Вот я и говорю,— гудел он.— Необоротистый он у тебя, Наталка, нелюдимый. Чудак... Затопчут его... Согнут его, как молодое деревцо, а выпрямить некому будет иль поздно.

Потом дед вошел в хату, заглянул на печь.

— Замерз, внучек? А ты ножки — на тепленькое, а сверху — ватником...

Олесь глубже зарылся в подушку и тоненько заныл.

Прокоп поднял брови.

— Гм, чего это он нюни развел?

— Не трогайте его, — печально сказала мать. — Ешьте уже.

— А я что? — мямлил Прокоп. — Я ему ничего такого и не говорил...

Он ел быстро, виновато вытаращив глаза, чавкал тише, чем всегда, и ронял крошки в бороду.

Олесь незаметно заснул. А ночью сквозь сон просил мать рассказать сказку про Ивасика-Телесика, испуганно вскрикивал, когда ведьма грызла дуб, и радостно смеялся, когда гусенок взял Ивасика на свои крылья. Перед рассветом снова загудели на морозе сосны и закричали петухи на чердаке. Рождался новый день.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

В ту весну Мотря каждый вечер поджидала Василька у ворот. Как только начинало садиться солнце, она выходила из хаты во двор и, загребая ногами прошлогоднюю листву, плелась к калитке. Из окна, прижавшись лицом к стеклу, испуганно следила за ней Поля, младшая Василькова сестричка.

— Не бойся, глупенькая, — говорила ей Мотря со двора. — Я ведь тут! Я только Василька выгляну. Василько Поле рыбки принесет. Ну вот!

Она стучала пальцем в стекло и вертела им, словно сверлышком, против Полиного носика. Поля смеялась.

Дойдя до плетня, Мотря ложилась на него вялыми, давно пустыми грудями и всматривалась в тот конец улочки, откуда должен был вернуться Василько.

Он приходил всегда в сумерки, по-стариковски уставший, забрызганный грязью до плеч, и, шлепая ладонью по мокрой торбе, еще издали радостно кричал:

«Есть, мама, рыбка. И плотичка, и окунек есть...»

Мотря тоже радовалась, прижималась к сыну и шептала:

«Работничек ты мой маленький. Ну вот и хорошо. Завтра ушицы на завтрак сварим...»

Потом Василько нес удочки в хлев, аккуратненько складывал их на колышки, вбитые под стрехой, и шел в хату.

Мать высыпала рыбу в большую луженую миску, заливала водой и, приметив среди мелочи что-то покрупнее, тоненько вскрикивала:

«Ого, какой окунище!»

«Чуть было удочку не порвал!» — радостно говорил Василько, раздеваясь.

Но сегодня в улочке было пустынно и тихо. За селом высоко в небе, над молодой озимью, кружила воронья стая: то растягивалась в длинную черную ленточку, то вновь сливалась в круглое пятно, напоминая дикий пчелиный рой.

— Кра-кра... — слышалось издалека.

Заходило солнце, переливалось красками небо: то оранжевой, то густо-красной, то просинью, пока не застыло в немой и холодноватой вечерней прозелени. И уже не видно было черной стаи над озимью, слышалось только далекое тревожное карканье.

Наступила ночь, а Василько так и не вернулся.

В тот день он проснулся рано. Мать пошла на работу, а Поля еще спала. В низкие окна лилось солнце, дрожало розовыми пятнами в голубых черточках. На наличниках прыгали взъерошенные от утренней прохлады воробьи и звонко чирикали. Их головки тоже были видны на стене.

Василько нашел в запечье тяжелые от заплат штаны, большую заношенную гимнастерку — отцовский подарок с фронта — и начал одеваться. С изнанки на штанах было много заплат, пальцы каждый раз задевали за них, потому Василько долго прыгал на одной ноге, пока натянул обе штанины. Затем нашел в сенях ржавую саперную лопатку, выщербленную осколком, и пошел в хлев копать червей.

В хлеву, кроме ласточкина гнезда под стропилами, ничего не было. Старый навоз на том месте, где когда-то стояла корова, пахнул сырой погребной землею. Василько разгреб в уголке сухой мусор и наткнулся на след коровьего копыта. Он был давним и затвердел, словно глиняный. Василько вспомнил вдруг запах теплого утреннего молока и даже ослаб, обмяк от этого воспо-

минания. Ах, какая хорошая, добрая была их корова. У нее были разные рога: один — длинный, красиво изогнутый, торчал вверх, а второй, свернутый в бою, лез прямо в глаз — он был тоже добрый, этот рог.

И уже земля, летевшая из-под лопатки, не отдавала Васильку погребом. Он слышал, как молоко журчало в подойнике. Тугая белая струйка глухо падала в пену или стегала по луженым краям и посвистывала. Потом мама цедила молоко сквозь чистый полотняный рушник и набирала кружку ему. Оно пенилось, щекотало нос, на губах оставались теплые пузырьки и лопались...

Василько проглотил слюну и обернулся к ласточкиным птенцам.

— Сидите? — крикнул желтым клювикам, торчавшим из гнезда. — Отец-мать на вас работай, а вы только лопать... Вон паук перед самым клювом висит — повылазило вам, что ли, лодыри? — Потом вздохнул и сказал то, что слышал когда-то от отца: — Нет на вас хорошей розги...

Червячки попадались разные: толстые и тонкие, шустрые и смирные. Василько складывал их в старую ржавую баночку из-под консервов, приговаривая:

— Вот этот — на окуня, — он любит, чтоб перед ним выкручивались, а вот этого ленивого — на плотичку или на пескаря.

Пока он так возился, солнце поднялось высоко и стояло уже в дверях, заглядывая в хлев. Прилетели ласточки и принялись кормить птенцов. Васильку тоже захотелось есть. Он затоптал перекопанную землю, вынес червей на солнце, чтоб не повылазили, и побежал в хату.

Поля проснулась и плакала, откинув головку назад, так что слезы катились не по щекам, а мимо ушей.

— Чего ревешь? — прикрикнул на нее Василько. — Иди-ка, будем завтракать.

Поля умолкла, вылезла из-под мокрого, пожелтевшего тряпья и поковыляла к столу.

— Опять надула! — удивленно воскликнул Василько и хотел ударить сестру, но раздумал и ехидно фыркнул: — А еще называется невеста...

На столе в ярком солнечном свете стояла миска со вчерашним борщом. Борщ отстоялся, сверху была только чистая вода, а на дне чернела зелень.

Василько помешал борщ. Чистая вода сделалась мутно-зеленой, а снизу всплыли кусочки рыбы, тоже зеленоватые, и вновь опустились на дно. Поля сопела, низко наклоняясь к миске, стараясь догнать рыбку.

— А ну, не лезь на мою сторону! — крикнул Василько и огрел Полю ложкой. Она заплакала, раскрыв позеленевший ротик. Василько нашел в борще рыбью голову и подал сестре.

— Цыц, я больше не буду.

Поля зажала голову в кулаке, пососала немного и положила на стол.

— Ты что? — удивился Василько. — А глаза! Глаза ешь!

— Я боюсь, — сказала Поля. — Они глядят.

— Ну не дура ли! Вот как нужно.

Василько осторожно выдолбил круглый глаз и кинул его в рот.

— А! — причмокнул. — Сладкий, как березовый сок.

Поля засмеялась и начала выцарапывать второй глаз.

— Ну, теперь я пошел за рыбой, — сказал Василько, — а ты играй и не плачь. Я тебе за это улиток с речки принесу.

Он приставил ко лбу два растопыренных пальца и попятился к двери, пританцовывая и напевая: «Улитка, улитка, выставь рожки на четыре дорожки...»

— А сейчас чем играться? — спросила Поля.

— Черепочками[1]. А то сделай себе куклу из тряпок.

Закинув удочки за плечо, Василько зашагал к реке. В улочке стояли давние лужи, желтые от гнилой соломы и конских кизячков. В них купались воробьи и блестело солнце. Василько не обходил луж, — вода в них была теплее земли и согревала ноги.

На лугах между кочками еще не высохла роса, и Васильку пришлось закатать штаны, чтобы не намочить их. В траве прыгали лягушата, бились холодными рыльцами о голые икры и перевертывались вверх брюшком.

Василько клал лягушат на кочки и кричал что было силы:

— Марш по лужам, самураи!..

На реке тоже было много солнца, вода выблескивала, как никель, резала глаза и двоила поплавки. Кусты чер-

---

[1] Черепочки — осколки цветных тарелок.

нотала притихли, словно увяли, листья на них, казалось, поседели.

Становилось душно.

Клева не было.

Василько выбросил удочки на берег и полез в кусты собирать улиток. Они были теплые, сухие и погромыхивали в пазухе, как волошские орехи.

Солнце пригревало все сильнее и сильнее, высасывая из земли знойную влагу. Василька разморило. Он спрятал удочки в осоке, пригнул к земле густой куст чернотала и, подобрав ноги, бочком прилег на ветки. Они ласково приняли на себя легонькое тело, покачали немного, щекоча траву горячим листом, и замерли...

В полдень поднялся ветер.

Кусты начало раскачивать. А Васильку снилось, что он лежит в колыбели, подвешенной к потолку четырьмя стропками, и качается. Рядом стоит мать, держит у него перед глазами веточку красной смородины, смеется и что-то говорит ему, а у самой по щекам катятся слезы...

Василько проснулся и увидел небо. Высоко под белыми облаками плыл ястреб, держа в когтях какой-то комочек.

— Айга-а-а, — неслось от села, — айга...

«Цыпленка взял», — догадался Василько, вскочил на ноги и тоже закричал хриплым со сна голосом:

— Айга, айга, ворюга несчастный!..

Потом схватил палку и запустил ею в ястреба, но не докинул и принялся удить: сначала сыпнул в воду горстку земли — для приманки, потом хорошенько поплевал на червяка и сказал:

— Ловись, рыбка, большая и маленькая...

Василько знал, что на том месте, куда он закинул, есть старый вербовый пень, присосанный илом, а возле него всегда трутся окуни. Они берут стремглав, наперегонки. Но сегодня и окуни почему-то не брали. Поплавок стоял, словно в луже.

Жара спала. Трава и листья на кустах запахли терпкой прохладой. Дно в реке потемнело: оттуда уже поднималась ночь. Василько заволновался, начал вновь и вновь закидывать удочку и менять червяков, потому что побывавшие в воде казались ему уже негодными.

Но и это не помогло. Тогда он взобрался на ольху, которая почти легла стволом на реку. Сверху вода была прозрачнее, дно желтело, как воск. Вокруг пня и

вправду стояли окуни, уткнувшись в него тупыми горбатыми головами.

— Ах вот где вы! — зловеще прошептал Василько и закинул прямо в стаю. Однако ни один окунь даже хвостом не шевельнул.

— Ну? — растерянно спросил Василько и стал подводить червя прямо под нос каждому. Окуни отворачивались или ложились на дно.

— Ну! — уже закричал Василько. — Ну! Ну!..

Вода начала темнеть, полосы на спинах окуней слились. А вскоре и пня не стало видно. Василько спрыгнул на землю и пошел вдоль берега, закидывая удочку в просветы между кувшинками. Крючок где-то зацепился за веточку и оторвался, но Василько не замечал этого в темноте, пока не потерял и поплавка...

От села низами потянуло горьким дымом бурьяна. Кое-где в окнах ненадолго замерцали лампы и вскоре погасли — люди поужинали. Над рекой прошелестела воронья стая, и вновь стало слышно густое комариное гудение.

Василько сидел у сухой пустой торбинки, уткнувшись головой в колени. Ему думалось о том, что сегодня в их хате не засветится огонь, потому что нет рыбы, которую нужно чистить. А утром на завтрак не будет ушицы, Поля станет плакать, мать пойдет на работу не евши и вернется вечером с толстыми набрякшими ногами.

Где-то поблизости от берега всплеснулась щука. Василько вздрогнул и прислушался. Потом поднялся и тихонько полез в речку. Вода была горячей и мягкой, словно щелочь, обнимала Василька все выше и выше, пока не набралась в пазуху. Там начали плавать улитки, щекоча худенькое Васильково тело так нежно, что он раза два даже хихикнул, потом привык и, не дыша, подкрался к тому месту, где бултыхнулась щука. Сейчас она попадет ему в руки и станет изгибаться над головой, как поперечная пила... Вот мать обрадуется! «Ого,— скажет, — какая щучища!» А Поля будет смеяться и весело топать по лавке...

Василько растопырил руки и, падая грудью на воду, быстренько свел их вместе. Пальцы зажали что-то скользкое, сердце сладко защемило, ожидая той минуты, когда ошеломленная добыча начнет сопротивляться. Но она не сопротивлялась: это была свернувшаяся в дудочку кувшинка...

— Нет, — сказал сам себе Василько, — щуки я не поймаю — она очень шустрая. Лучше пойду за вьюнами.

Он выбрел на мель. Стало вязко. Вода запахла гнилыми опавшими листьями и моченой коноплей. Василько погрузил руки в тину и, чтобы не так увязать, опустился на четвереньки, старательно ощупывая ил. Вдруг дно исчезло. Василько окунулся по шею и, почувствовав под собою бездну, всем телом рванулся к берегу. Но тяжелые водоросли крепко обмотали штаны и потянули Василька вниз.

На какой-то миг он снова, как тогда спросонья, увидел небо. Оно разделилось на две половины: одна была черной, другая — в звездах. Где-то далеко вспыхнула молния, озаряя прибрежные кусты, и упала в воду.

«Мама!» — крикнул Василько, но вместо своего голоса услышал только глухое бульканье. В висках стало больно и зазвенело — тоненько, будто где-то далеко сурмила сурма, перед глазами троились красно-зеленые пятна, наезжали одно на другое и подпрыгивали, словно обручи. Потом в голове что-то щелкнуло, обручи разбежались, попадали и расплылись в зеленой мути...

А немного погодя посреди черного омута одна за другой всплыли пустые легонькие улитки, покачались на воде и стайкой прибились к берегу.

ХОЛОДНАЯ МЯТА

Над лугами, залитыми апрельским половодьем, стыл оранжевый вечер. И чем глубже за холмы уходило солнце, тем ниже становилось зарево — у́же огненная линия у воды над лозами, будто волны толкали ее куда-то к берегу.

Андрей поднялся с пенька, на котором отдыхал, и разыскал между кустами свою лодку. За день вода убыла: на том месте, где она стояла еще утром, осталась лишь гривка сухих камышовых сопилок, разбухших сучьев и пустых раковин улиток. Лодка лежала на берегу, присосанная илом. Цепь, которой она была прикована к ольхе, натянулась: видно, паводок, покидая это место, хотел забрать с собой и суденышко...

Андрей отмотал цепь — на ольховой коре осталась от нее красная царапина — и поволок лодку к воде, увязая кирзовыми сапогами в зеленом иле.

Пока добрался до поймы, вспотел и устроился на корме передохнуть. Домой не торопился, хотя к вечеру сильно проголодался и устал. Весь долгий день возил трактором в коровник подстилку, помогал женщинам сбрасывать и укладывать тяжелые соломенные глыбы. От него и сейчас пахло прелым солодом слежавшейся соломы, соляркой и остывшим потом.

На сухом взгорье по ту сторону лугового понизовья маячило село, почти со всех сторон окруженное тихим, оранжевым, как небо, паводком. Там бубнило радио, пели петухи, низко стлался дым, разбавляя луговой воздух горьким тленом прошлогодних трав.

Андрей узнал и свою хату, но не почувствовал при этом сладкого щемящего призыва, который еще совсем недавно гнал его домой чуть ли не бегом.

С того дня, как он навсегда отстегнул от широкого офицерского пояса кортик и сел на трактор, теща возненавидела его, начала звать на «вы», и хата, будто поняв свою хозяйку, нахмурилась и застыла в немом презрении...

Теперь, как только Андрей возвращался с работы, теща непременно встречала его в сенях и предупреждала:

— Ради бога, не наносите в хату грязи. Мы только что сделали уборку...—И демонстративно шла мимо него во двор, неся на лацкане начищенный значок отличника наробраза, похожий на скифский кувшин с двумя ручками.

Андрей пятился в темный угол, прижимался к стене, чтобы дать ей дорогу, и молча ярился: казалось, она нарочно встречает его в сенях, чтобы загнать в угол и тем унизить. Потом он разувался, держась за дверной косяк, и входил в комнату...

Клава лениво поднималась ему навстречу, сладко, с хрустом в плечах, потягивалась, поднимаясь на цыпочки и украдкой поглядывая на себя в зеркало...

Ужинали молча, словно после ссоры.

— Черт его знает, откуда только вы взялись!.. — бурчал ночью Андрей, мерцая папиросой. — В селе и такие вот неженки...

— Откуда и вы! — быстро, заученно отвечала Клава и демонстративно отворачивалась к стене. — А если мы не такие, так найди себе получше...

Тогда он ненавидел в ней все: тонкую, выхоленную

талию, горячие ноги и даже имя: Клава, лава... — черт знает что!

Порой же среди ночи, после какого-то болезненного физического примирения, она начинала плакать, жаловаться, что скучает по Владивостоку, по веселой матросской самодеятельности и что мать, когда Андрея нет дома, зовет его списанным офицером, а ее раззявой, — уж не знала, за кого выходит замуж...

Тогда Андрей вскакивал с постели, жег папиросы, метался по хате, натыкаясь на стулья и опрокидывая их с грохотом на пол, пока теща не начинала стонать из-за двери:

— Ради бога, дайте мне покой...

...На закате стало смеркаться.

Андрей спустил на воду лодку и уже хотел было тронуться, как в ольшанике затрещали ветки и на луг выбежала запыхавшаяся девушка.

— Дядя, перевезите на ту сторону! — закричала еще издали. Потом подошла ближе и, видимо узнав Андрея, стыдливо погасила длинными ресницами озорной мальчишечий взгляд. — Это вы... А я думала, дядько Порфило.

Девушка смутилась, и Андрей понял, что она, наверно, сгоряча сказала ему неправду: на нем была мичманка и старый будничный китель, а такой одежды в селе, кроме него, никто не носил. Он вспомнил, что когда-то видел эту девушку, но совсем не такой, как сейчас. Кажется, в позапрошлом году, когда он приезжал в отпуск и при всех офицерских регалиях шел по селу, следом за ним увязалась целая стайка старшеклассниц. Девушки норовили опередить его, чтобы рассмотреть получше, тихонько перешептывались и прыскали со смеху. Кто-то из них громко сказал:

— А Леся так прямо оче-е-ей не сводит...

Андрей оглянулся и увидел девчушку в длинном форменном платье, с чистыми испуганными глазами. Они словно молили остановиться, словно говорили ему: посмотри, какие мы хорошие... Все это Андрей увидел мельком и быстро забыл, но глаза эти ему запомнились.

Теперь перед ним стояла девушка, на которую нельзя было просто кинуть взгляд, но и любоваться ею,

тем более ему, женатому человеку, тоже было неудобно. Она держала в руках учебники, хотя одета была совсем не как школьница: в резиновых сапогах большого, мужского, размера, простеньком сером жакетике, а цветастый с бахромой платок покрывал не полголовы, как принято у девчат, а был повязан с напуском, как у молодицы.

Это как-то неприятно кольнуло Андрея. «Ученица, — подумал, — а уже, наверно, замужняя. И сапоги — мужнины».

— Садитесь, — сказал не очень приветливо, сам тому удивляясь, и побрел в воду, к корме.

Но девушка подождала, пока он уселся, с силой оттолкнула лодку и потом только прыгнула в нее сама.

— Где же вы были, что так поздно возвращаетесь? — спросил Андрей, чтобы как-то замять эту, самому ему непонятную, странную неприязнь, с которой он встретил девушку.

— В школе... Потом бабушке картошку перебирала.

— Вы — Леся?

Девушка кивнула. Глаза с затаенным озорством, горячо, по-женски сверкнули...

— В каком же вы классе?

— В одиннадцатом...

— А потом — куда?

Леся улыбнулась, опустила руку за борт и отвернулась.

— Кто его знает...

— А учителя что советуют? Кто у вас классный руководитель?

— Степанида Трофимовна. Ваша теща... — тише прибавила девушка. — Она говорит, чтобы шли в животноводы, потому что и туда скоро без образования принимать не будут...

Андрей стал грести быстрее и злее. Однако весло не играло в воде и не трудило рук. Лодка шла ровно и мягко, словно птица на бестрепетных крыльях. И казалось, хаты в садах сами плывут ей навстречу.

«Вот как... — думал, — агитирует за коровник. Прыткая!»

Над горизонтом дотлело и угасло зарево. Наступила та предвечерняя пора, когда воздух становится родниково-прозрачным и даже неприметные до сих пор тоненькие ветки лозы, там и сям торчащие в поймах,

приобретают четкие контуры и неподвижно отражаются в воде, кажущейся от этого бездонно глубокой. Роса потянула с влажных трав густой запах вымороженной бодяги, вялой бугилы и пожухлого мокрого сена, оставшегося в кустах после прошлогодней косовицы.

Пахла черная земля на буграх между поймами — исходила весенней жаждой родить, — пахла высохшими травами, трухлявым сухостоем и молодыми побегами...

И среди всех этих запахов Андрей не мог узнать одного, который напоминал ему пастьбу на лугах с бутылкой холодного молока и краюшкой хлеба в торбе, троицын день в бабусиной хате, со свежесмазанным глиняным полом, посыпанным острой осокой,— запах этот напоминал ему детство.

Андрей перестал грести, несколько раз глубоко вдохнул воздух, распрямляя грудь, и занемел, словно прислушивался к какому-то тихому-тихому звуку.

— Мята... — прошептала Леся. — Взошла холодная мята.

Андрею показалось, что они вместе вымолвили это слово, только он — про себя, а она — вслух.

— Ну вот, видите... — начал было и умолк, так и не договорив. А он хотел сказать, что нельзя, стыдно людям думать и говорить вот так куце: «списанный офицер», «животновод», «механизатор», — нельзя так мыслить и жить, когда земля пахнет прошлогодними травами и молодой мятой, вечностью и мгновением...

Андрей впервые откровенно и смело посмотрел на Лесю, потому что чувствовал, что делает это с чистым сердцем, и не узнал ее: она повязала платок по-девичьи и сразу стала юной, нетронутой, как земля на холмах.

— Поедемте, если хотите, за мятой, — предложила она.

И Андрей вновь заметил озорной мальчишеский блеск в ее глазах.

— Она ведь еще только в один листочек, — сказал немного растерянно и вместе с тем жалея, что отказывается. — Молодая она еще...

— Возле реки она больше... — уже несмело сказала девушка.— Там берега крутые, и в этом году не заливало.

Андрей повернул лодку в ту сторону, где русло черным валом уходило в лес. Вскоре с обеих сторон поднялись крутые размытые берега, с которых свисали в воду и гудели от малейшего прикосновения крепкие берестовые корни.

Леся легко прыгнула с лодки и исчезла в зарослях, похрустывая валежником. Вскоре она вернулась с пучочком холодной мяты. В один листок...

— Ничего, — сказала, пряча глаза и отворачиваясь. — В стакане она быстро вырастет. Беленькие такие ножки выбросит. Возьмите себе, если хотите...

Лодка сама отчалила от берега и тихо вышла на середину реки.

— Вы меня помните? — вдруг спросила Леся, когда он спрятал лицо — одни глаза — в зеленый кустик мяты. Она и вправду была холодной и пахла молоком, пастбищем, острой осокой и троицей в бабусиной хате. — Я вас — тоже...

Их несло течением вниз по реке. А он забыл про весло, лежавшее под ногами, и боялся шевельнуться, чтобы не вспугнуть ее голоса, тихого, как паводок, и чистого, как дыхание земли на холмах посреди поймы. И еще перед глазами у него стояла лодка с натянутой цепью — лодка, из-под которой ушла вода, так и не совладав с привязью...

Ночью Андрей долго не мог заснуть — в хате было светло от сияния крупных звезд и густо пахло холодной мятой...

КЛЕНОВЫЙ РОСТОК

У хаты, на широкой древней завалинке, обтыканной для поддержки полусгнившими колышками, сидит дед Христоня. Зовут его Савка. Но это только старики знают, что он Савка. Молодые говорят: «Вон сидит Христоня».

Сидит в затишке, с той стороны, где клен растет. Вернее, не растет, а торчит из земли, потому что он уже давно усох. И кора на стволе отстала. Только один росток внизу у самого комля остался живой, да и тот листья теряет — осень почуял.

На завалинке играет солнце, ластится к деду трепещущими тенями от веток. Не жаркое и не холодное. Тихое. И желтое, словно процеженное сквозь осенний

лист. Из-под стрехи, что едва не касается дедовой головы, выступают наружу резные балки, — «кони», тоже трухлявые, побитые тлей, словно дробью; блестит паутина — старая, крепкая, такая, что уже и ветер не порвет, разве что воробей, если крылышком зацепит. Тогда паутина тихонько треснет и опустит вниз две блестящие нити. Христоня седой как лунь. Лицо, шея и даже губы — белые, так и светятся немощью. Руки тоже белые. Лежат на палке одна на другой, словно два лепестка. Только нос у Савки не белый, а в черной рябизне, словно в него сапожных гвоздиков понаколотили — угришки выступили.

Христоня совсем одинокий. У него никогда не было детей. Жены были — старые люди это точно помнят. А детей — «не послал господь». На зиму деду дают из колхоза пшена, подсолнечного масла, муки, а сельские старухи, которые покрепче, по очереди варят ему еду, сажают, полют, выбирают картошку на огороде и ссыпают ее на зиму в хате под старинной деревянной кроватью.

Вот так он и живет. Зимой отогревается на печи, а как станет тепло — возле хаты.

Однажды, когда Христоня, как всегда, сидел, дремля, на завалинке, мимо него шел в школу мальчонка. Шел, шел, поравнялся с дедовой хатой и остановился. Шарк-шарк ботинком по пыли:

— Здравствуйте, дедушка...

В Савкиных ушах, затканных седой шерстью, было тихо, а как мальчонка заговорил — зашелестело что-то, словно вода.

— Что? — сказал он.

— Здравствуйте! — уже крикнул малыш.

— А... — Христоня пошевелил палкой. Хотел и бровями, но не получилось. Только поморщился.

— Чей же ты будешь? — спросил.

А мальчонка снова ботинком — шарк-шарк. Шмыгнул носом. Глаза ресницами прикрыл — под ноги себе смотрит.

— Ничей...

— Ха!

— Патронацкий я...

— Вон как! А батько где же — на службе?

Мальчонка улыбнулся:

— Патронацкий, говорю.



— Байстрюк [1], значит?

Христоня долго сидел молча, опустив голову, — шея устала держать ее прямо. А когда вновь выпрямился, увидел, что мальчик стоит, как и прежде.

— Ну-ка, иди сюда, — позвал и даже пальцем поманил.

— Зачем? — спросил мальчонка.

— Иди, брат, поцелуй деда в нос — дам копейку...

Мальчонка сначала было улыбнулся, потом нахмурился, брови на глаза напустил и попятился на другую сторону улочки.

Когда Христоня во второй раз поднял голову, его уже не было.

— Хе, сук-кин сын, барбос, — нежно прошамкал

[1] Байстрюк — незаконнорожденный.

старик и еще немного посидел, думая, наверно, что мальчонка вот-вот вернется. Потом ему стало холодно, и он потихоньку, едва переставляя ноги, поплелся в хату. Долго сидел на прогнувшейся лавке, в темном углу, а как стемнело, полез на печь и уже там сказал: «Байстрюк, значит. Вот как...»

На другой день Христоня снова сидел на завалинке и ни на кого, как и прежде, не обращал внимания. Сидел осень, и лето, и второе, и третье... Ходили мимо него люди, бегали дети, но не останавливались напротив и не шаркали ботиночками — играли себе в сторонке, да и только.

А однажды зимой, на рождество, — старые люди точно знают, когда оно бывает, — пришел к Христоне какой-то ребятенок колядовать. Никогда никто не ходил, а этот пришел. Может, люди подослали, а может, из любопытства. Кто знает. Но пришел. Протоптал сугроб под глухой стеною, с той стороны, где крохотное окошко на печь вмазано. Окошко низко: потому что хата осела, к тому же снега намело едва ли ни под стреху. Дотянулся, постучал пальчиком раз и другой.

— Дозвольте колядовать! — закричал весело и уткнулся носом в стекло.

Христоня долго поворачивался на печи и стонал, пока наконец не очутился лицом к окошку и тоже уткнулся носом в стекло.

— А чей ты будешь? — спросил.

— Васильев!

— А... — обиженно пробормотал Савка и хотел уже повернуться на то место, где приспособился лежать, но через некоторое время снова спросил:

— А тот — где?

— Какой, дедушка? — не понял мальчик.

— Патронацкий... Ходил тут один.

Колядник даже рот раскрыл.

— Какой это? Может, Илько патронацкий?

Христоня пошарил рукой по каминку и достал два новеньких гривенника царской чеканки.

— Если встретишь, скажи ему, пусть приходит. Вот дам... — показал в окошко гривенники.

Колядник засмеялся.

— Илька давно нет, дедушка! Он в армии служит.

Христоня затрясся от кашля, гривенники попрыгали с ладони и зазвенели.

— Так как же — колядовать мне или не надо? — настаивал мальчик.

— Нечего давать! — сердито ответил Савка и начал поворачиваться так, чтобы снова попасть на улежанное место.

Колядовать больше никто не приходил. Ни в ту зиму, ни позже...

...Бегают по улочке дети, прячутся под плетнями — в жмурки играют. Тени становятся длиннее и длиннее, словно говорят людям: скоро мы станем ночью.

Вот уже и солнце на закате. Стекла в дедовой хате загорелись багровым пламенем. Вечер опускается под стреху, к седой Христониной голове. А он все сидит.

С кленового ростка сорвался широкий желтый лист. Покружился, покружился вокруг ствола и лег Христоне на плечо, как эполет. Но старик не видит его. Он уже почти ничего не видит перед собою, кроме солнца...

В «конях», под стрехой, шуршит тля, сеет на холодную завалинку пахучие дубовые опилки, посыпает деду седину.

Все забыл Христоня: и царей, и службу в уланском полку под Краковом, и жен своих — старые люди говорят, что они у него точно были, — а мальчонку, Илька патронацкого, — нет, не забыл.

Иначе зачем бы он сидел на улице осенью, когда завалинка уже совсем холодная, а над головой, в паутине, что-то посвистывает, будто зимой, а солнце уже не согревает белых немощных рук, сложенных на палке, как два лепестка?..

СИТО, СИТО...

Вот тебе и на: только устроился поглядеть, как мать будет печь растапливать, а уж кто-то дверь дергает. И я знаю кто: либо тетка Харитина, либо тетка Александра, либо еще кто-нибудь. Гадать пришли. Ну я вам сегодня нагадаю, раз не дали поглядеть, как печь растапливается и что на ужин готовится.

— Ну-ка, Илько, пойди отопри, — говорит мать, а у самой слезы из глаз — кап-кап: уголек раздувала, вот дым в глаза и зашел.

Бегу в сени, а там снегу в четверть: намело сквозь щели в дверь. Попробуй отпереть, да еще босиком! Го-

ворил когда-то матери дед Мурмило: погадай мне, молодица, на моего Иванька, а я уж приеду в воскресенье да дверь тебе починю, совсем ведь рассохлась. Погадал, узнал, что Иванько живой, да и пошел себе. А в сени как наметало, так и наметает... Попробуй-ка теперь отворить!

— Кто там? — спрашиваю так сердито, что мыши на чердаке, слышу, мигом прыснули во все стороны.

А щеколда у меня перед носом прыг-прыг, клац-клац, а снег в щели пшак-пшак... И за пазуху немного сыпнулось.

— Кто там? — допытываюсь.

— Да это я, Илюша, тетка Олена. Ты что, не узнал?

Ба! Не узнал. Как же я узнал бы сквозь дверь? Да еще и ночью. Откинул быстренько щеколду, а сам — шмыг в хату, а мороз меня — по ногам: догнал-таки! И тетка следом.

— Добрый вечер, Одарка! — к матери. А ко мне: — Здоров, зятек.

— Здравствуйте! — кричу еще сердитей, чем в сенях, и растираю ноги. «Зятек, зятек»! Тут вот ноги озябли, а ей — «зятек». Пристала.

Она всегда вот так со мной здоровается, да еще и подмигивает, как маленькому.

А почему это я должен быть ее зятем? Думает, если у нее Натка есть, так я непременно женюсь на ней! А может, я не захочу, может, я после войны на Донбасс поеду и возьму себе врачиху, как вон дядя Филипп. «Зятек»! Сказала б уж: погадайте...

— А я, Одарка, к тебе, — смущенно топчется у порога тетка: видит ведь, что мы до сих пор еще не ужинали, а оно, как на беду, и хворост сырой, не загорается, и соломы на растопку нет.

— А что, плохо приснился? — спрашивает мать и вновь принимается дуть на уголек.

Тетка Олена тоже наклоняется к припечку и тоже надувает щеки кувшинчиком — еще сильнее, чем мать, потому что мать устала, а тетка нет.

Дуют, а огонь никак не загорается. Дымился-дымился и вдруг — пых. В хате сразу стало виднее, и от всего тени легли: и от лавки, и от меня, и от тетки с матерью. А окно — как ослепло. Будто его со двора кулем закрыли...

Дровишки горят, а тетка обрадовалась, схватила коптилку, поскорей зажгла и ставит на стол. И мы с матерью тоже обрадовались. Все повеселели, потому что тетке невтерпеж погадать, матери отдохнуть, а мне теперь не нужно бежать во второй раз к соседям за угольком.

— Так говоришь, соседка, сон плохой приснился? — спрашивает мать настороженно.

А я беру старый обгоревший ухват и ворошу им в печи: пусть поскорее разгорается, — есть уж больно хочется.

— Кто знает, как тебе и сказать, — вздыхает тетка. — Мне он прошлой ночью снился вроде бы и неплохо, а вечером приходила Горпина Степанивская — она ведь нам родня,— да и рассказывает: приснился ей Дмитро позавчера, это как раз под пятницу, и очень плохо: будто стоит, сердечный, по грудь в зеленой воде, без фуражки и в сорочке, вышитой красным, а на спине у него — льдина, тонкая и широкая, аж гнется... Стоит, смеется. А потом будто и заговорил: «Сними с меня, говорит, эту льдину, а то у меня спина стынет...» Так вот я и пришла к тебе, Одарочка, спросить: к чему бы этот сон?

— Это ничего... — тихо отзывается мать, наклоняясь к печи и глядя на огонь. — Другое дело, если б он приснился кому-нибудь из близких родичей. А Горпина ему кто? Сказано: десятая вода на киселе...

Тетка обрадовалась так, что порозовела даже. Или, может, это от пламени из печи? А у матери глаза печальные почему-то, и огонек в них трепещет — тоже невеселый.

— А тебе что снилось? — спрашивает.

Тетка вздыхает и начинает торопливо рассказывать:

— А мне такое: будто иду я по житу возле Олиянова яра...

— Зеленое жито или спелое? — перебивает мать.

— Вот этого уже тебе и не скажу, забыла... — сокрушается тетка. — Помню только, что жито шелестит и ноги мне остюками щекочет... И будто ветрено и пасмурно... Иду и иду. А тут вдруг из-под ног как захлопает крыльями — перепел. Отлетел чуток и сел, вроде поджидает меня...

— Гляди-ка, — радуется мать. — Это к свиданию. А жито, — значит, живой...

— Да ведь ветрено и пасмурно... — сомневается тетка.

Тут уж, думаю, и мне можно вмешаться.

— Еще бы не ветрено, — говорю, — и не пасмурно! На фронте же...

А тетка:

— И то правда: на хронте ж... — И матери: — Господи, умница-то какой у тебя хлопец, Одарка! Дай бог, чтобы он и дальше таким рос.

Мать на некоторое время умолкает, довольная и гордая, потом начинает гладить меня по голове — раз, и второй, и третий... Долго так. А потом:

— Если б не такое время, так, может, из него что и вышло бы. А то видишь: ни одеть, ни обуть не во что... Сидит целыми днями в хате, как тот пескарь в норе.

В печи разгорается сильнее и сильнее, в хате делается красно, а на стеклах так и играют, так и поводят блестящими клювами вычеканенные изо льда и инея «селезни». И шипят... Нет, это хворост в печи шипит и пускает на холодный под белую дымящуюся пенку — сырость из него выходит.

Вот и кулеш закипает в горшочке — опять кулеш! — а тетка не уходит.

— Может, ты бы мне, Одарка, и на сите прикинула? — спрашивает робко.

Ну вот, я ж так и знал! «Зятек, зятек»! Говорила бы сразу: погадайте. А то еще и подмаргивает...

— А чего ж не прикинуть, — соглашается мать. — Можно и прикинуть. Готовь, сынок, снасть.

— Там уже скоро обод расколется, — бубню сердито, однако лезу на печь за ситом и ножницами.

Устраивать все это недолго. Нужно только поставить сито на попа, зажать коленями и воткнуть остриями в обод немного раздвинутые ножницы. Потом мать берется указательным пальцем под колечко с одной стороны, а я под колечко с другой стороны. Затем мать говорит: «Господи, благослови» — и начинается...

В сите, там, где я втыкаю ножницы, уже и дырки появились от этого гадания, и ободок треснул. Ну ничего, завтра буду вкалывать еще вот тут, сегодня же и так обойдется.

— Приготовил, — говорю.

Беремся с матерью пальцами под колечки и выходим на середину хаты. От сита на стене появляется большая длинная тень, сквозь клеточки видно, как в печи играет пламя, а на сводах мелкие точечки сажи гоняются друг за дружкой...

— Ну, господи, благослови, — говорит мать.

А тетка и дышать перестала, и глаза у нее сделались большие-большие. Вот чудная! Лучше б на меня смотрела, потому что я как захочу, так и сделаю: захочу — и выпадет, что дядько Дмитро жив, а захочу — и выпадет, что его нет! Вчера, к примеру, приходила гадать бабка Шлепчиха, так я и сделал, что ее зятя нет... Это чтоб знала, как меня с луга прогонять! Рвал когда-то на ее лугу щавель, а она увидела и прогнала... Так я ей вчера и сделал!

— Слышишь, господи, благослови, — еще раз говорит мать и начинает нашептывать притчу: — Сито, сито! Ты святую муку сеешь — и в добро, и не в добро: на крестины и поминки, на свадьбу и на именины... Скажи мне святую правду: жив Одаркин Митро или нет его... Как живой — повернись влево, как нет его — вправо...

Потом мы все замираем и смотрим на сито. Эту минуту я больше всего и люблю, потому что теперь все зависит от меня: подтолкну колечко влево — и сито повернется влево, подтолкну вправо — и сито повернется вправо... Куда его сейчас повернуть?.. А что, если совсем не подталкивать?... Я уже когда-то так сделал. То-то смеху было. Мать проговорила притчу, а я не подталкиваю; мать еще раз проговорила, а я не подталкиваю. И стоит сито — ни туда, ни сюда...

«Что же это оно ничего не показывает? — спрашивают у матери. А она подумала, подумала, да и говорит: «Видно, в плен попал казак. Если б на нашей стороне остался, тогда непременно показало бы что-то...»

Оглядываюсь на тетку, а она, бедная, дрожит вся, в лице меняется, — видно, и погадать не терпится, и боится, чтоб не выпало, будто дядьки ихнего нет... Ну что мне с нею делать? Прикидываю: как-никак, а тетка Олена хорошая. Она мне и гостинец давала (свисток глиняный да еще и голосистый такой), и тыквы печеной приносила осенью, и санки с пеньками, когда я уже совсем умаялся, помогла дотянуть до самого двора... А ругала только один раз: когда я украл у нее

чугунок на дробь для рогатки. Так это же я сам прохлопал: нужно было его сразу раздробить, чтобы и следа не осталось, а я взял да и оставил половину на черный день. А она увидела и разбойником меня обозвала. Так ведь я сам виноват! Нет, пусть лучше дядько Дмитро остается живым...

Сказал так сам себе и подтолкнул колечко вправо (это как от меня, а если от матери, то как раз и выйдет влево). Подтолкнул, а сито сразу только круть — нате вам, тетка, живой ваш дядько Дмитро!

— Вот видишь, — обрадовалась мать, — я же говорила: жито, — значит, живой.

А тетка зарделась, как маков цвет. Сюда-туда по хате крутнулась, а потом сунула мне в руку сверточек из капустного листа и к двери. Да уже с порога:

— Спасибо вам, побежала я...

Разворачиваю капустный лист, а там яблоко моченое... Мать смеется:

— Вишь, — говорит, — и гостинец заработал!

А меня, как обожгло. Выбежал в сени, распахнул дверь.

— Тетя, тетя! — кричу в ночь. — Я ведь нарочно, тетя... Я и сам не знаю, тетя!..

А ветер хватает слова, рвет прямо у порога и толкает меня назад, в сени; а крупа, как теркой, — по ногам, по ногам... Ушла тетка, не услышала.

— Чего ты босиком бегаешь! — укоряет мать.

— Двери запирал! — кричу на всю хату, будто мать в чем-то виновата, и швыряю яблоко на посудник: пусть кто хочет, тот и ест.

...Уже и метель улеглась, не царапает окон и не шуршит у стен, а я никак не засну. Все мне мерещится: то дядько Дмитро с льдиной на плечах, то отец, заметенный где-то снегом, то тень от сита на стене — большая и сквозь него искринки сажи на черном фоне...

— Мама, слышишь, мама, — спрашиваю потихоньку, — а почему ты никогда на отца не гадаешь?

— Гадаю, сынок, и на отца, — вздыхает мать и долго потом не отзывается. — Гадаю, только не сама, а у людей...

— Почему у людей?

— Да все кажется, будто другие больше знают...

— А они тоже не знают, да?

— Не знают... Спи, сынок, спи.

И еще что-то говорит, и еще что-то. Но я уже не слышу, потому что мне тепло под рядном, а в хате холодно и темно. И тьма какая-то глубокая-преглубокая...

А где же потолок? Нет потолка. Тьма от пола и до самого неба... Ни о чем не думается больше, только одно слово вертится в голове, еще живет: сито, сито, сито, сито... За него цепляются другие слова, сливаются, как точечки сажи на печном своде.

Сито, сито! Ты святую муку сеешь... А где наш отец?.. Скажи мне правду... Святую правду... А где наш отец?.. Снег...

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

— Гей, бычки! — кричу на всю дорогу, а они словно и не слышат: плетутся себе потихоньку, знают — не домой, а из дома идут. А тут еще и против ветра, и губы озябли так, что кричу «бычки», а получается «мычки». Может, потому они и не слушаются.

— Гей, мычки!

Везу деду Помазану солому в местечко. Он в нашем колхозе сруб для кузницы поставил и стропила связал. Так ему за это плата: сани соломы и еще, говорят, ячменя полтора центнера. Про ячмень не знаю — может, и правда за кузницу, а про солому знаю: вранье. Соломы дал бригадир за то, что Помазан ему крыльцо срубил новое и четыре пары оконных рам связал. Так что — вранье.

А впрочем, какое мне дело? Мое дело привезти солому, свалить — и давайте, дед, ужинать. Бригадиру крылечко и рамы, а мне — ужин!

Вот только холодно очень. Лежал на соломе — ноги мерзнут, перелез на дышло — волы хвостами бьются, стал идти — пробирает насквозь. Если б одежа была как одежа, а то шинель немецкая, куцая, — видать, немец маленький был. Да еще и без карманов. Прорези есть, а карманов нет: отгнили. Вот в прорези эти и поддувает.

— Гей, мычки!

Теперь уже, почитай, полкилометра иду и не мерзну. Приспособился. Жмусь к воловьему боку, пока свой бок нагрею — один, правый, потом поворачиваюсь спиной к ветру и грею другой, левый. А правый тем

временем мерзнет понемногу. Ну да ничего, как-нибудь доберусь. Свалю солому, войду в хату и — раскошеливайтесь, дед, на ужин! Ге-ге, а как же!

Вот на прошлой неделе возили мы солому к председателю сельсовета с Семеном Одарковичем (отец у него кто его знает кто, а мать — Одарка), так чего только там на стол не подавали: и борщ, и сало мороженое с красненьким в средине, и каша молочная... Полакомились! Только с салом немного не повезло, — к нему вилки подали. А раз подали, то уже руками в миску не полезешь. Взялись мы за вилки (тяжелые такие, немецкие), накололи по ломтику — и в рот. А сало только раз — и слетело. И у Семена, и у меня! Вот смех! Так мы тогда руками... Пока председательша в боковушке — руками, а как войдет — снова за вилки беремся... Кое-как управились — и айда домой. Никому и не рассказывали, а то у нас такие люди: только дай повод — сразу же дразнить начнут...

— Гей, мычки!

Вот уже и местечко видно. Гляди, как рано свет зажгли... И окна не замерзшие... А у нас в селе белые, как соль, — лед на них в палец толщиной.

...Так что свалю солому, поужинаю, лягу в сани — и домой. Назад волы бегом бегут к яслям, и замерзнуть-то не успею.

Может быть, дед еще и выпить даст. А что? Может, и даст! У него, сказывают, мошна — дай бог каждому... Еще бы, молодых плотников на войне побили, парнишек — в ФЗО на Донбасс забрали, а плотничать в колхозах кому-то ведь нужно. Вот и кличут все деда Помазана.

Бывает, спросит у него какая-нибудь молодайка:

«Когда помрешь, дед?»

А он засмеется, поплюет в ладони, подмигнет и скажет ей:

«А ты приходи ко мне вечерком, посидим, поговорим, тогда и узнаешь, когда я помру...»

Вот чудак! Тут вот по делу никак не доберешься, а он — «поговорим»...

— Гей, лодыри!

Ну и холод же собачий. А темнеет сразу. Уже и леса нашего не видать. Только провода гудят да гудят. Ишь понатянулись — вот-вот порвутся. Один, два, три, четыре... Четыре провода. А гудят так, словно их сто

или целая тыща. И каждый по-своему: который толстый — баском, тонкий — и берет тоньше. А солома на санях тоже шипит, ежится от мороза и трещит в середке — слеживается... О, мышь пискнула! Должно быть, в соломе. Вон кому тепло да добро! И еды хватает: там колосочек найдет, там зернышко — уже и сытая...

Едет в город. Глупая... Чем ты там лакомиться будешь? Это тебе не в ворохе соломы! Ну, езжай-езжай, мне что...

— Гей, милые, уже недалеко!

Интересно, что дед на ужин подаст? Ну, допустим, борщ, сало, кашу молочную... Вот еще выдумал: борщ, сало — это же мы у председательши такое обедали. А у деда — посмотрим. Может, он сегодня холодца сварил? Как-никак человеку солому привез. Вот как бы холодца! Или нет, не надо его. С холода и на холод — нет. Лучше... Что — лучше? Гляди, как разошелся! Может, деда и дома-то нет, а я размечтался.

Ну и примораживает! Даже волы инеем обросли. Нужно, пожалуй, за сани спрятаться.

— Цоб, цоб!

Вот тебе и спрятался! Только прислонился к соломе, а сани как занесет, да в сугроб меня!.. Вот тебе и спрятался... И нужно же было мне выезжать к ночи! Днем хоть мороз меньше, а сейчас давит — дохнуть нечем.

Только сказал это самому себе, ан глядь — уже и ветра нет и солома перестала шуршать — в закоулок свернули. Волы, учуяв жилье, остановились.

— Гей, бычки, уже дома!

Ну вот мы и добрались.

Закоулок дедов узенький, занесен снегом. На сугробах свет из окон лежит, в деревьях бродит седой дым. И пахнет. С каждого двора по-разному пахнет. Как провода в поле гудели по-разному, так и дым из труб пахнет всяк своим: то кулешом, то оладушками горячими, а то и не разберешь чем.

А у деда не топится. Видать, ужин готов, соломку ожидают.

— Цобе, цобе! — покрикиваю против дедова двора хрипло и устало: пускай услышат, как я измучился в дороге и чего мне их солома стоит...

Но дед ни гугу: и за порог не выходит. Вот это ждут!

Проламываю сугроб к окну. Ба! Дед еще и не один — с молодухой! Сидят за столом, выпивают... В красном углу — рушники вышитые кучкой лежат, две иконы на лавке ликами вверх, а на них пучок засушенного тысячелистника. Посреди хаты — комод с отвалившейся ножкой, прялка, скамья... Мазать стены собрались никак? Да кто же зимой затевает такое?

Стучу кнутиком в окошко:

— Дед, дед! Вам солому привез!

Услышал. Топает к окну, пошатывается.

— Что там такое? — спрашивает. А сам красный — уже нарезался.

— Солому, — говорю, — принимайте!

— Угу. Ну, сваливай возле сарая, коли привез, да входи погрейся.

Ну вот, «погрейся», говорит. Я же знал, что поужинаю! Только что там у них на столе стоит? Вот разиня. Молодуху, комод, иконы — все увидел, а еды никакой не приметил. Ну да еще нагляжусь. Раз уж сказано «входи», так нагляжусь. Нужно только поскорее дело сделать.

Взбираюсь на сани и оказываюсь вровень с дымовой трубой. Слышно даже, как в ней домовые возятся: сажу трясут... А ветер — аж солому задирает. Да в спину меня, в спину. Не сбросил бы на землю. А то было раз. Как сноп: только фьють — и наземь. Упал я и лежу. А бригадир увидел — это возле конюшни было — да как захохочет. «Какой же из тебя парубок, говорит, если тебя даже ветер одолел!» А мне дух перехватило и не шевельнусь, и слова не выговорю. Зато уже посмотрел на него — как хотел...

А ветер все же молодец: только зацеплю навильник, а он и сбросит, и сбросит. Вдвоем работаем. Да еще вон домовые толкутся в трубе, сажу на меня выметают и хохочут вот так: гу-гу-гу...

— Кшу, черти! — кричу.

А петух на чердаке как закокочет, а воробьи из-под стрехи как выпорхнут: подумали, что это я на них шикаю! Сидите, глупенькие, да спите себе. А нет — порыскайте в соломе, там зернышки есть. Вот и будет вам ужин... А вы, бычки, постойте, пожуйте. Замерзнете — быстрей домой доберемся...



Захожу в хату, а дед чарки наливает. Останавливаюсь у порога, шапку снимаю.

— Добрый вечер, — говорю и ладонь туда, где усы когда-то вырастут, прикладываю, чтобы не заметили, как улыбаюсь, потому что на столе чего только нет: и капуста, и кисель, и груши моченые. — Хлеб-соль вам!

А молодуха на меня — зырк-зырк. Покраснела — ужас. Устыдилась, что ли? Чего там стыдиться, я во время войны и не такое видал!

И к молодухе:

— Здравствуйте, тетя! С новосельем вас, что ли?

А дед смеется да чарку мне, да хлеба кусочек с капусткой.

— Пей, отрок, — мямлит, уже такой пьяный, что и языком едва ворочает и чаркой мне в руку не попадет: водит ею туда-сюда перед моими глазами, а я хочу поймать, да и сам туда-сюда рукой вожу. Еле поймал! Выпил. А она, как полымя, и загудела в висках. Если б хоть не натощак...

— Пей еще! — приказывает дед. — Пей да извини, что за стол не сажаем, потому как у нас сегодня с Христиной — тайная вечеря! Слыхивал, что это такое — тайная вечеря? То я говорю, Христина, или нет? Чего ты приуныла, а? Чего нос повесила, а?

Ай, чо́, милка, приунила-а-а,
Не сли-хать ея ре-че-ей...

Так я пою, отроче? Ну-ка помогай деду!

«А почему бы и не помочь, — говорю себе. — Дед — ничего, горилка — добрая... Бычки стоят... Трудэдень заработал, ужин на столе... Почему бы не посидеть компании ради да не погорланить?..»

— Стоп, деда! — кричу. — Вы не так. Вот как нужно. — Да как возьму высоко-превысоко:

Ой, ти, пта-шка, коно-регейка-а-а,
Не літай ти г-висо-ко-о-о,
Бо са-г-ма ж я добре зна-га-ю-у,
Що мій милий даліко-о-о...

— Хеть, анафемский! — встрепенулся дед. — Вот это зацепил.

Да и себе:

Бо́ са-г-ма ж я-а-а добре зна-га-ю-у-у...

— Слышь, Христина, — «знаю»! То-то, внимай! Зри! И да воздастся тебе сторицею... А ну, брат, налей нам еще по чарке... И себе — налей!

— Вы лучше б хлопца посадили, а то его уже качает, — тихо сказала молодуха.

— Ничего, — говорю, — я и постою, я еще в рост иду, так что не помеша-а-ат... Давайте лучше по чарке, потому что я вам соломку не как-нибудь накладывал, а еще и притаптывал. Ну-ка, раскошеливайтесь!

— Что, слыхала? — икает дед. — Наливай!

— За то, что притаптывал! — кричу.

— Нет! Стой! — перебивает дед. — Христина, давай выпьем вдвоем, чтоб измены не было! Чтоб ты у меня — к-как по струне ходила? Поняла?

А я и себе:

— Жена да убоится мужа своего!

Хотел еще и рукой махнуть и махнул бы, да упал...

...Проснулся уже возле села. Снег под полозьями скрипит, высвистывает. Провода гудят, луна прямо в

глаза мне светит. И волы бегут рысцой, паром дышат. Видно, холодно им. А мне — все рано. Лежу, как в люльке. В изголовье — луна, а у ног — мать... Плачет... Чего это она? Откуда она взялась? Растирает мне ноги, а я и не чувствую! Затерпли, что ли?..

— Мама...

О, исчезла! И луна спряталась... Или это я глаза закрыл? Нет, опять луна... И снова спряталась...

Вот так и буду лежать до самого дома. Укроюсь воловьим паром и буду лежать...

Неужто село? Нет, это — скирды. А где же село?

Ну хватит. Спать пора...

ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА

Под сосной, на теплом песке, смешанном с опавшей хвоей, лежит Тимоха — смирный, неразговорчивый увалень. Лежит и смотрит в небо. Рядом, на зеленой поляне, что клинышком выдается из ольшаника, и дальше, на лугу, пасутся коровы. Тимохе слышно, как они густо, влажно фыркают в траву или медленно жуют жвачку, переступая с ноги на ногу.

Солнце уже перевалило за полдень. Красноватые, по-осеннему прохладные его лучи косо лежат между соснами, нагревают желтые восковые стволы, пьют из царапин и срезов на деревьях густую оранжевую живицу, что пахнет ладаном.

Тимоха почти каждый день бывает в сосняке — то ветки собирает, то шишки, то хвою сгребает на топливо — и знает, на какой сосне и сколько живицы выступит за день, потому что ночью она густеет и не течет, а пригреет солнце — размягчается и сползает по коре вниз. Тимоха сдирает ее понемногу в железную баночку из-под консервов и складывает дома в старый, не нужный уже в хозяйстве кувшин. Потом несет его на чердак, ставит где-нибудь в углу, а сам ложится на охапку сена или старый сноп соломы и лежит, закрыв глаза, тихо улыбаясь сам себе, потому что живица пахнет хвоей, стреха шуршит от ветра, и Тимохе кажется, что он в сосняке...

— Тимоха! Тимоха! Иди-ка сюда... — кричит с луга Палажечка, хорошенькая, бойкая, хотя уже и не очень молодая девушка, с которой Тимохе выпало коров пасти.

«И чего это я пойду? — вяло рассуждает парень, не отводя взгляда от сосновых ветвей, которые чуть приметно покачиваются на фоне белого пушистого облака, словно сметая его в сторону.— Чего я там не видел?»

— Тимоха, ты слышишь или нет?

«Ты гляди, вот пристала!» — удивляется парень, нехотя поворачивая голову в ту сторону, откуда слышится Палажечкин голос.

— Чего тебе?

Девушка стоит на высокой кочке с пучком золотистого густого хмеля и, улыбаясь, сует его теленку.

— Возьми же, дурной, понюхай... Это ж хмель! Видишь — хмель!

— Чего тебе? — еще раз спрашивает Тимоха и, не ожидая ответа, снова ложится на песок.

— Погнали в поле, — говорит Палажечка, пряча лукавые глаза в хмель.

— Это для чего же?

— А там корм лучше...

— Ха! «Лучше»... — улыбается в небо Тимоха. — Лучше, чем здесь, нигде нет.

— А тебе лень?

— Хи! «Лень»... Говорю же тебе, что лучшего корма, чем здесь, нигде нет...

Потом долго молчит, следя за тем, как облако подкрадывается к солнцу, загораясь одним краем, и только потом договаривает:

— Раз я говорю, значит, знаю...

Палажечка громко вздыхает, ласкает теленка ладонью по мягким розовым губам:

— Иди, иди!

Присела на кочку, поиграла желтыми пушистыми орешками хмеля, примерила из них монисто и опять вздохнула:

— Мы бы там картошку испекли...

— Те! Придумала... — пхикает Тимоха. — «Картошку»... К картошке соли нужно.

— Так у меня сало есть...

— Сколько?

— Четвертинка...

Из луга слышен разговор, кто-то точит косу — вжить, вжить, вжить. Это те, у кого есть скот, обкашивают осоку вокруг кустов — правление разрешило.

Над ольхой поднимается прозрачный табачный дымок и, едва пробившись между листьями, исчезает, развеянный ветром.

— Ну, погнали? — настаивает Палажечка.

Тимоха неохотно поднимается с теплого песка, долго чешет пятерней густой, давно не стриженный чуб, выбирая из него сухую скрученную хвою.

— Если ради картошки, то мне... — бормочет, — а если ради корма, то лучше его, говорю...

Но Палажечка уже не слушает его, быстро прыгает с кочки на кочку, и через минуту ее звонкий радостный голос слышится уже с луга:

— Гей, иди. Шута! Ач'ка!

Коровы одна за другой, обдирая рогами листья ольшаника, выбредают на поляну. Увидев Тимоху, останавливаются, мигают на него ласковыми доверчивыми глазами, в которых еще не угасло пьянящее наслаждение от зеленой травяной жвачки, что так и осталась на заедах.

Тимохе становится жаль коров. И звонкий голос Палажечки, и то, что она вертится, как юла, выгоняя коров на поле, вызывают у него угрюмую насмешливую улыбку: «Ишь как скачет, старуха!»

По сравнению с Тимохой Палажечка и вправду уже немолода: ему девятнадцать, а ей двадцать четыре. Пора бы замуж, да некому брать — парней, ее однолетков, призвали на службу, а те, которые демобилизовались, повидав мир, в селе оставаться не захотели: тот в Донбасс подался, на шахты, другой в город, на завод. Находились, правда, и такие, которым не на кого оставить старую мать или отца, пошли в механизаторы. Но таких было немного, да и женились они как-то по-чудному: или на совсем молоденьких, вчерашних школьницах, или шли в приймы к вдовам, у которых уже и хаты есть, и хозяйство, хоть и латаное, но свое — как-никак, а все ж не начинать со щепы...

Так и осталась Палажечка незамужней, хоть и хороша собой, и работящая. По вечерам ходила в клуб, пела с младшими девчатами те же песни, что и они, переучивалась танцевать по-ихнему, а не так, как умела раньше, снисходительно смеялась, когда парни моложе ее неуклюже пробовали обнять за плечи, а то и за талию, зная, что Палажечка ничья и потому заноситься ей не с чего...

Постепенно научилась выдавать себя за более молодую, счастливую и беззаботную, чем было на самом деле. И молодежь, особенно девчушки, не пропускали случая посмеяться над нею меж собой, а в плохом настроении так и прямо в глаза. Тогда Палажечка по нескольку дней даже не подходила к клубу, целые вечера просиживала со старой немощной матерью, а бывало, что и плакала потихоньку от нее, уже никого из себя не строя и ни под кого не подделываясь...

Летом же, когда в село наезжали Палажечкины подруги, разодетые, конечно, в самые дорогие платья, полненькие, с бедовыми детьми и мужьями — железнодорожниками или шахтерами, девушке было особенно тяжело. И не потому, что подруги непременно выражали ей свое сочувствие, наперебой звали к себе, обещая устроить на чистую работу и выдать замуж. «У нас это запросто», — убеждали они энергично, особенно подчеркивая это «у нас», потому что считали себя, конечно, нездешними...

...В овражке глухо, уютно и даже томно от крутого, не тронутого ветром запаха прогретых лопухов и «куриной слепоты», сырой, спрятанной от солнца низовой земли и трухлявых ольховых веток.

Травы здесь мало, и коровы стоят кучкой, нудясь, то и дело поглядывая на пастухов. Лишь телятам развлечение: скачут в лопухах, потому что они их щекочут, раскачиваясь из стороны в сторону, цепляют на хвосты тугие комья красного репейника.

Тимоха разложил костер, намостил под бока сухой картофельной ботвы и снова, как под сосной, лег, впившись глазами в небо. Из оврага, словно из ямы, оно казалось ему ниже и короче, а сам овражек — глужбе и склоны его круче.

Палажечка принесла в переднике картошки — не очень крупной, но и не мелкой: чтобы быстрее испеклась.

— Ты какую любишь? — спросила Тимоху ласково и заботливо, так, будто они были мужем и женой. — Красную или белую?

Тимоха помолчал, раздумывая над тем, какая лучше, но, так ничего и не придумав, сказал:

— Всякую. Лишь бы только не водяная...

— А у вас заведено печь картошечку в печке? — не умолкает Палажечка.

— У кого это, у нас? — никак не сообразит Тимоха.

— Ну, дома...

— Ха! «Заведено»... Как нечего ужинать, так заведено, а как есть, то и не заведено...

Солнце уже спряталось за ольшаник, пустило сквозь листья тоненькие розовые стрелы. И дым над костром порозовел, как зимою на закате солнца. Разгоряченные игрой телята наскакивали с разбега на костер, останавливались, сопели, широко расставив передние ноги, и смотрели на пламя глупенькими глазами. Палажечке стало грустно сидеть молча, и она заговорила с телятами:

— А что, жижа? Видишь — жижа... Мень-мень-мень... Иди я тебе на шейке поиграю... Вот так мы любим, вот так...

Картошка перестала шипеть. Угли пригасли. В овражке вкусно запахло поджаренной корочкой. А лопухи, почувствовав холодок, встопорщились, тихо заскрипели, выпрямляясь, и тоже запахли — сыростью, росой, ночью...

Палажечка выгребла из углей несколько картошек, поиграла ими, как камешками, чтобы остудить, и тихонько засмеялась.

— Чего ты? — спросил Тимоха.

— А я тебя обманула!..

— Как?

— А так! Сала у меня и нет...

— А для чего ж ты обманывала?

— Так. Захотелось...

— Хи! Чудная... «Захотелось»! А теперь люди будуть ругать, что коров не напасли...

— Те! Подумаешь! — улыбнулась Палажечка, пряча под густыми черными ресницами насмешливый возбужденный взгляд. — Лучше бери картошку. Хороша!

Тимоха поднялся и, очутившись лицом к лицу с Палажечкой, увидел, как задрожали ее блестящие, сломленные посредине брови, а ресницы мгновенно взлетели вверх, открыв терпкие смоляные глаза.

— А теперь, слышь, будут ругаться... — пробормотал смущенно и хотел было отвернуться, но не смог — так близко были перед ним Палажечкины глаза и столько было в них чего-то нового, неизведанного...

...Домой стадо шло, подпасываясь. Палажечка бегом заворачивала телят, ругая их самыми нежными

словами. А Тимоха покрикивал на них твердым, самому себе незнакомым голосом и тоже не сердито...

За рекой, напротив сосен, заходило солнце, разостлав по воде красное полотно. Из лесу несло ладаном, остывающим песком и прелой хвоей.

— Ну, я пошел за живицей... — сказал Тимоха, поворачиваясь к лесу. — Так что бывай...

— А в клуб придешь вечером? — спросила Палажечка, играя веточкой.

— Кто его знает... Если мать работы никакой не придумает, может, и приду...

— Там сегодня кино привезут...

— Говорю, кто ж его знает... — и побрел в сосняк, нащупывая в кармане жестянку из-под консервов.

Потом уже, когда стадо поднималось к селу, вышел на поляну, постоял в нерешительности и крикнул:

— Эгей, Полька! Я приду... Слышишь? Приду!

Но Палажечка была далеко, и эхо, вырвавшись с луга, уже не докатилось до нее...

ВИНТ

Даже глаза режет — так ярко, так желто-красно на дворе от привядшего осеннего солнца, спелых дынь-дубовок, оранжевых тыкв, собранных в кучи, да запоздалого тыквенного цвета, на который уже и пчелы не садятся — пора его миновала, — а летят себе дальше, на красный чертополох или позднюю гречиху.

Летят через двор Ониська — им тут просторно: ни деревца, ни кустика, даже бузины за хатой или дерезы, где куры прячутся от зноя, нет у Ониська. Пустырь. Да и сама хата так низка, что в осенние хмурые ночи, когда погаснет в окошках свет, она кажется среди других хат копенкой слежавшегося сена.

Дзик-дзик-дзик... — звенит целыми днями в Ониськовом дворе, под окнами, над стрехой, словно ветер тихонько на скрипке играет. И когда мимо Ониськова двора идет кто-нибудь в магазин или из магазина, хозяин непременно зацепит его словом-другим, а потом, как бы между прочим, ввернет:

— Мне, братец, если б довелось свадьбу справлять, так и музыкантов нанимать не нужно. Своя музыка...

Скажет и умолкнет, щуря на собеседника подслеповатый глаз, пока тот, недоумевая, не спросит, почему же это — не нужно. Тогда Онисько поломается, порисуется немного, будто знает что-то, да не хочет сказать, и уже только тогда объяснит:

— Потому что Павлушкины пчелы через мой двор дорогу себе на поле проложили. Слышишь, как поют?

Бывает, кто-нибудь и постоит с Ониськом, и послушает музыку ту пчелиную, и покалякает о том о сем. Но большинство, особенно молодежь, проходят мимо, сказав только «здравствуйте, дядьку» или и того не сказав, потому что знают — дядько туговат на ухо, все одно не услышит.

Онисько и с молоду был неказист собою, бестелесный, как высушенный стебель табака. Что ни напялит на плечи, все на нем висит, словно на жерди: будь то отцовский сиряк, или шинель мадьярская, схожая цветом с болотной тиной, или какая-нибудь новая одежина — солдатский бушлат, к примеру, или пальто магазинное, дешевенькое.

И уж совсем непригоден Онисько ни к какой работе: станет косить с мужиками траву — ручку берет не шире тропки; стережет ночью колхозный скот — теленок у него отвяжется и уйдет на луга; примется свой огород полоть — посеянное срубит, а бурьян обойдет — слеповат ведь...

Но как бы там доля ни чуралась какого-либо человека, как бы его ни обходила, а глядишь, наведается к нему хоть раз в жизни и сделает его неузнаваемым.

Наведалась она и к Ониську.

Случилось это давно, еще до войны.

Была ранняя осень. Дни стояли погожие. Между грядками ткалась паутина и блестела под солнцем, как весенняя вода в ручьях. Радостно чирикали воробьи, покачиваясь на подсолнухах, хлопали крыльями петухи и пели до одури, стараясь перекричать друг дружку. В селе было покойно, мирно и скучно. И вдруг среди этой густой, нетронутой тишины грохнул взрыв на Полтавской дороге, тряхнул хаты, сильной волной налег на оконные стекла и долго стоял потом в безветренной степи рыжим столбом, словно остановившийся вихрь. Немного спустя в село прибежала оглушенная

лошадь, впряженная в борону, а вслед за нею — бледный, окровавленный погоныч Семен, старший сын Ониська, с оторванной по локоть правой рукой и выбитым глазом: мину разряжал...

Казалось, Ониську той беды ни расплескать, ни по ветру развеять, если б не неожиданность (потом пьяный Онисько любил говорить: «Благословенье, братцы»): к бороне, которой парень подравнивал изуродованный дождями грейдер, был привязан блестящий, хорошо смазанный солидолом винт чуть ли не метровой длины — находка Семена. Именно с этого случая и начинались Ониськовы воспоминания о своем хотя и недолгом, зато хмельном счастье быть на селе первым человеком, с которым даже финагент Билан стал здороваться не иначе, как за руку, берясь прежде двумя пальцами за козырек форменной фуражки с медной кокардой.

Пока сын лежал в больнице, о винте не вспоминали, а когда он вернулся, да еще со стеклянным глазом под рассеченной пополам бровью, — подслеповатому Ониську сгоряча почудилось было, что глаз этот красивее живого, — да показал отцу, как ловко научился крутить одной рукой тугие ровненькие цигарки, — у старого и от сердца отлегло, решил: живут люди с культей, проживет и Семен.

Тогда-то и вспомнил Онисько про винт. Несколько дней присматривался к нему внимательно, поворачивал и так и этак, ощупывал широкую прочную резьбу, потом завернул в тряпку и понес через мост к своему одногодку Кондрату Шовкуну, который славился на всю округу умением делать жернова, терки на шестеренках из разбитых машин, крупорушки, протезы безногим и всякие иные приспособления в зависимости от спроса: терки, если картошка уродит, жернова и крупорушки — когда молоть нечем, протезы — когда безногих прибыло...

Кто знает, о чем говорили мужики до самого вечера, потому что даже Шовкуниху, женщину неразговорчивую, скрытную, на время того разговора выдворили к соседям. Однако в сумерках, когда Онисько с винтом под мышкой отправился домой, Кондрат догнал его у мостика и, сдерживая дрожь во всем теле, как тот охотник, что наконец выследил дичь, зашептал:

— Если в пай, говорю, в пай примешь, — подумаю, куда твой товар приспособить, а если нет, то сам смотри. Слышь, смотри, Онисий Титович...

И то, что Кондрат дважды, к тому же несмело, уважительно этак, произнес: «смотри», и то, что он впервые в жизни назвал своего одногодка-неудачника полным, как в святцах, именем да еще и по отчеству, так поразило Ониська, что он совсем было ослеп от волнения и, пожалуй, упал бы в речку, ощупью идя по мосту, если бы впереди него не тарахтела какая-то подвода.

Недели две, как и следует человеку, у которого отродясь не было в руках ничего путного и вдруг словно с неба упало, Онисько заносился перед Кондратом изо всех сил, всячески намекая на то, что он своему добру цену знает и сумеет его к делу приспособить, однако не приспособил и вынужден был согласиться на пай.

С тех пор он уже не торчал у своего ободранного плетня — лишь бы подбить кого-нибудь на беседу, а, напялив обтрепанную мадьярскую шинель, топал каждый вечер через мостик к Кондрату, высоко держа голову и загадочно улыбаясь встречным, словно желая сказать им: «А у меня что-то есть!»

Между тем в сарае Кондрата Шовкуна лунными ночами пел рубанок, пахла тысячелистником сухая дубовая стружка, весело струился сквозь шалевку свет и было слышно, как хозяин то мурлычет песню, то говорит сам с собой. Когда же приходил Онисько, мужики пели вдвоем, выводя что-нибудь старинное, что непременно будит у стариков воспоминания о ромеиских рушниках в красном углу на иконах, лихом рождественском кулачном бое посреди реки, девичьих сорочках, негусто вышитых на рукавах черным или калиновым крестиком, да о гибких вербовых кладках через рвы с весенней водой, которые и до сих пор делят украинское село на ближние и дальние кутки [1].

После каждой такой песни, растроганные воспоминаниями, а еще пуще — своей тайной, приятели выпивали по глотку «домашней», припрятанной в опилках под верстаком, и закуривали. Тогда в сарае наступала тишина, сквозь шалевку вместе со светом просачивался табачный дым, вытягивая за собой на лунный двор шепот, таинственный и мечтательный:

— А макушки какие будут?

---

[1] Куток — край.

— Да так с миску, а может, немного и меньше — там видно будет...

— Угу... И мирчук,[1] значит, будем брать...

— Еще бы и даром!

И снова до глубокой ночи высвистывал в сарае рубанок, пахла тысячелистником сухая дубовая стружка, текла и замирала под стрехой старинная песня про двух лебедей-молодцов в смушковых шапках набекрень да голубых лентах, что так и стелются по ветру, по морю, по тихой воде...

Так длилось довольно долго. А как начались поздние осенние дожди и ночи стали тягучими да невеселыми, все кутки облетела ошеломляющая весть: Онисько в паю с Кондратом Шовкуном пускают собственную маслобойку!

Валом повалили ко двору Кондрата, словно на мельницу, пешие и конные — с хуторов, сел, слобод. Над рекой густо запахло горячим подсолнечным маслом, день и ночь у ворот Кондрата не смолкал ярмарочный гомон, от которого, по словам рыбаков, даже щуки под лозами перестали вскидываться и ушли в глухие ямы в камышах.

Село перестало быть глухоманью.

В него сначала изредка, а потом все чаще и чаще начали наезжать разные уполномоченные, финагент Билан, а также участковый милиционер Иван Прокопович Гапошка — тот самый, который умел мигом найти спрятанную в тайник самогонку, краденую свеклу, кукурузу, сено, солому, ольху с луга и прочее колхозное добро, которое не выдавалось на трудодни.

Все эти высокие гости непременно останавливались на ночлег у Кондрата Шовкуна, хотя до райцентра не так уж и далеко, потому что были уверены: хозяин и угостит как следует, и тепленького маслица жбан в двуколку положит вместе с охапкой сена или соломки да еще и скажет: «Чтоб бочок не терло».

Делалось все это до рассвета, пока людской глаз спит. А поднимется из-за горизонта солнце, возле маслобойни только и слышно:

— Онисий... Убей меня бог — забыл, как вас по батюшке! Онисий Титович, как бы мне того... до полудня управиться, ведь ехать-то далеченько... —

---

[1] Мирчук — плата натурой.

А там смотришь, глазами морг-морг, по пазухе ладонью ляп-ляп. И палец вверх, мол, первак...— До полудня, говорю...

— Ну, уж раз издалека... — добреет Онисько, бочком подставляя дядьку карман под тяжелую, согретую за пазухой бутылку, и запускает в мешок с семечками широкую, как ведро, гильзу от немецкого снаряда — мерку. — Раз нужно, братцы, так нужно...

Скоро Онисько приобрел себе новую фуфайку, простроченную на спине двумя красивыми дугами, ширококрылое кавалерийское галифе, обшитое кожаными леями на коленях и в паху, хромовые сапоги с молодецкой гармошкой в голенищах и теперь, идя по селу, уже не жался к изгородям, чтобы уступить дорогу встречному, как бывало прежде, потому что люди, завидя Ониська еще издали, сами давали ему дорогу, льстиво улыбаясь при этом, хотя хорошо знали, что Ониськова гильза-мирчук, доведись им бить масло, меньше от этой улыбки не станет...

Зимою же, холодными долгими вечерами, зачастили к Ониську сельские мужики — тот погреться — у хозяина соломы полон двор, тот маслица купить или взять взаймы — его у Ониська, как воды в кринице, — и начиналась беседа.

— Вот вы тут умники-разумники... — прищуривая пьяненький глаз, заводил Онисько. — А ну-ка, скажите мне, почему сало замерзает, а масло — нет! — И, вынимая из миски зеленоватую картошку, щедро залитую маслом, пояснял: — Потому, к примеру, что семечки тоже не замерзают, какой бы там мороз ни был. А свинья — мерзнет. Я сам, когда у нас фронт проходил, видел в поле замерзших поросят...

— Тебе, Онисий Титович, — заметит, бывало, кто-нибудь из мужиков, — пока твоя берет, хату бы поставить, в этой ведь повернуться негде...

— Хм, хату... — снисходительно улыбался Онисько. — А для чего она мне — хата? Ты у меня спрашивал? Нет... А такое вот слышал — не красна изба углами, а красна пирогами? Тоже нет... Так гляди!

При этих словах Онисько сдвигал пестрый лоскутный половик и показывал дядькам глубокое подполье, плотно заставленное бутылками с маслом, которые от шейки к шейке были затканы крепкой серой паутиной.

— Видали? То-то же! Я сейчас, что захочу, то и

буду иметь: хату, девку, духовую музыку — все! Да не хочу... Такая моя воля!

Частенько Онисько возвращался домой в полночь пьяный, ослепший от водки и, если ему случалось хотя б на ощупь поймать в каком-либо углу жену свою, начинал зло бить ее сухими, острыми кулачками, пока не вмешивался Семен. Тогда Онисько сразу отходил, хватал сына за культю, елозил по ней мокрыми губами и мычал:

— Сема! Слышь, сынок... Я тебя озолочу! За винт — озолочу! Полушубок, галифе, самокатку — что хочешь! Невесту? Выбирай! За нас всякая выскочит, еще и бога благодарить будет!..

Стеклянный глаз Семена заплывал слезой и остро блестел при свете керосиновой лампы. А Онищиха, глядя на это, начинала еще сильнее плакать и упрекать мужа:

— Господи, боже мой, где твоя воля! Дитё из-за того проклятого винта руки лишилось, а он такое несет.

— Что рука! — кричал Онисько. — Рука! Зато винт как рука! Как придавит — масло рекой льется, дуреха ты!

А однажды перед рассветом Онисько проснулся еще нетрезвый, с глухим звоном в голове и раздетый, простоволосый прибежал к Кондрату.

— Ну-ка, угадай, зачем я пришел? — прикрывая ладонью коварную улыбку, спросил у недоумевающего со сна компаньона.

— Так ведь скажешь, Онисий Титович...

— Пришел вынимать винт!

— Зачем это?! — опешил Кондрат.

— А затем, чтобы ты попробовал выжать масло без винта... Хе-хе, понимаешь? М-мудрец превеликий!..

И кто знает, чем бы закончилась Ониськина игра, если бы все на свете не уставало, даже металл.

Как-то весною приехали на маслобойку слободские хлопцы, только что демобилизованные из-под Берлина, в орденах и медалях, крепкие, бедовые, налегли на винт, помогая Кондрату, и сломали...

— Устало железо, — сказал один из них Ониську, видать, бывший механик, разглядывая обломки. — Капут, старик. Аллес капут.

Сломался винт, а вместе с ним и призрачная судьба Ониська — благословение...

— Ну, а как «музыканты», «духовой оркестр»?.. — смеялись над Ониськом сельские дядьки, когда он уже износил и куртку, и сапоги с ушками, и галифе с кожаными леями. — Купил, говоришь? Богатей!..

Дзик-дзик-дзик... — звенит целыми днями над Ониськиной головой, уже густо поседевшей, под окнами, под стрехой. Пчелы летят. Просторно им тут — вокруг ни деревца, ни кустика. Пустырь. А похвастаться старому по давней привычке хочется. Въелось. Так нечем. Разве что Павлушкиными пчелами, которые проложили себе дорогу на поле именно через его двор...

Онисько, наверное, уже давно бы умер, если бы в его душе, словно зернышко в заплесневелом сверху орехе, не теплилась надежда на какой-нибудь сказочный случай. Благословение...

В ПОЛНОЛУНИЕ

— Ладко, сыграй еще... Ой, да не эту!

Ладко полупрезрительно, полусонно щурит глаза, прислоняется щекой к баяну и не торопясь, лениво перебирает пальцами блестящие под луной пуговки.

На лавочке, под сиренью, шепчутся и хихикают девчата, белеют косынки, сладко пахнет духами взбитая полькой зеленоватая пыль. В овраге между деревьями шевелятся тени — то ли кусты, то ли хлопцы с девчатами, а может, теленка кто-то привязал на ночь попастись, чтобы председатель сельсовета не увидел, потому как овражек этот за сельсоветом числится...

Хлопцы тоже сидят на лавочке, но не возле девчат, а под оградкой, где баянист. Курят, грызут семечки, а бывает, и захохочут, если кто-то из них смешное скажет. Порой кто-нибудь поднимется, засунет руки в карманы и неторопливо, покачивая не такими уж и широкими плечами, подойдет к девчатам. Тогда под сиренью на миг притихнут и снова хи-хи да ха-ха... Не насмешливо, но и не очень приветливо, а так, словно давая знать, чья где сидит...

— Нацю, ну-ка подвинься!

— Не хочу...

— Сам подвину...

— Да врешь!..

— Нацю!

Потом визг, крики, хохот.

Вверху над оврагами шелестят осины. Их кроны, освещенные низкой луной, играют красными отблесками и дрожат, будто пламя свечи. Каски у бойцов на братской могиле, что напротив клуба, тоже блестят и бросают на лица солдат суровые неподвижные тени.

Ладко прислушивается к шелесту осин, глушит баян, и тогда становится слышно, как вздыхают мехи в такт невеселой и никому, даже гармонисту, не ведомой мелодии — потому что он не выдумывает ее нарочно и не слушает, а только видит между хатами в конце улочки низкую полную луну, словно там, за околицей, она и дневала, только слышит, как где-то в ольхе сонно отзывается удод, веет ранней осенью холодная речка с низин, грохочут дубовые доски на мосту — видать, молоко повезли на сепаратор, — и ночь не сразу поглощает тот грохот, а какую-то минуту катит его по лугу, складывает под кустами чернотала в дуплистые пни, чтобы зимою, когда крестьяне придут с мешками корчевать их на топливо, тот грохот снова ожил и понесся еще дальше, в залив, на торфяные карьеры за селом, а то и до самых буераков под горой.

Ладко поднимает голову, словно просыпается, и с удивлением, однако не открывая глаз, прислушивается к басам, в которых эхом отзывается удаляющийся гул, а над ним высоко-высоко в небе вьется ласковый шепот листвы... Но вот мелодия оборвалась, словно застыдилась, что ее подслушивают, и перелетела в овражек, на осины... Ладко громко, по-детски вздохнул и повесил баян на ограду — грубо, небрежно, как возчик пустую торбу.

— Ладко, да сыграй же и нам! — сладенько просят девчата, потому что знают — гармонист любит, чтобы ему льстили, вот так нежили ласковыми словами, однако и не очень назойливо, а то совсем бросит играть.

— А разве я не играю? — хмуро отвечает хлопец.

— Так то ж городское. Мы не знаем, как его и танцевать. Замерзли уж...

— А-а! — хмелеет внезапной радостью Ладко. — Так сразу бы и сказали!

Поднимается, причесывает пятерней взлохмаченный чуб и топает тяжелыми сапогами под сирень.

— Ну-ка, кто тут замерз?.. — спрашивает озорно и, затаив дыхание, настороженно, ревниво выжидает какой-то миг, чтобы все — и хлопцы, и девчата — успели испугаться: хлопцы за своих девчат, а девчата — сами за себя.

Ладко ведь страсть какой сильный. В селе до сих пор помнят, как он с отцом еще парнишкой срубил как-то на лугу ольху на сволок — украл. Ольха была толстая, поэтому отец, человечек худосочный, к тому же и в годах, взялся за верхушку, где полегче, а Ладко поднял за комель, да так и увяз по колена в болотной трясине. Постоял немного, передохнул с ольхою на плече, потом и говорит: «Ну-ка, батя, брось, может, я не так увязать буду», — и потянул ольху один. А наутро поймали с отцом больничного жеребчика, впрягли в будущий сволок, чтобы попробовать — потянет или нет? Жеребчик дернул раза два и упал на передние ноги...

— Так кто тут замерз, спрашиваю? — уже придирается Ладко, и чем дольше молчат под сиренью возле ограды, тем сильнее колотится в его просторной груди большое и кроткое сердце.

Девчата плотнее прижимаются друг к дружке, прыскают в ладони и не отзываются — словно их и нет вовсе. Тогда Ладко не выдерживает, делает к лавочке еще один шаг и, широко расставив руки, хватает в объятия первую попавшуюся.

И снова крики, и снова хохот. Не слышно уже, как шелестит-вызванивает листва на осинах, видно только, как она трепещет, поблескивая при луне холодным лаком. Умолкает в низине у речки удивленный удод, и солдаты на братской могиле — тоже молодые ребята — молчат, пряча скорбную суровость лиц в лунно-розовые тени от касок.

Прежде хлопцы сердились на Ладка, что он так вот вызывающе-откровенно увивается за их девчатами. А сейчас — нет. Потому что не одолеют его даже всей оравой. Пробовали однажды. Напились как-то на Октябрьские праздники, сговорились между собой и окружили Ладка со всех сторон.

— Ты что тут распоясываешься? — начал самый смелый и пошевелил кулаками в карманах.

— А что? — невинно спросил Ладко.
— А то — в рожу...
— Меня?
— Тебя!
— Ты?!
— Все...
— А ну давай!
— Пойдем...
— Пошли.

И толпа молча, торжественно двинулась за клуб. Ладко впереди, хлопцы — за ним. Пока шли — остыли и снова, но уже не так уверенно, принялись сами себя подзадоривать.

— Так что?
— Тогда узнаешь...
— Ну бей!
— Да нет, бей ты...

Долго раскачивались, проталкивались по очереди к Ладку, решительно гасили папиросы, примерялись, наконец сцепились. Ладко сгреб нескольких парней и прижал их к стене. Прижал — и держит. Хлопцы упираются, стонут, отрезвели даже, а Ладко не знает, что с ними дальше делать, и сердце у него бьется ровно и мягко, как во сне...

— Ну что, — спрашивает, — взяли?

А хлопцы:

— Да не очень напирай, слышь, ведь клуб завалим!

На том и разошлись. Ладко вдруг стал печальным, нацепил баян через плечо и заиграл, уходя на свой край, а хлопцы вновь опьянели, долго еще выхвалялись перед девчатами, что все-таки их взяла и что они тоже не лыком шиты...

...Уже и луна поднялась высоко, вышла из-за деревьев в овраге и стала посреди неба, выкрадывая на свет девичьи монисты, сережки, стеклянные броши. Хлопцы начали пиликать на баяне, затянули песню, лишь бы отманить Ладка от девчат:

Ой, пригортала ненька,
Як був я маленький.
А тепер, тепер пригортаэ
Дружина вірненька...

Проснулся удод, тоже к песне подстроился, перебивает хлопцев:

— У-ду-ду... у-ду-ду...

А Ладко не слышит ни удода, ни песни печальной, хотя любит петь ее, а еще больше — подыгрывать на баяне. Не слышит, потому что случилось с ним удивительное: обнимая знакомые плечи «своих» девчат, неожиданно наткнулся на незнакомые... Узенькие, хрупкие, они сразу словно окаменели, как только их коснулись тяжелые, глухие к собственной силе руки, а в грудь Ладку решительно уперлись две маленькие теплые ладони.

— Оставьте, как вам не стыдно! — прошептала девушка, низко опуская голову.

— Ишь ты какая! — удивился хлопец. — А ну как и вправду цаца?..

Достал спички и, как делал всегда со «своими» девчатами, посветил возле самого лица «чужой».

Девушка резко отвернулась, но Ладко успел увидеть большие испуганные и кроткие глаза, какие бывают у послушных сирот и подстреленных птиц.

— Это я нечаянно... — буркнул примирительно и даже немного отодвинулся от нее. — Да разве ночью разберешь...

Потом еще несколько раз чиркал спичкой, делая вид, что никак не прикурит. Но девушка каждый раз отворачивалась или закрывалась локтем, так что Ладко видел только тоненькую белую шею и блестящие роговые шпильки в густых синеватых при луне волосах, тщательно собранных в простой узел.

— Чья вы, что я вас не видел? — осмелился наконец спросить и отодвинулся, не зная, как еще показать свою деликатность.

— Я нездешняя, — тихо сказала девушка. — Меня прислали сюда преподавать музыку и пение.

— А! — обрадовался Ладко откровенно, по-детски, как привык это делать всегда, когда ему и вправду было радостно. — И как вам у нас?

— Ничего, — девушка виновато улыбнулась. — Дико только немножко...

— А вы не бойтесь! — воскликнул Ладко, вдруг заволновавшись, и хлопцы под оградкой, притихшие было на перекур, откровенно и грубо хохотнули. — Не бойтесь, говорю.

Девушка осторожно вздохнула, взглянула искоса на Ладка и сложила руки на коленях, как первоклассница.

Вот уже и луна стала в небе, как дозорный, и ветер улегся, притих до рассвета. Где-то за речкой глухо отозвался из-под стрехи первый петух. А удод умолк — должно быть, тоже устал.

— Вы хорошо играете, — сказала девушка немного погодя.

— Если бы так! — печально откликнулся Ладко и, уже не смея придвинуться ближе (учительница ведь!), горячо зашептал: — Вот скажите мне, почему так: когда играю и не слушаю, выходит что-то интересное-интересное... И красиво вроде бы. А стану прислушиваться — бежит от меня... И пальцы как судорогой сводит, будто я, как тот Кожемяка, целый день кожи мял...

— Тогда откуда вы знаете, что — красиво? — лукаво улыбнулась девушка.

— Да я и не знаю, — вздохнул Ладко. — На слух не беру, а так, догадываюсь.

— Это вы просто не доверяете себе. Вернее, не смеете довериться... А вы посмейте! Это, конечно, грубо, условно, но понимаете... оно может и не прийти... Ко мне, например, не пришло, хотя я училась хорошо и пробовала дерзать... Не пришло.

Девчата давно пересели от сирени к оградке, пошептались, пофыркали, всячески давая Ладку знать, что это они над ним, над его ухаживаниями за «чужой», и запели ту же песню, что и хлопцы, но уже на свой лад:

Ой, пригортала ненька,
Як була я маленька.
А тепер, тепер пригортаэ
Мій милий-миленький...

Потом улица стала расходиться. Девчата — вздыхая, потому что не натанцевались; хлопцы — горланя песни, потому что не охрипли, как всегда, подпевая баяну. Девушка тоже пошла следом за всеми, опустив голову и не оглядываясь на Ладка, — видно, стыдилась, — а он стоял возле клуба с баяном на груди, освещенный луной и печальный, потому что не отважился проводить ее до школы или хотя бы до полдороги — не посмел...

Перед рассветом волнистыми валами покатил туман. В сонной речке ударила щука, видно, самая голодная. Луна побледнела, и вместе с нею побледнели скорбные солдатские лица, склоненные над бронзовым

венком у пьедестала... А туман все катил и катил по селу, покрывая росой гипсовые скатки на широких солдатских плечах.

И уже перед тем, как в степи, за селом, задрожал сиреневый восход, возле речки, за густыми пробуждающимися лозами, тихо зазвучали басы, сначала одни, потом неприметно, как два ручья в лощине, слились с робкими тихими подголосками и уже в паре пошли на левады, в улочки утомленного зарею села.

ПОМИНАЛИ МАРКЬЯНА

Хоронили Маркьяна в полдень — без музыки и без попа, потому что большинство колхозных «духовиков», как называли в селе самодеятельных музыкантов, поехали на станцию за комбикормом, а попа сам покойный не велел приглашать, ибо с тех пор, как в селе разобрали церковь, в бога не верил.

День был пасмурный и холодный. Еще с утра началась метель, а к обеду так завьюжило, что те, кто взял на себя заботу о похоронах — это были дальние родичи Маркьяна с хуторов и слобод, — время от времени тревожно перешептывались, советуясь меж собой, не пора ли, мол, уж и на кладбище отправляться, не то, чего доброго, яму занесет, так будет морока...

Над покойником никто не плакал, потому что никто его при жизни не любил: ни жена Стеха, веселая и добрая по натуре, но уставшая от многоротой семьи да мужниных тумаков, ни родичи, ни односельчане, ни даже дети, изведавшие при жизни отца какую-то неожиданную, чаще всего беспричинную ругань и обидные и тоже всегда неожиданные подзатыльники или же палку. Потому и лежал Маркьян в своем последнем пристанище неоплаканный, среди гнетущей тишины, чуть слышного шепота и вздохов. Усы его прилипли концами к впалым щекам, худое, изможденное лицо взялось воском, лишь брови, как и при жизни, были сердито сведены на переносице, и тем, кто хорошо знал старого, казалось, что он вот-вот поднимется и, вытаращив налитые гневом глаза, крикнет сразу на всех: «Порядок нужно знать!»

Когда же кто-нибудь из вновь прибывших на похороны, переступив порог, сгоряча, скорее по обычаю, нежели от искренней печали, начинал громко тужить да

еще и причитать, всем, кто был в хате, становилось неловко, и тогда каждый начинал шмыгать носом, дрожать в плечах, делая вид, будто плачет...

И вновь наступала тишина, и было слышно, как на печи ссорятся из-за поминальных пирогов самые младшие Маркьяновы дети, Андрейко и Манька:

— Отдай, говорю! Твой вон с капустой.

— А я хочу с я-а-годами...

— Ну на, подавись!

— И-и-и... Не дерись!

— Псс! Замолчи! Тато померли.

В хате пахло живицей, которая тут и там выступала из новых недосушенных досок (гроб сделали на скорую руку и не покрасили), новым коленкором, горячим воском от свечки и морозом от заиндевевших окон, а из боковушки, где готовился обед, — капустой, узваром, домашней лапшой, свежим хлебом и самогонкой.

Наконец из колхоза приехали широкие, устланные сеном сани, запряженные парой коней, пришел председатель сельсовета, который должен был нести Маркьянову медаль «За трудовое отличие» и произнести на кладбище речь; в сенях затарахтели корытами и кадками, освобождая угол, чтобы двери шире открывались, потом кто-то сказал:

— Пожалуй, можно уже и выносить, а то кони померзнут.

Мужчины, которые были во дворе, поснимали шапки и, причесавшись пятернею, протолкались в хату помогать выносить хозяина, женщины вынули из холодных пальцев Маркьяна желтую, в теплых и мягких оплывах свечу и поставили ее на полочку в углу, где висели две венчальные иконы: одна — Маркьянова, другая — Стешина, завешенные красным роменским рушником. Стряпухи в боковушке перестали греметь рогачами и умолкли. Через порог в светлицу вкатилось сизое студеное облако, и гроб поплыл в нем, будто лодка в тумане...

И лишь тогда Стеха, занятая, уставшая возле печи да и возле детей, заплакала, уткнувшись лицом в кончик грубой суконной шали, и бабы охотно принялись утешать ее какими-то смиренно-ласковыми словами; хлопцы, старшие Маркьяновы сыновья, тоже насупились, наклонили головы и тоже взялись было за гроб,



однако их легонько оттолкнули, пояснив, что «родным нельзя выносить покойника, не заведено так...».

Метель на дворе не утихала, а будто еще сильнее разбушевалась к вечеру. Ветер шевельнул усы покойника, распушил их, встопорщил, и лицо Маркьяна стало вдруг не сердитым, а даже каким-то задорно веселым и добродушным. Таким бывал Маркьян лишь в компании: на Первое мая, на Октябрьские, а еще когда в село вернулись с войны те, кто остался в живых. Тогда он, пьяненький, конечно, с розовыми пятнами на скулах, даже подпевал молодицам, хрустя между прочим огурцом или капустой (Маркьян любил поесть), а если кто срывался на гопак или там на «барыню», притопывал под столом сапогами, прихорашивал ладонью усы и лихо выкрикивал скрипучим, хриплым от непривычки петь голосом:

А барыня шита, брита,
Любил барыню Микита!
Барыня, барыня...—

и опять искал глазами, что бы такое съесть...

По дороге на кладбище процессия поредела — люди мерзли и, незаметно отстав, поворачивали каждый в свой двор. Коням тоже было холодно, и они порывались бежать, но их придерживали ездовые — один за вожжи, другой за недоуздок, чтоб, часом, не наскочили на председателя сельсовета, который шел впереди с медалью на подушечке.

Яму и в самом деле замело чуть ли не до краев, над нею нависли острые козырьки, курившиеся блестяще-белой пылью, словно дымом; вверху, над ямой, шуршали плоскими стручочками старые акации; потрескивали от мороза серые кресты и ограды. Мужики принялись откидывать снег, а председатель сельсовета, человек уже немолодой, поклеванный оспой, красный от холода и от рюмки, выпитой перед тем, как двинуться на кладбище, произнес в это время краткую речь:

— Товарищи! Сегодня мы, мо'на ска'ть, навеки прощаемся с нашим дорогим Маркьяном Гнатовичем, человеком честным, работящим и бескомпромиссным, когда касалось интересов всех нас, вместе взятых, и каким все мы его знали, мо'на ска'ть, каждый день. Так что, прощайте, Маркьян Гнатович, и простите, что хороним вас вот так, без ничего... Но если хлопцы-музыканты и были бы, то в такую дурацкую погоду, пожалуй, и не сыграли бы.

Потом все было так, как всегда бывает: гроб забили, спустили на двух кусках полотна в яму, люди бросили по комку мерзлой земли и начали расходиться — женщины и мужчины, которые в свое время пели на клиросе, сбились в кучку и запели «Вечную память».

На поминальный обед шли группками, оставляя на снегу желтые от глины следы, и потихоньку говорили меж собой о покойном.

— Вишь ты, как оно получается, — сказал Грицко Мантачечка, бывший мельник и приятель Маркьяна, — был человек и нет человека...

— Все мы когда-то туда отчалим...

— А я думаю, если б он не такой честный был, так еще бы жил да жил...

— Или не такой глупый...

— Хе-хе... И то верно!

— И вам не грех?..

— А чего — грех? Не правда, что ли?

— Говаривал покойный батюшка Терлецкий: «Не судите ближнего, а ушедшего — тем более».

— Да кто ж судит...

К вечеру метель утихла, тучи на закате покраснели, снег взялся настом и остро заблестел, а воздух стал таким прозрачным, что было далеко видно голые — лишь кое-где листочек — деревья над дорогой, низкие, уже начатые скирды соломы в поле да синеватые снега на четком, словно отрезанном от неба горизонте. Эта печальная и величавая синеватая даль навела односельчан Маркьяна на мысль о собственной смерти, и разговор о покойном как-то сам по себе оборвался.

Пока люди были на кладбище, кухарки успели убрать хату, расставить столы, взятые на время у соседей, — тот выше, тот ниже, тот накрыт клеенкой, тот скатертью, — положили вдоль них холодные, со двора доски, потому что лавок и табуреток на всех не хватило, и начался обед.

После первой чарки поминальщики (тут были главным образом те, кто когда-то вместе с Маркьяном и Стехой начинали праздновать свою молодость) говорили тихо и пели «божественные»: «Упокой спасе...», «Плачу и рыдаю...» — и с особенным чувством «Со духи праведными скончавшуся...».

В хате было душно от натопленной печи, а еще от тесноты, горилки и горячих блюд. Люди, выпивши по второй (а кто помоложе да полакомее на дармовщину, то и по третьей), повеселели, расселись компаниями и начали, каждая компания на свой лад, вспоминать покойного.

Говорили одновременно во всех концах стола, и было трудно услышать, кто, как и о чем именно говорит, потому рассказчики не очень тревожились о том, простит их бог или не простит, а говорили о покойном, что думали.

— Помню, — начал, обращаясь к ближайшим соседям, седой, давно не стриженный (зима ведь!) Герасим Ковтюх, — как возвращался я в шестнадцатом с германской. Дело было осенью, где-то так после спасовки. Вышел я на рассвете за Полтаву, думаю — к вечеру домой доберусь. Так вот, иду себе, споро так вы-

шагиваю. Уже и Шведскую могилу миновал, уже мне и Побиванку[1] вот-вот будет видно. Вдруг слышу: кричит кто-то позади. Оглянулся — Маркьян. При форме, при Георгии и рука подвязана. И он отвоевался, значитца... Мне тоже ведь в шестнадцатом вот эту клешню сделало, — Герасим показал слушателям правую руку, на которой вместо пяти было лишь два пальца — большой и мизинец. — Подходит ближе, смотрю, а у него на одном сапоге шпора, а на другом железяка какая-то ремешками к голенищу привязана. Такая, сказать бы, как терка, только дырки побольше. Поздоровались мы, конечно, обнялись. Идем, о том о сем гутарим: кто где воевал, что кому из дома писали да что оно дальше будет... За разговорами и не заметили, как день прошел. Стемнело. Уж и края наши начались. Хорошо так вокруг, господи... А тут еще и луна взошла. Садами, хлебами пахнет (копнушек еще не свозили) — одним словом, нашими землями. И тихо вокруг, как в ухе. Только железяка та Маркьянова брязь-брязь, туп-дзень... Я и спрашиваю: «Что это у тебя за чертовщина на сапоге?» По-хорошему так, не то чтоб подъюжить хотел. А он как рассердится, бог ты мой, как вскипит. «Какая такая чертовщина? — кричит. — Ты что, устава не знаешь? Какой же из тебя солдат? А в уставе что сказано: ездовому конной артиллерии полагается иметь шпору на левом, коренном, сапоге и защитную решетку — на правом, подкоренном, чтобы подкоренная лошадь не повредила ему ногу. Понял?» — «Да, говорю, чего там не понять... Только на кой черт это брязкало в такую даль тащить? Снял бы, прицепил другую шпору — казак казаком!» А он: «Что я, порядка не знаю?! Сказано в уставе: не положено — умри, не нарушай!»

Эва, думаю, с тобой только свяжись. И завел разговор про Георгия: когда, спрашиваю, да за что дали, да какая степень — я в этих орденах, ни в тогдашних, ни в нынешних, и до сих пор ни «бе» ни «ме». Тут моего Маркьяна словно подменили: отошел сразу, повеселел даже, как бы сказать, загордился. «Это, говорит, меня прапорщик Питкевич представили... Отчаянный были их благородие! Как крикнут, бывало: «Бат-тарея!», так поверь, брат, пятки стынут. И как бы там ни об-

[1] **Побиванка** — хутор под Полтавой.

стреливали нашу позицию, им все нипочем: папироску в зубы и на бруствер! «Ну-ка, — кричат, — братцы, кто мне огня принесет?!» А шрапнель кругом, как шмелиный рой жужжит. Кто ж пойдет на верную смерть? А я пошел. Высек быстренько огня и на бруствер: «Пожалуйте, ваше благородие!» И под козырек взял. А они: «Вот это орел! Вот тебе и хохол! На первую степень представляю!» И на другой день — к генералу меня... Ты, конечно, этого не поймешь, потому как не представлялся. А мне это и до сих пор не верится: я ли это иль не я! Фи-ги-ги-ги...»

Герасим так оскалился из-под усов и так скрипуче-глупо засмеялся, словно то и не он был, а сам Маркьян. Поминальщики, сидевшие поблизости, весело хохотнули, но, вспомнив, где они и для чего собрались, смутились и торопливо потянулись к чаркам.

— Пусть же ему земля пухом будет, — сказала какая-то молодица и скорбно вздохнула.

— Конечно, — согласился Герасим. — Разве я что? Это так, вспомнилось на грех...

Грицко Мантачечка, молчавший до сих пор, щуря на людей быстрые умные глаза, откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание, и сказал:

— Порядок он любил, что и говорить... За это с ним и руководители за руку здоровались, и уполномоченные. Слышали, что председатель на похоронах сказал: «Бескомпромиссный». Вот! То-то оно и есть — порядочек. Но однажды и он, покойный, не потрафил. Кхе... Как-то осенью — дело при Махно было — пошли мы с ним на базар. Я — товару на сапоги купить, а Маркьян: «Погляжу, что они там за люди, эти махновцы, говорят, у них порядки интересные».

Приходим в Зиньков, а там во́йска — курице негде клюнуть. И ни одного пешего. Все на конях да на тачанках. Ну, думаю, тут побазаруешь. Тут хотя бы назад как-нибудь выбраться, домой. А Маркьян: «Идем, вон возле маслобойни народ толпится, может, там собрание какое» — и туда. До собраний он страх охочий был, да еще если дадут выступить — куда там! Пошел. Смотрю, уже порядок наводит: руками размахивает, кричит, усы наежились... Подхожу себе — ан там грабеж: тот масло в ведро цедит, тот подсолнечными зернами пазуху набивает, тот макуху катит. А Маркьян мой уже кого-то за полы водит. «Куда прешь? —

кричит. — В очередь стань! Порядка, что ли, не знаешь?!» Оно, может, и ничего, обошлось бы, да тут, на беду, возьми и явись двое махновцев конных. Один такой вот, как я, щуплый, а другой — мордастый, шея — хоть ободья на ней гни. «Кто здесь порядок наводит?» — спрашивает и товарищу своему подмигивает. А Маркьян усы пальцем подправил, осклабился: «Я, ваше благородие!» — «Угу, — говорит мордастый. — Ну-ка, иди сюда... Фамилия? Так-с... Значит, ты порядка хочешь? А ты знаешь, рожа немытая, что мы анархия? Что мы за свободу, за полный беспорядок то исть, кровь свою проливаем?» Да как стеганет Маркьяна нагайкой вдоль спины, как стеганет! Народ хохочет, столпился. «Так его, так!» — подзуживают. Известно, каков наш брат мужик! одного бьют, а десять радуются, что не их!..

Кинулся я к тому, мордастому: «Пустите, говорю, человека, он ведь хотел, как лучше». Едва упросил...

Потом уж, как за Зиньков вышли, говорю Маркьяну: «За каким чертом ты туда лез?» А он: «Разве ж я знал, что у них такие порядки, чтоб за порядок бить?!»

И снова хохотала компания, теперь уже не оглядываясь ни на Стеху, которая примостилась на лежанке передохнуть — младшие стряпухи хлопотали у столов сами, — ни на Маркьяновых родичей, которые, подвыпив, тайком улыбались и уже не против были запеть, кто-то из них все же не удержался и начал свою, хуторскую:

За лесом, за дремучим
ізбушка стояла-а-а,
а в этой, у ізбушки,
там вдовушка і' жила-а-а...

На него было кое-кто из тех, кто потрезвее, зашикал, боясь, что песня про вдовушку лишь растравит Стехино горе, но Стеха сказала: «Пусть уж поют люди, раз потянуло», и люди запели дружнее, ладнее, всей душой отдаваясь песне и приятной подсознательной радости оттого, что они живы, что их ждут натопленные хаты, жены, мужья, дети, что метель улеглась и взошел месяц, так домой будет видно идти...

Скажи, скажи, хозяєчка,
с каких ти пор вдова-а-а...
Вдова я з того года,
как почаласьі война-а-а...

Стеха склонилась на подушку и тихо заплакала, вспомнив старших своих сыновей, которых забрала у нее война: один сгорел в танке под Кировоградом, а другой полег где-то на чужбине, под каким-то немецким селением, с таким трудным и длинным названием, что она никак не могла выговорить.

Потом поминавшие пели и вытанцовывали про Гандзю-цяцю, Гандзю-птицу, Гандзю — гарну молодицу, а Стеха видела перед собой тогда еще молодого, кареглазого, с лихорадочным блеском в зрачках Маркьяна...

Вот он похаживает по двору, сердито дергая себя за ус, и кричит ей на грядки: «Ты опять кроликам травы бросила? А я тебе что говорил? В книжке ведь написано: пусть лижут калиеву соль, тогда шкурки линять не будут».

«Ну да, — смеется она, поддерживая рукой большой под фартуком живот (как раз третьим, Павлом, ходила), — если б я твоих книжек слушалась, так уже все кролики передохли бы, а так еще двое осталось!..»

А вот он выступает на собрании в колхозной конторе — веселый, возбужденный, под усами молодо зубы блестят:

«Если, товарищи, райком и лично товарищ председатель Кривобок требуют от нас активной вывозки фекалию на поля, то мы и по этим показателям должны опередить «Красный партизан»! И если правление не против, я, как активист, первый возглавил бы это движение!»

В конторе душно, чадно от торфяного дыма; смех, крики, мерцают каганцы на оконных косяках. «Согласны, фекалий поручить Маркьяну!» Маркьян сияет, обещает правлению оправдать доверие, а ей трудно дышать, лицо горит от стыда и хочется плакать...

После войны, когда уже постарел так, что и усы опали на уголки рта и просвечивались насквозь, разве не пробирался он по колена в снегу темными вечерами на заседание правления, где его уже никто не слушал и ни о чем с ним не советовался, а лишь спрашивали с издевкой: «И чего вы, дядьку, в такую непогодь сюда пришли? Сидели бы себе дома...»

«Эге ж, чего шел! — сердился Маркьян. — Вот из глубинки люди хлеб средь бела дня в пазухах разносят. Разве ж это порядок? А вы — чего пришел...»

И таки выходил: назначило его правление сторожем

в Заготзерно, потому что знало,— Маркьян не только другим не даст украсть зернышка, но и сам не возьмет.

С того времени он совсем ушел из дома, а если и появлялся, то разве лишь затем, чтоб винтовку-трехлинейку почистить в тепле — «как полагается по уставу» — да поесть чего-нибудь горячего.

Стоит, бывало, с той винтовкой у входа в клуб (другого помещения под зерно в колхозе после войны не было), на усах иней иголками выступил, хукает в ладони, кричит:

«Ты куда это пошел, слышь? А из сапог зерно высыпал? Или, может, думаешь, я не видел, как ты нарочно увязал в ворохе по колени, чтобы за голенища набралось? Ну-ка, вернись!»

Не обминул и Стехи, которую сам же и на работу послал: «Зерно греется, а рук не хватает». Однажды, когда она, уставшая, натаскавшись мешков, направилась было домой, Маркьян крикнул ей вдогонку:

«А ты что — лучше других? Иди мне вытряхни пшеницу из-за голенищ!»

Стеха обернулась, удивленная, пряча в платок незлобивую улыбку:

«Тебе, чоловиче, повылазило, что я в калошах?..»

Потом зерно вывезли в план, и Маркьян снова затосковал, сидя дома. Пошел бы в колхоз на совещание или на заседание исполкома — сапоги неисправны, почитал бы сведения в райгазете — дети стекла из очков вынули и задевали куда-то. Поколотил бы, так не знает, кто нашкодил, а всех бить — непорядок. Вот и отлеживался на печи каждый день да ругался оттуда, если детвора поднимала в хате шум.

Как-то в воскресенье, на престольный праздник, насобирала Стеха малость муки, состряпала, с чем придумала, сковороду пирожков: несколько со свеклой и калиной, несколько с фасолью. Раздала детям по одному, Маркьяну два подала, а себе оставила тот, что пригорел сбоку. Дети принялись есть — медленно, бережно, смакуя праздничную еду. В хате было тепло и торжественно, доливка свежей соломкой присыпана, козлята выцокивали копытцами по лавке, и на них за это не сердились — праздник.

Съев свою долю, Маркьян свесился с печи и спросил:

«Там больше нет? Гм, только желудок раздразнил»,— и умолк. Но немного погодя опять зашевелился и тихо, нежно сказал младшей дочери:

«Маню, дай отцу еще хоть полпирожка».

Маня, вытаращив в потолок большие черные, как у отца, глаза, ни с того ни с сего хихикнула:

«Где ж я вам возьму, как нет?»

«А у тебя, Андрейку?»

«Гм, — удивился Андрейка. — Я свой уже давно вмял!»

Маркьян вздохнул и умолк. Однако ненадолго.

«Павлуша, — позвал вскоре самого старшего, — посмотри, сынок, там на сковороде ни одного пирожка больше не осталось?»

Павло отвел взгляд от окна, за которым косо летел снег, хмуро взглянул на печь:

«Есть один, мамин. Нам всем досталось по одному, а вам — два. Вы их съели? Съели. А тот пусть маме. Надо ведь какой-то порядок знать!»

Маркьян, кажется, и дышать перестал и долго лежал неподвижно. Потом слез на доливку, достал из-под лавки маленький чугунок и, виновато, несмело как-то улыбаясь Стехе, сказал:

«Я, жинко, картошечки себе сварю... или супу. Выгреби мне жару на припечек». Затем налил в чугунок воды, поставил на жар и начал раздувать его, макая обвисший ус в золу. Жар заискрился, вспыхнул слабым пламенем. А когда Маркьян выпрямился опять, то одного уса уже не было — обгорел...

Таким и запомнила его Стеха в последний день перед болезнью: стоит сутулый у печи, подергивая седой обгоревший ус, и жалко, по-детски улыбается ей:

«Вот тебе и на, на старости уса лишился!» — только и сказал.

А детям весело: сбились на полу в кучу, прыскают друг другу в затылок и подталкивают локтями, делая вид, что не над отцом смеются, а играют...

Тогда она взяла со сковороды свой пирожок и вложила ему в руку. «Лезь на печь, — сказала, — чего доброго, ноги простудишь. А суп я и сама доварю».

С того времени Маркьян заболел и до самой смерти никогда уже не вспоминал про порядок. Только однажды, когда проведать его пришел давний приятель Грицко Мантачечка, сказал тихо, едва ворочая сухим языком:

«Смерти мне, Грицко, не страшно... А вот жаль чего-то... Пожить хочется, увидеть, какие они, порядки, дальше будут...»

«А конечно... — кротко согласился Мантачечка и, чтобы отвести больного от мыслей о смерти, заговорил о другом: — А помнишь, Маркуша, ту ночь в тридцать пятом, что очень ветреная выдалась? У-у... По всем садам тогда только и слышно было: гуп-гуп, гуп-гуп... Яблони да груши падали. Выглянет луна из-за тучи, а в траве под деревьями белые тока́ от плодов... Я тогда и ветряка не отпирал — куда там молоть! Крылья пообламывало бы сразу. Геройский ветер был!»

«Э, нет, не помню... Я тогда в Полтаву на слет активистов ездил. Вот если бы ты увидел да услышал, что там творилось... — Маркьян быстро забегал пальцами по рубахе на впалой груди, а щеки его покрылись чуть заметным болезненным румянцем. — Духовая музыка... Аплодисменты... Все областное руководство выступало... И мне тогда слово дали... А ночевали в гостинице... Патефоны, еда — какая хочешь... Порядок, порядок...» И умолк, хрипло дыша.

А на другой день его не стало.

Перешло уже далеко за полночь. Компания устала пить, есть и веселиться, к тому же мужчины из-за чего-то подрались в сенях, так что их едва растащили, и поминальщики начали расходиться по домам, проваливаясь в глубоком снегу, и уже никто не думал о Маркьяне, а каждый ругал себя, что так долго засиделся.

Лишь Грицко Мантачечка, бывший мельник и приятель Маркьяна, идя домой мимо кладбища, остановился напротив одинокой черной могилы, снял шапку и пьяно промямлил: «Ну что, порядок нужно знать? Хе! Вот тебе и порядок!..»

УТОЧКА

На песчаном косогоре, с которого далеко видно луга, речку и околицы лугового хутора Княжья слобода, немного на отшибе от села стоит хата — верх возле трубы запал (видно, стропила подгнили), а окна подались

к земле так близко, что если бы вздумалось кому-нибудь заглянуть в них, наклониться пришлось бы так, словно в копанке воды набрать. Но охочих заглядывать немного, разве что детворе — из любопытства, потому что живет в этой хате старая слепая баба Ганна, прозванная в селе Уточкой. Когда и за что ее так окрестили, уже никто не помнит: так как было это давно, еще до того, как Ганна стала девушкой.

Ослепла Уточка не сразу. Сначала появились бельма — небольшие, с маковое зерно, потом начали расти, с каждым днем понемногу закрывая от бабы речку, луга, околицы Княжьей слободы, которые старая вечерами, на закате, любила рассматривать из-под ладони, узнавая издалека старинные, с плетеными дымовыми трубами, хаты своих однолеток, к которым ходила, когда была попроворнее, на престольный праздник или просто так в гости. Те вечера будили в Уточке нещедрые, померкшие воспоминания о молодости, о том, как, бывало, напряла за зиму на два, а то и три куска полотна, как навязывала в жнива по восемь, а то и девять копен жита, как ходила полоскать белье к проруби в маленьких сапожках на босу ногу, как молодела с непокрытой головой в лютый крещенский мороз и не чувствовала его, только уши цвели, как маковы лепестки, да сердце сладко сжималось под вышитой сорочкой, вещуя долгое счастье, долгую жизнь...

И вот не стало этих вечеров, как и не было. Пришла тьма и закрыла от старой не только солнце, но и те нещедрые воспоминания — ничто их уже не будило.

Принялись Уточку спасать, кто как мог: водили к шептухе, возили к исцеляющей иконе, вдували в глаза перетертый сахар через соломинку, пока старая не ослепла совсем.

Приехали со службы Уточкины сыновья, вызванные телеграммами, — оба старшие сержанты сверхсрочной службы, в офицерских фуражках, с блестящими, под слюдой, лычками на погонах да скрипучих ремнях. В хате запахло хорошо выдубленной кожей, ваксой и новым слежалым сукном.

Встретила Ганна сыновей уже на ощупь, однако не плакала и не жаловалась на свою беду, — считала себя же и виноватой, что не сообщила о случившемся своевременно, — лишь улыбалась на радостях тихой, самоотреченной улыбкой и протягивала к сыновьям неви-

дящие руки, натыкаясь ими то на твердые портупеи, то на значки, то на острые козырьки офицерских фуражек.

Увидя мать такой беспомощной, покорно улыбающейся куда-то в пустоту, сыновья крайне смутились и даже всплакнули, хотя это уж никак не шло им при такой строгой форме. Когда же первое, самое острое ранящее впечатление от материной слепоты немного притупилось, сыновья ласково поругали старуху — они тоже считали ее виновной в том, что случилось.

А вечером выпили за приезд, повеселели и показывали девчатам в клубе, как танцевать солдатскую польку — с эдакими выкрутасами да с прищелкиванием каблуками.

На другой день, надев старые материны телогрейки, братья починили плетень, нарубили полсарая ольховых дров, а покончив с этим, всунули матери в ладонь по нескольку новых хрустящих десяток и уехали: служба есть служба.

И снова зажила Уточка одиноко, понемногу привыкая к вечной темноте да к тропкам, которыми исходила всю свою жизнь на работу и с работы, в луг, по дрова и с дровами, к кринице и от криницы.

Весною, когда старые тропки терялись в лужах и грязи и протаптывались новые, Уточка чаще всего сидела дома, а когда подсыхало, выходила к калитке и спрашивала у прохожих:

— А где теперь тропки?

Прохожие, если им некуда было торопиться, брали старушку за руку и выводили на проталинки, а дальше она уже шла сама, неся на устах кроткую, словно навсегда застывшую благодарную улыбку...

Душно, сладко пахнет в низовом старухином саду цветущий терн, гудят в нем с теплой солнечной стороны пчелы, осы, что налетают сюда из леса попастись. Случается им и в хату к Уточке залететь. Тогда в ней делается веселее и уже не пахнет прелой пустотой, как это бывает зимой или поздней осенью: осы тоненько вызванивают под потолком, звучно, с разгона бьются о стекла или пасутся себе потихоньку на лавке под иконами, где еще с пасхи сберегаются Уточкой блюдце сладкой кутьи да горсточка недорогих конфет, — может, кто из малышей придет, будет чем полакомиться.

Иногда приходят Уточке тоненькие письма с треугольными штампами и переводы — всегда ровно на десять рублей. Сыновья писали, что служба идет нормально, что дети, то есть ее, Уточкины, внуки, которых она никогда не видела, растут и что войны — пусть мать не беспокоится — скоро не будет. В конце каждого письма обязательно приписывалось, чтобы мать берегла себя, ходила в лавку не проезжей дорогой, а лугами, чтоб топила в лежанке не для того лишь, чтобы стены были сухие, но и для душка и т. п. А дальше, в самом низу, после сыновьих поклонов, уже другим почерком писалось: «Дорогая мама! Примите также привет и от ваших невесток, Лили и Нюси, и от ваших внуков Юрика и Геника. До свидания».

Получив письмо, Уточка просила соседей прочитать его раз и другой, потом принималась диктовать ответ, который начинался всегда одними и теми же словами:

«Дорогие мои дети и внученьки мои бриллиантовые. Кланяется вам низенько ваша мать и бабушка и ждет вас в гости хоть на денек, если уж нельзя вырваться на дольше, потому что страх как хочется увидеть внучков — так хочется, что вот взяла бы и полетела...»

В этом месте соседка перебивала Ганну и спрашивала осторожно:

— Как же вы их, титко, увидите незрячая?..

— Да уж хоть ощупаю да голосочки послушаю, — улыбалась в потолок старая, нисколько не обижаясь на замечание.

Дальше она сообщала о том, что недавно назначили ей пенсию от колхоза, и просила, чтобы денег больше не слали, потому что ей хватит и казенных, а купили бы себе больше теплой одежды на зиму и харчей, которые «повкуснее». В лавку ж ей волей-неволей приходится ходить шляхом, так как луга перепахали и засадили осокорями, теперь негде и щавельку на борщ ущипнуть. Однако пусть они не волнуются: если мать и вырвется кое-когда в лавку за хлебом или селедкой, то шоферы видят ее еще издали и объезжают или останавливаются и тутукают...

И опять кланялась низенько, теперь уже не только сыновьему семейству, а и товарищам по службе, «которые без матерей выросли», и опять просила приехать хоть на денек, обещая внукам новый сачок на рыбалку,

невесткам — по старинной вышитой сорочке и по два роменских рушника, «потому что они скоро выведутся», а сыновьям церковно-чистый воздух, настойку и соленого терна на закуску.

После того, как письмо было отправлено, Уточка принималась прихорашивать хату: споласкивала ведро, в котором время от времени собирался на дне рыжий колодезный ил, мыла пахучий вербовый кружок, которым накрывалась вода, скребла стол, табуретки, лавку, смазывала доливку, держа кисть в правой руке, а левой ощупывая уже смазанное, чтобы не оставить ненароком сухой латки; протирала цветные картинки, приколотые к стенкам иголками акаций; только портреты сыновей, завешенные рушниками, да еще иконы не трогала, боясь свалить на пол, и паучки спокойно ткали на них густую, словно рыболовная сеть, паутину.

Однако больше всего любила Уточка тот день, когда, по ее расчетам, сыновья должны были получить ее ответ и выехать домой. Тогда она надевала чистенькую одежду, обувала новенькие офицерские сапоги с тупыми форменными носками и, прихватив по посошку в обе руки, медленно шла в лавку за гостинцами — пряниками, горилкой и твердым, как замазка, повидлом: ей почему-то казалось, что более изысканных лакомств, чем «фабричное» повидло, для невесток и быть не может...

Каждый раз, как только Уточка, нащупав тропку, входила в село, ее тотчас окружали дети, игравшие на выгоне: то пристроятся за бабушкой и на цыпочках, хихикая, передразнивают ее осторожный шаг; то забегут наперед и высунут ей язык, чтобы убедиться — совсем слепая она или не совсем; то отбегут ровно на столько, чтоб до них не достала старухина палка, и начинают тоненькими голосами дразнить:

— Вуть-вуть-вуть-вуть...

— Тась-тась-тась...

— Гиля!

Уточка не сердилась на эти шалости, потому что знала: этим только подстегнет малышей, и тогда от них вовсе не отвяжешься, а только улыбалась в небо или останавливалась и спрашивала:

— А чьи это вы такие голосистые да бедовые? А поди-ка сюда, за поводыря бабе будешь! — И шла себе дальше, почти не отрывая ног от земли, чтобы не потерять тропку.

Когда же на дороге встречался кто-то знакомый и обращался к ней, здороваясь или просто покашливал через тын, давая о себе знать, Уточка охотно останавливалась поговорить, зная, что ее непременно начнут расспрашивать, куда это она вырядилась да зачем, вот и будет случай сыновьями похвалиться и посоветоваться, как лучше гостей привечать: то ли курочку к чесноку сварить, то ли холодцу к хрену, то ли на молочное налегать, ведь кто знает, что городским больше нравится.

Если на такой разговор попадалась женщина, то охотно советовала старой и то и другое; мужчины же больше расспрашивали про сыновей: где они и кем служат, в каких частях и какое получают жалованье.

— Да при таком жалованье жить можно, — охотно рассказывала старая. — А кем служат, как вам сказать... Грицко, младший, тот вообще молчит, если спросишь. А Мусия, старшего, спрашивала, — не признается. Нельзя, говорит, мама, запрещено. Так я уже и не надоедала.

— Значит, возле ракет, — делали вывод дядьки и заводили разговор уже про своих служивых, большинство которых тоже «отбывали сверхсрочную», аж пока дело не доходило до спора: один доказывал, что его Колька младший сержант и механик по танкам, другой говорил, что это брехня, потому что как же Колька может быть механиком да еще и со званием, когда он туповат, едва до седьмого класса доплелся, да и то военкомат заставил. Что ж он в тех танках петрит!..

Кончался спор тем, что дядьки втихомолку зарекались больше никогда не здороваться друг с другом, а тот, у которого был колодец, запрещал бесколодезному соседу ходить к нему по воду...

Тем временем Уточка, купив все в лавке, возвращалась домой, складывала гостинцы в чисто вымытый посудник, заправляла горилку сухими стебельками «животковой чаполочи», березовой почкой или еще каким-нибудь только ей одной известным зельем и, заткнув бутылку тряпичной пробкой, ставила ее под лавку в углу — где темнее и прохладнее.

Так миновали дни и месяцы, ниже ходило солнце, седел, словно покрывался дымком, терн в низовом старухином саду и осыпался в первые утренние заморозки; по ночам в хату наведывалась сырость и прилипала к стенам мохнатыми грибками — только тогда старая

поняла, что сыновья не приедут, и впервые за несколько лет слепоты заплакала, вытирая бельма сухими покореженными пальцами.

А однажды, уже поздней осенью, пришло Уточке письмо, как всегда от старшего, Мусия, — младший, Грицко, был на переписку ленив и отзывался не часто. Мусий писал, что вырваться домой за лето не удалось (начальство не пустило), а невестки и внуки одни ехать не захотели.

— Одним словом, чужие люди... — только и сказала Уточка, даже не дослушав письма, и трудно было понять, касалось это лишь невесток и внуков или и сыновей...

И вот снова пришла весна, и снова зацвел терн в Уточкином саду, скликая своими запахами ос и пчелок на молодой цветок; прилетели в село ласточки и аисты в давние свои гнезда и принялись обновлять их; люди белили хаты, жгли за воротами прошлогодние листья, — только Уточкина хата, которая присела и почернела за зиму еще сильнее, стояла посреди весеннего движения и обновления одинокая и тоже будто слепая.

Но как-то перед самым праздником зашел к Уточке гость, молоденький солдатик в значках на всю грудь и кожаных перчатках, хотя на дворе было уже тепло и солнечно. Весело поздоровавшись от порога, гость какую-то минуту молчал, наверно, осматривался, потом уже не так браво спросил:

— Тут живет Ганна Кошкалда?

— Тут, сынок, тут, — заволновалась Уточка, узнав знакомый армейский запах, сразу заполнивший хату. — Проходи поближе, садись.

Солдат осторожно скрипнул лавкой.

— Я, бабуся, от вашего сына Мусия Прокоповича. Привет вам привез, — сказал и коротко, неумело вздохнул. — А еще вот гостинцы тут, бабуся.

— А... сам же он, Мусий, — тихо спросила Уточка, — почему же он сам не прискочил?

— Ему, бабуся, сейчас никак нельзя. Праздники подходят, а он в нашем полковом оркестре первая труба.

— Вот как... — то ли удивилась, то ли смутилась Уточка и долго потом молчала.

Когда же почувствовала, что гостю, наверно, неудобно сидеть вот так молча, спросила:

— А кем же Грицко, младший, числится? Не слыхали?

— Он уже давно демобилизовался, — охотно пояснил солдат, — и сейчас работает в охране где-то на заводе, — точно не скажу где...

Потом солдат ушел. А Уточка еще долго сидела одиноко в полутемной хате и впервые за много лет почувствовала, что все ее тело наливается какой-то незнакомой до сих пор усталостью и как бы застывает.

Но вот наконец солнце добралось до окон, ласково пощекотало старой щеку, согрело темные прожилки на руках и спряталось за речкой, поставив над Княжьей слободою высокий багровый столб.

ОБНОВКА

Купаюсь в реке между кувшинками, где вода почище. Ряска щекочет, гусиные перья плавают у берега, на мелководье, — вода там горячая и мягкая, как дождевая, — а по мосту люди идут, с базара. Малышня кричит им с реки:

— Тетя, а тетя! Дайте гостинца!

Дядек не трогают, потому что они сердитые да и не из нашего села, а из Опошни — у нас их называют горшочниками. Везут фурами горшки, переложенные сеном: не распродали, потому и трезвые все, и неразговорчивые...

Идут люди и идут, толпами и в одиночку — молча: не наторговали. Качается под их ногами утленький мостик — летом он всегда качается, а зимой нет — сваи обмерзают до самого дна.

А вот и мама показалась на том конце плотины. Жакетик на ней серенький в полоску, платок, сапоги, юбка — все старое, а кошелка новая, желтая, из рогожи.

— Мама, мама! — зову, подплывая к мосту. — Чего накупила?

Она остановилась, кошелку у ног поставила, улыбается невесело.

— Да ничего особенного, — говорит. — Кошелку вот и калоши тебе. Одевайся, пойдем домой обедать да примеришь.

Плыву саженками к берегу — это меня отец, когда

еще живой был, саженками научил плавать, — хватаюсь руками за теплые косы чернотала и выбираюсь на кручу. Потом быстренько одеваюсь.

Рубаха на мне гремучая, тарахтит. Прочная одежина! Ношу уже пятый год, и не рвется, потому что из плащ-палатки. Бывает, мать выстирает, поставит на траве посреди двора сушить, так она и стоит, не падает, А ежели ветрено, еще и гудит потихоньку.

Надеваю рубаху, дрожу, аж зуб на зуб не попадает — перекупался. Долгонько вытанцовываю на одной ноге, пока в штанину попаду, а заодно еще и приговариваю, чтоб вода из ушей вылилась: «Коту, коту, вылей воду — иль на дождь, иль на гром, иль на молнию...»

Штаны у меня чудны́е. Привезли как-то в магазин картинки разные — на одной сливы нарисованы, синие, крупные, как воловье око, на другой груши краснобокие в листочках — и молескину рулон для пайщиков: одна полоса зеленая, другая сизая, третья тоже зеленая, четвертая тоже сизая... Вот мама и набрала. «Уже почти парень, — сказала, — пора штаны шить из настоящей материи».

Понесли кроить, а дядько Чмут, портной, поглядел-поглядел на ту материю да и говорит: «Ну, вот что, Приська, как хочешь: или сверху до паха будет зеленое, а пониже сизое, или одна штанина будет сизая, а другая зеленая. Так что выбирай».

Мать вздохнула и сказала: «Да пусть уж будет одна такая, а другая такая».

Натягиваю штаны и попадаю сначала в зеленую штанину, а потом в сизую. Зеленая немного шире, видать, дядько Чмут где-то не так резанул — старый он уже, слеповат, да и рука нетвердая.

— Замерз? — спрашивает мама с моста.

А утки у камыша: ках-как-ках... — будто хохочут. Разве ж парни мерзнут? Это мама частенько мне говорит. А я смеюсь про себя и думаю: какой там парень, когда у меня штанины неодинаковые!

Взбегаю на мост. Доски горячие, пахнут сеном, дегтем и гнилым деревом. А мама рушник из кошелки дерг:

— Вот тебе обновка, — говорит, а сама цветет — рада.

Заглядываю в кошелку, а там калоши. Головками на меня так и сверкают. Новые, аж смеются.

— А они одинаковые? — спрашиваю.

— Конечно. Одиннадцатый номер.

— Так велики же...

— Ничего. Как раз на валенки. Сошьем на зиму из отцовского пиджака бурки — я уже и ваты заготовила, — и будешь носить.

— А сейчас как?

— А сейчас... — Мама немного смутилась. — А сейчас напихаем чего-нибудь в носки, спадать не будут. Днем босенький побегаешь, а вечером, в клуб, будешь калоши надевать.

— Может, когда и обую... А так — чего мне в клубе делать?

— Вот тебе и на! А Наталья? — шепчет на ухо, улыбаясь. — Невесточка наша...

— Да будет вам... — говорю.

А самому так радостно, так сладко. Невесточка... Может, и вправду, кто знает. Если ее отец с войны и велосипед привез женский, без рамы, и на платья, и на юбки, и хрому на сапоги, и часики маленькие на руку... А у меня ж всего-то штаны разноцветные и рубаха гремучая. Кто знает.

А мама:

— Гляди, застыдился парнишка... — и макушку мне пальцами чешет, будто я маленький. — А ты, — смеется, — застенчивый, как и отец. Когда-то, — тебя еще и на свете не было, ну вот-вот должен был родиться, — обнял он меня и говорит: «А я тебя, Прися, боялся. Увижу, бывало, в клубе и говорю себе: вот сейчас возьму и подойду, — а сам ни с места. Ноги словно вялые. Тогда начинаю считать: раз, два, три... И так иногда до ста, а все не решусь. И смеется, бывало. И я смеюсь, потому что и вправду к нему первая подошла...

Мама вздыхает, и мы долго идем молча. Я знаю, о чем она сейчас думает, и не хочу мешать ей. Взбиваю ногами привядшую горячую траву в покосах, из нее то и дело вылетают большие и маленькие, рыжие и зеленые кузнечики, шуршат крылышками и опять исчезают, прячутся. Над лугами стоит влажная духота, хотя солнце уже и не печет, а между тальником мерцает паутина, желтеет почти дозревший хмель — скоро осень...

Вот уже и хату нашу видно. Правда, не нашу, а по-

койной бабки Погончихи. Бабку не убило, сама умерла. Она и так долго жила: девяносто девять лет и шесть месяцев. Бывало, идет по селу, сгорбилась, а палка в подбородок тыц, тыц... Маленькая такая, как узелок. И хата у нее была маленькая и старая. Прожили они один век: бабка сто лет, и хата сто лет, бабка сгорбилась, и хата сгорбилась. Потом бабка умерла. Как раз перед войной. Несла с огорода тыкву, споткнулась, упала и умерла. А тыква покатилась с бугра и упала в криницу. Тогда в ней еще вода была — холодная и чистая, а вокруг криницы густо мята росла. Теперь там только лягушки живут да ольховые орешки плавают...

С тех пор мы и живем в бабкиной хате, потому что нашу в начале войны разбомбило. Темно у нас всегда: стреха низко, окна тоже, летом крапивой зарастают, а зимой их снегом заметает. Бывало, увидит курица какую-нибудь букашку на окне, подбежит да клювом в стекло тук-тук. Словно гости. А откуда у нас те гости возьмутся?..

Сажусь обедать, а стена выгнулась, подпирает меня к столу и потрескивает в середине. Наверно, она скоро упадет. Можно было бы стол отодвинуть подальше, да с места не сдвигается: ножки вмазаны в доливку чуть ли не на четверть — сколько раз бабушка за свой век мазала доливку?

Однако думать мне об этом некогда, — мама уже какую-то баланду на стол ставит, и я припадаю к ней с ложкой.

А ей не терпится. Достает из кошелки обнову:

— Ну, примерь-ка.

Не знаю, что и делать: и есть хочется, и калоши примерить охота.

— Сейчас мы по-городскому сделаем, — обещает мама, долго шарит в запечье и достает оттуда чулки. Вверху они еще куда ни шло, а там, где были ступни, одна рвань. — Сейчас мы двух зайцев убьем: там, где целее, подвяжем,— под штаниной не видно будет, а это, рваное, в носок спрячем. Вот калоши и спадать не будут.

Пока все устраивали, солнце за овраг село. В хате от заката сделалось красно и прохладно, перестало потрескивать в стенах, — наверно, тля уснула, воробьи под стрехой завозились, устраиваясь на ночлег. А на дворе по небу — багровые разводы, коростели на лугу

перекличку затевают, ласточки меж дворами вьются — скоро им в отлет...

И сразу мне как-то грустно делается, так неуютно, будто я в последний раз иду селом в больших новых калошах, которые с непривычки немного водят меня из стороны в сторону, будто и мне скоро улетать...

Иду к мосту, где парубки собираются. Парубки эти такие, как и я, только штанины у них одинаковые и подстрижены они поаккуратнее, без покосов на затылке, как у меня, потому что у них дядьки, деды, кое у кого даже отцы есть, а мы с мамой одни уже седьмой год.

На плотине, возле пожарного ящика, из которого детвора уже давно вытаскала песок на хатки, сборище: хлопцы сидят на перилах, раскачивают мостик, девчата визжат, будто им и вправду страшно. От воды холодком тянет, туманец над кустами водорослей устраивается — теплая ночь будет.

Вот уже и песню кто-то заводит:

Ой, у полі корито,
Ой, у полі корито,
Ой, у полі корито,
Повне води налито...

Это хлопцы. А девчата, зная, что дальше слова песни будут словно невзначай переделаны на бесстыжие, грубые, спешат перебить хлопцев и начинают свою:

Бэла кофта, чорний бантик,
Ох, зачем розв'язував?
Я любила тіб'я тайно,
Ох, зачем розказував?..

Меня уже заметили, кричат:

— Эгей, Ванька! Иди быстрее, а то некому вторить.

— Го-го-го!

— Ха-ха!

— Теперь наша возьмет!

И вдруг в толпе притихли, прижались к перилам. А я уже сорвался было бежать и тоже остановился: по мосту, обходя толпу, шла Наталья, а рядом с нею — отец, всегда хмурый, с прикрытыми глазами, словно боялся, что в них кто-то когда-нибудь заглянет. Он никогда не поворачивает головы к людям, когда проходит мимо, и никогда не говорит полностью «здравствуйте» или «добрый день», а говорит: «ндра» или «дрень».

Я его не стесняюсь, как другие хлопцы отцов своих

девчат, я его боюсь и стараюсь обходить. Особенно после того, как он когда-то вызвал меня к себе в кабинет и сказал, закрыв глаза:

«Валяй в райком комсомола и скажи, чтоб выписали тебе путевку на стройку нефтепровода. Хоть на штаны заработаешь... Да смотри не проболтайся, что твой отец в плену был, а то и не пошлют».

«Отец уже три года, как погиб, — говорю, — при чем же...»

А он: «Ну, если ты такой умный, то выходи завтра на свинарник».

С тех пор и по сей день он ни разу даже не взглянул в мою сторону, даже своего «ндра» не сказал. И сейчас не скажет, хотя и с Натальей идет.

Как бы мне их обойти?

От волнения я не вижу их, только слышу, как поскрипывают его сапоги да бьет по голенищам грубый немецкий плащ — словно туман у меня в глазах. А когда они поравнялись со мною, я бросился мимо, к толпе, будто ужасно тороплюсь, но не сделал и двух шагов, как споткнулся, калоши мои слетели, а чулки, самая рвань, размотались на полдороге, точно гадюки.

Я еще успел заметить, как Наталья низко наклонила голову и сказала, должно быть, сгоряча, но очень тихо: «Здравствуйте...» А он взглянул на чулки, хмыкнул, вновь зажмурился и заскрипел сапогами, глухо бросив Наталье какое-то слово. Я не услышал его. И вообще уже ничего не слышал, кроме тишины, которая внезапно залегла на мосту, да стук своего сердца.

Потом произошло то, чего я и позже не мог понять, не знал, откуда что взялось: я схватил ком земли, крикнул: «И-и-их» — и, пока он летел, вопил:

— Так вам смешно? Так вам — потеха? Так нате вам. Н-на!

Ком попал Наталье в голову. Я услышал, как она вскрикнула, как удивленно и испуганно вскрикнули на мосту, как забухали по моей спине тяжелые кулаки, а от моста кто-то тоненько и не очень решительно кричал:

— Как вам не стыдно, дядя? Как вы смеете!.. А еще...

Потом кто-то надевал мне калоши, тихонько плакал и шептал:

— Для чего ты, Ванька, его трогал... Ну для чего?

— Эх, чудило!!.

ХЛОПОТЫ

Выходим со двора на рассвете. Во всем селе еще не светится ни одно окошко. Только кое-где на столбах вдоль улицы лампочки желто и лениво мигают. Дядя Никон открывает ворота, прикрученные к столбикам ржавой проволокой, так что их нужно немного приподнимать, иначе с места не сдвинешь, а я тащу тачку с нашим товаром: закололи вчера кабана да повезем теперь на базар в Полтаву.

За двором я немного поджидаю, пока дядя справится с воротами, а дальше тянем тачку вдвоем. У дяди Никона новый, «выездной», как он говорит, протез, обутый в ботинок, тоже новый и скрипучий; палку он оставил дома, потому сильно хромает, дышло дергается вправо, и тачку водит. Вот так и тащимся по селу, как два необъезженных бычка в ярме — дядя дергает дышло на себя, а я теряю равновесие, потому что в руке слабее дяди, и дергаю на себя.

— Если б попутная машина попалась, то лучше, — рассуждает дядя вслух.

Это он так, лишь бы не молчать. А спроси у него, почему лучше попутной, а не автобусом, не скажет, потому что и сам не знает. Но я все-таки спрашиваю.

— Потому лучше, — рассудительно говорит дядя, — что... лучше.

Ну вот, я так и знал!

Под ногами и под колесами тачки потрескивают мерзлые, прибитые инеем, листья, шуршит твердая щетинистая трава, тоже белая, с темной от заморозка прозеленью, а в хлевах и на чердаках во всем селе поют петухи — уже по-зимнему, хрипловато.

Можно было бы, конечно, поехать на базар дядиной машиной, инвалидской, так неисправна еще с лета. Что-то дядя так отрегулировал в моторе (он говорит «мóторе»), что, когда заведет,— дым валит, словно с кирпичного завода, и окутывает всю машину. А он еще и кричит из кабины:

— Ну-ка, Илья, погляди, какой там дым!

— Черный! — кричу во все горло: надо ведь гул перекричать.

Дядя Никон глушит мотор, вылезает из кабины и с видом механика-аса изрекает:

— Значит, бензин старый. Нужно заливать новый, а его нету.

Или:

— А ну-ка, Илюша, толкни, попробуем завести с ходу.

Тогда я упираюсь руками в заросший пылью задок машины и шагов десять толкаю ее к Вишневому оврагу, а дальше она катится сама, чихая холодным дымком мне в колени. Бывает, что и заводится. Рады-радешеньки такой удаче, мы, весело крича друг другу на ухо, что все-таки наша взяла, вылетаем на полном газу из оврага в степь и делаем «обкатку», пока не надоест. А бывает, машина скатывается в овраг, так и не заведясь, потому что, как оказывается после, дядя Никон забыл включить зажигание... Тогда мы или бросаем ее в овраге, или ждем, покуда с молочной фермы будет возвращаться наш сосед, молоковоз, — тот уж не откажет, притащит ее ко двору.

И так каждое лето, от начала и до конца моих каникул, разве что инспектор отберет у дяди права за какое-нибудь нарушение. Тогда машина безвыездно стоит во дворе, укрытая от дождя и солнца старыми ватниками и вытертыми до фиолетового блеска теткиными плюшевыми кофтами, а дядя томится без дела и прикидывает, каким способом выручить права.

Но выручать их не приходится. Инспектор, наш участковый, вскоре сам приезжает на мотоцикле, отдает дяде права и говорит:

— Только смотрите же, Христофорович, чтоб больше не повторялось, чтоб — гарантия... А то как же это так: включили левый поворот, а жарите прямо...

— Да я забыл, что включил его, когда еще со двора выезжал, чтоб ему пусто было! — покаянно вскрикивает дядя Никон, и они идут в хату («Поглядите хоть, как мы живем!»).

Съезжаем с кладбищенского песчаного косогора. Песок примерз, покрылся тонкой корочкой и гулко ухкает под ногами — ломается. Сквозь реденькие сосны проглядывает восход — узкая беловатая полоса с чуть приметной розовой кромкой наверху. Начинает светать.

На остановке ни души. В сельском клубе, что напротив, темно, и он был бы похож на покинутый барак, если бы неподалеку от него в березах не светился меж-

ду голыми ветвями красный плафон на памятнике павшим воинам. Это — Вечный огонь. Когда электрики почему-то выключают из линии нашу бригаду, гаснет и Вечный огонь, словно бы на отдых...

Едва мы успеваем сбросить мешок с мясом на землю и закатить тачку за клуб (тетка истопит печь да придет заберет ее), как от моста, поведя фарами по вершинам сонных тополей, гудит машина. Дядя Никон, при каждом шаге резко посылая правое плечо вперед, выходит на асфальт, машет рукой и говорит так, будто шофер его услышит:

— Двух... до Полтавы... подбрось... Что тебе... два рубля на дороге валяются?

Машина шипит воздушными тормозами, из кабины, мерцая цигаркой, лениво спрашивают:

— Куда?

— До Полтавы, говорю... — скрипит протезом дядя. — Два рубля... А ежели до базара подбросишь, еще и на «Беломор» добавлю!

— Давайте, только в кабину пусть садится кто-нибудь один, больше места нет. Там, в кузове, солома и тулуп, укрыться можно. А то глядите...

Уже на ходу дядя Никон подает мне из кабины свой пиджак из толстого грубого сукна и кричит:

— За кабиной, в затишке ложись, да гляди, чтобы пиджак ветром не сдуло, тогда наторгуем фигу!

Я устраиваю в соломе гнездо, набрасываю на плечи поверх ватника еще и дядин пиджак, такой тяжелый, что его, пожалуй, и ураган с места не сдвинет, ноги укрываю рваным шоферским тулупом — он крепко пахнет бензином и холодной овчиной — и блаженно закрываю глаза: оттого что надо мною гудит ветер-свежак, а мне тепло, как в той сказочной рукавице; что в дороге буду видеть далеко-далеко все вокруг — старые ветряки на буграх, посеревшие от дождей стога соломы и чем-то напоминающие корабли, села, хутора да одинокие деревья на горизонте.

Я и сейчас с закрытыми глазами вижу, как на проводах от столба к столбу дремлют синекрылые ракши, прошмыгивают через дорогу поднятые светом фар перепуганные зайцы, как проносятся мимо машины желтолистые дубки и осокори — печальные знамена осени... А еще во мне до сих пор живет со вчерашнего дня великое торжество, когда по всему селу еще с рас-

света там и сям дыбились вверх красные на фоне синего-пресинего неба столбы пламени, между дворами тянуло уже полузабытым соломенным дымом — резали к празднику свиней, — и дядя Никон, веселый, озаренный костром, шаркал ножом по бруску и напевал, словно язычник: «Закололи, закололи, закололи кабана...»

В настроении он всегда напевает то, о чем думает. Если, к примеру, ему нужно в магазин, и машина исправна, и есть деньги, то, одеваясь или ища в коробочке с тетиными нитками ключ от зажигания, он непременно будет напевать:

Поедем-ка,
поедем-ка,
поедем-ка в магазин...

И не потому он такой веселый, аж на песню срывается, что купит в магазине какую-то безделицу, — нет: потому, что поедет. Торжественно этак выйдет во двор к машине, постучит палкой по крохотным скатам (с этого дядя Никон всегда начинает ритуал поездки), потом садится в кабину и... Нет, сразу он не заводит мотор, а сидит некоторое время неподвижно, сосредоточенно осмысливая, что после чего должен делать водитель, потом по-молодецки сбивает шляпу на затылок, кидает в зубы беломорину и говорит:

«Отворяй, Илько, ворота — едет пан сирота!»

Когда ворота распахнуты, машина, завывая, как аэроплан, делает несколько скачков, вылетает мимо меня на выгон, сверкнув красным глазом «левого поворота», и мчит селом с таким ревом, что куры не бегут впереди нее, а летят...

Не возвращается дядя Никон, конечно, до самого вечера. Тогда мы с теткой по очереди бегаем за ворота выглядывать его, расспрашиваем прохожих, не видели ль они такую-то машину, и часто тетка говорит:

«Нет, он своею смертью не умрет... Мыслимо ли, если оно так быстро бегает, попробуй с ним совладать, да еще безногому!»

Оно — это машина. Тетка боится ее и откровенно ревнует к ней дядю Никона.

Однако все кончается хорошо. Дядя возвращается живой-невредимый, еще и со взяткой: десятком груш или яблок, арбузом или узелком.

— А это что такое? — сразу же набрасывается на него тетка, кивая на узелок.

— Мак! — весело отвечает дядя.

— Где ж ты его взял!

— Как где? Заработал! Думаешь, даром кто даст? Хе-ге, как бы не так! Подъехал к клубу, а там бабка какая-то на узлах сидит. «Вам куда?» — спрашиваю. «До Човновой, сынок». Гляжу: старая, немощная, автобуса уже не будет... «Садитесь», — говорю. И оттарахтарил. Привез, а она мне — маку. Не беру — обижается. «Скоро маковия[1], наделаете коржей да и меня, старую, вспомните». Ну, я и взял. А чего? Дают — бери, бьют — беги!

Все эти дядькины шоферские чудачества тетка охотно прощает, потому что он частенько потакает ее капризам. Придет, скажем, откуда-нибудь или приедет, только во двор, а тетка:

— Никон, а Никон! Пойди отругай Одарку, а то сегодня от ее кур на грядках отбою не было.

Дядя Никон молча приставляет палку к завалинке (без палки он как ребенок, смирный и беспомощный), подходит к соседкину тыну и — ему все равно, во дворе Одарка или в хате, слушает его или нет, — не спеша заводит:

— Ты, Одарка, скольк-ки разов тебе было сказано? Это... курей в огород не пускала бы. Потому, вишь, как ни говори, а ущерб делают, да еще и немалый. Скольк-ки ж можно терпеть, а?

И долго так бубнит, медленно, привычно, как по писаному, пока тетка не выглянет за порог да не скажет:

— Хватит, Никон, иди ужинать.

Тогда дядя, подхватив рукой протез выше колена, чтобы легче было его тащить, идет к хате и устало, будто только что махал цепом, говорит:

— Ху-ух... Что там у нас на ужин?

Но порой ему словно бы надоедает быть таким, каков он есть. Порой в нем поселяется дух противоречия. Это по-моему. А по-теткиному: «О, уже его какая-то нечистая сила мордует!»

Чаще всего бывает это, когда машина не заводится. Тогда ему ничего не говори, потому что всему будет

[1] Маковия — религиозный праздник.

возражать — сердито и упрямо. Станет, бывает, у ворот, обопрется на костыль и ждет, пока кто-нибудь будет идти. А на лице как написано: а ну-ка, пусть кто попробует сказать мне, что небо вверху... сразу отбрею!

А тут случился молоковоз. Кони мокрые, аж пар с них валит, сам промок до нитки: только что полоса дождя по ту сторону реки, где молочная ферма, прошла.

— Чего это ты, Мирон, мокрый? — дядя ему.

— Дождик намочил, — смирненько улыбается Мирон, останавливая коней, маленький, щупленький, как сверчок.

— Где? Какой дождь?.. — угрюмо спрашивает дядя.

— В Портновке. Хороший дождик, тепленький.

— Хе-ге! — уже зловеще вскрикивает дядя Никон. — Не ври. Там дождя не было. Я ж видел: тучу вон туда потянуло, — показывает костылем куда-то в сторону.

— Да, может, и так, — смирненько соглашается Мирон и погоняет коней, а дядя идет к хате и бормочет:

— Что я — слепой, не видел, куда туча пошла...

А как-то среди лета решили мы всем семейством пристроить к хате веранду — «чтоб было, как у людей». Обтесали дерево, заложили фундамент... Принялся я за оконные рамы.

— А что это ты затеял? — не понял дядя.

— Рамы вяжу, — отвечаю, — чтоб стекла было куда вставлять.

— Кие окна, кие рамы! — наежился он вдруг (тогда его как раз «нечистая сила мордовала»). — Все стены будут глухие. Вон у Семена Андрияновича — все глухие.

— Так это ж веранда, а не чулан!

— Зато зимой затишек.

— И у нас будет затишек, как вставим стекла. Хату ведь не продувает?

— Хе-ге, то хата. А это — веранда.

К вечеру дядя отошел — из города ему привезли заряженный аккумулятор, — ходил вокруг машины и напевал:

Пускай будут окна,
Пускай будут окна...

— Хе-ге! — доносит до меня ветер дядин голос из кабины. — Это ты, товарищ, неправильно говоришь. Я свою машину, как вот эти пять пальцев, знаю!

О! Ну, теперь мы наторгуем. Теперь дядя будет спорить на базаре с каждым покупателем. А может, пока доберемся, и угомонится — как-никак за прибылью едет, а не на разорение. К тому же у него есть два «хе-ге»: одно — доброе, второе — упрямое. Сейчас он употребляет, кажется, доброе...

Я смотрю на небо, припаханное ровными розовыми ломтями туч — солнце взошло, — и представляю себе крест на Шведской могиле, что ночью, верно, белел изморозью, а сейчас, под солнцем, сияет капельками росы; глубоко, до самого дна груди, вдыхаю холодный и чистый, как колодезная вода полтавских околиц, воздух.

На базаре, куда нас все-таки подбросил водитель за пачку «Беломора», дядя Никон говорит мне:

— Значит, так: я пошел ставить печати на легких и печенке... Чего ты смеешься? Может, наш кабанчик больной был. Смеется! А ты иди место занимай в мясницкой и жди меня.

Я занимаю место против свободного окошка, возле которого уже толпится народ:

— Что у тебя, парень, свинина? Старая? Молодая?

— Придет хозяин с печатями — узнаете, — отвечаю.

Вскоре возвращается дядя, возбужденный, суетливый.

— Все! Начинаем. Сейчас найму мясоруба — и начинаем. Я знаю, как с ними разговаривать...

Он идет в угол мясницкой, где вокруг полнощеких и толстоплечих мясорубов столпились дядьки-наемщики, и через минуту уже ведет под руку какого-то morданя в белом переднике поверх ватника, что-то шепчет ему на ухо, подмигивая и хлопая себя ладонью по карману, под которым гудит протез. Потом они поворачиваются спинами к окошку, у которого толпится народ, горбятся так, будто прикуривают из одной ладони, и быстро расходятся.

Дядя Никон развязывает мешок и, довольный, заговорщицки подмигивает мне:

— Думают, ежели мужик — селянин, так им можно

ботинки зашнуровывать. Мы тоже, брат, не из опилок сделаны... Хотел шесть, а я ему — пять!..

— За сколько наняли? — спрашивает у него какая-то тетенька в новенькой плюшевой кофте, из-под которой свисают длинные кисти платка. Ее хозяин, наш сосед по окошку, уже торгует, лихо выкрикивая:

— Ну, еще кому свеженького сальца да мясца на котлеты! Еще кому...

— За пять, — отвечает дядя с таким видом, что тут, мол, голубка, нужно быть пооборотистее, иначе надуют...

— А мы за три! — радуется тетенька. — Это он вас подковал!

Дядя выпрямляется над мешком и обиженно смотрит в равнодушную спину рубщика, который острит топор, потом оборачивается ко мне и нарочито бодро говорит:

— Ничего, зато мы его заставим рубить мясо так, как нам угодно!

— Ничего, ничего, — соглашаюсь быстро, отводя глаза, потому что мне страх как жаль его... Не двух рублей, а его самого.

Дядя Никон, должно быть, понял это по-своему и зашептал быстро-быстро:

— Да ты, Илюша, не стесняйсь. Я... чего, я понимаю: студент, без пяти минут учитель, можно сказать, а тут стой возле прилавка с мясом... А что поделаешь? Жизнь такая. У этого что-то купил, тому что-то продал, тому даром отдал... Так и выручают люди друг друга до самой смерти... Я бы тебя и не брал, да сам знаешь, какой из меня грамотей в арифметике.

— Ничего, ничего, — твердо говорю ему. — Будем начинать.

Дядя перегибается через весы, открывает окошко, и пальцы у него заметно дрожат.

Первым у окошка появляется старательно припудренное личико с маленькими, кругло накрашенными губами, похожими на сургучную печать.

— У вас кабанчик или свинка?

— А разве не все равно? — удивляется дядя. — Свинина как свинина: молодая, свежая. Вчера закололи. А уж если хотите знать, то б ы л кабанчик.

— Ну, старик твой сегодня наторгует... — смеется, обращаясь ко мне, рубщик. Затем кладет свой гильотиновый топор на колоду и с любезной улыбкой подходит к окошку.

— Вам, гражданочка, какой кусочек? Этот? Нет? Вот этот? Пож-жа-луйста. Два кило триста. — И через минуту уже подает дядьке деньги. — Вот как, хозяин, нужно. Вежливо!

Дядя резко сбивает шапку на бровь и чистосердечно, тоном без вины виноватого восклицает:

— Да кто ж его знает, как оно тут у вас!..

Это сделало нам лучшую рекламу. Люди, толпившиеся у окошка, заулыбались, начали проталкиваться вперед, и тот, который оказался первым — это был широкоплечий парень во флотской фуражке, сшитой когда-то, видно, из бескозырки, — могучим басом, словно в бочку, прогудел:

— Мне, батя, вон тот кусок, сколько вытянет. Да смелее, смелее! Учитесь торговать, сказал когда-то один великий человек.

— Ну, еще кому на котлеты... — кисло гундосил сосед, хмуро поглядывая в нашу сторону — его покупатели перешли к нашему окошку.— Почти даром отдаю!..

Дядя клал мясо на весы осторожно, чтобы стрелка не раскачивалась, чуть не каждому давал с довеском, ласково приговаривая:

— Пожалуйста, пожалуйста. Сколько хотите, какого хотите. — И поворачивался ко мне: — Помножил?

На него смотрели почти влюбленно, а на меня, когда я подсчитывал, настороженно и подозрительно. Ловя эти взгляды, я тупел, в голове туманилось, потому подсчитывал приблизительно — лишь бы не больше... Меня раздражали руки, которые перещупывали мясо, по нескольку раз переворачивая каждый кусок с боку на бок, острые треугольные ногти, длинные накрашенные ресницы, приклеенные, наверное. Дядя, стараясь торговать «вежливо», переспрашивал: «Скоко?», «Ище?», «Хватить?» Но больше всего меня мучило это его — «Помножил?» Когда остались одни обрезки, к окошку подошли две старушки, у которых тряслись головы и руки, а глаза слезились. Они спросили у дяди:

— А хвостика или косточек не осталось, хозяин?

— Какая же еда из хвостика да косточек? — удивлялся дядя.

Старушки слепо посмотрели ему в грудь, пожевали губами и снова спросили:

— А требушинки нет?

От них несло водкой, табаком и ношеной одеждой.

Дядя за бесценок отдал им остатки мяса, сбил шапку на затылок и спрашивает меня:

— Что это за народ? У нас баба до последнего своего дня копается в земле, внуков нянчит, есть варит, а эти пьяные ходят да побираются... Черт его знает, как оно получается!..

Я молчал — устал от всего.

Дядя Никон свернул пустой мешок, подавил ладонью карман, чтобы деньги улеглись, потому что запихивал их туда, комкая, и сказал:

— Позаглядывай по магазинам, может, что путное купим, да пообедаем где-нибудь.

Сразу же возле мясницкой нас окружила толпа цыганок, растрепанных, с опавшими на плечи цветастыми шалями, в стоптанных туфлях на босу ногу.

— Давай погадаю, хозяин, добрый, хороший, — схватила одна из них дядю за руку. — Ты счастливый, богатый, наторговал за свинку, не поскупись на то, что правду скажу. Я не цыганка, я — сербиянка, вот те крест — ей-богу!..

Дядя высвободил руку и засунул ее в карман, где были деньги.

— Я и без тебя правду узнаю, как найду, — хохотнул он. — А ты и на руку глядишь, а брешешь, потому как я не свинку продал, а кабана.

Ко мне подошла молодая, красивая «сербиянка» и, улыбаясь огромными прекрасными глазами, сказала:

— Купи, красивый, платок своей невесте. Не платок — весна.

Она расстегнула жакетик и показала мне полуобнаженные груди, под которыми, туго перетянув тоненький стан, красовался черный платок в крупных ярко-красных и зеленых цветах.

— И вам не холодно? — спросил я, отводя глаза.

— Меня кровь греет... Купишь?

— Нет.

— Тогда скажи, пусть отец купит.

— Что тут у нее? — подошел дядя.

Цыганка прикрыла грудь, оставив на осмотр лишь платок.

— Краденый? — спросил дядя.

— Пойди ты теперь укради! — обожгла его злым взглядом цыганка и пошла прочь.

— Вот мошенники! — сокрушенно покачал головой дядя. — А гляди ты, угадала, что мы мясо продали!

— Еще бы не угадала, если мы только что из мясницкой вышли и мешок вон весь в пятнах кровяных!

— А и то правда! — весело согласился дядя.

В магазинах он купил только инструмент: шерхепку, рубанок, напильник, шпунт, ножовку, а потом бутылку лимонной водки — она покорила его своим цветом («Попробуем еще зеленой!»).

На улице дядя не пропустил ни одного автомата с газированной водой, осторожно, будто колеблясь, просовывал три копейки в щелку, держал некоторое время в ногтях, таких крепких, что ими шурупы в дерево можно было бы ввинчивать, затем быстро отдергивал руку и, склонив голову набок, ждал — нальет или не нальет? Я думал, что он просто забавляется. Но после четвертого или пятого захода дядько, уже не допив воды, сказал:

— Ты только подумай: хоть бы тебе один налил через верх, все не доливают! Эти автоматы тоже люди настраивают.

Мы зашли пообедать в первую попавшуюся столовую. Выбрали свободный стол, заставленный грязной посудой и залитый пивом, и устало уселись на стулья. Отдохнув немного, дядя развязал узелок с домашними харчами: свежей колбасой, мягкими, как вата, пирогами и тугими помидорами недавнего засола.

— Ты как хочешь, ешь это, а я себе чего-нибудь городского возьму.

Он вынул из кармана пухлую пачку денег и принялся пересчитывать их, разглаживая ладонью и складывая отдельными кучками: десятки к десяткам, трояки к троякам и т. д.

— Сто сорок, — сказал наконец. — А мы планировали наторговать сто семьдесят? Недобрали чуток. Ну да грець с ними. Скажем тетке, что пустили дешевле, мол, богатый привоз был...

После бутылки лимонной, которую мы осушили до дна и тайком отдали уборщице, нам стало так весело, что мы, забыв, где сидим, громко, перебивая друг друга на полуслове, стали рассказывать — дядя мне, а я дяде, — как мы торговали.

— Н-ну, той первой в-вы отрезали! — восклицал я восторженно.

— А вот та... ты видел: краля одна подходила, на

тебя все поглядывала. Глаза — вот такие, ресницы — вот такие!.. Что? Не видел?! У-у, гром-девка!

— А вы, дядя... еще и того... поглядываете?

— Хе-ге! Любви, говорят, все возрасты покорны! Правильно говорят. Может, еще одну осушим, а? Или хватит, а то приедем домой без шапок...

Дорогой до автобусной остановки нас водило, как утром с тачкой. Но и это очень потешало нас, и, поддерживая друг друга, мы болтали обо всем на свете, сразу же забывая, о чем именно.

Уже в автобусе, вспомнив молодую цыганку, я сказал дяде:

— Дураки мы, дядя.

— Верно, дураки! — быстро согласился он, сидя с закрытыми глазами. И долго молчал. Потом поднял голову, посмотрел на меня посоловевшими глазами и спросил: — А почему дураки?

— Потому что не купили тетке тот платок.

— На что он ей сдался?

— А инструмент?

— Хе-ге, то ж дело. Платок, чтоб красоваться, а инструмент — дело делать.

— Что же мы им будем делать?

— Веранду покроем шалевкой...

— Она ведь уже покрыта.

— То вдоль. А теперь еще и поперек. Под шпунт.

— Зачем?

— Потому что поперек — лучше, я видел в Полтаве, когда туда ехали.

Дядя прячет подбородок в воротник, мурлычет что-то, — наверное, о том, что будем обшивать веранду еще и поперек, и вскоре засыпает.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК

Как только тихие вешние воды сойдут с лугового понизовья, оставив на молодой траве рыжий скользкий ил, занесенный невесть откуда, с каких земель, Данило Коряк, мужик худой, длинноногий, плоскогрудый, но широкий в кости — рубаха на его плечах распята, словно кроличья шкурка на рогатине, — снаряжается в путь. Идти ему недалеко, в питомник, который раскинулся меж руслом Псла и крутой правобережной горой, — это

километров за шесть от села. Собираться Даниле приятно, хотя и хлопотно, потому как нужно захватить не только то необходимое, что в прошлом году брал, но еще и то, что зимой надумал, без чего прошлым летом и обходился кое-как, а нынче уже не обойдется. Все это у него записано долгими зимними вечерами на листе из школьной тетради, аккуратненько, в столбик, старательно наслюненным химическим карандашом и пронумеровано:

«1. Сетки рыбачьей не пять метров взять, а два с лишком, потому что ров стал у́же, высыхает с годами.

2. Лопатку саперскую у Кошкалды выпросить. Она хоть и старая, да удобная, потому что складывается.

3. Секач в лавке купить или топорик, только обух чтоб не литой был, а клепаный.

4. Торбу табака у Ивана выпросить бы, потому что свой в эту зиму выветрился, не продирает.

5. Нож Антипу заказать из рессоры, потому лавочные или мягкие, или сухие — ломаются. В прошлом году два сломал.

Ну вот как будто и все. А ежели надумаю еще что-нибудь, так запишу.

6. Эге ж, а про тысячелистник забыл. Нужно взять пучок, пока молодой вырастет: желудь хоть и пахнет, но не так».

К тысячелистнику у Данилы страсть, мало кому понятная, и то, что он больше всего любит его запах, объясняют одним: сызмала Коряк дубильным делом занимался с отцом и привык, чтобы в хате крепким, колючим, как нашатырь, дубовым настоем пахло. Сам же Данило говорит: «Мне оно что моченый дуб, что тысячелистник — как ладан, только лучше, потому что здоровья прибавляет...»

В питомнике Данило сторожует. Не так днем, как ночью, когда дикие свиньи выходят из берлог пастись: желуди роют в питомнике вот уже несколько лет, а лесникам убыток. Вот и наняли Данилу в сторожа. Он хоть и плохо видит, зато слышит как сова: уж проползет где-нибудь неподалеку — услышит и скажет: «Вон там уж не спит». А на глаза слаб. И удивляется: «Ну не наказание ли? На две сажени все мне словно в тумане, а звезды вижу, хоть какие бы маленькие ни были!»

Дальнозорок он.

Набив мешок всем необходимым, Данило выносит его



во двор, закуривает на дорогу, потом возвращается в хату и говорит жене:

— Ну, я пошел, значит...

— Ты ж ночью там, смотри, без ружья не выходи, — наказывает она, покрываясь платком, так как должна проводить его до парома и переправить, чтоб сослепу в воду не упал. И больше ничего не добавляет, зная, что дорогой, если будет в том нужда, успеют обо всем переговорить.

И выходят. Данило с мешком и берданкой за плечами, она с беленьким узелком, в котором на неделю харчей собрано. Данило в стеганке и резиновых сапогах, и Полька (хотя уже давно не Полька, а Пелагея) в стеганке и резиновых сапогах. Только и разницы всей, что у нее голенища как раз по ноге, крепко икры охватывают, а у него хлопают: тонконогий Данило как быстро

идет или бежит, так крылья старых суконных галифе обхлестывают ноги выше колен, аж присвистывают...

Данило шагает широко и смотрит куда-то перед собой, а Полька — под ноги. Случится ли где лужа или канавка, обводит Данилу за руку, как поводырь, приговаривая:

— Сюда, сюда... Вот так!

А он идет-идет, да вдруг и остановится, ткнет пальцем вдаль:

— Гляди-ка, вон клюв аиста над туманцем краснеет.

— Ну да, так я и увижу... — говорит Полька, ибо знает, что и вправду не увидит: раз Данило видит что-то, так это уж невесть как далеко.

Потом луга кончаются, и они шагают по лесной тропке. Лес низовой, набрякший душной влагой и запахом разбухшей почки. И оба они, вдыхая его, думают об одном и том же: «Жить бы только и жить, да вот — старость...» — и вздыхают, и крепче держатся за руки, обходя лужи, как жених и невеста вокруг аналоя.

На солнечных полянах травы такие, что уже и на выпас годились бы, да какая от них сытость? Вода водой. В тени под орешником (рыбаки тут каждую осень удилища себе режут) прозрачно-зеленые стрелки ландыша, крапива из-под прошлогодней листвы лезет, молоденькая, еще не жгучая, как раз на борщ, тут и там торчат замшелые пни, пахнущие, если их вывернуть, старыми грибами и чуточку йодом.

Идут, а вокруг желтые цветы — аж кипят. Это жабье мыло. Ранней весной, когда еще не цветут ландыши, петушки и стройные сокирки, ребятишки носят в школу эти желтые, сочные цветы — ведь и они веселые, даром что не пахнут, лишь водой отдают, сырой землей и водяным маком.

Вот и сейчас школьники ватагой идут навстречу Даниле и Польке, только что с парома, видать. Хохочут, шлепают по лужам, разбрызгивают на них солнце, а в руках у каждого желтые букеты — жабье мыло...

— Добрый день, дядьку и титко! — уступают тропку.

— А, здрасьте, здрасьте! Никак в школу?

— Угу...

— Ишь ты, кавалеры... — улыбается самым маленьким Данило.

Они ему тоже улыбаются.

— Мы не кавалеры...

— Вон как! Ну, тогда... мужики!
— Ха-ха, хи-хи... Такое скажут!
— Паром с той стороны?
— Угу...
— Ишь ты, зайцы...

И расходятся. Детишки — бегом лугом, Данило и Полька — неторопливо, нащупывая сапогами твердь. А навстречу им еще двое лет по шестнадцать, а может, и по семнадцать. За руки взялись, друг на дружку не смотрят, и цветов ни у него, ни у нее — эти уже боятся желтого... Завидя старших, пошли порознь, низко наклонив головы, глаза прячут.

— Добрый день,— тихонько сказали, а миновав стариков, оглянулись и снова за руки взялись.

Полька улыбается тихо, под ноги себе, молодеет лицом. Потом:

— Когда-то, может, помнишь, как мы в такую вот пору гуртом в ладушки на лугах играли. Ты уже тогда на вечеринки похаживал, а меня в сумерки еще и за ворота отец не пускал...
— Это вон там, на Кудининой пуще?
— Ага. Тогда я тебя догнала, отдала ладку...
— Потому и отдала, что я не хотел убегать...
— Может, и так... А домой пришла, целый вечер ту ладонь, которой тебя тронула, к сердцу прикладывала. Господи, глупые мы тогда были.
— Не глупые, а молодые, — как можно значительней произносит Данило и бровями этак пошевеливает — то вверх их поднимет, то на глаза напустит — улыбается. Потом вздыхает: — Было, было, да уже не будет...

И обоим им становится немножко грустно — знают, что и вправду не будет, потому и молчат.

Впереди слышны удары топора, эхо над водою разносится. Это паромщик чинит паром после зимы — пока есть время и никто не подоспел, чтобы переправиться на другой берег. Завидя Данилу и Польку, он снимает шапку и кланяется им, потому что долго не виделись.

— Живы-здоровы?
— Да слава богу!
— Что там у вас, в Верхней?
— Весна...
— А новенького?

И разговорятся на часок, хотя это новенькое известно всем троим. А уже когда солнышко вымахнет из-за

деревьев и настил на пароме задымит серебристым паром, просыхая, двинутся на ту сторону. За проволоку, что переброшена с берега на берег и провисла серединой в воду, берутся двое, паромщик и Полька, а Данило садится на мешок и смотрит вдаль по реке. К проволоке его не подпускают, чтоб не оступился как-нибудь да в воду не упал или руку в шкив не воткнул — уж такой он истовый в работе, суетливый.

И плывут: скрип-скрип, тьох-тьох — выпевает проволока, а вода паром обтекает и шелестит — упругое весной течение, воды много.

Пристав к берегу, Данило и Полька выходят, стоят некоторое время молча, посматривают в ту сторону, куда Даниле идти, потом Полька ему:

— Ну, ты ж берегись там...

А он:

— Смотри ж там за хозяйством... — Это так, по привычке, потому что хозяйства, считай, нет: куры, да наседка, да трое гусей остались с зимы на развод.

Дальше Данило идет сам, а Полька с паромом медленно отплывает на ту сторону, не оглядываясь. Он тоже ни разу не оглянется, только прислушивается, как проволока над водой высвистывает, забрасывает поудобнее мешочек на плечо и шагает петлистой тропкой, не обходя луж.

В питомнике ни души, даже следов человеческих нет — нетронутая земля. Только ровненькие, посаженные под шнур кленочки, тополя, дубки, ясени к солнцу тянутся и напрягаются в почках — вот-вот они лопнут. На краю плантации под старой, побитой молнией вербою жмется хата, точнее — не хата, а курень о четырех стенах. Это и сторожка, и хранилище для семян, и приют для добрых людей в непогоду. В прошлом году беленькая, подмазанная Полькой хата почернела за зиму, стекло в окнах покрылось желто-красными разводами и кружочками, радугой против солнца играет.

Данило открыл дверь, вдохнул сырой погребной тьмы, напоенной запахом подопревшего сена на топчане да прошлогодних семян акации, оставшихся невысеянными, и сел на порожке, чувствуя, что уже ни за что на свете, до смерти, до слепоты, не уйдет отсюда, с питомника, что только и жил всю зиму мечтой об этой минуте... И хотя его ждало много работы: нужно было вынести

из хаты сено и желобки из-под семян, чтобы просыхали на солнце, протереть окна, разложить пожитки, чтобы всякая вещь свое место знала, поставить сеть на ручье, растыкать под потолком тысячелистник, чтобы укрепить влажный весенний дух в загородке, где стоял топчан, — он сидел на порожке неподвижно, улыбаясь, и шевелил пальцами дрожащих мелкой дрожью рук, сложенных на острых коленях, в которых еще гудела усталость от далекой, непривычной после зимы ходьбы.

Наконец поднялся, наломал дровишек из усохшего куста черемухи и разжег костришко. Тоненькая струйка дыма медленно поднялась над сторожкой, над ветвями деревьев и разостлалась над ними прозрачным облачком. А немного погодя на горе, голо возвышавшейся за лесом, пронеслось, как над пропастью:

— А-га-га-га...

«О, уже хуторяне пасеку привезли, — подумал Данило. — Опять на то место, что и в прошлом году. Ну оно и правильно: в этом краю, если взять по Пслу, больше всего дикой яблони, а еще ж и терну, и черемухи сколько...»

— Это ты, Данило?.. — звонко спросили с горы.

«А кто ж еще», — ответил мысленно Коряк, решив, что горланить ему, старому человеку, не к лицу, а если кому-то нужно убедиться, он это или не он, придут сюда.

Ходил к нему всегда старший хуторской пасечник дед Прокипко — не про что-нибудь там мелочное поболтать, а про жизнь.

Он и разговор так начинал:

— Давай-ка, Данило, о жизни потолкуем... О каких чудесах за зиму слыхивал, а может, видел что-нибудь этакое необыкновенное?..

Коряк любил такой зачин, однако первый разговора не заводил, считая, что Прокипко старше его на целых пятнадцать лет, а значит, и мудрее, стало быть, за ним и первое слово.

— М-да... — начинал пасечник, свертывая цигарку из Данилового крепочка. — Жизнь наша что колесо: катится, катится, с горы на гору, с горы на гору, потом цоп — упало...

И начинался разговор.

— Ну, как эту зиму сторожевалось? — интересовался Прокипко, устраиваясь под вербой так, чтобы о ствол спиной опереться.

— Э, не спрашивайте, — отвечал Данило и принимался степенно, с длинными многозначительными паузами рассказывать, какое с ним недавно вот, уже весною, происшествие было. — Сижу как-то ночью под амбаром, курю, прислушиваюсь, что где творится. В правлении как раз совещание закрылось, люди расходятся. Чую, и ко мне кто-то направляется. Подошло, слышу, постояло, посопело. Хотел отозваться, спросить кто, а потом думаю: если ему нужно от меня что-то, скажет, не нужно — пойдет себе дальше...

При словах «постояло, посопело» Прокипко настораживался, поднимал на собеседника глаза, что делал очень редко, ожидая чего-то необычного, какого-то чуда, а Данило, помолчав, продолжал:

— Отстрожевал я, пошел домой, сел завтракать... Вдруг в двери стук — посыльный. Так и так, товарищ председатель вас вызывают. Прихожу. Только на порог, а он: «Так вы, Данило Кондратьевич, может, скажете председателю в глаза, откровенно, что не уважаете его, что он для вас не авторитет?» — «Почему? С какой стати?» — спрашиваю. «Ну как, — отвечает, — подошел вчера к вам, а вы курите, глазами смотрите и ни «здравствуйте», ни «до свидания». Я все ж таки председатель...» Говорю ему: «Слыхал, что подходил кто-то, а здороваться не здоровался, потому что не признал — вижу плохо». — «Ну да, — смеется, — звезды на небе, сами же говорили, видите, а председателя и за шаг не признали?» — «Да, — говорю, — может быть, и признал, если б немного дальше стояли». Обиделся...

Прокипко на то ни слова, попыхкает дымом, покачает головой да и подастся на гору на пасеку. А уже на другой день, снова заглянув к Коряку, скажет:

— Так, говоришь, обиделся... Угу... Ну пусть пообижается. А ты мне лучше объясни, ты ведь моложе, грамотней, почему оно так, что у нас двенадцать месяцев в году, а у калмыков тринадцать?

И это уж ему до вечера хватит рассуждать да удивляться, почему ж оно так...

Вообще Данило за много лет дружбы с пасечником заметил, что тот не любит былей («Я такое и без тебя знаю, насмотрелся»), а все подводит разговор к чему-нибудь необычному, удивительному, хотя оно и придуманное, если не кем-то, так самим Прокипком...

Погрев над костром руки, занемевшие от мешка, и

колени — они у него всегда мерзнут, — Данило вынимает сеть и идет на ручей ставить: до вечера, пока явится Прокипко, нужно ухи сварить.

В ручье воды мало, на вершок-два, но рыба есть, в большинстве вязь, который выходит в половодье пастись на луга, а когда вода спадает, возвращается в речку. Данило, считай, не ловит его и никогда не скажет, что ходил рыбу ловить, а скажет: «Перехватил двух на ужин».

Когда сеть выставлена — зияет вверху дырами, только внизу целая, заштопана суровой ниткой, — Коряк возвращается в сторожку, выметает из нее прелые грибы, проросшие по углам и под топчаном еще осенью, сушит, перетряхивает сено, раскладывает на полочках свое снаряжение, но самая приятная для него работа — развязать снопик тысячелистника и бережно, по одному стебельку, украсить им стены, низенький потолок, холодные темные уголки, а потом сесть на корытце, опрокинутое вверх дном, и дышать, дышать так роскошно, глубоко, что аж в груди пощипывает... Только после этого он может сказать леснику, Польке или Прокипке, что уже обжился и до самой осени даже и не помышляет в село возвращаться, разве что в воскресенье или когда гости из Харькова прибудут — дочь, зять да внучка.

О, то время для Данилы милое да желанное. Копается себе в питомнике, там бурьян выдернет, там саженец к палке привяжет, чтобы ровненько рос, ан глядь — мальчонка по тропке бежит и еще издали: «Дядьку, дядьку! Сказали тетка Полька, чтоб вы домой шли, ваши, хе-хе-ху... — никак не отдышится, — гости из Харькова приехали!»

Тогда уже Данилу не удержат возле сторожки ни дождь, ни град, ни камни с неба. Бежит за маленьким посланцем, хекает по-детски и гостинец ему на бегу тычет: молодых орешков, меду сотового, завернутого в широкий кленовый лист, или леща, пойманного на рассвете, — что под руку попалось, а галифе обматывается крыльями выше колен: хльось, хльось... «Хоть бы паром по эту сторону был!»

И не так ему дочка мила — хоть, конечно, кто ж родное дитя не любит? — как зять Игорь и внучка. Дочка — та больше к матери льнет, про тряпки шепчутся и про свои дела женские, а то, глядишь, и на карты кинут, ко-

гда никого из мужчин поблизости нет, а зять — о, то хлопец! Простой, добрый, непьющий и образованный — инженер...

Приехал впервые в позапрошлом году — кто знает, что за человек, не виделись, не говорили, только приветы в дочкиных письмах приписывал. Словом, и свое будто бы, и чужое. Вошел в хату, подождал, пока жена с отцом и матерью наобнимается, сердитенький, правда, немного показался, брови так сдвинуты, губы лишь чуть-чуть в улыбке дрожат. Потом ребенка жене передал: «Здравствуйте, тату! Здравствуйте, мамо! — обнял, поцеловал трижды. — Так вот он и сам зять...» — сказал и так улыбнулся, что... как же ты его не полюбишь! Неразговорчивый только. Встанет утром, умоется, позавтракает — и за книжки, которые с собой же и привез. Одно их читает, одно читает да карандашом что-то черкает, а то закинет руки за голову и думает что-то.

— Разве ж, сынок, так отдыхают? — не утерпел както Данило. — Наелся, напился — и на боковую. На Маню вон посмотри, — про дочку. — Ни забот ей, ни печали, как говорится. Вот так нужно!

А он улыбнулся, тестя за плечо крепенько к себе прижал и так негромко:

— Тату, вы только не подумайте ничего такого... плохого, не в осуждение скажу ни вам, ни маме, ни жене, а ради истины: Маня, хоть она и ваша дочь, а моя подруга, и я ее люблю, не так живет, как мне — и, наверно, не только мне — хотелось бы. Для нее, тату, — только поймите меня верно, — для нее благо то, что лежит совсем рядом, что можно взять, потрогать рукой, купить, съесть, надеть или можно внешне себя и свое гнездо украсить, внешне — слышите? И она не одна такая. Пока что — и это особенно заметно, понятно, в городе — таких немало. Почему именно там? Потому, что вы, например, понимаете и знаете лес не только как зеленый массив, но и дух его жизни; землю не только как точку опоры, а как живое существо, речку, травы. Вот. И любите не для развлечения, а органически, с пеленок, как ребенок мать свою. А вот для Мани это развлечение, удобства, отдых, и не больше. Обыватель, тату, как сорока: любит все блестящее и забывает о собственных крыльях, а если и пользуется ими, то механически и опять-таки во имя поживы или для поисков блестящего. Вы меня понимаете?

Они сидели в сарае среди запахов слежавшегося разнотравья и сухого прошлогоднего тысячелистника — он висел в пучках под низкими балками — и ласточкиных гнезд, у которых хлопотали ласточки, шугая сквозь двери во двор и со двора, из солнца на солнце. Игорь прижимал плечи тестя к себе все крепче и крепче, аж они хрустели в суставах.

«Крепкий хлопец, — подумал Коряк. — А посмотреть — такой хрупкий да маломощный...» Вслух же сказал:

— Понимаю, сынку, понимаю. Пересказать не перескажу, потому что слов таких, как ты, не знаю, однако понимаю, ей-богу, понимаю, а чего ж там?

— Это хорошо, это прекрасно, — шептал Игорь, пристукивая кулаком себе по колену и глядя куда-то мимо всего, что было перед глазами, — вдаль, как Данило, когда случалось выходить на простор. — Я сразу почувствовал в вас что-то такое... и полюбил, как отца, — своего родного я не знал, погиб. Но я говорю сложно, и вам трудно понять все, до капельки... Тогда вот так! Погодите, погодите... У человека, кроме тела, есть душа — ум и сердце... Вы воевали... Вспомните, когда вы шли в атаку, к вам приходило... ну, как бы вам сказать... самозабвение? Перед боем вы думали: вернусь или в последний раз иду? И, наверно, — это абсолютно естественно — боялись. А потом, когда двигались все, плечом к плечу, ура в ура, вы думали о себе, о собственной смерти? Нет! Вы видели перед собой всех и были уже не собою, а каплей всех, а в каждом вашем товарище была капля вас! Вы были одно целое! Вы были тогда людьми людей! Такими должны быть мы, люди, мыслящие существа, всегда.

После этого разговора Данило, привыкший ложиться рано, если оставался дома, долго не мог заснуть. И хотя зять играл после обеда с ребенком, учил Маню ездить на велосипеде, крепко, одной рукой держа его за седло, и кричал по-мальчишечьи: «Право руля! Перед собой смотри, не в колесо!» — и смеялся радостно, и потирал удовлетворенно руки, когда Маня сама проехала весь двор, не упав, Даниле он уже казался не таким, как раньше, — вежливым, простым, работящим, «нашим Игорьком». А еще было немного страшно за дочку...

«Чего ему еще? — печально рассуждал старик, лежа рядом с зятем на сене, — готовились на рыбалку, так

легли в сарае, чтобы женщин не тревожить до света. — Работа — лучшей не сыщешь: чистая, культурная... Одеты оба как с иголочки... Квартира, ребенок, еды вдоволь... Разве так живут, как мы когда-то?.. Вернулся с войны — не то что хлеба, хаты нет, негде притулиться. Сгорело все дотла.

«Люди людей...», «Как вы в бой ходили?..» Вот так и ходили... Бежишь на пули, волосы дыбом встают, пилотку сбрасывают, глаза, как луковицы, со лба прут, а бежишь, потому что все бегут, а душа та как струна — коснись и перервется... Разве там было когда думать?..»

Решил, что скажет зятю на рыбалке, как будет на то удобная минута: «Ты, сынок, про всех не очень пекись, а про себя больше заботься, потому что никто о тебе не позаботится».

Но так и не сказал, хотя и намеревался не раз: то клев перебьет, то не хотелось взгляда Игорева от поплавка отрывать — сосредоточенного такого, серьезного, а потом решил, что неудобно образованному человеку советовать что б там ни было, помялся, помялся да и смолчал: пусть живут как хотят, им виднее.

Вот уж и солнце село за гору. От нее на лес, на черемуховый цвет, который кое-где уже проклюнулся белыми глазками, легла широкая, до самого Псла, тень.

Данило стал на колени, хотел заглянуть в котелок, да только дыма набрал в глаза, зажмурился и так, зажмуренный, мешал щербатой деревянной ложкой запашистую уху из двух вязей — остальных выпустил, — раздумывая о том, что уж время бы и Прокипу прийти.

И как раз в этот момент на тропке, ведущей с горы к сторожке, послышался хруст сухого хвороста, а вскоре из дыма, покашливая, вышел и сам Прокипко с палкой в руке, в длинной стеганке, в той же шапке кожаной, потрескавшейся, что и в прошлом году. Но постарел, сдал пасечник: сгорбился сильней, верхняя губа с жиденькими, тронутыми прозеленью усами сильней запала...

— Добрый вечер, Данило! — руки не подал — не было у него такой привычки. — А что оно видать, что слыхать на белом свете? — Высидел целую зиму на печи, поглупел дед, так не терпится какое-нибудь чудо услышать, чтоб мозги расшевелить...

— Да какие ж там чудеса, — не спеша, степенно молвил Коряк. — Перезимовали, вот и слава богу. Теперь лето пережить надобно.

— И то верно... — Прокипко снял шапку, положил под вербой и стал усаживаться так, чтобы в спину не давило. — А знаку на небе никакого не приходилось видеть, как сторожевал? Говорят — я-то не слыхал, а люди поговаривают, — что летают сейчас в небе какие-то чудища и светятся, и сквозь них видно, как там в середине едят, пьют, гопака выбивают... Не слыхал? Гм... А я верю, потому что чудес на свете много было да и еще будет...

Потом они ели уху, подставляя под ложки высохшие старческие ладони, курили крепкий табак, занятый Данилой у соседа Ивана, и молчали. А солнечные лучи угасали над горой, где пасека; небо раздвоилось на синее — от степи, ночное, и красное — от горы, вечернее; с реки, где паром, доносился гомон и хохот (ученики как раз возвращались из школы, чтобы на этой стороне, лесом разбрестись тропками по нагорным хуторам) — надвигалась ночь.

Когда внизу меж стволами деревьев за рекой показался красный круг луны, Данило вошел в сторожку, нащупал топчан и лег — пока дикие свиньи выйдут пастись, можно немного отдохнуть. И думалось ему о том, что сейчас делает Полька, о чудищах, которые летают — или не летают — в небе, бог с ними, про детей и внучку где-то там, в далеком неведомом Харькове: хотя бы они пожили по-человечески, в мире, тишине и покое.

А в сторожке пахло солнцем, которое целый день грело земляной пол и стены, сухими теплыми ящиками из-под семян и тысячелистником. И грудь дышала легко, просторно, только щемило там что-то на самом донышке...

ДИКОЙ

Светлой памяти Василия Шукшина

Если Санькý Бреусу не идти на работу — а случается это нечасто, — тянет его к людям. Не поговорить, нет. Санько сызмала не говорлив, даже угрюм, потому и прозвали его Дикой. И не послушать чью-либо речь, потому



что все, о чем в селе говорят, уже слышано и переслышано. Однако и в хате одному скучно, только мухи гудят да радио на стене шипит, уже года два как испорченное, а может быть, и пылью заросло.

Одевается и идет. В новых сапогах казенного кроя (сестра-офицерша прислала), синем галифе с кантами и суконной гимнастерке со стоячим воротником и белым подворотничком. А ко всему еще и фуражка военная, правда, без кокарды — тоже сестрин подарок посылкой. И галифе, и гимнастерка не по фигуре Саньку — видать, сестрин офицер подороднее, — только шея туго сидит в воротнике, твердая и загоревшая, да плечи распирают гимнастерку так, что и швы расходятся, и нитку видно. А галифе мешком. И, надевая его в воскресенье или на праздник, Санько каждый раз прикидывает, какой же в ширину этот никогда не виденный его зять? Или шурин? Или свояк?..

На улице за воротами Санько немного постоит, поглядывая туда-сюда из-под блестящего, низко надвинутого

на брови козырька диковато черными глазами и раздумывая, куда податься: к магазину, или в клуб, или на автобусную остановку посмотреть, кто сядет, кто сойдет и куда направится — в село или на хутора. А то, бывает, выглянет в окошко какая-нибудь проезжая красотка в синих или красных очках, так можно и поразвлечься — подмигнуть или палец большой показать: хороша, мол, девка! Попадаются и такие, что и очки снимут и сделают глазки, а в большинстве случаев насмешливо скривят губы и отвернутся: пхе. Ну-ну, жмите дальше в свою пхекаловку...

За хатой Санько слышит в дикой груше и дальше в ольхах до самой речки соловьиные любовные игрища, на все голоса и подголоски трели — далеко, ближе, еще ближе и еще дальше — со всех сторон, словно в душу льются, и низовое эхо млеет от этих соловьиных страданьиц.

«Гляди ж ты, сколько их поналетело в нынешнем году, — думает Санько. — Как полная шапка пшена!»

А сам шарит глазами от хаты к хате, по выгону, под вербочками вдоль улицы. В будни тут, гляди не гляди, ни души не увидишь да еще весной — все на огородах, во дворах, на работах. А в воскресенье, если солнечно, люди выходят за ворота и сидят: кто на лавочке у калитки, кто на скамеечке, а кто шел да остановился погутарить — на корточки присел на молодой еще, чистой травке. Гу-гу, гу-гу — про политику, в которой не очень смыслят, про новую продавщицу (что ни попроси подать — корчит обиженную рожу), про торговлю с Китаем, что вроде бы снова будет, — кто-то где-то слышал, что китайские фонарики далеко светят, а основательней всего про то, как после дождя все в огороде в гору пошло.

Вон посреди выгона дед Лука сидит, в газету козырьком уткнулся — все что-то вычитывает! — и корову на привязи держит. Корова пасется среди чертополоха, отгоняет головой мух и вместе с веревкой дергает и Луку, так что иногда картузик падает с его головы на газету. Тогда Лука сердито поглядывает на корову, однако не ругается, кормилица ведь, а молча надевает картуз и снова впивается в газету.

— Что, дед, интересного вычитал? — окликает его Санько и смеется глазами, потому что, сколько помнит Луку, все он что-то в газетах ищет.

— Да вот пишется, — хрипло отвечает дед, — что

приехал в Америку какой-то король с новой королевой... Так вот я никак и не соображу: как это с новой?

— Х-га-га, — снисходительно смеется Санько глубоким грудным смехом. — Чего ж тут понимать? Старую прогнал, а молоденькую взял. Вот вам и новая!

— Ну да! — сердится Лука. — «Прогнал»! Тебе все одно, что король, что мужик. Мелет черт те что... — И опять козырек в газету.

— Ха, дед! Короли до этого дела бóльшие охотники, чем мужики! — скалит зубы Санько. И, подумав, добавляет круто, а глаза его как капли горячей смолы: — Вы лучше подумали б, где корову попасти, а то сдохнет на чертополохе!

Лука в ответ ни звука: что правда, то правда — худая корова.

А вон дед Ганжа греется у хаты на скамеечке, спину подставил солнцу, на палку руками оперся и смотрит угасшими глазками куда-то вдаль, за выгон, а видит ли что — кто его знает. Смерти, говорит, ожидает. Зимой в хате ждал ее, а теперь уже и во двор выходит. Нет ему смерти. Видно, еще не все грехи вспомнил и не во всех грехах покаялся. Потому-то она и не идет! — думает Санько и смеется про себя: х-га-га!

Такая вот улица — если не дед, так бабка, а то и никого.

Правда, еще Софийка Малашкова с ребенком на руках сидит под ветхим плетеньком. Не плетень, а срамота одна. А лучшего сделать некому: на хозяйстве она да две тетки, и обе никудышные, только едят да бранятся каждодневно, а самой Софийке не до плетня: раньше каждую ночь подпирала спиной чужие сараи да вербы с парнями, своими и заезжими, а теперь ребенка нянчить надо. Интересно, знает ли она хоть, от кого этот ребенок, х-га-га!.. Сидит, цветет щеками. Даже издали румянцы видать. А сквозь плетень, за плечами у нее, тянется к солнцу сирень молодая и тоже цветет.

Санько направляется к Софийке, перепрыгивая глубокие, еще с весны колеи — следы трактора, что молоковозку к большаку таскал.

— Гоп! Гоп! — весело и легко выдыхает Санько, перепрыгивая колеи, а сапоги — рып, рып! Хорошую обувь офицерам шьют, тряпичный хром так бы не скрипел.

— Привет, девка, то бишь молодка! — говорит, под-

ходя к Софийке, и садится рядом на лавочке из ольховой доски, треснувшей вдоль. А Софийка пых — и щеки сразу как две розы. Такая уж она: только заговорят с ней или сама с кем-нибудь, так и в краску.

— Спит? — кивает Санько блестящим козырьком на ребенка, шевелящего в губах новенькую соску. — О, уже и соску где-то раздобыла...

— Брат Мишко с Донбасса прислал, — отвечает Софийка и легонько прикусывает нижнюю губу, чтобы не сказать Саньку ничего обидного за его приветствие, а то... он ведь бешеный, смола в зрачках сразу так и закипит.

— А я, гад, сколько в районе ни расспрашивал, нигде нет сосок, — смеется Санько, и трудно понять, шутит он или правду говорит.

— Как будто тебя просили... — пожимает плечами Софийка, легонько, чтобы не разбудить ребенка.

— Не просили, так сам слышу, как он каждый вечер буянит. Он что, больной?

— Не-а... Так, что-то нервничает, — вздыхает Софийка.

— А не зовет папу, х-га-га?..

Софийкины щеки наливаются сиреневым румянцем, брови беспомощно дрожат, и она отворачивается с ребенком.

— Шел бы, куда разогнался.

— А я никуда и не разгонялся, а пришел навестить,— мирно отвечает Санько и смотрит на Софийкину спину, выглядывающую из глубокого выреза в дешевеньком вылинявшем платье. Спина хрупкая, в золотом против солнца пушке. И родинок много, мелких, как маковинки. Санько отводит взгляд, а все же видит краешек разгоряченной Софийкиной щеки, кудряшки за ушами, пучок длинных волос, туго перевязанных зеленой ленточкой — просто, без бантика.

Санько коснулся пальцем кудряшки и спросил, прищурив глаз:

— Сама накручивала или так отроду?

Софийка повела головой и уклонилась.

— Иди уж своей дорогой. Смотрят вон все, мне только и не хватало, чтоб и тебя пришили...

И стала укачивать ребенка, резко, неумело, не покачивала — трясла. А Санько подпер щеки ладонями и тихо засвистел. «Фью, фью», — выводил тоненько, не пес-

ню и не марш, а какую-то пустяковину. Потом перестал свистеть и спросил:

— Это не от того, который говорил: «Я такой, как ты, во всей Золотоноше не встречал»?..

— А ты шпионил... — прищурилась Софийка и снова прикусила губу, боясь задеть яростную Санькину гордость. Ведь видела она не раз, как возле клуба бросал он на землю парней посильнее себя и как горели при этом его отчаянные смоляные глаза. И знала, что даже те из ее подруг, чье сердце томилось по Саньку, как и у нее когда-то, еще школьницей, боялись услышать от него желанное «идем».

— Не шпионил, — равнодушно ответил Санько, — а шел поздно с работы и услышал.

Софийка молчала. И молчание это было по-женски упрямо.

Саньку это понравилось. Правильно. А то раньше, бывало, вечерами возле клуба только и видишь: кто б из хлопцев ни причалил к Софийке, гляди, уж захватил рукой тоненький стан, шепчет что-то, смеется уверенно и ведет. А она только озирается беспомощно и идет. Разве это девка? Глина!

Санько сбил на глаза фуражку и посвистывал, сжав ладонями щеки, и слушал, как за соснами, в другом конце села трахкают молотком по железу, наверное, крышу у кого-нибудь перекрывают. А за Софийкиной хатой, в Крамаровском саду, шлепают картами и молчат. Пока кто-нибудь не выиграет. Тогда или смеются аж до кашля, или ругаются.

«Трах-тах-тах...» — доносится с поля из-за сосен и отдается в висках.

«...ах-ах-ах», — откликается эхом в соснах, и кто-то из картежников гудит:

— А вот людям и воскресенья нет...

— Да разве ж это люди? Это у Якова Великодного, — отвечают ему с тонкой усмешкой в голосе. — Пятый сарай вымахал и кроет.

— Угу. Хоть без бога в душе, зато под железом...

— И выпадет же счастье человеку. Высекли деникинцы за то, что седло офицерское украл, а там, гляди, сорок лет в революционерах и проходил! Теперь только ухмыляется...

Санько слушает разговор и насвистывает веселее. Он-то хорошо знает Великодного. Как и Великодный его.

Подкараулил Великодный Санька когда-то давно, еще мальчонкой, в колхозном саду с полной пазухой антоновок и отдубасил. А Санько его в прошлом году пощекотал. За все! Встретил как-то в соснах ночью с мешком арбузов за плечами (Великодный вышел на пенсию и крал уже не днем, а ночью), посветил спичкой в лицо, залитое потом и жалобно искривленное с перепугу, затем сказал так весело, что у самого мурашки по спине побежали: «А-а, это вы, Яков Опанасович! Мое почтение! Да не дрожите, я в суд не подам...»

И пощекотал.

А через несколько дней поехал Великодный в Полтаву и жил там с месяц, пока вставил все восемь зубов. Теперь, когда говорит, шепелявит...

«Это ж я к нему только раз и приложился. А если бы еще раз, х-га-га...» — думает Санько с легким сердцем и прислушивается к соловьям.

По эту сторону улицы слышится, будто где-то в глубине трели сливаются в одну и плывут, плывут над рекой, словно вешняя вода глубоким оврагом.

«Это их до самого Днепра по лугам полным-полно», — размышляет Санько. Ему кажется, что соловьиное половодье это только до Днепра, а там открывается такая синяя ширь, что и глазом не охватишь. А над ширью той — тишина да чайки падают с крыла на крыло... (Санько ведь дальше Миргорода не бывал, и Днепр представляет себе по Гоголю, еще из школы: «Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире...») А за Днепром, словно далекие облака в погожий день, возвышаются над водами горы, и золотые маковки церквей полыхают между ними. А в горах тех леса шумят вековые, и потому соловьев там не слышно, а разве что орлиный клекот падает с неба и ходят сумеречными ущельями люди — в овечьих шапках, с отважными синими глазами, спрятанными под брови, с медными топориками в руках вместо палок... Вот это люди! А тут... Пауки. Все грызутся: если не за курицу, так за межу, за солнце, что светит не в один лишь его двор, а еще и в соседский...

Эх!

«Дотрепала все-таки ребенка, пока из пеленок не вытряхнула», — кинул косой взгляд на Софийку, которая неумело, торопливо пеленала младенца в новенькие пеленки из белого ситца.

— Давай подержу, — сказал хмуро и ощутил в груди терпкое незнакомое тепло: никогда еще детей в руках не держал. — Давай, давай, — протянул к Софийке две огромные, словно колыбель, ладони.

Софийка взглянула на эту «колыбельку», едва задержала на ней пугливые, измученные стыдом глаза, поколебалась — люди ведь кругом — и все-таки положила ребенка.

— Гляди не урони. — И теребила, теребила быстрыми пальцами пеленки, обертывая ими легонькое, как перышко, и — Санько чувствовал это сквозь пеленки — шелково-нежное тельце, пока не смастерила нарядный белый снопик, перевязанный красной лентой.

Санько не отдал этот снопик сразу, хотя Софийка протянула к нему руки, а положил к себе на колени и только тогда увидел два глазика — с просинью, как недоспевший еще терн в туманце. Глазки смотрели мимо Санька в небо и были такие спокойные, такие безмятежные...

— Ну, как живете на свете? — спросил Санько эти глазенки, но они даже не шевельнулись и так же безмятежно — ни удивления в них, ни заботы — смотрели в небо, только соска быстренько шевелилась.

Санько почмокал губами, как привык чмокать на лошадь, но глазенки все равно смотрели только в небо — цвели, да и все.

— Оно еще ничего не понимает, — сказала Софийка, чуть улыбаясь.

— Что — парень или девка? — спросил Санько и впервые посмотрел Софийке в глаза. Они были, как и эти два, — две большие с просинью ягодки терна. Софийка быстро прикрыла их ресницами, покраснела и сказала смущаясь:

— Не видишь, что ли: лента красная...

— Ну так что?

— Что... Значит, девочка.

— А-а...

— Давай уже.

Санько отдал ребенка, поднялся и сверху еще раз посмотрел в равнодушные к нему ягодки терна.

— Ничего, — сказал, улыбаясь мимо Софийки, куда-то в поле. — Вырастет — будет бегать в коровник матери помогать. Так что радуйся.

И пошел не попрощавшись, а ладони все еще чувствовали маленькое, шелковое сквозь пеленки тельце.

Солнце было уже высоко, но в молодом сосняке между рядами блестела паутина в росе — здесь еще таились тени, пахло мокрым песком и слезами живицы, и широкая оленья грудь Санька не дышала — пила густой сосновый дух. Тропка была узка, сосновые ветки покалывали иголками щеки, влажная щекочущая паутина липла ко лбу, ушам, щекам, а роса холодила плечи. Хорошо одному среди деревьев! Тишина, никто не зудит о своих заботах, никто не мозолит глаз, и Санько подумал, что вот выучиться бы на лесника и жить в лесу.

За соснами, у самого кладбища, на песчаном холме, еще совсем недавно стояла хата старого Хвыля-бондаря, а теперь осталась только печь, белевшая по ночам как привидение: перебрался Хвыль к сыну в район, а хату продал на снос. Голым, пустынным стал теперь этот уголок между соснами и кладбищем. Прежде здесь, бывало, только и слышишь: стук да стук, стук да стук до рассвета, в обед, вечерами при луне — Хвыль кадки делает. А в воскресенье, глядишь, везет Хвыль в город на базар одну-две кадки. Только тронь их пальцем — гудят, как кобзы... А Хвылиха тачку сзади подталкивает.

В полдень возвращаются в село — все люди автобусами или попутными, Хвыли же пешком, с тачкой, и на Хвылихе платок такой, что аж солнце к нему ластится — цветок на цветке. А у Хвыля ремень новый и глаза сливовые...

Ан нет. Есть кто-то на бывшем подворье Хвыля — слышно, как пила вжикает. Наверно, не все еще дерево перевез покупатель. Сосняк редеет, просветы становятся больше, уже и кресты на кладбище видно, и Хвылеву грушу — не культурную и не дичка, зато плодовитую. Грушки на ней родятся круглые, мягкие, как воск, и сладким кваском пахнут. Выросла ли хоть одна ватага мальчишек в селе, которые бы не ждали, когда на Хвылевой груше пожелтеют грушки? Даже те, у чьих родителей были хорошие сады, воробьиными стаями налетали ночью с кладбища на эту грушу.

Санько вышел из-за деревьев и увидел под грушей самого Хвыля. Старик стоял на коленях и пилил.

«Неужто грушу?!»

Так и есть.

Санько почувствовал, как перехватило дух, и стиснул зубы: никогда не думал, что Хвыль такой жадный.

— Бог в помощь, — хмуро обронил Санько, ощупывая глазами худые плечи Хвыля, что шевелились над пилой — она уже на ладонь вошла в грушу.

Хвыль выпрямился, поднял на Санька бесцветные водянистые глаза; слез в них — два полненьких наперстка: видно, от напряжения.

— Здоров, сынок. — И Хвыль долго-долго смотрел вверх на Санька. Узнавал.

— Пилите?

— Пилю, сынок. Уж не Санько ли ты Одаркин?

— Да.

— Пилю, — вздохнул Хвыль, охватив дрожащими пальцами острые колени.

— А не жаль?

— Жаль, — мирно ответил Хвыль, — да что поделаешь, когда нужно.

— Для чего — нужно?

— На крест бабке, сынок. Умерла моя старуха. Ты ее знал? Ага. Так нет уже бабки Мотри. Вот и думаю: ей из окоренка сделаю, а себе из верхушки, чтоб, как отбуду с этого света, не задавать людям хлопот. — И улыбнулся голыми деснами. — Сын-то говорит: давайте, папа, я в «Сельхозтехнике» железный маме сделаю, а я не хочу. Куда ж его — из трубы? Труба только гудит, пустая...

И снова взялся за пилу. Вжик-вжик... — брызжут из груши опилки. Хвыль уже не разгибал спины, и Санько неторопливо зашагал от него к кладбищу, где среди старых, почерневших белеет один почти новый крест — над матерью Санька. Они стоят в паре — материн и отцов кресты, только отцовский уже почернел, а материн еще не успел.

Санько снимает фуражку и стоит так, уставившись глазами в рушники, которыми кресты перевязаны: слиняли оба на весенних дождях, пожухли на солнце, и ветерок их не шевелит.

После смерти матери (Санька из-за ее болезни и в армию не взяли) прошло четыре месяца, потому и крест над нею еще не успел потускнеть и Санько еще не вжился в одиночество, а каждый день, возвращаясь с работы, представляет себе, что вот войдет он в хату, а на столе, на чистой скатерти — белая теплая гора под рушником (хлеба мать напекла); в хате чисто подметено, и пыльца

с земляного пола еще кружится-поблескивает против солнца у окна... И от этого видения часто, придя домой, он брался рукою за щеколду и только тогда вспоминал, что двери заперты и нужно идти в сарай за ключом. Отец тоже не забывался, но он был... дальше. Иногда приходил в хату, чаще вечером, приходил не сам, а лишь его кашель и шепелявое посвистывание в груди, словно где-то совсем близко билась подо льдом быстрая вода. Отец вернулся с войны хромой и раненный в грудь. Так он и в колхозе работал то весовщиком, то сторожем, так и умер, хромой и раненый. А мать, как теперь часто кажется Санько, будто и не хворала, а усыхала из года в год, как усыхает старенькая вишня: одна ветка цветет, другая только листья мелкие выбрасывает, третья — немая... Потом, когда ее хоронили, Санько, в первый и в последний раз целуя материны руки, ощутил губами, что они сухие...

Могилки были чистые: на прошлой неделе Санько их убрал. Люди тогда сошлись всем селом. Каждый к своему. Потому и убрано кладбище было, как светлица, — чистое и в рушниках. Санько тоже принес узел с пирогами — соседка, бабка Шкабурка, напекла — и с магазинным вином и водкой. Люди принимали из его рук полные чарки, брали горячие еще пироги и так, с пирогом в одной руке, с чаркой в другой, приговаривали: «Пусть же, сын, твоим отцу и матери земля будет пухом, а память вечная». Однако сочувствовать, заглянув в глаза Санько, никто не решался.

На обеих могилах, отцовой и материной, взошли петушки, еще слабые по цвету, бледно-зеленые, но (Санько прикоснулся к ним пальцами) крепенькие уже и острые.

Петушки, петушки... Сколько помнит себя Санько, они каждую весну всходили возле хаты под окнами, росли наперегонки, заглядывали в окна лиловыми клювиками и сиреневыми гребешочками. И каждую весну бывали утра, когда мать входила со двора в хату с такими простыми и радостными словами: «Зацвели, сынок, наши петушки».

Теперь они уже никогда не будут цвести у хаты. Санько выкопал их недавно и принес в мешке сюда ночью, чтобы никто не видел: пусть живут тут, возле отца и матери. Они завели их возле себя еще молодыми, пусть петушки им и цветут.

Санько посмотрел на солнце. Оно показывало, что скоро уже пора и на работу, надел фуражку и пошел с кладбища.

А в соснах медленно и тихо вжикала Хвылева пила. И с Новоселовской улицы от поля лихо ухало над кладбищем:

«Трах-тах-тах, трах-тах-тах...» — Великодный крыл пятый свой сарай.

И Санько подумал, что и вправду железные кресты не годятся — великодневское трахканье и на том свете достает людей по трубам...

НЮРА

— Снилось, врроде бы террн рву и ем. Уже и спелый врроде, а терркий... К чему бы это, не слыхала? — говорил жене Нюра, узкоплечий и сухогрудый мужчина, лицо которого, казалось, никогда не знало ни радости, ни гнева, ни печали, а имело одно лишь постоянное выражение — давней пугливой покорности, словно кто-то топнул когда-то на Нюру ногой и сказал: «Не смей!» С той поры он и не смел.

Говорил Нюра медленно, старательно произнося слова, и по-детски чеканил «р», точно пробовал раскусить волошский орех.

Еще нравилось Нюре слово «вроде», и лепил он его всюду, где только оно лепилось. Не потому, однако, что слово это навязло, а чтобы тот, кто слушает, не подумал, будто бы Нюра именно так и мыслит. Именно так мыслить Нюра никогда в жизни не отваживался, даже по мелочам. Пойдет, к примеру, дождь — Нюра будет долго всматриваться робкими глазками в мокрые стекла, почерневшие ветви в саду, увешанные каплями, вымытую до блеска железную крышу соседской хаты, потом скажет: «Дождик врроде пустился...» Станет солнце низко над землей, и тени от хат лягут поперек улицы — Нюра, если он во дворе, будет долго внюхиваться в закат, затем изречет: «Врроде бы солнышко садится...» Несут покойника, духовой играет так, что не в одном, а сразу в трех-четырех селах слышно, и в хатах, и в садах — Нюра поведает жене, причмокивая тонкими бабьими губами: «Врроде бы померр человек...»

Нюра только что проснулся, сидел на высокой крова-

ти, свесив босые ноги, по очереди шевелил большими пальцами, свернутыми набок, к мизинцам, и по очереди рассматривал их.

— Так к чему бы это — террн? — переспросил чуть громче, нежели в первый раз, и не мигая смотрел постными глазами на жену, стоявшую к нему спиной. Она месила тесто, и плечи ее, едва ли не вдвое шире и толще Нюриных, мощно вздрагивали, и тесто в макитре постанывало.

— Тер-рн, да еще и тер-рпкий, не к добр-ру, — сказала она, твердо выговаривая слова и также с ореховым треском на «р».

— А с кем плохо, как думаешь? — съежился Нюра, словно от холода.— С Манькой, Ольгой или Еленой?

— Конечно, с Манькой, — быстро, уверенно ответила Нюриха. — В прошлое воскресенье, когда прриезжала, видел, как она ела? Ложка над борщом, а думка кто знает где.

Нюра словно бы задумался — перестал шевелить пальцами и смотрел мимо них в пол. Кровать, на которой он сидел, была деревянная, украшенная по филенчатым спинкам резьбой, изображавшей кленовые листья, и двумя темно-красными петухами, которые то ли вознамерились петь, то ли уже пели. Петухов нарисовали, должно быть, давно, стойкой, не теперешней краской, но местами она уже облупилась, поэтому у одного петуха не хватало ноги, у другого — полхвоста и одной шишки на гребне. Это, однако, не очень портило рисунок: видно было, что сотворил его человек с искрой божьей, а не какой-нибудь маляришка бродячий, и каждый, кто взглянул бы сейчас на вялое, словно стоячая вода, Нюрино лицо, на пугливые руки его, глаза, брови, даже уши, — ни за что не поверил бы, что молодцеватых этих петухов, напряженных в шеях, спинах и ногах, вывела когда-то рука смирного хлопца Ивана Кирячка, того самого, который, идя по селу, обходил каждую букашку на тропке, чтобы не повредить ей, и каждую ухабинку, чтобы не повредить себя. Идет, бывало, а глаза так и говорят хатам и собакам, людям и заборам, гусям и цветам вдоль завалинок: «Плохонький я. Не троньте меня...»

Не стал Кирячок бедовее после того, как женила его на себе пришлая с донецких степей всеумеющая и всезнающая дивчина Нюра, а еще будто сильнее сжался ду-

шой и перенимал от супруги каждый ее кивок и все — вплоть до этого дребезжащего «р», за которым у Нюры-жены угадывалась отчаянная решимость одолеть любую житейскую неурядицу, любую беду, а у Нюры-мужа — лишь беззаветную преданность своей супруге. Поэтому если кто-нибудь из селян заведет разговор про Нюрино семейство, то непременно так: «Видел вчера Нюру», «Одолжил у Нюрихи» или: «Вон идут Нюры».

«Одевайся да идем в лавку, наберем мне на сар-рафан», — скажет, бывало, Нюриха мужу. Кирячок послушно оденется, снимет, как и жена, каждую пылинку на пальто или пиджаке, обдует со всех сторон новую хаковую фуражку, торжественно двумя руками водворит на голову, и идут. Она впереди — твердой поступью и по-лошадиному выбрасывая перед собой колени, он позади — стелет мелкие осторожные шажки, словно не по земле идет, а по тонкому льду, под которым бездна, еще и руки ладошками вниз поставит — не идет, а плывет, как девица-неженка.

В магазине Нюриха быстро и деловито перещупает сукна и штапели, разложенные рулонами на прилавке, потом вытрет платком губы (так солдат клацнет затвором перед тем, как крикнуть: «Стой! Стрелять буду!») и, уставившись в продавщицу настырными черными глазами, скажет:

— А что это вы, девчата, так затор-рговались, что уже у вас и на сар-рафан тетке ничего нет? А ну, порройтесь-ка под пррилавком...

Тем временем Нюра легонько перетрогает мизинцем товар, тот самый, что и жена, станет рядом с нею, хотя немного и позади, и промолвит:

— Что же это вы, девчата, так затор-рговались, что уже у вас врроде и на сар-рафан тетке нет ничего? А ну, порройтесь-ка под пррилавком...

Назад возвращались с товаром. Из-под прилавка. И Нюра, семеня за Нюрихой, довольный сам собою, говорит:

— Такой пррродавец пошел, что не пррикрркнешь, так врроде и из рук не выррвешь, — и заглядывает жене в лицо, причем ему приходится очень наклоняться, потому что Нюриха приземиста.

— Зайдем к Ппроням, — говорит она, не прислушиваясь к речам мужа, потому что дело уже сделано и материя на «саррафан» крепко зажата у нее под мышкой, —

да скажем спасибо за молоко, может, еще рраз пр-ринесут.

И сворачивают к Проням.

— Здрравствуйте, — говорит Нюриха, став посреди проновского двора, как оккупант, и быстро ощупывая цепким взглядом все дворовое хозяйство. — Пр-ришли сказать, что вкусное у вас молоко. Такое вкусное, что аж сладкое. Чем это вы кор-рову коррмите? Даже не веррится, что пр-ростым сеном.

А Нюра из-за плеча:

— Да, да, такое вкусное, что врроде аж сладкое. Думаем, чем это вы кор-рову коррмите?..

И прощаются.

— Будьте ж здорровы, пор-ра нам домой, заходите, ежели будет чего, — говорит Нюриха.

— Врроде пор-ра нам домой, — берется пальцами за козырек своей хаковой фуражки и Нюра.

Дорогой Нюриха скажет:

— Теперь веррут, принесут еще как-нибудь.

Нюра молчит, только цедит сквозь тонкие губы мудрую улыбку человека, который знает, как нужно жить на свете, а уже в хате, раздеваясь, скажет жене:

— Теперь вррут, принесут еще как-нибудь...

Дома Нюра, с тех пор, как женился, никогда и ничего по хозяйству не делал, потому что сначала жена, а со временем и все три дочери, Манька, Ольга и Елена, считали его человеком ученым и к черной работе не допускали. Так было, когда Нюра еще работал счетоводом в колхозе, так держалось и теперь, после того, как вышел на пенсию. Единственное, что он и знал и умел в жизни, — считать на счетах, даже не глядя на косточки, и носить в руке портфельчик так, чтобы он слегка кивал. Еще умел Нюра одеваться не как все селяне, а как счетовод, человек нерядовой: летом — в хаковый костюм с накладными карманами на груди и брюками навыпуск, под туфли; зимой — в длинное, чуть ли не до пят драповое пальто со смушковым воротником и белые, словно из лебяжьего пуха, — непременно белые — валенки. И ко всему этому — портфельчик. Хотя и ученический, давний, однако новый, потому что береженый. Оденется, оберет на себе каждую пушинку, Нюриха или кто-либо из дочерей подаст ему в руки портфельчик — и засеменит он в контору, помигивая белыми из-под пальто валенками. Если на дворе слякоть и Нюре придется где-то ухва-

титься рукой за плетень, чтобы не упасть, он останавливается и долго обтирает носовым платком испачканную о мокрый хворост ладошку. Потом он еще осторожнее будет переставлять ноги и высматривать каждую лужицу на тропке, чтобы вовремя ее обойти...

Теперь Нюра уже не ходит в контору. И вообще редко бывает на улице, особенно зимой. А если и выберется, то лишь для прогулки. Выйдет, станет посреди двора, повернется спиной к ветру, чтобы холода не наглотаться, спрячет голову в поднятый воротник и выстаивает — один носик из воротника да из-под шапки выглядывает, как скворец из скворечни. Если же ему захочется оглянуться вокруг, то воротник он не опускает и шеи не напрягает, а медленно и долго всем туловищем поворачивается, куда ему нужно. И снова стоит, неподвижный, словно плащаница [1], поставленная на попá. А руки — ладошками к земле. Причем на правой три меньших пальца поджаты, а большой и указательный растопырены, словно бы для того, чтобы считать на счетах, и когда в поле или над селом замаячит птичья стая, Нюрины пальцы сами собой откидывают невидимые косточки: цок, цок, цок... Считает. Бывает, что и наклонится и выковырнет что-то пальцами из-под снега, медленно поднимет к глазам и рассматривает. Если это что-нибудь стоящее, отнесет его неторопливо в сени, положит и точно так же важно вернется на свое место; если же попадутся тряпка, ржавая проволока или прутик, опять обронит на снег, брезгливо растопырив пальцы, и снова замрет. Дышит «моррозным духом». А надышавшись, идет в хату, и посреди двора остается в снегу круглое, втоптанное валенками гнездышко.

В хате Нюра скажет Нюрихе: «Врроде пррогулялся чуток», — и, раздеваясь, станет обирать, как и перед прогулкой, каждую пушинку на пальто, шапке, валенках — тех, в которых когда-то бухгалтерствовал, белых.

Селяне — люд работящий, завистливый и непочтительный с теми, кто никогда тяжело не работал, а пенсию имеет бóльшую, чем они. Те самые селяне, которые, когда Нюра еще был счетоводом, здоровались с ним почтительно, звали по имени-отчеству и откровенно заискивающе улыбались при встрече, теперь откровенно презирали Нюру, а заодно и все его семейство, часто и обид-

---

[1] Плащаница — изображение Иисуса Христа в гробу.

но высмеивали его меж собою, эти его «прогулки», белые валенки, портфельчик (и то, вишь, не забыли!) и всегда сходились на одном мнении: «Живут Нюры, как коты!» И ни один из них даже не догадывался — разве кто из более рассудительных да помягче сердцем понимал, как живется Нюре и Нюрихе с тремя перезревшими, никому не нужными дочерьми. Особенно зимой или осенью, когда в селе, то в той, то в другой хате зацветают свадьбы, разъезжают по улицам грузовики и председательский «Москвич», обвитые красными лентами, сплетаются в хмельной венок свадебные песни и бубен гудит до самого утра...

Тогда Нюра с женой, украдкой (она в хате, он в боковушке или наоборот) льнут лбами к оконным стеклам и следят за шумными свадебными караванами. А как сойдутся вместе, делают вид, что им совсем неинтересны эти всколыхнувшие все село празднества. Разве что Нюриха скажет про молодых:

— Он еще ничего собой, а она как выдрра.

Тогда Нюра обрадованно подхватит:

— Он врроде бы и ничего, а она точно, настоящая выдрра...

— Поставь рядом с нашей Маней, так и смотреть не на что... — добавит Нюриха.

— До нашей Мани ей врроде еще тянуться и тянуться, — еще сильнее обрадуется Нюра.

О старших, Ольге и Елене, молчат, а все про Маню. Она и вправду самая привлекательная из всех нюринских девчат: ростом, как и Нюриха, низенькая, дебелая, глаза черные, хотя и без материного огня в зрачках, а характер отцовский — мягкий и пугливый. Одним не взяла: когда идет, колени слишком вперед выбрасывает.

А про старших и говорить нечего: широкоплечие, как мужики, сухогрудые и, когда улыбаются, показывают все десна, бледные и некрасивые, — обе в отца.

Только и утешения, что все трое хорошо зарабатывают и живут в городе. Старшие ремонтируют асфальт на улицах, а Маня бетонщицей на строительном заводе.

— Там теперь столько умников рразвелось, что наши за ними к рработе покультур-рнее не прротолпятся, — скажет, бывает, Нюриха мужу, когда лягут спать. И Нюра долго потом ворочается на кровати с петухами и вздыхает тихонько, будто он тому виною.

Зато, когда односельчане допытываются у Нюры, где и кем работают его девчата, он отвечает твердо, даже с воинственной гордостью:

— Мои там, где государству сейчас нужнее всего: чернорабочими, — и кивает указательным и большим пальцем: цок...

С ним и не спорят, потому что неинтересно. Да и какой из Нюры собеседник, если он ничего в жизни не смыслит. Разве что сидит возле мужиков (бывает это очень редко и лишь в теплую погоду), слушает разговоры да улыбается тонко, а в подходящий момент, когда собеседники умолкнут и только курят, глядишь, изречет:

— Читал я в календаре, что помидорры и аррбузы врроде бы лучше ночью ррастут.

Или такое:

— Клубнику советуют в календарре каждую весну пррорреживать...

По субботам нюровские девчата, чаще всего старшие, приезжают домой, привозят родителям сладкий хлеб с изюмом, селедку, нежирную колбасу, хлеб черный ржаной, которым Нюра любит полакомиться с борщом, и прочие городские лакомства. И Нюра с Нюрихой, рассказывая им сельские новости, о свадьбах, хотя и не сговаривались, молчат.

А как-то месяца три назад приехали все три дочки. Старшая и средняя, как всегда, с магазинными гостинцами, а Маня с хлопцем — в рабочей одежде, кирзовых сапогах и выгоревшем берете, из-под которого во все стороны кудрявились рыжие волосы.

— Привет, папаша! — сказал гость, лихо улыбаясь во весь рот.

И не успел Нюра даже руки поднять, как его хрупкая ладошка хрустнула в сильной пятерне хлопца.

— Доброго здорровья, — едва смог вымолвить Нюра и поднялся с кровати, на которой отдыхал после прогулки, а гость уже пожимал руку Нюрихе и говорил очень весело:

— Привет, мамаша! Ого, рука у вас — я вам скажу!

И уже снимал свою куртку, берет, и уже вешал их на вешалку у двери, а голова его так и пылала красными вихрами. Губы у хлопца были большие, толстые и тоже красные, как жабры у только что пойманной рыбины.

— Значит, так, папаша и мамаша, — стал посреди хаты, улыбаясь во все стороны. — Без лишних всяких

переговоров. Зовут меня Ильком. Мы с Маней дружим. Уже третий месяц. Так что сами понимаете... — И захохотал, словно ветром по хате дунул, так беззаботно, так просто, что и Нюра с Нюрихой, и старшие Нюровны, и Маня, стыдливо жавшаяся к двери, краснея и пряча глаза, — все смущенно и в то же время радостно заулыбались.

— А ты, хлопец, гляжу, такой, как и я: долго брроду не ищешь, — твердо, сквозь улыбку сказала Нюриха.

— Врроде бы не ищет, — растянул тонкие губы и Нюра.

— Я, папаша и мамаша, люблю так: без всяких парадов. С работы — прямо к вам. Прилизываться ни к чему. Какой есть. Правильно я говорю? — и подмигнул девчатам, которые тихонько хихикали, закрывая рты ладонями.

Дальше разговор вязался сам собой, будто этот Илько никогда и не был чужим, только долго не приезжал. Он принялся рассматривать карточки на стенах, узнал Нюру и Нюриху еще молодыми, до свадьбы («Это вы, папаша? А это вы, мамаша? Ну?»), тыкал пальцем в головастых и большеглазых девчушек, что облепили Нюриху со всех сторон и диковато таращились в аппарат. «Это Елена. Это Оля. А это моя, уши наставила!»

И хохотал, и с ним хохотали все. А Нюра, немного оправившись от теплых, щекочущих «папаша» и «мамаша», незаметно закрыл подушкой безногого и полухвостого петуха на кровати...

Покончив с фотографиями, Илько озарил всех своей красногубой улыбкой и сказал Нюре:

— Значит, так: разговор разговором, а дело делать нужно. Где тут у вас, папаша, магазин?

— Врроде бы найдем! — бодро молвил Нюра, показывая все свои десны, и заторопился одеваться, чего прежде за ним не водилось.

А женщины выпорхнули в боковушку и там зашептались, засуетились, загремели посудой, и за всем этим чувствовалась радостная суета людей, которые не привыкли, не умеют как следует принять гостя.

В магазин Нюра шел не под заборами, тропкой, а серединой улицы, плечом к плечу с Ильком, и все говорил ему что-то и улыбался, наклоняясь, как и к Нюрихе, потому что Илько был хлопец невысокий, и все поглядывал на окна хат, мимо которых проходили, словно приглашая

глазами, и улыбкой, и бодрой уверенной походкой: а глядите-ка, люди, кто со мной! И едва сдерживался, чтобы не похлопать Илька по плечу, как своего. И пусть все это видят, пусть несут новость из края в край села, чтобы все до единого узнали!

Тем временем Илько громко, чуть ли не на всю улицу рассказывал, что работает он на бетономешалке, что родители его из Яготинского района, что живет он, как и Маня, в холостяцком общежитии и зарабатывает неплохо: имеет два выходных костюма, плащ, пальто, транзистор, баян, еще и родителям («старикам») помогает. Одним словом: «Жить можно, а чо? Правда, папаша?»

И пока они шли — казалось бы, сколько там ходьбы от хаты до магазина! — Нюра успел уже полюбить хлопца как родного и даже прозвище ему, шуточное, конечно, придумал за эти его красные веселые, хотя немного и крупноватые, губы: краснопер!

«А каков крраснопер!» — думал, улыбаясь, и уже на подходе к магазину, где кучками стоял народ, осмелился все-таки похлопать Илька ладонью по плечу — вот так: чуть-чуть, вот так ласковенько, аж нежно.

Народу в магазине было немало, и Нюра громко сказал продавщице:

— Нам вон той, с красной полосочкой. «Экстра», или как там ее?

— Подождите, папаша, — сказал Илько, порывшись в карманах, и, превесело улыбаясь, подал Нюре еще трояк. — Берите две рядовых водки. Дешево и сердито!

— И то правда, — мигнул деснами Нюра. — Дешево врроде и серрдито. Две водки нам, девушка...

Ужинали чуть ли не до полночи. И все пили. Даже Нюра, который за всю свою жизнь ни разу не оросил губы хмельным зельем, опрокинул чарочку, опьянел, смеялся громко и уже смело, по-свойски, хлопал Илька по плечу, и то и дело наказывал дочкам и Нюрихе:

— А подбавьте-ка нам с Ильюшей погрребной капусты холодненькой!

— А ну, девчата, достаньте нам, мужикам, соленого аррбузика, прросвежимся немного! Да не все бегите, Маня пусть останется...

Женщины опрометью кидались к погребу, а Маня оставалась за столом, онемевшая, замершая от счастья, и пьяненький уже Илько, нисколько не стыдясь Нюры, тискал румянощекую, смущенную чуть не до слез, но по-

корную Маню своей могучей рукой за талию. Потом Илько предложил спеть. И пел неплохо, выпуская из округленного, как у рябины, красногубого рта густые «а-а-а» и «у-у-у», но все Нюры потянули не туда, и песню пришлось оставить.

Утром молодые уехали, сказав, что у них билеты в какое-то очень интересное кино.

Однако нюровский праздник на этом не кончился. Дня через три Нюра с Нюрихой, одетые по-праздничному, с гостинцами в двух корзинах (несла их Нюриха), отправились в Яготин.

Гостевали почти двое суток, а вернувшись, ходили по селу от одних добрых знакомых к другим — к сожалению, было их немного — и рассказывали про сватов.

— Она такая, как вот я, — охотно рассказывала Нюриха.— Только ррыженькая и толще. Если бы нам с нею, скажем, прришлось набиррать чего-нибудь недоррогого на юбки, то мне нужно было бы на пять ррублей бррать, а ей — на семь с копейками.

— А он какой, сват-то? — любопытствовали знакомые.

— А он такой, как я, — опережал жену Нюра, чего раньше с ним не бывало. — Высокий, худенький и тоже грамотный — учетчиком при трракторах. И хворробы у нас с ним похожие: у меня гастррит, и у него язва. Однако хозяин хорроший...

Теперь Нюра только тем и жил, что ждал будущей субботы. Бывало, лежит на кровати после прогулки или стоит посреди двора, прогуливаясь, глядишь, улыбнулся сам себе, промолвил тихо: «Дешево и серрдито... Придумал же... Крраснопёрик этакий!»

Илько, однако, больше не показывался. И старшие Нюровны, и Маня, которая за эти два месяца наведалась домой только раз, говорили родителям, что ему теперь некогда ездить. Экзамены сдает в техникум при заводе. Нюра с этим охотно смирился, хвалил Илька («Гррамотный вроде, всюду пррробьется»), хотя и было немного грустно: скучал по простецкой улыбке зятя, по его веселому и молодцеватому «Привет, папаша!». Нюриха же молчала, только присматривалась к девчатам твердыми черными зрачками.

Уезжая, Маня прятала глаза от родителей и тихо обещала, что в самый ближайший выходной приедет вместе с Ильком...



Теперь этот терновый сон...

И Нюра, глядя мимо пальцев на ногах в пол, припомнил, что Маня и вправду в прошлое воскресенье была не такой, как всегда, — смешливой, ласково послушной и внимательной, а будто уставшая и ко всему равнодушная. Припомнил и испугался:

— А может, этот террен и не в рруку! — сказал, однако, как можно бодрее. — Это если перред пятницей снится что-нибудь такое, тогда в руку. А это перред субботой...

— Может, и не в рру-ку, — тверже, чем всегда, ответила Нюриха.

Наконец приехала Маня, уже под вечер, хотя должна была быть с утра. Тихо, словно крадучись, вошла в хату и, обессиленная, бледная, оперлась плечом о дверной косяк. Нюра улыбнулся ей, босиком встал с кровати на

пол и так стоял, прислушиваясь, не слышно ли топота в сенях. Но в сенях было тихо.

— А где ж это... дешево и сердито? — спросил. И смотрел на Маню сначала растерянно, затем требовательно, даже гневно. — Илько где?

Маня шагнула к матери, которая пошла ей навстречу, и уткнулась головой ей в грудь.

Нюра молча оделся, равнодушно, как слепой, обошел жену и дочку и вышел во двор.

Там была весна. Журчали ручьи вдоль дворов на улице, светило низкое предзакатное солнце, плыли в вечернем небе журавлиные ключи, но Нюра словно не видел их и пальцами, указательным и большим, не двигал, как всегда, считая синекрылых птиц. Он стоял посреди двора ссутуленный, с опущенными вдоль пальто руками и невидящими глазами смотрел куда-то мимо хат, садов, огородов, даже мимо самого неба.

И все же изредка он чуть заметно улыбался и шептал что-то, тогда глаза его оживали, щурились на солнце и вновь делались невидящими.

Ужинали молча. Нюра ел быстро и сердито, а не смаковал, как привык это делать всегда. И когда Нюриха несла какое-то блюдо от печи к столу, выкидывая колени далеко вперед, сказал вдруг ядовито:

— Чего это ты выкидываешь колени, а?

Нюриха посмотрела на него испуганно, дрожащими руками поставила миску на стол и медленно пошла в боковушку, а Маня положила ложку и заплакала.

Нюра не утешал ее, а продолжал есть.

Ночью, уже где-то перед рассветом, Нюриха, спавшая с Маней в боковушке, прокралась к постели мужа в светлицу, прилегла рядом и стала гладить Нюрины плечи, голову, руки. Потом сказала, впервые за всю жизнь плача:

— Если б бедовее была, то бррехня... удерржала бы. А так, видишь... забрраковал...

— Если б инженерша или врачиха, так не забрраковал бы, — обронил Нюра во тьму. — Человека теперрь никто не видит.

Он сказал это так, словно знал это давно. Безо всяких «вроде бы». Знал!..

А на другой день, провожая Маню к автобусу, Нюра тайком от чужих глаз — даже оглянулся вокруг — торопливо достал из кармана новенький складной ножик с красной колодочкой и блестящим никелированным набо-

ром: шильцем, двумя лезвиями, бо́льшим и меньшим, ножницами и пилочкой, вложил Мане в руку и заговорщически зашептал:

— На... Передай. Скажешь: подарок от папаши. Только смотри не потеряй.

Маня взяла ножик и закусила дрожащие губы.

— Так и скажешь: от папаши, мол... Подарок.

ИВАН СРИБНЫЙ

На пристанционной улице за сверкающими на солнце путями играла музыка, кто-то охрипло срывался на песню, еще кто-то залихватски выкрикивал под баян в лад с танцем, и Иван подумал, что, наверно, там свадьба.

«Не эта ли школьница выскакивает за своего танкиста?»

Иван вспомнил девушку, совсем юную, похоже, восьмиклассницу, не старше. На ней было коричневое платьице с белым кружевным воротничком и туфельки на низком каблуке. Иван танцевал с ней в прошлое воскресенье под радиолу в деповском красном уголке, который и вправду был красным от лозунгов, диаграмм и плакатов.

Девушка пришла не одна, а с демобилизованным солдатом в танкистских погонах, в черном рубчатом шлеме и желтых крагах по локоть.

«Как на маневры приоделся», — подумал Иван.

Играли танго, и танкист прямо от порога, обняв девушку крагой за тоненькую талию и закинув голову назад, верно, для того, чтобы смотреть на нее чуть сверху (он был невысок), закружился в танце. По тому, как он улыбался, уверенно и небрежно, как выделывал ногами всякие кренделя, видно было, что солдат и в танце, и перед девушкой, и перед всеми чувствовал себя первым парнем на селе. На него и вправду смотрели все: девчушки восхищенно, хлопцы, которые еще не служили, благоговейно...

Ивану не досталось пары, и он блуждал взором от лозунга к лозунгу, читая их. Заметив, что новенькая смотрит на него через плечо танкиста, Иван отвернулся и вновь принялся читать. Однако заметил, что глаза у девушки карие, с золотом в зрачках и взгляд ее наивно доверчив.

Потом объявили «белый» вальс. Девушка, пряча глаза от солдата, который курил у двери и уже шагнул было ей навстречу, подошла к Ивану и, глядя в пол, сказала:

— Потанцуйте со мной...

Ее звали Наташей, и она ни разу не посмотрела Ивану в глаза. Даже когда он спросил, как ее зовут. Девушка танцевала не так легко и свободно, как с танкистом, а лишь послушно, даже покорно, и, кружась, Иван почти носил ее руках. Она была легонькой. И платьице ее школьное едва уловимо пахло нафталином.

«Дите», — подумал Иван.

Когда он вернулся на свое место, танкист подсел к нему, нервно пошлепал себя крагой по колену и сказал, контуженно передернув губами:

— Давай выйдем, друг...

Иван поднялся и первым пошел к двери.

«Начинается, — подумал, — штатская жизнь...»

Он работал в депо всего четыре дня после демобилизации, на том же станке, что и до службы. Ходил на работу во флотской робе «хебе», которую сэкономил (среди матросов это называлось «засундучить»), и бескозырке с новенькими лентами и якорями на них. Бескозырку он снимал в раздевалке и прятал в свой шкафчик, чтобы не замарать мазутом: пусть будет память. Так и работал у станка с непокрытой головой, подвязав белый, волнистый чуб куском мягкой проволоки.

На дворе было звездно и тихо. Лишь в котельной за сборочным цехом шипел пар и тускло поблескивали под фонарями вагонные колеса, которые Иван обточил вчера на старом своем «дейчланде».

Эта огромная шарманка иногда работала, как вол, целую смену и после смены, если нужно было «выручать» план, и Иван оставался на работе дотемна, иногда же, будто ей нашептали, внезапно останавливалась, и запустить ее было так же невозможно, как сдвинуть с места уставших волов. Рассердившись, Иван хватал полупудовый резец и запускал им в станок, а сам шел в соседний кузнечный цех, потому что станок и после взбучки молчал, лишь скорбно глядел на Ивана стертой никелированной табличкой:

В кузнечном Иван молча забирал у молотобойца молот и бил им так бешено, что кузнец, старенький дядько Сашко Буряк, уговаривал его мирным баском:

— Полегче, сынок, полегче, а то мы с тобой из оси саблю выкуем... — И, пританцовывая молотком то по наковальне, то по нагретой до соломенного цвета оси, спрашивал: — Что, станок обижает? Беда с нами, старыми работягами... Мне еще тридцати годочков не было, когда его привезли из самой Германии... Ну да пусть он отдышится немного, тогда и поладите, тогда он тебя и послушается...

Когда Иван возвращался в токарный, у станка уже топтался начальник депо, сутуловатый человечек, у которого на висках вечно блестели капельки пота. Свиридович — так все звали начальника депо — почти никогда не ходил, а бегал, и казалось, что он катится.

— Опять бил станок? — тонкоголосо напускался Свиридович на Ивана. — Варвар! Лудист! Не смей! — И катился ругать еще кого-то.

Нашептывал на Ивана коротконогий и низкорослый Сергей Тарануха, который точил всякую мелочь: гайки, винты, шайбы. Он был сварлив, придирчив и мелочен, как и детали, выходившие с его станка. Еще Таранухa любил торчать в получку у окошка кассы, чтобы подсмотреть в ведомости, кто сколько заработал.

Таранухa горбился над своим низеньким станком, скалясь, поглядывал на Ивана через плечо и был похож при этом на таракана, шевелящего усами. Иван нажимал на кнопку электродвигателя, ласково шепча: «Ну, давай, старик, давай», — и станок, мирно ворча, как дядько Сашко, начинал крутить колесо, снимая толстую, раскаленную стружку, от которой валил густой мазутный дым...

Танкист вышел не сразу и не один, а с двумя корешами. Они сверкали папиросами и держали руки в карманах.

— Слушай, полундра... — танкист грубо положил Ивану на плечо руку в краге, — я не хочу с тобой заводиться — ты служил, я служил, но знай: Натаха — моя королева, я хожу с ней уже вторую неделю... Так что отчаль...

Иван убрал с плеча его крагу и сказал:

— Прогони своих ассистентов. Иначе разговора не будет...

— Уф-ф, какой ор-рел, — деланно удивился один из юнцов. — Боря, — обратился он к танкисту почти умоляюще, — дай пощупать его за перышки.

— А может, отведем немного подальше? — предложил другой не устоявшимся еще баском. — А то он тут еще писк поднимет. Пусть н а ш и спокойно потанцуют.

Оба они затягивались папиросами и старались выпускать дым Ивану в лицо.

— Брысь! — сказал Иван, чувствуя, как мышцы его наливаются каменной твердостью. — Не то заброшу на депо и лестницы не подставлю.

Танкист хохотнул, будто озяб.

— Словом, договорились, море, — сказал примирительно.

— Ты с «королевами» договаривайся, а со мной, если хочешь, постой, покури... молча. — Иван достал папиросы, протянул танкисту.— И сними ты эти дурацкие краги. Тебе что — холодно?

Он повернулся, чтобы идти, но юнцы с папиросами в зубах заступили ему дорогу и вынули руки из карманов.

— Что, козлики, хочется ро́жки попробовать? — спросил Иван. — Ладно, только чур не пищать...

Он ловко схватил в охапку обоих сразу, точно обручем сковал, подержал минуту. — «Положить на землю — еще ум отшибу!..» — и швырнул юнцов на кучу высушенного для пескоструйного аппарата песка.

Уже в дощатом коридорчике, который вел в красный уголок, услышал:

— Ну, чу-удак, шуток не понимает!..

Танкист весь вечер танцевал только с той девушкой, недовольно гудел ей что-то на ухо, а она смотрела ему в глаза так жалостно, что Иван подумал с неприязнью: «Сестра милосердия...»

После танцев девушка быстро, не оглядываясь, пошла через пути, и танкист — краг он так и не снял — поспешил за ней следом. Отдаляясь, они мелькали по очереди то в желтом, то в красном свете на стрелках — она впереди, он позади.

Иван туже натянул бескозырку, чтобы ветер не сорвал на буграх из штыба — там всегда было ветрено, —

и, засунув руки в карманы, посвистывая, напрямик пошел домой. На буграх он постоял, слушая, как от Нагольчанской шахты, тяжело пыхтя, старый паровоз толкает перед собой четыре вагона с углем. Вагоны были гружены с верхом, и куски антрацита сверкали от желтоватого света паровозного фонаря!

«Подсесть бы да сбросить парочку кусков пуда на полтора», — подумал Иван и улыбнулся: в детстве это была его работа и забава — подцепиться на вагон, столкнуть ногами несколько глыб антрацита напротив барака, в котором они жили вдвоем с матерью и еще десятком семей, а потом пробежаться рядом с паровозом, крича машинисту: «Дядя, пустите пар! Дядя, что вам — жалко?!» Пар этот пахнул горячей паровозной утробой и сшибал с ног сильной струей...

После службы на флоте Иван чувствовал себя в поселке еще не совсем своим и теперь заново узнавал и свою комнату в бараке, и старенький этот паровоз «Серго Орджоникидзе», и людей: сверстников своих, пришедших из армии раньше него (кое-кто даже успел жениться); школьных учителей, постаревших, как ему казалось, за эти годы; молодых женщин, которые еще так недавно, помнил он, были девочками, и он кружил с ними по аллеям парка, не чувствуя ни к одной из них ничего такого...

Он знал здесь каждую улочку и переулок, усыпанные шлаком дорожки вдоль заборов, чтобы не тонуть в осенней и весенней грязи, каждый дубок и куст боярышника в овраге с ручьем по дну. Но больше всего знал и любил эти вот бугры из штыба на месте бывшей сортировки, разбитой в войну. Между буграми, твердыми, слежавшимися, поросшими бурьяном, он играл с ребятами в прятки, разбойников, в войну и приходил домой черный, как шахтер после смены. Летом из-за штыбных бугров всходило солнце и сияло в окне их комнаты, уютной, чистой, с портретом отца на стене, совсем еще молоденького, в форме горного спасателя...

За путями, напротив депо, возле колодца стояла очередь с ведрами и коромыслами, и тот, кто брал воду, долго крутил ворот: колодец был глубокий. Иван знал это, потому что и сам, как подрос, каждый день бегал за пути по воду, и мать каждый раз наказывала ему:

— Гляди ж, сынок, под вагоны не лезь!

Разве могла она знать, какое это счастье, замирая сердцем (вдруг поезд тронется!), нырнуть под вагоны и очутиться как раз напротив колодца.

Где-то за колодцем жила эта девчушка с милосердием взрослой женщины в глазах. И, поймав себя на воспоминании о златоглазой девушке, Иван снова угрюмо-насмешливо подумал: «Сестра милосердия...»

Он шел на станцию к десятичасовому пассажирскому поезду. К этому поезду каждое воскресенье выходило столько народу, что перрон становился похож на городской бульвар. Так уж издавна повелось в поселке — выходить к пассажирскому. Это стало обычаем, праздничным ритуалом. К пассажирскому шли, чтобы бросить письмо в ящик почтового вагона, встречать и провожать, шли высматривать его, чтобы, первым заметив тоненькую струйку дыма за семафором, воскликнуть: «Идет!» Но большей частью к пассажирскому выходили отдохнуть, показать себя и посмотреть на других, а может, еще и затем, чтобы стряхнуть с души будничное однообразие поселковой жизни, ощутить дорогу, движение и если уж самому не отправиться в странствие, то хотя бы утешиться мечтой о дальних далях, пожить ею шесть минут, пока стоит поезд. Потом проводить взглядом прощальный красный фонарь на последнем вагоне, что удаляется в степь, пойти выпить пива в тесном, многолюдном привокзальном буфете. Пиво было не последним поводом для того, чтобы выйти к пассажирскому, особенно для людей пожилых.

Молодежь ходила на станцию к молодежи, к беззаботным улыбкам и смеху, к взглядам значительным, стыдливо прячущимся под ресницами, к мороженому и Шурке Гвоздеву, широкоплечему парню в батистовой сорочке, сквозь которую просвечивался каждый Шуркин мускул, словно из гранита изваянный. Шурка приходил на перрон с баяном собственной работы и настройки. Блестели никелированные уголки на мехах баяна и перламутровые лады на планках, блестела золотая Шуркина «фикса» и собственные его зубы, тоже перламутровые («фиксу» он вставил, чтобы улыбка была ослепительней), и пел баян голосом, не похожим ни на какой иной баянный голос в мире. За Шуркой рядочками ходили под руку поселковые девчата, одетые будто на смотрины, в лучшие свои платья и туфельки, а хлопцы вразвалочку прохаживались отдельно, по двое, по трое,

с видом, независимым ни от девчат, ни от Шурки, ни от его стоголосого баяна...

Так бывало весной и летом. А поздней осенью, когда наступали пасмурные, серые дни и туманы и когда в степи за терриконами — их пирамиды едва виднелись сквозь пепельную мглу, — завывали холодные ветры или срывались метели, к пассажирскому никто без надобности не выходил, и, постояв в сиротском одиночестве свои шесть минут, поезд двигался дальше.

Провожали его лишь дежурный по станции в красной фуражке и с круглым жезлом в руке да вороны на голых пристанционных деревьях.

Иван шел к пассажирскому, чтобы увидеть знакомую проводницу. Поначалу думал: забудется. Однако прошло уже три недели, как он вернулся домой, сошел с этого поезда, а она не забывалась. У нее были большие густокарие глаза и смуглое лицо — без красок. Скромное, тихое лицо.

Иван хорошо помнил свою мать еще молодою, когда она работала плитовой на Нагольчанской шахте. Белокурая, пышноволосая и синеглазая, мама была самой красивой, когда покрывала чистый, высокий лоб красной косынкой, низко, по самые брови, и туго, чтобы шахтная пыль не набивалась в волосы, поверх красной — еще одну, а третью, рабочую, дома не покрывала, а несла в узелке вместе с тормозком.

Если же мама, хотя случалось это и не часто, шла в гости или в кино, пудрилась и подкрашивала губы, Иван хмурился и молчал или ложился на кровать и отворачивался к стене: ему казалось, что она равнодушная и чужая ему перед этим своим зеркальцем.

Мама замечала это, склонялась над ним, гладила по голове (Иван сердито отталкивал ее руку) и говорила тихо, виновато:

— Я ненадолго, сыночек. Я скоро вернусь. Ты не будешь бояться, нет? Ты ведь у меня мужчина, такой милый, такой надутый ежик.

Ей не было еще и тридцати пяти, ей хотелось хоть изредка быть молодой и красивой.

Проводница чем-то напоминала Ивану мать, ту, в красной косынке над бровями. От Волновахи Иван ехал в купе один, и она в пролетах между станциями рассказывала ему о себе, о своей матери, которая так же, как и мать Ивана, работала в шахте, пока там не хватало

мужчин, а теперь на пенсии и любит пить пиво по воскресеньям с такими же, как и она, пенсионерами. Рассказывая о пиве, девушка тихо смеялась, по-детски вскидывая подбородок и глядя на Ивана из-под своих длинных ресниц. Работать она начала после окончания десятого класса, чтобы добавлять к материнской пенсии и свою копейку. Потом вышла замуж, быстро, сгоряча, так, как это делают сейчас почти все, и теперь у нее ребенок, девочка. Он, недавний ее муж, предлагает сойтись вновь, надоедает, но она не хочет: хватит. Так и живет с мамой.

На прощание, уже в тамбуре, Иван обнял ее. Она едва коснулась губами его щеки и, сгорая в румянце, сказала, что после отпуска, в воскресенье (она смотрела на календарчик), то есть сегодня, снова будет сопровождать свой пятый вагон. Иван стоял тогда с нею, пока не тронулся поезд, чувствуя себя виноватым перед матерью — за эти шесть минут он был бы уже дома, — но и уйти, не видеть эти шесть минут ее погрустневших глаз, ее горячего румянца, так и не угасшего после поцелуя-прикосновения, тоже не мог.

Все три недели Иван ждал этого воскресенья и забывал о нем разве что на работе, потому что «дейчланд» и после капитального ремонта не изменил своего нрава — работал как ему вздумается.

Еще не оборачиваясь на шаги, по крепкому запаху «шипра» Иван узнал Станислава Викентьевича Тура, нового начальника депо.

— Мечтаем? — спросил Тур, протягивая Ивану руку.

Одет он был парадно: в форменный инженерский костюм стального цвета с несколькими черными звездочками на рукавах кителя и петлицах, в фуражке с блестящими молоточками (видно, начищенными). Был он только что подстрижен, выбрит и припудрен.

— Свадьбу слушаю, — неохотно ответил Иван.

Он, как и все деповцы, недолюбливал нового начальника. Старый, сутуловатый Свиридович был работягой и оборотистым хозяином. Он мог и умел призанять у людей, которые строились, досок на ремонт вагонов, потому что вовремя леса почти никогда не присылали: перемотать электромотор, чтобы не везти в центральные мастерские за сотню километров и ждать его потом целый месяц, а то и полтора; он вертелся как белка в колесе и всегда выкручивался, «вытягивая» план, а заодно и про-

грессивку, которую и сам ждал каждый квартал, откровенно радуясь, что она будет: Свиридович имел семью из девяти душ. Не дать план на сто с лишним означало для деповцев обидеть старика, подвести, предать...

Тур, возможно, потому, что стал начальником легко и быстро — из десятого класса в институт, из института в депо — жил еще в себе, в своем инженерном звании, в своей должности, довольно высокой для небольшого поселка. Начальник шахты, главный врач, начальник депо — вот и все видные фигуры...

Чтобы подписать Ивану справку с места работы для вечерней школы, велел позвать его от станка к себе в кабинет и сказал важно, поигрывая то одной, то другой бровью:

— Это похвально, что вы, Срибный, хотите учиться. Я — за. Учитесь. Хоть в академии. Но не забывайте: главное — производство. Мне нужны колеса.

— Вам? — весело удивился Иван.

Тур покраснел, но сказал упрямо:

— Да, мне, поскольку я отвечаю за план.

Он был старше Ивана, может, на год-два.

Тура не любили за чрезмерно начальнические интонации, за приторный запах «шипра», что и в кабинете и в цехах исходил от него, как пар из котла. Деповцы прозвали Тура просто и ехидно — «начальник». «Сделаем, начальник», «Не знаю, начальник», «Ша! Начальник идет!..»

Ехидства он, однако, не замечал. А может, хотел одолеть его молчанием.

Тур какое-то время прислушивался к свадебному шуму, потом сказал, раскачиваясь на носках безукоризненно начищенных туфель:

— Наша пара женится, деповская. Нужно было бы сходить поздравить молодых. Как вы думаете, Срибный?

— Почему — поздравить? Вы же не председатель поселкового Совета, — сказал Иван. — Пойдите посидите за столом, выпейте, песню спойте, потанцуйте, если умеете.

— Некогда мне петь, товарищ Срибный, — вздохнул Тур и перестал раскачиваться. — Вон возле столярного цеха вагон с досками еще со вчерашнего вечера стоит, а разгружать некому. Не освобожу вагон сегодня, завтра плати штраф за простой. Сутки — шестьсот рублей. А

чем их потом покрывать, а, Срибный? — с нажимом спросил Тур, мол, ты меня тогда в кабинете уколол, помню, а что бы ты делал на моем месте сейчас? — Придется взять человек четырех со свадьбы...

Иван взглянул на часы. Через десять минут должен был прийти пассажирский.

«А ведь снимет, гусак, испортит людям свадьбу!» — подумал, но вслух сказал:

— Не нужно никого снимать. Я один разгружу.

— Ну-у... — снисходительно улыбнулся Тур. — Четырехосный пульман — это, Срибный, шестьдесят тонн. Пусть дерево меньше потянет, пятьдесят. Представляете?

— Представляю, — ответил Иван и пошел к станции.

— Слушайте, Срибный! — уже вдогонку ему крикнул Тур. — Если вы действительно беретесь... Я завтра же оформлю вам наряд на сто рублей. Согласны?

— Посмотрим!.. — засмеялся Иван, — засмеялся не обещанию Тура (он знал, что такого наряда нормировщик ни за что не подпишет), а от радостного предчувствия встречи с нею, вот сейчас, через несколько минут.

Пока он бежал, пока пролез под тремя товарняками, пассажирский уже пришел. На перроне, как всегда в воскресенье, было многолюдно, пел Шуркин баян, прохаживалась парами и молодежь, мелькал и танкист в сбитом набекрень шлеме, но уже без краг...

Иван увидел ее еще от тепловоза, у того же пятого вагона, в котором он тогда ехал. Увидел и снова побежал. Потом пошел медленным шагом: она была не одна, из вагона вышел высокий, лысоватый мужчина в блестящем на солнце светло-сером костюме, курил и, улыбаясь, говорил что-то. Он держал за руку девочку, крохотную горошинку с крылатым красным бантом на головке. Иван остановился под акацией в конце перрона и смотрел то на нее, то на девочку — маленькую кареглазую маму. Иван видел, что она ищет его в толпе, что она не слушает улыбающегося мужчину, даже на дочку, когда та ухватилась за ее юбку и что-то лепетала ей, не взглянула.

«Муж,— догадался Иван,— сопровождает...»

Зазвенел звонок, загудел тепловоз...

Она увидела его уже из тамбура, прижала свободную от флажка руку к груди и смотрела на него, страдальчески, жалобно, улыбаясь. Лучше бы она не улыбалась!

Поезд миновал станцию, во всех тамбурах спрятались желтые флажки, остался только в одном.

Когда поезд выписал дугу, поворачивая в степь, Иван еще раз увидел ее в открытом тамбуре с прижатой к груди рукой, снял к чему-то бескозырку, снова надел и, рассеянно поблуждав взглядом по перрону, пошел назад к депо. Шел и будто смотрел ей в глаза, говорил: «Пока ездила, пока в работе была, еще жилось как-то, да?.. А в отпуске заскучала... Или мать уговорила помириться? Или он наобещал златые горы?.. Теперь едет с тобой в Одессу на Привоз набрать вяленых бычков к пиву для тещи за то, что она помогла тебя окрутить... Или на одесскую толкучку — купить тебе платье из кримплена, любовь новенькую купить, солнце незаходящее... Да? Что ж, пойдем вкалывать, раз такое дело... Не везет в любви, повезет в труде!.. Новый лозунг для красного уголка! Да?.. Ну, счастливо, счастливого плавания по жизни! Руби швартовые!..»

В котельной за черным от копоти самодельным столиком сидел дядько Буряк и гудел какую-то только ему известную песню. Он перешел в кочегары, еще когда Иван приезжал в отпуск.

— Постарел, сынок, кузня уже не по мне. Руки дрожат, вижу плохо... Пусть молодые куют.

В воскресенье дядько Сашко дежурил в котельной не один, а с четушкой. Топил чуть-чуть, лишь бы дымок с трубы — ведь баня пустая, — прикладывался к четушке, выпивая по глоточку, оживлялся и улыбался сам себе или гудел песни без слов. Потом дремал и снова прикладывался.

Иван поздоровался, сел у столика на блестящую от давнего мазута скамеечку и закурил.

— Вагон буду разгружать, — сказал дядьке Сашко. — Переодеться нужно, откройте мне баню.

— На кой черт тебе этот вагон! Жилы молодые рвать? — Дядько Сашко недавно дернул, был еще горяченький, бедовый и говорливый.

— Сто рублей начальник пообещал. Как раз на пальто... А кто ему такой наряд подпишет? Никто!

— Ни за что! — воскликнул дядько Сашко. — И плюнь ты на вагон! Давай-ка лучше по граммульке на душу капнем ради воскресенья.

— Нет, — Иван поднялся. — В другой раз, дядько Сашко.

— Так ты что, один думаешь тыщу досок выкинуть? Ведь тыщу раз пальцем шевельнуть, и тот онемеет, а это же доски ворочать. Эх! Молодость наша — глупость наша.

— Иначе штраф, — сказал Иван. — Шестьсот рублей... Он со свадьбы хотел забрать людей.

— Дело твое. Валяй. Помогать не приду, потому нечем, сам из вагона скоро выпаду! — Лицо дядьди Сашка, поклеванное кузнечной окалиной, сморщилось в улыбке. — Выпаду из вагона, а вы, молодые, поедете дальше. Другой, слышь, говорит: пойду домой. А я никогда так не говорю. Я говорю: пойду на квартиру. Потому что все мы в жизни — квартиранты. Домой — это уже повезут...

Дядько Сашко засмеялся, закивал головой и пошел отпирать баню.

Иван разделся, аккуратно, как привык это делать на службе, сложил форму и спрятал в шкаф для «комсостава» — так называли в депо начальнический шкаф. Потом надел грязную, холодную от бетонных стен и пола тельняшку, штаны, кирзовые ботинки, подвязал волосы веревочкой и пошел к вагону.

Дядько Сашко семенил за ним и гудел:

— До тыщщи будет. Я знаю. Сам когда-то дурной был... Знаешь, дурость от чего? От здоровья! Слабосильный человек умнее, ей-богу. Ты, Ванько, только не спеши, а потихоньку. И как выберешь столько, что нужно будет уже вверх бросать, тогда закладывай в петли возле дверей длинненький ломик, на него надевай трубу — я все найду — и шуруй: одним концом клади доску на трубу, за другой берись — и пуляй! Веселее пойдет. Я знаю. Нет, сто рублей не дадут. Нормировщик, очкарик этот, не подпишет. Двадцать пять от силы. И то скулить будет. Да ты на пальто, Ванько, еще триста раз заработаешь!

Иван сорвал пломбу, толкнул дверь.

Дядько Сашко заглянул в вагон и вскрикнул:

— Ай-я-я, сынок! Сырая доска. Ну, правильно. Сухих нам еще никогда не привозили. Так что затягивай ремень потуже, не то грыжу схватишь...— И пошел в кочегарку, сокрушенно качая головой.

Иван влез в вагон, и в грудь ему полился крепчайший дух сырой пихты, такой густой и вольный, что он улыбнулся и сказал:

— Тайга!

Пятиметровые доски, холодные, пропитанные сибирской осенью и липкие от живицы, показались ему сначала легкими, как щепки, и за минуту он их выбрасывал по пять, а то и по шесть. Однако дальше они становились все тяжелее, тельняшка прилипла к спине, рукам, груди, и он снял ее. Силы будто прибавилось. К тому же солнце стало клониться к полудню, крыша вагона, откуда давила упругая горячая волна, поостыла, дышалось легче. Иван насчитал триста досок, которые выбрал одним духом, — так ему казалось, потом перестал считать, смекнув, что это утомляет, и решил только работать, кидать и все, впрячься и кидать. И думать только о чем-нибудь бодром.

Веселее всего жилось ему на тральщике, по крайней мере беззаботно. Там не нужно было каждый день учить уроки и переживать за каждую тройку, а случалось, что и двойку. Не за себя переживал: почти все хлопцы в его классе не любили «прилизанных» пятерок и считали «нормальную» тройку достойной всякого мужчины оценкой. Иван жалел маму, ее усталые руки, листающие дневник, красные от шахтной пыли и сквозняков глаза, обиженные до слез его «нормальными» тройками. Потому восьмой класс он закончил едва ли не на похвальную грамоту. И все же бросил школу, пошел в депо сначала буксомойщиком, потом учеником токаря.

Позже, когда он уже служил, мама написала, что женщин из шахты вывели и теперь она работает на поверхности лебедчицей, поднимает вагонетки с породой на террикон. Заработок, конечно, не тот, что в шахте, но ей, одной душою живя, больше и не нужно. Она часто присылала ему посылки с папиросами и яблоками, и папиросы всегда пахли яблоками, а яблоки — папиросами...

Виделась бухта меж береговыми скалами, в которой они стояли со своими тральщиками, виделась в штили, такая гладенькая, ласковая, залитая солнцем, и вздыбленная штормом: свинцово-тяжелые волны, мглистая стена серого горизонта, и ветер такой, что они завязывали ленточки под подбородком, иначе сорвет бескозырку, понесет в небо, как черную птицу, бросит белым баранам на гребнях свинцовых волн.

Под грохот шторма доски казались легче...

Вспомнился товарищ, родной, как брат, Саня Бэглых

из Забайкалья, невысокий, дебелый хлопец, гитарист, баянист, заядлый танцор и спортсмен-пятиборец. Не давались ему так же, как и Ивану, только прыжки в воду. И все же, когда спортивной команде, защищавшей честь их экипажа на флотских соревнованиях, грозил «ноль» в графе «прыжки в воду», они с Саней согласились прыгать. И шарахались с пяти-, потом с десятиметровой вышки, перевертываясь в воздухе под раскатистый хохот судей и спортсменов-прыгунов, пока не закончились соревнования. Бэглых набил о воду синяки на груди, бедрах, икрах. И стал весь синий, потому что был тяжелее Сани. Им засчитали несколько очков, даже больше, чем следовало бы: за волю к победе, сказали судьи смеясь...

Саня любил «выбивать» для Ивана ДП — дополнительные порции. Схватит алюминиевую миску, протолкается к камбузному окошку: «Давай!» — приказывает коку. «Тебе?» — снисходительно спрашивает тот, пожмет могучими плечами и отвернется. «Корешу моему, — показывает Саня большим пальцем через плечо. — Ваньке Срибному». «А-а... — Кок накладывает полную миску плова и подает в окошко. — Я думал, тебе, шплинг!»

Семен по-настоящему страдал от того, что ему не разрешали ходить в строю правофланговым рядом с Иваном, а отсылали на «шкентель» — в последний ряд...

Когда досок осталось меньше, чем полвагона, Иван сел передохнуть и закурил: после папиросы не так хотелось есть. Сбегать бы домой перекусить — грязный, как трубочист: в вагоне перед досками был уголь, и сквозняком (Иван открыл и другие двери, чтобы ветерок дышал) вздымало черную пыль, а помыться и переодеться — жаль было терять время.

Солнце уже пряталось за желтую гору досок возле вагона и золотило угольную пыль, поднимаемую ветерком. Предвечерье пахло осенью, подгоревшей на солнце листвой желтой акации, стынущей землей. Прошел рабочий поезд. Люди, ездившие в город на базар и потолкаться по магазинам, переговариваясь, двинулись со станции в поселок. А из открытых дверей кочегарки было слышно, как гудит дядько Буряк:

Накры-ылся он се-е-рою-уу шине-е-ллю
И ти-ихо-о родных спо-омина-ал...

В войну, когда наши уже возвращались назад, дядька Сашко тяжело ранило под селом Ребриково, тут недалеко, и он едва не умер, накрытый вместо серой шинели сырой землей от взрыва. Выпив четвертинку или за кружкой пива, дядько не раз рассказывал Ивану, как ему тогда лежалось.

— Как в яме, сынок... Хлопчики меня тогда нашли, ребятишки ребриковские...

Может, и песню эту он стал петь с той поры.

И, опечалившись, Иван вновь принялся кидать доски. Теперь уже вверх: куча выросла едва ли не вровень с крышей вагона.

Вскоре пришел дядько Сашко, притащил трубу и длинный прут двухдюймового железа. С этим нехитрым блоком кидать стало намного легче, только толкай, но медленнее наполовину. Впрочем, Иван быстрее уже не мог: мышцы будто свело, они уже не болели, их нестерпимо жгло.

— Пойду разведу тебе пары да картошки испеку в топке у дверцы. Ты ж, поди, до сих пор ничего не ел? У-у, я, хоть бы и годочков десять мне скинуло, после сотой доски упал бы. Эх, молодость наша, жеребеночек брыкливый, куда ты убежал?..

— Где там солнце? — спросил Иван. — Мне не видно.

— Заходит солнце, Ванько. Земли вот-вот коснется, — гудел дядько Сашко из-за кучи. — Хороший день нынче выпал, а тебе, должно быть, самый лучший!..

Иван прикинул, что работы осталось на час-полтора, досок сто с лишним. А если хорошенько приналечь — последние ведь! — то и за час можно управиться. Он по себе, еще со службы знал, что такое второе дыхание, хотя знал и то, как нелегко оно дается.

— Ой, погодите там, дайте пройти! — услышал звонкий, веселый девичий голос, оставил доску, которую уже нацелился было запустить почти вертикально в небо, и оперся руками на трубу.

«Поглядим, что там за красотка...»

Он чувствовал, как по спине катятся капельки пота, как дрожат ноги и бухкает в груди сердце. Чуб давно выскользнул из-под веревочки, кольцами повис над глазами и щекочет лоб.

Из-за кучи досок вышла девушка, та самая, что танцевала с танкистом, в том же коричневом платьице с белым воротничком и в платке, повязанном по-женски.

Она чуть согнулась набок, держа в руке полную авоську бутылок.

— Ой, это вы?.. — улыбнулась смущенно. — Добрый вечер...

— Добрый, — сказал Иван. — Что, не хватает? — кивнул на бутылки и тоже улыбнулся. — Уж не свашкой ли на свадьбе?

— Нет. — Девушка сверкнула на него золотистыми глазами. — Светилкою[1] у братика. А у вас разве не выходной?

— А у нас воскресник, — сказал Иван, закуривая, прищурился от дыма и спросил: — Мордвиновские бараки знаешь?

Она быстро кивнула, не сводя с него глаз.

— Ну, если ты не гуляешь, а на побегушках, мотнулась бы ко мне домой и принесла какой-нибудь «тормозок». Есть хочу, а сестренки под рукой, чтоб за едой послать, нет...

Он сказал это шутя, лишь бы что-то сказать — надоело молчать целый день. А еще ему не хотелось, чтобы она вот так сразу ушла.

Девушка спросила потупясь:

— А кто у вас дома?

— Мама.

Она покачала головой.

— Нет.

И, не попрощавшись, даже не взглянув больше на Ивана, пошла, почти побежала с тяжелой авоськой в руке.

Иван посмотрел ей вслед: «Светилка... махонькая».

И вновь принялся за работу.

...Он выбрасывал уже последнюю доску, когда услышал от противоположных дверей вагона:

— Подайте мне руку, а то я сама не влезу.

Она стояла с белым узелком в руках, в темной одежде и смотрела на него снизу вверх.

— Вот, — подняла узелок, — «тормозок» вам...

Иван спрыгнул на землю, стал против нее и молчал растерянно. Потом легонько взял ее за плечи — она отвернулась и смотрела в землю, — улыбнулась ласково:

— Ты... Вы что, и вправду подумали? Я ведь пошу-

---

[1] Светилка — сестра жениха.

тил! — Иван поискал подходящее слово и добавил: — Пошутил я... сестрица. Ей-богу!

— Нет-нет, я вижу. Вы вон даже похудели. Поешьте, а я доски покидаю. Хорошо?

Только теперь Иван заметил, что она в рабочей одежде, и засмеялся:

— Уже все. Вагон пустой. И я скоро пойду ужинать домой. Так что спасибо.

— Но ведь то домашнее, а это свадебное... угощение, — сказала она и, развязав узелок, подала Ивану.

— Ну, если угощение, тогда попробуем. — Иван сел на деревянный ящик для запчастей и крупного вагоноремонтного инструмента и быстро, хотя руки и не очень слушались его, управился со свадебным лакомством.

— А это что за штука? — спросил, рассматривая пышный, душистый цветок с румяными лепестками.

Девушка засмеялась тихо, сияя белыми зубами.

— Шишка. На свадьбу такое пекут: шишками называется. Я сама такую придумала — чтобы цветочком — и испекла тайком, потому что светилкам нельзя шишки делать.

— Почему?

— Не знаю... Говорят так.

— Разве вы уже работаете, что у вас спецовка есть? — спросил Иван.

— Тут, в сборочном цехе. На кране. Вы заходили к нам, когда на работу поступали. Я несу деталь, а вы прямо под нее идете... Звонила, звонила — даже не глянули.

— Сколько же вам лет? — удивился Иван.

— Семнадцать. И четыре месяца... Завтра будет.

В котельной заскрипели двери, загудел дядько Сашко, потом умолк, верно, прислушиваясь, и позвал:

— Эй, Ванько! Ты уже отвоевался? Иди поешь картошку, пока горячая. И — в баню. Я тебе такого пара напустил, что аж кипит.

— Иду, — отозвался Иван, поднимаясь. — Спасибо, маленькая, — сказал девушке. — На свадьбе оттанцую...

За станционными деревьями всходила луна, там было красно, и сквозь листву виднелись сонные вороньи гнезда.

— Можно, я вас подожду? — спросила девушка тихо.

...На другой день, утром, Иван стоял у станка, окутанного прозрачным синеватым дымом и сверкавшей под осенним солнцем металлической пылью.

Тур подошел к нему, улыбаясь глазами, обдав привычным «шипром» и несколько торжественно пожав руку, сказал:

— Спасибо, Срибный. Молодчага вы. Только понимаете... Нормировщик не подписывает наряд на сто рублей. На двадцать пять, не больше... Я подписал, а он... Да и главбух против: нарушение финансовой дисциплины.

— А штраф? — улыбнулся Иван. — Шестьсот рублей, как?

Тур улыбнулся в ответ:

— Штраф — это было бы законно.

— Ничего, переживем! — сказал Иван.

— Ну, нет, я кое-что придумал, — возразил Тур. Выключайте-ка станок и пойдемте со мной...

Он привел Ивана на склад, красный вагон без колес, и сказал ушастому, долговязому кладовщику:

— Выдайте, пожалуйста, товарищу Срибному форменную шинель. Под мою ответственность. — Подумал, поиграл бровями, поднимая то одну, то другую, и добавил значительно: — Вы не возражаете, если, так сказать, в знак дружбы будете носить такую же, как и у меня, шинель?.. Солидарность, так сказать.

— Солидарность? Что вы, начальник!..

Иван перекинул через плечо шинель и направился было к цеху. Потом обернулся. Тур стоял в дверях склада тоже с шинелью на руке, красный и обиженный.

— Не то, Станислав Викентьевич... Извините, конечно... Но я скажу. Свою солидарность со мной вы имели возможность продемонстрировать вчера. Проще было бы...

И пошел к станку, прислушиваясь к радостному пению кранового звонка в сборочном.

УСТИН И ОЛЯНА

Семейная история

Устин сидел против печи на низенькой скамеечке и чистил картошку, а на печи позевывала Оляна и, отзевавшись, спрашивала квелым, как у больной, голосом:

— Устин... опять толсто чистишь?

— А тебе что, сквозь печь видно? — улыбался Устин,

показывая два верхних зуба, потому что больше зубов у него не было.

— Да я же слышу, как в ведро бухает, будто корки арбузные, — стонала Оляна и вновь принималась зевать, долго, со сладким изнеможением. — О господи, вот прицепилось-то...— удивлялась.— И что такое с человеком творится? Ах-ха-ха-ха-ха-а-а... Тьфу! Видно, пора уж мне помирать.

И умолкала. И долго лежала, прислушиваясь, что скажет Устин.

Устин ничего не говорил. Только очищенные картофелины в чугунок с водой шлепались.

Печь уже топилась, в ней тихо шипело, потрескивало, и в хате пахло холодным дымком: дрова только разгорались, трухлявые, мокрые; когда Устин колол их на рассвете, из-под топора пена брызгала.

Уже года три, как Устину не спится. То ревматизм разбудит, то сон дурной. Не та мешанина из видений и реальности, что всем снится и Устину тоже снилась, пока был молод, а какие-то отрывки из того, что пережил. Видеть все это не хотелось, поэтому Устин вставал, одевался и шел хлопотать по хозяйству: выводил козу в леваду и привязывал на травке позеленей, колол дрова, вытаскивал из колодца никем еще не початую после ночи воду (еще, гляди, и звезда или серпик старого месяца блеснет в ведре, когда высаживает его на сруб), а управившись, растапливал печь. Не для того, чтобы угодить Оляне, об этом Устин даже не думал никогда, просто он любил начинать день любой работой еще до света.

Просыпался Устин, и шевелилась на печи Оляна, зевала, постанывала и бубнила сердито: «Поменьше нужно книжек тех глотать, тогда и спаться будет». И, как толко Устин выходил из хаты, снова засыпала.

Устин и вправду читал много и каждый день. Чаще всего это были учебники для пятого класса, которые остались от сыновнего учения: география, естествознание, история... Даже арифметику Устин читал, не все, правда, а задачки. Сядет за стол, сложит руки, будто ученик, и четко, как перед учителем: «Вес сливок составляет шестнадцать процентов от веса молока. Сколько сливок получится из двенадцати тонн молока?» Прочитает и задумается на минуту. Потом вскинет голову,

радостно, как ребенок, засмеется и скажет: «Да сколько же? Должно быть, уйма!»

Попадались Устину и книжки про жизнь. Он читал их так же старательно, как и учебники, но ни одной не верил. «Ловко накручено!» — только и скажет, бывало. Или молча отдаст библиотекарше и попросит: «Мне что-нибудь такое, чтоб не выдуманное...»

Уже рассвело до синего в окнах, и стекла будто зацвели предутренним небом. Оляна слезла с печи на лежанку и принялась зевать еще и на лежанке. При этом она подперла щеку рукой, будто приготовилась петь, вдохнула полную грудь воздуха так, что тело все затряслось, и с тем же сладким изнеможением протяжно зевнула. «Зевки», как называла свой недуг Оляна, начинались у нее с икоты, что нападает на людей после сытного обеда, а потом уже шли сплошные «ах» да «хо-хо-оуу». Кончалось тем, что Оляна, вздохнув и тупо уставившись в пол, говорила: «Опять зевки напали, теперь целый день голова болеть будет...»

И теперь уже до вечера она станет прислушиваться к самой себе: начнет болеть голова или не начнет?

— Вроде как светает, — сказала Оляна с лежанки.

— Так, как и вчера было, — отвечал Устин рассудительно. — Сначала ночь, потом утро, а потом уже день, — и глядел на картофелину, которую чистил, и улыбался, ссутулив узкие плечи.

Иногда же, если ночью Устина не крутил ревматизм, прибавлял и такое, к примеру:

— Удирает ночь-ворона, потому рассвет на нее свистнул... — И брови его, куцые, серенькие, козыречками, вздрагивали.

В хате стояла молочно-синяя мгла и едва ощутимая прохлада, что вкрадывается под осень в хаты, где пол не деревянный, а земляной и стены утлые, только на глине и держатся. Говорил сын Петро, добрый ласковый хлопец, худой и востроносенький, как и Устин (он работал в Полтаве шофером на молоковозе): «Давайте, папа, я хату кирпичом обложу. Все теплее будет, да и со стороны красивее». Но Устин не согласился: зачем хлопцу тратиться? Сошлись на том, чтобы крышу перекрыть, потому что в селе под соломой хат уже не было. И выходило, будто Устин беднее всех...

И перекрыли. Шифером. А когда пошли на леваду поглядеть издали, как оно теперь, то увидели, что тру-

ба, красная, глазурованная, наклонилась и хата словно сгорбилась...

Петро порывался лезть поправить, а Устин смеялся и говорил: «Пусть так! Ровно поставь, подумают, что тут молодые живут, здоровые, а так сразу видать — никудышные!..»

Устин дочистил картошку, положил нож на пол и закурил. Не закурил — припал к цигарке и кашлял, утирая слезы скрюченными пальцами, и счастливо улыбался — то цигарке, то картошке в чугунке, то пламени в печи. Это была первая его цигарка сегодня, такая желанная, такая крепкая, что от первой же затяжки он вроде бы захмелел. А тут еще рассвет выдался ясный, прозрачный, не утро, а точно веселый такой мальчонка. На дворе повсюду лежала роса: на пожухлой осенней траве, под стрехой в хлеву на паутине, что пауки с вечера наткали, на капусте в огороде... А левада вся была сизая.

Устин любил погожие рассветы. И часто про эту свою любовь говорил: «Мне, ежели рассвет ясный, так жизнь будто сызнова начинается! Будто я еще такой вот! — и показывал ладонью, какой он ростом от земли паренек. — Да еще как приснится что-нибудь хорошее, а не дурное, тогда мне рай земной...»

А стекла нежно румянились, и в хате словно потеплело — вот-вот взойдет солнце над степью.

Оляна, постанывая, добралась до лавки, села и руки в подол сложила. Долго сидела так, блуждая взглядом по хате. Узко прищуренные глаза ее, казалось, не видели, а сама она лишь прислушивалась к тому, что делается в ее, Оляниной, теле: в груди, в пояснице, в ногах, в животе... Оляна любила и умела слушать свое тело. Но сегодня оно молчало. Нигде ничто не крутило, не кололо, и кровь в жилах не «бухкала», как это часто Оляне чудилось.

— О, уже давится, давится той цигарякой,— скривив рот, посмотрела на Устина, который снова надсадно закашлял...

Этими словами она каждый день начинала ссору. Устин только улыбался и молчал. Он был счастлив и не хотел разлучаться со своим счастьем вот так, с утра. Потому и молчал. Но чаще выходил из хаты и кашлял во дворе, и смотрел сквозь слезы на солнце, на росы, близкие и далекие, и улыбался всему, что видел.

— Когда-то люди вставали рано богу молиться, а ты ругаться, — сказал Устин и опять закашлял.

Но Оляна уже не слушала его, смотрела в окно. Во дворе на колышке висел закопченный горшок. Все вроде бы, как и вчера было, и вдруг горшок.

— Кто это повесил нам горшок на кол? — спросила Оляна.

Устин поднялся со скамеечки — штаны под коленками гармошкой, суставы хрусь, хрусь, словно два сухих сучка отломились — тоже взглянул в окно.

— Да, видно ж, кто-то принес и повесил, раз висит, — шевельнул бровями-козыречками.

Оляна прищуренными глазами уставилась на него, уголки рта презрительно дрогнули.

— Прине-ес, пове-есил, — передразнила. — Какой же это дурак принес бы его тебе и повесил! Это ж наш горшок, я в нем курам варю!

— А чего ж тогда спрашиваешь? — усмехнулся Устин. — Раз наш, значит, наш.

— Потому что сразу не узнала, а теперь узнала. Иди козленка перевяжи, ему пастись уже не на чем. Пове-есил...

Устин накинул старенький солдатский бушлат, что сын когда-то из армии принес, взял скамеечку под мышку и отправился на леваду, радуясь, что пришла ему благодать: солнце красное, дымы из труб, трава по-осеннему холодом пахнет... Кури досыта, беседуй с козленком, если молча сидеть надоест. А то еще наставишь ему ладонь, он лбом в нее целится безрогим, встает на дыбки и целится. Недавно вылупился, а уже норовит драться.

Целый день вот так сидел бы на леваде и любовался белым светом, если б кости не мерзли...

Здоровье Устиново еще тридцать лет назад забрали войны — одна с немцами, другая, без передышки, с японцами. И так его побило в первом же бою на Дальнем Востоке, что еле-еле отлежался. Дослуживал уже не как солдат, а как полсолдата — охранял пленных японцев.

Вернулся домой в сорок шестом и от полустанка шел до села пешком. Степью шел. В куцей шинели (длинные все были на Устина широки, а те, что как раз, короткие), в кирзовых сапогах с просторными голенищами, такими просторными, что ветер в них гулял, да тугим, полным под завязку вещмешком за плечами. Шел и то улыбался, оглядывая все вокруг, то смахивал слезы.

«Бегут, и все, и ничего им не сделаешь!»

Дважды тяжело раненный и один раз почти убитый, Устин только здесь, в степи, поверил, что уцелел и идет вот домой.

Идти было далековато, двенадцать километров, и Устин шагал широко, разбрызгивая большими сапогами рыжие лужицы: видно, недавненько пробежал степью дождь. Впереди в предвечернем мареве виднелся Безводный колодец с журавлем, похожим на одинокую унылую птицу. Устин хорошо знал Безводный колодец — стерег когда-то возле него коров, ночевавших в загоне, а днем возил молоко на молочарню. Неглубокий, засоренный всем, что ветер несет в непогоду, Безводный колодец и в самом деле был издавна сухим — ушел из него родник. Однако на цепи от журавля еще висело деревянное ведро, окованное ржавыми обручами, старое, рыжее от высохшего мха. В ветреные дни ведро тихо и жалобно пело, а когда шли дожди, в нем собиралась вода и долго скатывалась по капле на дно колодца.

«Что-то не видно ведра. Украли, должно быть, или осколком отбило...»

Чуть правее Безводного колодца увидел Устин и Жовнирову мельницу, что так же, как и до войны, одиноко стояла посреди степи на высоком кургане. Издалека видно, не мелет и сейчас, как и прежде не молола.

Солнце уже коснулось земли и сеяло на степь красную пыльцу. Вот-вот спрячется! Да оно и лучше прийти домой вечером, рассуждал Устин, меньше глазеть будут. Правду говоря, ему неловко было за куцую, измятую в дороге шинелишку, за длинные тонкие свои ноги в широких кирзовых голенищах. Можно бы, конечно, снять шинель и нести ее на руке, пусть бы видели люди новешенькую гимнастерку с орденом и пятком боевых медалей, но тоже как-то...

«Нет, уж лучше в сумерки прийти».

И, подумав так, побежал длинноногого, по-журавлиному, и сидор тяжело подскакивал у него на спине. Село хотелось увидеть засветло хотя бы издали, хату свою обгоревшую (писала Оляна, что до сих пор не покрыли, потому что некому и нечем, а накидали сверху соломы и вывели стожком, лишь бы дожди не залили). Так и шел дальше то крупным шагом, то бегом, то бежком. А грудь побитая хрипела и поскрипывала.

И все-таки увидел: и хату свою, уже с верхом, надши-

тую новой желтой соломой, и село внизу под лиловым заревом — солнце уже зашло, — и синеватые дымы в желтых садах и над всем понизовьем.

Воспоминание это — как шел степью, как бежал на закат, как дохнуло на него вдруг влажной прохладой с левад — было самым дорогим в жизни, и он часто согревал им уставшее уже сердце. А дальше вспоминать не хотелось, и, может, оттого все, что было потом, что гнал от себя работой, цигарками с кашлем и разговорами, приходило к нему ночью: мол, ты от меня бежишь, так я тебя во сне догоню! И догоняло, и крутило вместе с ревматизмом и ранами старыми, пока Устин не просыпался и не принимался за какую-нибудь работу. А может, то и не сон был, а лишь забытье, иначе как же так: спишь и чувствуешь, как пахнет вишневый цвет, что еще в сумерки вошел в хату...

Добрался до села, когда уже стемнело. В хате не светилось. На лавке сидел Петько и плакал. Устин дрожащими пальцами расстегнул шинель, снял ее вместе с вещмешком и пошел к Петьку.

— А чего это хлопчик плачет? — еле вымолвил сквозь давящий клубок в горле. — А чего плачет этот хлопчик, а?

Петько, притихший, как только Устин переступил порог, съежился на лавке у окна и сказал, всхлипывая:

— Штрашно...

— Чего ж тебе страшно?

— Ночи...

Устин взял его на руки, обцеловал стриженую головку и прижал к щеке. А дышать было так трудно...

— Это ведь тато твой пришел, — поднял пальцем подбородочек сына. — Гляди, тато! Не узнаешь, а? А где ж наша мама?

— Козу Маньку пошла доить, — заикаясь, сказал Петько.

И тут вошла Оляна. Стала у порога, вся в черном или сером, с белой крынкой в руках...

— Ой, боженька... — обронила глухо, и в голосе ее послышалась Устину не радость, а испуг.

«Отвыкла», — подумал нежно. Подошел, взял из ее рук теплую от молока крынку, поставил возле ведра с водой на лавке. И только тогда обнял женины плечи.

Чужие какие-то они были. И руки чужие, вялые. Да и Устин обнял неуклюже, словно мальчишка.

«Оба мы отвыкли...»

Зажгли свет. Орден и медали Устиновы тускло заблестели в щербатом свете коптилки — она горела лишь одним уголком фитиля. Оляна положила на грудь Устина руки — они пахли козьим молоком, — прижалась к ним лицом и заплакала.

— Ну, будет, будет, — голос Устина дрогнул. — Живой ведь...

Потом все трое сидели за столом, и Устин выкладывал то, что принес за плечами с войны: плоский немецкий котелок, в котором что-то позванивало, флягу в шерстяном чехле, алюминиевую ложку с вилкой, что складывались пополам, карманный ножик, при котором тоже были куцые ложка и вилка, и пилочка, чтоб ногти спиливать; четыре метра материи байковой, которую выдавали на зимние портянки, и столько же материи на портянки летние; два казенных полотенца, галифе синее (командир роты, который прошел с ним обе войны, подарил на прощание); два форменных ремня, брезентовый и кожаный, пилотку, двупалые рукавицы. Все было новое, блестело и пахло новым. Напоследок Устин достал из мешка две банки рыбных консервов, шесть селедок, завернутых в хрустящую бумагу, и сухую, потрескавшуюся солдатскую буханку.

— Ты, что ли, и не ел в дороге ничего? — спросила Оляна.

— Кабы не ел, так и не добрался бы! — весело сказал Устин и наклонился к Петьку. — Ну-ка, сынок, давай сюда кармашки живо!

Петько, несмело улыбаясь (зубик один у него был щербатый, и улыбка выходила жалкая), наставил карман.

Устин высыпал в него красные кедровые орешки.

— Вишь какие! Это каленые. Вон еще что есть на свете! Белочки любят их грызть и дети, маленькие и большие, как ты! Грызи...

Потом схватил новую пилотку, ловко надел ее на стриженую головку, сунул руку в котелок, достал оттуда блестящую, как из золота, медаль и, взволнованно сопя, пришпилил к рубашке Петька.

Ужинали долго и вкусно. Оляна внесла из сеней кусок сала холодного, полбутылки горилки (от кровельщиков осталось, сказала), нарезала свежего хлеба, а буханку солдатскую убрала прочь.

— Это пусть на сухари будет.

— А я думал, у вас тут голодуха. Всюду сейчас не густо у людей, — говорил Устин и ел, ел, краснея в скулах от радости, от чарки и от всего.

— Я ж козлят продала недавно, да и прикупила хлеба мешочек да сала два куска. А так людям да еще тем, кто хитрить не умеет, хоть зубы на полку клади... — рассказывала Оляна.

Петько тем временем залез на печь, щелкал орешки, украдкой поглядывал на отца и, затаив дыхание, слушал, как позванивают его медали.

— Коза выручает,— хвалилась Оляна.— И молочка понемногу дает, и козлят двух-трех каждый год приводит. Немцы козьего мяса не любили, потому и не забрали... Курица есть одна рябенькая. Может, заквохчет на весну, цыплят высидит. А больше ничего...

— Выкрутимся, — бодро сказал Устин. — Главное — живы...

На другой день Устин с Оляной и Петьком вышли на люди. Устин обошел вокруг хату, оглядел верх. Ладно сделано, на совесть. Дерево хорошее, не палочки какие-то, ушито гладко, и стреха подстрижена ровно.

— Кто же делал? — спросил.

— Да... всем миром, — смутилась вроде Оляна. — Колхозом.

— Ничего, живы будем, отработаем.

И двинулись через выгон в село, к лавке, к конторе колхозной, туда, где людей погуще. Устин был в новом галифе с красными кантами, что блестели на солнце, в темно-зеленой гимнастерке, туго подпоясанной широким кожаным ремнем (брезентовый, тот пусть на будни), при ордене и медалях, в пилотке набекрень, из-под которой торчал вверх густой завиток рыжеватого чуба.

Оляна и Петько тоже были в чистом, хоть и не новом. Оляна несла в узелке материю к портнихе, чтобы заказать из байки кофту себе, а из тонкого — две рубашки для Петька. Устин вел сына за руку, то и дело наклонялся к нему, говорил всякие ласковые слова, а глаза, серые, ясные, как и у Петька, сияли счастьем и доверием ко всему миру.

Петько крепко держал отца за руку и посматривал

на него снизу, потом, не выпуская руки, забежал немного вперед и, уловив отцовскую улыбку, сказал:

— А к нам Филипп ходил!

Устин, как улыбался сыну, так и не успел погасить улыбки.

— Какой Филипп, сыноша?

— Да какой там, к ляду, Филипп, — засмеялась Оляна и, прищурившись, посмотрела на Петька. — Мелет бог знает что, а ты слушаешь. Хату крыли, вот и ходили люди.

Петько насупился и умолк.

Устину, однако, в тот же день рассказали, какой Филипп, когда и зачем приходил в его хату...

— Что ж ты хочешь, если у него ключи от колхозной кладовой, — кричал в самое ухо Устину довоенный еще товарищ его Сергей Левый (под конец войны Сергея ранило и контузило, так что стал он глуховат) и нервно подергивал куцей культей в рукаве выношенного синего пиджака.— Он, гад, этими ключами не одну хату, где подходящая молодка была, отомкнул... Стервец... И ключи те языком заработал, стервец. Все люди на собраниях как люди: сидят, слушают, что им говорят. А он как выступит, как начнет: мы обещаем, мы залечим раны, мы берем на себя... Ясно, на себя! А кто ж за нас тут что сделает, спросить бы? Думал я, что хоть после войны болтунов меньше будет, а оно одинаково... Ну, ему ключи, бери, залечивай раны!.. Наел, напил рожу красную, чуть не лопнет, теперь парубкует. Ха! Брови подбривает, стервец! Одним словом, плюнь и отвернись, у тебя дите. Вот оно твое. Пошли выпьем за встречу, за то, что живы-здоровы, хоть я, вишь, с одной клешней остался...

Ночевать домой Оляна не пришла, и только тогда Устин, оглушенный выпивкой и тем, что услышал, понял: Левый, да и не только он, говорил правду. Не спал всю ночь, ждал: вот-вот скрипнет дверь, войдет жена с сыном и скажет, что были они у тетки на хуторе, да и задержались. А еще скажет, что про Филиппа — злой наговор, зависть людская: как-никак хату, почитай, заново поставила и кусок хлеба есть. Ну, бывало, заходил, пробовал увиваться... Хату помог покрыть, чтобы как-то ее завлечь... А больше ничего такого...

Устин поверил бы. Он и ждал ее чуть ли не до третьих петухов, чтобы поверить. Не простить — поверить, да на том и конец.

На другой день не выходил, даже во дворе никто его не видел. Сидел в хате, заперев дверь, чтобы тоже никого не видеть. Приходили соседи, известно для чего — рассказать... Не открыл. Прибегал Левый, должно, чтобы выпить и потом надоедливо, до черной тоски утешать. Он добрый мужик, чистосердечный до глухоты.

Оляна и вправду была у тетки на хуторе. И тоже сидела при запертых дверях. Боялась, что вот-вот Устин нагрянет. Петька выслала во двор поиграть: если наскочит, то пусть первым увидит сына.

«Бог даст, — утешала тетка Оляну, — обойдется. Побесится, побесится, а потом еще и просить придет. Вот увидишь. Он только со стороны глянуть — мужик, а тут вот, — тыкала себя пальцем в грудь, — ягненок божий. Погладь, приголубь, и заблеет...»

Устин не пришел ни в тот день, ни на следующий, и Оляна отважилась наведаться домой. Да и тетка советовала: «Иди, потому вчера он за то кипел, а завтра рассердится, что долго нет, еще хуже будет. Сегодня как раз идти и нужно. — И добавила скороговоркой: — Ты Петька, Петька ему сразу на очи...»

Двери были закрыты, и в окнах темно. Оляна, деревенея, толкая впереди себя Петька, вошла в хату. Никого. Шинели на гвоздике у двери нет, пахнет табаком, кучка денег на столе...

Села на лавку, прижала к себе Петька и запричитала:

— Ушел батько, сыночек... Бросил нас, окаянный... Чтоб ему добра не было, как вот так над дитем... над родным дитем так издеваться... О-о...

Петько тоже плакал и дрожал.

А Устин шел степью, той, что и позавчера, и нес в глазах не людскую — собачью обиду. На все и на всех.

Никто в селе не сочувствовал Оляне, узнав, что Устин ушел из дома, ни женщины, ни тем более мужчины, и это ее злило еще сильнее.

Встретила как-то Филиппа, спросил: «Что, бросил? — Посмотрела на него моляще из-под низко повязанного платка, совета и сочувствия ожидая. — Ха-х! Нужно было держать!» — и пошел. Галифе туго обтягивает икры над приспущенными хромовыми голенищами, широкоза-

дый и толстоплечий, а холка над воротником, как репа, тугая. Кобель!..

С той поры Оляна стала напускать на себя всяческие хворобы и плакать. И плакать ведь не тишком, а на людях: на работе, перед соседями... Люди не железные, к тому же Устин где-то, а Оляна вот она, рядом, мучится. Стали ее жалеть, утешать, и скоро уже не она, а Устин был виноват во всем. Ну, погонял бы там день, два или запил на неделю. Это по-нашему. А он сразу бросать. Да еще с дитем. Видал, куражится! И кто бы подумал, до войны такой тихоня был...

И Оляна вновь ожила. Начала покрывать голову высоко, по-девичьи, как и раньше, смеялась, пела, когда заводили песни, возвращаясь с поля, и, чтобы отвернуть людей от доброй памяти об Устине, рассказывала женщинам, как весь хутор не пускал ее за него замуж и как Устин ее добивался.

— Ведут меня к нему, а наши, хуторские — и подруги мои, и бабы постарше — плачут да за фату меня держат: «Не ходи, Оляночка, не ходи. Да погляди ж, какой он долговязый да зубастый...» Не послушала, дуреха, пожалела. Бегал ведь следом, как собачонка, на коленях просил... — и вздыхала.

А женщины, те, что слушали, хоть и охочи посочувствовать беде сестринской, прятали коварные усмешечки, теперь уже над Оляной — ну, уж если Оляна красавица...

Зимой Оляна получила от Устина триста рублей и примолкла. А когда поздней ночью Филипп трижды легонько постучал в окно, не открыла.

Устин работал на заводе кочегаром, потому что никакой профессии не имел. Да и здоровье после ранений было такое, что на лучшее место не станешь. А в кочегарке хоть и тяжело смену отжариться, зато потом двое суток отдыха. И подработать можно на товарной станции, или на складах, или в магазинах, где с грузчиками туговато. Не себе добывал лишнюю копейку — на работе спецовку давали, в выходные военное носил, — домой хотелось как можно больше послать. Он и думал, и говорил всегда так: дома, домой. И тогда сердце его ныло, Петько... Хлопчик стриженый, щербатенький на один зубок, медалькой играет...

Попадалась ему и молодка. Заводская. Ужин в кочегарку носила, беседовали. Сердечная женщина, но... Ни разу не откликнулось ей Устиново сердце — сидела в нем щербатенькая Петькова улыбка.

На работе Устина уважали. Молчаливый, работящий, покладистый. Нужно отработать две смены, как бы ни устал, не откажется. Выйти на субботник или в цеху помочь в последние дни месяца, если там запарка, как не помочь людям. И таскает тачкой мусор или стружку из-под станков, как усердный конь...

Один недостаток знали за Устином: не любил тех, которые на собраниях выступают. Если кто по делу, еще терпел, и то не всегда.

— А ты возьмись сам и сделай! — кричит с места. — Или мне скажи, я сделаю. Трибунщик!..

Это терпели: правильно.

Но, лишь только кто-нибудь выступал с обещанками, Устин словно с цепи срывался. Проталкивался вперед, махал кепкой и кричал:

— Стоп! Ты чего хочешь, а? Чего ты хочешь? — а глаза бешеные, сам дрожит, чуб дыбом, как шерсть у волка на загривке. — Хочешь об ноги потереться, чего размурлыкался? В командиры норовишь прорваться? Скажи! Вот так прямо и скажи всем: хочу! А то: я, мы... Ямыкало!

Собрание одобрительно гудело, а те, кто сидел в президиуме, наклонялись друг к другу и перешептывались, строго кивая головами. Это поначалу. А когда привыкли, улыбались: что поделаешь, болезнь у человека, тоже выступить хочется, хотя бы уж вот так...

— Товарищ Хомченко, вы давайте по существу, про дело, — скажут из президиума.

— А он про дело? — кричал Устин. — Вот дело! — и протягивал свои длиннющие руки.

— Ну, хорошо, хорошо. Вы сядьте и успокойтесь, — поднимался из-за стола председательствующий и деловито объявлял: — Слово имеет...

Устин шел на свое место, и собрание провожало его сочувственными улыбками, а если попадал в точку (бывало, что и ошибался от злости), хлопали. Однако в праздничные дни Устина не обходили ни грамотами, ни премиями: трудяга, ничего не скажешь.

К кочегарке, пропахшей углем, паром и шлаком, Устин привык больше, чем к койке в общежитии. Шуруй

топки, нагоняй «атмосферы», а выпадет передых, сиди, на огонь гляди, а перед глазами рассвет над низиной у реки, над болотами и болотцами. Над большими и туманы больше и гуще, над меньшими и туманы меньше, прозрачнее. Кусты боярышника — как шатры между ними. А осень как отзовется... Осень Устину по сравнению с весной — картинка. Все тогда не вянет, а цветет! Леса — красным боярышником, седыми осокорями, твердожелтыми листьями на дубах и густо-зелеными на берестах, а солнце — как подсолнух, так низко, что, кажется, рукой бы достал. И земля осенью пахнет лучше, чем всегда. Усталостью пахнет. Разве не устанешь, вон сколько народивши — и людям, и всему живому. Попробуй!

На третью весну Устин получил письмо от Петька. Буквы большие, как жуки.

«Здравствуйте, тату!!! — прочитал Устин и закашлял.— Перо мое заскрипело, а сердце мое заболело! («Это, поди, та лиса научила»,— подумал Устин про Олянину тетку.) Тату! Приезжайте! Я вас буду ждать! Я буду ждать вас возле лавки. Там все встают. И вы вставайте там. До свидания! Петро Устинович Хомченко!»

Устин, наверно, так и состарился бы в кочегарке, а может, устав жить одиноким, пристал бы в приймы к какой-нибудь заводской вдове и доживал свой век с тоской в обнимку, если бы не то Петьково письмо...

Вечером, как придет кто на посиделки, Устин рассказывает про японцев.

— У них не так вот, как у нас, ложки. У них палочки. И так они быстро ими орудуют... Клац-клац-клац — глядишь, мисочку и подчистил. Да еще если б лапша или макароны, тут и я, и всякий сумеет палочками взять. А то рис! Поди-ка зернышко ухвати ими. А командир роты у нас был чудак такой, веселый хлопец. Поехал в город и привез мешок ложек. Пусть, говорит, попробуют ложками, раздайте им ложки. Сумеют ли? Раздали им ложки — едят не хуже нашего! Да все подхваливают: «Рус холосо, рус холосо!» Еще бы не хорошо. В ложку-то больше наберешь. Потом — это как мы уже начали их понемножку домой, в Японию, отпускать — который уезжает, так и ложку с собой берет. «Лозка самать холосо!» — и смеется.

— Садись-ка ужинать,— прищурившись, смотрит на

него Оляна, — а то этими японцами голову мне так забил, что целую ночь будет болеть. А может, еще и завтра.

Устин подвигается к столу, заглядывает в миску и улыбается. Есть он любит. Не наедаться, а есть. Когда набирает в ложку, брови-козыречки поднимаются вверх, такие напряженные, что аж дрожат, а когда несет ко рту, губы тянутся ей навстречу и улыбаются.

Оляна снимает кофту, постанывает, охает, зевает и взбирается на печь. А Устин берет растрепанный, пухлый учебник ботаники и вычитывает шепотом ученые слова в житии грунтов, трав, деревьев и вод.

Потом, уже в постели, он будет долго размышлять о мудрости земли, забываясь в полусне и снова просыпаясь с ласковой надеждой услышать хрипловатый после дремоты петушиный голосишко...

ТРИ ПЛАЧА НАД СТЕПАНОМ

Еще Степану Деревянко не было и тридцати пяти, как он умер. Доконала человека неизлечимая болезнь.

В пятницу к вечеру приехал из Кременчуга, поужинал молоком, так как ничто ему уже не шло, кроме молока, прилег полежать с дороги, изнемогший (иль после ужина телу томительно стало), и сказал жене:

— Видать, я, Маня, сегодня не буду машину в гараж отгонять. Переночует и у ворот. Пойди, если не очень устала, подмети в кабине и дверцы заодно запрешь, — и протянул жене ключи от машины.

Маня, жена Степана, уже давно не любила мужа, как прежде: раз человек слабеет из года в год, день ото дня, то где уж там любви быть. За жалостью нет ей места в душе. А жалость эта каждодневная — и к нему, и к себе. Бывает, и уставшая придет Маня с фермы — известно, какая там работа, — а нет-нет и взглянет в зеркало: брови еще молодые, блестят просинью (такие черные), в стане тонка, даже под сношенным мужниным пиджаком угадаешь, что тонка; груди высокие, девичьи совсем (одного лишь ребенка и родила за двенадцать лет замужества) — жить бы да любиться...

Иная уже давно, конечно, подпустила бы к себе когонибудь из парней (разве мало теней в садах лунной ночью!) да и доцветала бы потихоньку, хоть и краденая, а все отрада. Так ведь это иная, не Маня. Не слушалось

ее сердце разума, хотя тот, бывало, и искушал томными весенними ночами: никого не принимало.

— Чудная ты... — гудел ей как-то прямо в лицо и потупленные глаза Сергей Батюк, самый молодой из бригадиров, недавний солдат. — Думаешь, я не вижу, как тебе живется... — И крутил пальцами пуговицу на Маниной жакетке, расстегивая.

Было это вечером, в телятнике. Наклонилась к яслям последнего теленка привязать, а Сергей — откуда только и взялся — схватил за стан обеими руками, и пальцы дрожащие к груди побежали...

Потом расстегивал пуговицу. Долго, только вчера крепко ее пришила. А когда расстегнул и груди стало просторно, сказала:

— Пусти.

И ушла. А уже от ворот обернулась:

— Теленка привяжи. Не то сбежит, сам искать будешь...

В тот вечер пришел с работы Степан вконец уставший и захотел искупаться. К тому же была суббота. В корыте мылся. И Маня, натирая ему спину намыленным носовым платком, закусывала губу, чтобы не заплакать: так и спотыкалась рука о Степановы косточки, а колени его торчали из корыта такие острые, что хоть стреляй из них. Не заплакала, однако. Ведь все поймет...

Взяла ключи, веник, тряпку и пошла к машине. Степан был шофер (как и хозяин) отменный. Все под его руками так и пело: двор подметет — не двор будет, а светлица; хлевок сделает — так это уже терем; яблоню посадит — так это уже будут яблоки, а не одно название. Такой. А машина? Что она, если подумать, — цацка? Куча железа, да и только. Ан нет: каждую пылинку сдует, прежде чем за руль сесть. И моет каждый день. Если не сам, то ее, Маню, позовет, чтобы помогла. А может, чтобы вдвоем, чтобы и она рядышком. Но бывало это редко. Чаще сам управлялся. «Ты и без того устала», — скажет. И гладит, гладит ее глазами. Спиной к нему повернешься — и спиной чувствуешь — гладит...

Подмела кабину, сиденье, приборы, стекло протерла, заперла дверцы (научил как-то) и пошла в хату.

А через минуту выметнулась на крыльцо, новенькое, струганое, зеленое под вечерней луной, и упала.

— Ой, люди добрые!.. Ой, людоньки! — только и выстонала.

Услышали соседи — хаты ведь рядышком, набежали со всей улицы. Кто протолпился — в светлицу, кто нет — к окошкам прильнули. И смотрели молча. На диване, застланном чистым ряднышком, в серой сорочке с белыми пуговицами — вечная та сорочка! — лежал Степан. Руки сложены на груди (любил так отдыхать), а глаза в потолок, только в потолок смотрят...

Закрыли ему глаза — кто-то из старших женщин. А мужчины кинулись к Мане, подняли бесчувственную, отнесли на руках в боковушку. И дочку, тоже Маню, игравшую с детьми в другом конце улочки, позвали.

С того и начались похороны.

Кто-то побежал к председателю колхоза домой сказать, что так, мол, и так, что нужен гроб и духовой оркестр; кого-то послали за матерью Степана — она жила за мостом — и наказывали шепотом: «Ты ж, гляди там, сгоряча не говори, а намеком». Кому же дела никакого не досталось, те еще долго стояли за воротами, вздыхали, сокрушались над Маниным горем — такая молодая и уже вдова — и вспоминали Степана. Уже в с п о м и н а л и.

— Еще вчера прихожу, а он как раз вишни кропит в саду веником. «Одолжи, — говорю, — гвоздочков шалевочных». — «Сейчас, — говорит, — дядя, сколько вам?» Потом еще и перебрал: который негодный — погнутый или шляпка сбита — откинул, а хорошие дал. Такой молодец. Другой не признался бы, что они у него есть...

— А я как-то гляжу: несет в мешке саженец груши, верхушечка выглядывает. А самого уже ветром качает. Для кого ж ты, думаю, человече, эту грушку сажать будешь, если сам плода ее не попробуешь?..

— Ну ты это уж зря, Галя (такие сейчас были чуткие, что не Галька, а Галя). Разве только для себя живешь?

И расходились потихоньку, вздыхая, по лунной улице. Только машина Степана осталась у ворот, и от ее мотора еще исходило тепло.

А через день с утра копали землекопы яму Степану. Выкопают на штык и садятся передохнуть: твердая земля, суглинок, стенка идет как цементированная. Садятся, закуривают и молчат. Это до завтрака. А как позавтракали, с доброй чаркой, известно, веселее копали и

чаще становились на перекур — до полудня ведь было еще далеко.

Желтела глина вокруг ямы, светило солнце из-за соснового бора, что чуть слышно шумел у самого кладбища, и пахла белая акация. А пчел, пчел на ее цветах — каждая гроздь словно позолотой живой покрыта, — шевелится.

— Неудачную пору выбрал Степан, — заговорит кто-нибудь из землекопов просто так, чтобы не молчать. — Пора-то какая, пора! Хотя бы до осени продержался.

— Будто он сам выбирал.

— Скажи ты, как оно получается, — вздохнет кто-то. — Одному выпадет целая жизнь, еще и пенсия, а другой и не наработается досыта.

— А это уже кому каким аршином отмерено: одному длинным, другому коротким, а третьему четверть.

— Может, хлопцы, кто-нибудь в генделик смотается? — «Генделик» — буфет над дорогой против кладбища, — а то, понимаешь, тоска...

— А и в самом деле...

— Да и я такой, что не против...

— За Степанов новый дом...

— Вестимо...

— Валяй, Иванько, ты самый младший.

И долго звенят мелочишкой: кому ж интересно трояк или рублевку показывать...

До полудня, однако, яма выкопана и подчищена, и землекопы, закинув лопаты на плечи, с дымом в глазах (после генделиковой) и негромким разговором двигаются к Степанову двору: попрощаться ведь нужно.

Издали Степанова усадьба словно в свадебном торжестве. Людей во дворе и у двора полным-полно, и все в белом (парко); цветы, красные и желтые, белые и синие, взывают к солнцу в самодельных венках из сосновых веток, машина с опущенными бортами в красном — его, Степанова, машина. Венчает Степана с землей...

Землекопы, дойдя до ворот, снимают кепки, ставят лопаты под забор, и толпа, расступаясь, дает им дорогу к хате. Глаз хлопцы не прячут: у всех они сейчас красные, так и не разберешь отчего.

Попрощались, вышли, вновь лопаты в руки взяли.

— Выносить будут... — шепот по толпе. — Вон духачи готовятся.

Нетутошние «духачи». Привезли из районной автоба-

зы. У одного труба желтая, у другого белая, та старая, та новая, а барабан украшен по ободу крест-накрест вишневой бархатной тесьмой: вроде как цирковой. Музыканты тоже, как и трубы, и барабан, — с бору да с сосенки: один, старый, лысый, все потеет да утирается рукой; другой, парнишка еще, хорошенький, румянощекий, стережет испуганными глазами дверь, откуда будут выносить покойника; третий, дебелый парень, выбритый до синевы, а на шее щетина и не тронута (поленился побрить и шею), шарит глазами по молодицам, а в глазах — полынная одурь. Поведет шеей сюда, поведет туда — щетина о воротник вжикает. Труба у него белая, в царапинах и самая большая.

Но вот на крыльце стал председатель, молодой еще, стриженный под низкую круглую крестьянскую польку, сверкнул вставными зубами на солнце, словно улыбнулся, и сказал устало:

— Значит, так, хлопцы-шофера, давай заходи на вынос тела.

Люди зашевелились. А лысый «духач» повернулся к своим, приложил трубу к губам, и вся его капелла тоже приложила.

Тем временем в хате затопали сапогами, из открытых окон, от которых исходил запах горящих свечей, выплеснулись во двор прощальные причитания, лысый топнул ногой, вот так, с присядкой, и полилась жалоба над селом, в поле, на молодую рожь и пшеницу, в сосну, разомлевшую на солнце... Закрылись женщины белыми платочками, понурились мужчины, а поднятые венки запахли молоденькой живицей. Сухо шелестели бумажные цветы, всхлипывали люди, а председатель стоял на выходе из ворот и распоряжался деловитой тихой скороговоркой:

— Пара за парой с венками выходи, пара за парой, потихоньку и в ногу старайтесь, тогда совсем другой вид...

А оркестр, хотя немного и вразноголосицу, надрывал свою медную душу, глушил плачи, и гроб со Степаном немо плыл над головами, словно сам собою.

— Да хозяин же ты мой дорогой! — закричала Маня таким нечеловеческим криком, что, пожалуй, не заглушили бы его все оркестры мира, и забилась в руках у женщин.— Зачем же переступаешь ты в последний раз порожечек родной, тобой струганный, тобой слаженный,

твоими ноженьками благословенный?.. Не оставляй нас, родной, не оставляй одними-одинешенькими на свете!

— Ой, папочка миленький! — крикнула Маня-маленькая, бледная и охрипшая, тоже черным неподрубленным (видно, от материи оторванным) платочком покрытая, в чистом, хоть и неглаженом платьице в красный горошек. Ее подхватили на руки и стали утешать.

— Ведь никогда ж и никому, — захлебывалась Маня-жена, — не сказал ты ни слова лживого, ни слова лукавого, ни хитрости какой... Да никто ж не запомнит, чтоб ты полдела сделал, все до конца, все до конца, добрая душа моя, хозяин мой и заступник...

И люди печально кивали головами и думали каждый про себя: «Чем дорожила, то и оплакивает... Не мужа, вишь, а хозяина». И не было в этих мыслях осуждения.

А Степан плыл вверху торжественно-равнодушный и кудрявый. И был на нем лучший, ни разу не надеванный за каждодневной работой и молчаливым ожиданием смерти костюм и вышитая синим — к синим глазам — сорочка, и брови черные на маленьком усохшем лице, гордо заломленные, шелком поблескивали на солнце.

Когда гроб поравнялся с воротами, Маня закричала умоляюще-отчаянно:

— Ой, не выносите его, не выносите его, люди добрые, за ворота, ведь это же навеки... — И умолкла, повисла на руках, поддерживающих ее, как подломленная ветвь.

— Ой сынку, сынку, — тихо и ласково, уже без слез, причитала мать Степана, закрыв глаза черной против седины рукой, — прости меня, мое дитятко, что в такую недолгую жизнь тебя вывела... Да если бы я знала, если б ведала твой недуг, то день и ночь себе его у бога вымаливала бы... Да пусть же никто не узнает, как тяжко дитя хоронить, а матери оставаться... Ох, сынку, сынку... Ты ж, бывало, придешь навестить, да еще с порога: «Может, вам, мама, дровец наколоть, может, водички свеженькой вытащить, может, торфу сухонького прикупить...» А сам, господи, как паутиночка светишься... Недаром же ты мне, сыночек, каждую ночь виделся, с малых лет и до последнего дня... И все только головушка твоя, только головушка: то на леваде среди конопли, то на лугу среди желтых одуванчиков играясь, то в саду среди вишневых веточек в белом цвету, то склоненная над рубаночком, то над внученькой в кроватке, то над

моей старой сединой... Недаром же, недаром виделось все это, господи...

И умолкла, как родник, отдавший воду.

Тогда заговорил Манин отец, маленький сутуловатый человечек в старинной сорочке с манишкой и больших кирзовых сапогах:

— Зачем же было, сынок Степа, так подводить меня, а? — спрашивал он с ласковой укоризной в немощном, почти женском голосочке. — Ведь ты, когда просил у меня Маню, обещал: «И жалеть женушку буду, и любить и перетрудиться не дам», а теперь покинул, как есть... Для чего ж было такую надежду непрочную давать мне, старому, а?..

А впереди венков несли портрет молодого еще, живого Степана. Улыбающийся, при погонах, солдат кудрявый; в глазах искры добрые и веселые, а за ними печаль далекая.

Тужили по Степану товарищи, идя по обеим сторонам машины, положив руку на кузов или просто так, головы склонив. Тужили молча, только в горле закаменело: первого однолетка хоронили, первую разлуку товарищескую переживали. Ведь выросли с ним, как в одной семье с братом, в недостатках и работе, по лугам пеньки сбивая на топливо, солому среди ночи в самые лютые вьюги воруя, песни вечерами девчатам напевая про матушку, что

Як обідать сідає,
Та й ложечки считає...
Одна ложка лишня є...
Десь у неі дитя є...
Одбилося од роду,
Як той камінь у воду...

Тих был Степан в компании и молчалив, как тень. Однако без него всегда и компания не компания: ни ходится, ни поется, ни с девками не играется. И все-то он делал всякий раз молча, неожиданно: выбился из сил товарищ, санки с дровами таща через сугробы, Степан свои бросил, вернулся, подпрягся молчком, тянет изо всех сил, а за ним и все бегут помочь; некому песню вывести высокую, Степан берет первым голосом, хотя у него и баритон, а взяв, уж выведет; тонет кто-нибудь в проруби, провалившись на коньках по шею, Степан первым к нему подползает с ремнем в зубах. Потом все

смеются и выхваляются, как тащили беднягу, и Степан со всеми улыбается — молча...

Шли, склонив головы, терлись у кузова и жалели, что не на плечах несут друга, а машиной везут, потому что так сказано было: выносить будут шоферы, товарищи по работе, а повезет машина — Степан на ней работал, так пусть она и проводит своего хозяина в последний путь. А за руль Ленька Одаркин сядет, ученик Степана. И Ленька, правду сказать, хорошо вел машину, ровненько, не дергая, не подгазовывая без надобности.

Возле ямы духовой оркестр умолк. Гроб тихо сняли с кузова десятки рук, так как теперь шоферам помогали и Степановы товарищи, и стало очень тихо вокруг, только люди вздыхали, да стонала обессилевшая Маня, да пчелы звенели над ямой. Одна даже села на кисею, покрывавшую Степана, поползла-поползла к рукам, сложенным на груди, коснулась их жальцем и взлетела... А председатель тем временем достал из кармана сложенный вчетверо листок, кашлянул в тишине и сказал:

— Товарищи! Сегодня мы прощаемся с лучшим шофером нашего колхоза Степаном Тимофеевичем Деревянко. Шофер первого класса, заведующий гаражом, чуткий товарищ и советчик по работе, Степан Тимофеевич неоднократно отмечался премиями правления колхоза, был награжден радиолой и пятью грамотами, а портрет его не сходил с доски Почета — и нашей, и районной. Кроме того, Степан Тимофеевич был прекрасным учителем и воспитателем молодых водителей. — Тут председатель поднял глаза от бумаги, поискал учеников Степана в толпе и сказал: — Вот и Ленька у него учился, и Ратушный Микола, и Гузий Олекса без Степанова совета не обходился, чуть какая неисправность, правда ж, Федор? Ну, об этом хлопцы сами скажут. — И вновь стал читать про то, что «самые ответственные дальние поездки правление колхоза поручало Степану Тимофеевичу Деревянко и было уверено, что он никогда не подведет», что «машина его в любую погоду, днем и среди ночи была на ходу, как часы» и т. п. — Печально, очень печально, товарищи, — сказал председатель, складывая бумажку, — но ничего не поделаешь: смерть не спрашивает. Спи спокойно, наш товарищ и друг, Степан Тимофеевич! Ты будешь вечно жить в нашей памяти...

— Да где ж он будет жить, где ж он будет жить! —

вскрикнула Маня-жена, словно сквозь сон. — Если нет уже его, нет!

— Я говорю: в памяти будет жить, — смутился председатель, кашлянул, выпрямился и произнес громко: — Слово имеет Ратушный Микола.

Ратушный боком вышел из толпы, стал у Степанова изголовья и сказал, запинаясь и перекладывая кепку из руки в руку:

— Я знаю товарища Деревянко еще сызмальства, а как пришел из армии, так и работали вместе. Встретил как-то, я тогда в клуб в кино пришел, еще в солдатской форме, помню, встретил и говорит: «Куда собираешься на работу, Микола?» А я говорю: «Не знаю, еще не думал». А он: «Иди,— говорит,— шофером, если хочешь, я тебя сам и научу, а потом поедешь и сдашь на права. А хочешь — на курсы поступай...» Ну, я возле него, считай, и научился, как-никак дома. А в Полтаве только экзамены сдал на права, ведь так просто не дают их... Вот. А как-то помню: разобрал карбюратор, а собрать не могу, это дело морочливое... А тут как раз и Степан Тимофеевич случился. «Давай, — говорит, — сюда...» Не успел я и закурить, гляжу, раз-раз — уже собрал. Поставили, завелась... Вот. Руганью не брал, а все добрым словом умел как-то. Потому и слушались все... — Ратушный умолк и быстро-быстро мял пальцами кепку, потом повел по толпе взглядом, словно искал у нее совета: говорить дальше или хватит? И решился: — А если от себя сказать, от души, то... всяких людей много на свете — в армии видел, у нас тут и везде, но таких, как Степан, не избыток... Не знаю, как это сказать, ну... Лучше было бы сказать «на здоровье», чем «вечная память». — И так же боком, с кепкой в обеих руках, пошел в толпу.

А в тишине, залегшей на миг, среди затаенного дыхания слышен был шепот:

— «Говорю, не завалялось ли у тебя, Степан, гвоздочков шалевочных с десяток? А он: «Сейчас, дядя...»

— Может, еще кто скажет, товарищи? — спросил председатель. — Может, ты, Ленька?

Ленька наклонил голову и покраснел:

— Не умею я на людях говорить... — произнес тихо.

— Ну, тогда, что ж, — вздохнул председатель и скосил глаза на гроб. — Тогда пусть родные прощаются.

И ударил оркестр и вопли разом, и снялись галки с кладбищенских деревьев, рванулись в небо и стали кру-

жить, а пчелы, как и прежде, хлопотливо и работяще пили цвет акации и шевелились в нем живым золотом.

— Ой, Степочка!.. Ой, хозяин мой, заботушка!..

— Дяденька, родненький, не накрывайте папу!..

— Ой, сынку мой, орлик!..

И тут гулко застучали по гвоздям молотки, посыпалась земля в яму, и гроб закачался на рушниковом полотне, погружаясь.

Рвалась из рук родичей и соседей Маня-жена, падала коленями на глину, сдирала безумными пальцами платок с головы и просила-выстанывала:

— Ребенка, Маню, уведите, пусть она не видит, пусть не слышит...

А сама, одеревеневшая, угоревшая от горя, с вороненочерными бровями на побледневшем лице, сухими, аж жгущими карими глазами и большими синими тенями под ними, чувствовала на себе взгляд Сергея Батюка и гнала, гнала его лихорадочной мыслью: «И не стыдно!.. Ой, что же это такое?.. А Степан, а горе, а память?!»

Сергей, бригадир, и вправду стоял напротив, и вправду смотрел на нее меж головами, только на нее, и хотя в глазах его стояла печаль, Маня чувствовала, помнила его испуганное дыхание и настойчивые, сильные молодые его руки.

«Ой, проклятые они, проклятые!.. — словно бы утопала в горячей мгле, шепча: — Разве так можно, господи?..»

Кто-то набрал ей в ладонь земли и высыпал в яму, кто-то отводил от гроба и утешал:

— Перестань, моя деточка... Себя пожалей, ведь никто не поможет и никто его не вернет.

Падала и падала земля в яму — из рук и с лопат, и падал вместе с нею шепот:

— Царство небесное...

— Пухом...

— Царство...

— Пухом...

Потом на месте ямы вырос желтый холмик, укрылся запахом живицы от венков, и люди стали потихоньку расходиться по всему кладбищу.

А Степан остался под сосновыми венками в самодельных цветах, и осталась вместе с ним тихая улыбчивая его любовь, про которую он не раз и не одному говорил, бывало, в сердечной беседе:

«Так люблю, когда на яблоню в спелых яблоках слепой дождь идет... Тогда они и плачут словно бы, и смеются... Страх люблю!..»

СЫН ПРИЕХАЛ

Ивану Чендею

В начале августа, когда в Ковбыши, большое село, лежащее на берегах узенькой речки в зарослях камыша и чернотала, съезжаются к родителям все бывшие ковбышевцы, что вскоре после войны подались из дому искать постоянного заработка и выходных по воскресеньям, когда во дворах только и слышно: «Папа, как у вас теперь напрямик в магазин ходят?», и отец, захмелевший от радости, бодро объясняет: «Да как? Так вот прямо огородами и шагай. А там левадой. Ты что, забыл?», или: «Мама, как у вас насчет стирального порошка? Нет? Так я пришлю по приезде» и т. п. — в начале августа, солнечным субботним утром, приехали гости и к Никифору Дзякуну и Параске Дзякунке: сын Павло, рыжий, пучеглазый, уже с брюшком и в капроновой шляпе в мелких дырочках; невестка Рита, толстенькая, румянощекая и угодливая (про таких говорят: «Только в хату — уже своя»), и годовалый внук Борька, некрикливый, глазастый бутуз с реденьким, как у отца, чубчиком.

— Ну вылитый папка! — счастливо стрекотала Дзякунка, обцеловывая внука. — Гляди, Никифор, и ноздрички такие, как у Павлуши маленького были, и попка тяжеленькая... — Параска тоже была рыжей, как огонь, сын Павел пошел в нее, а внук в Павла, оттого и радовалась. А натешившись с Борькой, принялась целовать невестку да благодарить ее, что так угодила, что внука такого «хорошенького» подарила.

Приехал Павло не поездом и не автобусом, как многие другие ковбышевцы, а собственным «Москвичом» табачного цвета. «Москвич» был новый, и все в нем блестело: краска, стекло, никелированные буфера, циферблаты на приборах... Сиденья были застланы двумя легкими коврами, а заднее и боковые стекла завешены репсовыми шторками. Все это Павло приобрел загодя, когда

первые детали для его будущей машины еще только отливались где-то на заводах.

Из-за «Москвича» Павло и не женился так долго, хотя было ему уже за тридцать. Сначала думал: брать жену на сто пятьдесят рублей в месяц, да еще живя в общежитии, не годится. Когда же дали ему за стаж и молчаливое трудолюбие комнату в новом доме и перевели из слесарей в мастера, рассуждал так: соберу денег на машину и все, что к ней нужно — ковры, шторки, брезент и металлические канистры под бензин и масло, тогда и жену можно искать, а если жениться сейчас, то машины уже не купишь, ухнут деньги на мебель, одежду и всякие мелочи, что вздумаются жене, потому что женщины все такие.

Даже в отпуск к родителям не ездил три последних года. Ведь, чтобы поехать, крути не крути, а полторы-две сотни плакали: дорога, подарки, новый костюм... Не заявишься ведь в поношенном! Поэтому брал отпускные, клал на книжку и снова работал.

Теперь Павло имел все: квартиру, жену, машину, сына, двести рублей заработка вместе с премией, и чувствовал себя так, как ему хотелось: спокойно, уверенно и независимо.

«Москвича» к отцу во двор тотчас не завел, а оставил у ворот, только стекла закрыл брезентовыми фартучками, специально для этого сшитыми, и колеса накрыл обрезками, что остались от тех фартучков, чтоб не жарились на солнце.

— Ты, Павел, туда бы его, под грушу, в холодок, поставил, — советовал старый Дзякун, любовно и осторожно поглаживая «Москвич» ладонью.

— Ничего, пусть пока тут постоит, чтоб под рукой был, — важно отвечал Павло.

Отец понял и умолк, только покашливал значительно, подпушивал большим пальцем усы и улыбался тонко: правильно, пусть люди видят, через выгон со всех сторон видно.

Пока в хате варилось и жарилось, мужчины время от времени выходили со двора к машине, медленно похаживали вокруг нее или просто стояли, как два аиста у гнезда с аистятами.

— Так сколько же людей под твоим руководительством? — спросил сына Никифор.

— Вся смена, отец. Двадцать семь человек.

— О-о! — подбрасывая брови вверх, сказал Дзякун. — Немало. Ты ж с ними ладь, потому люди — это такое: не угодишь одному, другому — съедят.

— За это будьте уверены. Я еще в полковой школе научился с ними обращаться, когда был помкомвзвода по строевой подготовке. Тоже тридцать душ было. И все слушались... У меня так: делаешь свое дело — делай. А нет — покаешься...

Мимо машины и отца с сыном в новых шляпах (Павло привез старику точно такую же шляпу, как у самого) проходили люди, почтительно здоровались, на что Павло отвечал, глядя поверх их голов на речку: «Засссте!»

Кое-кто и останавливался, поздравлял гостя с приездом, Никифора с гостями, расспрашивал, где и кем Павло работает, какие деньги зарабатывает, а напоследок обходил машину, заглядывал в кабину сквозь щели между шторками и интересовался, сколько «это добро» стоит.

— Ну-ка, Павлуша, скажи! — трогал сына локтем Никифор и напряженно-радостно ждал ответа: сумма-то не шуточная!

— Все деньги, — с холодной улыбкой, мало похожей на улыбку, отвечал Павло и смотрел своими неподвижными рыбьими глазами мимо любопытного дядька.

Одет он был в новенький костюм, почти такого же цвета, как и «Москвич», обут в новенькие желтые туфли на толстой белой подошве, а тугую, в рыжих конопатинах шею крепко стягивал воротник нейлоновой сорочки. Когда он разговаривал с дядьками, руки держал сложенными на груди и медленно и независимо раскачивался, становясь то на носки, то на каблуки новых своих туфель, причем разрез на пиджаке сзади то сходился, то расходился.

Тем временем в хате не умолкал разговор.

— Павлушу на работе ценят, — рассказывала Рита, подметая пол мокрым веником. — Премия каждый месяц идет, две грамоты получил...

— Да он у нас такой, что и сделает, и промолчит, если нужно, и старшего послушается, — радовалась Дзякунка. Лицо ее, освещенное пламенем из печи, казалось румяным. — И сызмала такой.

— В квартире у нас, — продолжала Рита, — все есть: гарнитур житомирский, холодильник «Донбасс», телевизор «Огонек», стиральная машина «Нистра», пылесос...

«Буран», правда, потому что «Ракет» в это время в магазинах не было. Денег хватает и на каждый день, и на книжку Павлуша в зарплату кладет каждый месяц. А бывает, в субботу и воскресенье проскочит в Ростов или Ворошиловград — все равно ведь делать нечего. Глядишь, десятку, а то и две подработал. Нужно ведь как-то машину окупить. Да и на бензин...

— А как же, — соглашалась Дзякунка. — И людям услужит, и копейку заработает. Оно так: копейка рубль бережет! Ешь, Боренька, ешь, мой сластенушка, гам, — нежно щебетала внуку, который стоял у лавки, брал двумя пальчиками кружочки жареной картошки, разложенной на газете, чтобы остыла быстрее, и молча, сосредоточенно отправлял их в рот. Когда картошка кончалась, Борька оборачивался к бабушке, устремив на нее неподвижные отцовские глаза, и говорил:

— Есе атоськи.

Дзякунка хватала со сковороды, шипевшей на жару, подрумяненные кружочки и, перебрасывая их с ладони на ладонь, бегом несла внуку.

— Сейчас нельзя гамочки, моя крошечка, — раскладывала картошку рядочками и дула на нее. — Остынет, тогда — гам.

И спрашивала у невестки:

— Где же вы, доченька, крестили внучка-то моего сахарного? Есть у вас там церковь поблизости?

— Нигде не крестили, — ответила Рита. — Кумовьев назвали, так, шутя. Павлушиного начальника цеха и его жену, а не крестили.

Дзякунка аж руками всплеснула.

— Боже ж мой, выходит, он у вас так некрещеным и живет?

— Так и живет, — смутилась Рита. — А что же тут дурного?

— Э, дочка, нельзя так. Не годится. Не щенок ведь, а человек. Нет, нет. Завтра, даст бог, воскресенье, поедем в Опошню или Покровское и окрестим. Как же без этого... Без этого никак нельзя...

— Да я и не против, — поколебавшись, сказала Рита. — Только Павлуше не говорите, нельзя ему.

— Ну, раз нельзя, так нельзя, — перешла на шепот Дзякунка. — Автобусом съездим, тут недалеко. Мы скоренько. А скажем — на базар.

...Обедали долго и со значением: Павло принес из ба-

гажника старательно завернутую бутылку «Российской», сам разлил всем поровну, сам и тост провозгласил:

— Ну, за встречу!

— И чтобы все было хорошо, — вставила Дзякунка.

— Все в наших руках, — сказал Павло.

— Если умеешь жить, то все хорошо и будет, — многозначительно изрек Дзякун.

— За здоровье наших родителей: и моих, и твоих, Павлуша, — сказала Рита и чокнулась со свекром и свекровью.

Выпили и принялись за еду: жареную картошку с малосольными огурцами, холодный куриный борщ на сливках и желтках, пышные пироги со всякой начинкой и сметану. Только Борька уже не ел, молча влез деду на колени, трогал его за усы и сосредоточенно сопел. Дзякун растрогался, легонько прикусил новыми, недавно вставленными зубами розовый палец внука, а невестке сказал поучительно:

— Теперь, дочка, твои родители — и Павлушины родители, а Павлушины родители — и твои.

— Уж так хочется сватов увидеть, хоть одним глазком, — медовым голосом пропела Дзякунка. Она уж и захмелела, и чуть было не проговорилась о завтрашних крестинах, да вовремя спохватилась. — А тут ведь и недалеко. Сколько, старый, от нас до Шишак?

— Напрямик верстов семьдесят будет, — прикинул Никифор.

— А я вот сколько ни наблюдаю в жизни, — медленно и таким тоном, что принуждает слушать, сказал Павло, — так сделал вывод: жениным и мужниным родителям видеться не следует. Эти не понравятся тем, те — этим, слово по слову... Те нашепчут дочке, эти — сыну. И пошло: ругань, ссоры...

Никифор даже подкашлянул удовлетворенно: ай да умница, шельмец! В самом деле, кто бы это гнал новенькую машину грунтовой дорогой до Шишак и обратно? Что она, даром досталась? А сваты, ежели захотят ближе познакомиться, приедут и автобусом.

После обеда Павло торжественно открыл чемодан и раздал подарки: матери черную с фиолетовым отливом плюшевую жакетку, так густо посыпанную нафталином, что и в хате тотчас запахло промтоварным магазином, и глубокие галоши на красной подкладке, а отцу серый в елочку костюм за шестнадцать рублей и сорок две ко-

пейки. Рита подарила свекру зеленую нейлоновую рубашку с твердым, словно лубяным, воротничком, а свекрови вязаную кофту и донской пуховый платок — все дорогое и красивое.

Никифор тут же все и надел: пусть смотрят люди, что дети привезли. А Дзякунка спрятала свое добро в сундук, сожалея, что не может и она, как муж, нарядиться в новое — не сезон.

Потом Рита укачала Борьку, взяла тяпку и отправилась на огород, хотя ее и отговаривали, а Павло завел машину под грушу, переоделся и пошел в сарай отдохнуть на душистом нынешнего года сене.

Когда в сарай на цыпочках вошел Никифор, чтобы посмотреть, хорошо ли сыну лежится да не продувает ли его через какую-нибудь щель, Павло спросил у него сквозь дрему:

— А рыба, отец, в нашей речке есть?

— Есть, сынок. Щучки, караси, лини... Раки случаются, но мало. Если хочешь, возьму завтра сети у Семена Портновского, и пойдешь с кем-нибудь из хлопцев потешиться.

— Я и один поймаю. Лишь бы сеть хорошая, нерваная.

— И то дело, — согласился Никифор, рассуждая про себя, что и тут правда на стороне сына: сам что поймал, то и твое, а ежели вдвоем, на двоих и делить нужно.

В хате Дзякунка торопливым шепотом рассказала мужу, что внук их некрещеный, что завтра они с Ритой — только чтобы Павлуша, упаси бог, не узнал — поедут в Опошню или в Покровское прямо домой к священнику и что Рита на это согласилась.

— Вот какую жену Павлуша нашел, — захлебывалась радостным шепотом Дзякунка. — Такая уж умница, такая культурная, да еще и простая!

— Павлушка наш ни в чем промашки не даст, — рассудительно молвил Никифор. — У него и на работе порядок, и дома, и в машине. Видела, как там все застелено и блестит? О-о-о!

И радовались оба.

Потом решили: позовут на завтра Дзякункину сеструбобылку, чтобы печь истопила и приготовила все к столу, будто просто так, ради гостей. А еще условились, кого звать: только своих, родичей. И пересчитали всех по пальцам. Набралось немало, душ пятнадцать, так пяте-

рых, из хутора, забраковали: услышат от кого — пообижаются да и забудут, а не услышат — еще лучше.

Кончили совет тем, что Дзякун сказал:

— Купишь в Опошне мяса. Нажарим под картошку котлет штук сорок. Я когда-то, как был в районе, ел в чайной, хорошо.

Никифор отсчитал из своего кошелька десять рублей от пенсии и дал их жене.

— А сумеем ли? — обеспокоилась Параска.

— Почему же это не сумеем, — ответил Никифор. — Я попрошу у директора машинку и мясо прокручу, а вы с Ритой слепите. Не велика мудрость.

Потоптался по хате и двинулся к двери.

— Пойду посмотрю, как там машина.

На другой день, как только солнце поднялось над опошнянскими крутоярами, Дзякунка и Рита с Борькой на руках, празднично одетые, были уже на базаре. Купили все быстро, и Дзякунка между делом расспросила у местных торговок, где лучше окрестить ребенка — тут или в Покровском. Бабы наперебой советовали ехать в Покровское: там батюшка молодой, бас у него хороший да и молитву читает всю. А тутошний уже такой старый хрыч, что только кряхтит да кашляет и ни читать не видит, ни по памяти не вчешет — забывает.

Покровского попа застали дома. Он стоял на крыльце в хромовых офицерских сапогах и новой, видать, вокресной рясе, сыпал курам пшеницу из ковша и рокотал басом:

— Цыпоньки-цыпоньки, путь-путь-путь...

Завидя прихожан, он нисколько не смутился, кивнул приветливо и сыпал курам до тех пор, пока не кончилось зерно. Потом отнес ковш на веранду, вернулся и сказал:

— Пожалуйте.

Батюшка и вправду был молод, красив лицом, хорошо выбритым вокруг желтоватой, с золотистым блеском бородки, еще и духами крепко пах. Последнее Дзякунке не понравилось. «Надушился, как жених», — подумала.

В светлице, завешанной иконами — в рушниках и без рушников, стоял полумрак, потому что окна с солнечной стороны были закрыты ставнями, в красном углу тихо горела лампадка, и пахло пирогами с капустой.

Рита с Борькой, посапывавшим во сне, остановилась

у порога и спрятала глаза под ресницами. А Дзякунка трижды перекрестилась на иконы, что едва мерцали в свете лампадки, потом сказала:

— Мальчика, святый отче, привезли окрестить. Не откажите, пожалуйста, а то мы издалека.

— Кума? — спросил поп, взглянув на Риту.

— Невестка, батюшка. А это внук — Борька,— поторопилась с ответом Дзякунка.

— Угу. Креститься умеете? — поинтересовался батюшка у Риты. — Нет? — вздохнул не тяжело и не печально, а как человек, которому это не в новинку, включил электрическую плитку и поставил на нее большую эмалированную миску с водой. Потом подошел к Рите, заглянул в лицо Борьке и сказал ласково:

— Спит младенец. Пусть поспит, пока вода согреется. А креститься, женщина, нужно так: складываете троеперстие, осеняете им лоб. Потом на живот, на правое и левое плечо. Попробуйте. — И чуть улыбнулся.

Рита подняла руку, ставшую вдруг тяжелой, и перекрестилась.

— Вот так, — удовлетворенно прогудел отец. — Просто и красиво. Обычаи предков своих нужно знать.

И обратился уже к Дзякунке:

— Кто же будет держать младенца? Вам, вы ведь знаете, нельзя. Матери тоже.

— А если матушку попросить? Может, она... Мы ведь в такую даль забрались... Уважьте, святый отче, — стала просить Дзякунка.

— Хорошо, — согласился поп. Попробовал пальцем воду, снял миску и поставил ее на стул, ближе к иконостасу.

— Крижмо есть? — спросил, идя к двери, за которой позванивала посуда и бубнило радио.

— Есть, отче, есть, — торопливо ответила Дзякунка и вынула из корзинки свернутый ситец.

Через минуту батюшка вернулся и надел епитрахиль, тускло сиявшую серебром и золотом, и в светлице стало еще торжественней. Потом вошла и матушка во всем темном, поздоровалась тихо, взяла из рук Риты Борьку и улыбнулась ему ласково.

Батюшка правил службу на память и быстро, как бы хороший плотник тесал. Бас его приглушенно рокотал и то становился громче, то переходил в проникновенный шепот; время от времени он трижды крестился, упруго

и размашисто (тогда крестилась и матушка), и кланялся иконам — только головой, как избалованный вниманием публики актер или старорежимный офицер.

Борька, голенький, завернутый лишь в ситец — «крижмо», глазел на лампадку и не рвался из матушкиных рук.

Но вот батюшка умолк, взял со столика ножницы и выстриг в Борькином чубчике крестик, приговаривая: «Во имя отца, и сына, и святага духа». Затем матушка разоблачила Борьку, подала голенького на руки батюшке, и тот окунул его ножки в воду — раз, второй, третий, приговаривая через паузы: «Во имя отца... и сына... и святага духа. Аминь».

Рита чувствовала себя словно в полусне, будто в том, что совершалось сейчас, замкнулся весь мир и не было на дворе ни солнца, ни поповских кур, ни накатанной до ослепительного блеска дороги из Опошни в Покровское.

— Дар божий, — мягко пробасил батюшка и чем-то намазал Борьке лобик, ножки, ручки.

— Отрекаетесь ли от дьявола? — строго спросил у матушки, чуть повернув к ней голову.

— Отрекаюсь, — покорно прошептала матушка.

— Дуньте и плюньте.

Матушка трижды легонько дунула и трижды легонько сплюнула. А когда священник пропел: «Елице во Христе креститеся и влекотеся»,— отдала Борьку Рите и сказала:

— Можно одевать. А крижмо возьмите себе... Далеко вам ехать? Ничего, скоро будет автобус, — потрогала бледным пальчиком Борькин нос, улыбнулась и, кивнув свекрови и невестке, вышла.

— Сколько с нас? — шепотом спросила Дзякунка.

— Как со всех, так и с вас, — вздохнул батюшка. — Пять. А если ребенка держит матушка — восемь.

Дзякунка достала из-за пазухи белый узелок, развязала его зубами и пальцами подала попу теплую десятку.

«Ишь отхватил за какие-нибудь полчаса», — подумала неприязненно и попросила смиренным голоском:

— За упокой, батюшка, запишите Никиту, Марфу и новопреставленного Семена.

— Хорошо, — пообещал поп, даже не пробуя запомнить имена усопших, откинул полу рясы и достал из кармана хорошо отутюженных брюк сдачу.

Когда очутились за воротами, Рита сказала, чуть прищурив влажные желудевые глаза:

— Такой красивый, приветливый...

Дзякунка заметила тот девичий прищур.

— Еще бы! За десятку можно и в ангела обернуться, — сказала сердито. — Айда быстрее к автобусу, а то печет так, что и мясо пропахнет, будут тогда нам крестины.

И впервые подумала о невестке нехорошо:

«Ишь ты, как быстро пригляделась. Для такой хорошую уздечку нужно...»

Павло проснулся поздно и, пока отец ходил за сетью, успел собрать одежду на рыбалку: нашел в сарае старую отцовскую рубаху, рваную на локтях, латаные, отцовские же, штаны, не сходившиеся ему в поясе (пришлось добавить петельку из веревочки), да ссохшиеся сапоги с отставшей подошвой.

Так в рваном и к речке надумал было идти, но отец отговорил:

— Нет, сынок, ни к чему это... Мужику, конечно, и в таком можно было бы выгон проскочить. А тебе, при твоей должности, при своей машине, костюм вон какой — и в такую рвань рядиться... Ты лучше бери сеть, а я это обмундирование пронесу под полой. Торбу-то захватил?

Павло показал большую брезентовую сумку, сшитую одновременно с фартучками на стекла, — воду в радиатор заливать.

И двинулись: впереди Павло в новом костюме, туфлях и шляпе, позади Никифор с торбой, тряпьем и сапогами под полой.

— Если бы солнышко сильнее припекло, — говорил Дзякун, — вода быстрее бы потеплела, и рыба стала под берег, а сейчас она гуляет.

— Я и гулящую поймаю, — сказал Павло.

У реки он переоделся в лохмотья и сразу стал никаким не заводским мастером и не солидным гостем, а обыкновенным ковбышевским дядько́м. Так мгновенно опростился, что даже хохотнул, оглядев себя. А Никифору аж обидно стало от этого сыновнего вида: словно обратился Павло из пана в холопа...

«Хоть бы никто не увидел», — подумал он и посоветовал сыну:

— Ты вон там, между Хвойливскими камышами, лови. Там линьки водятся, и с берега не видно, как оно да что. А я потом приду с одежей.

И поспешил домой помогать жениной сестре хозяйничать, потому что знал, какая из нее повариха аховская. Разве не опрокинула как-то на рождество чугун холодца! Потом оправдывалась жалобно и гундосо: «Да оно ж, тут печет, а там течет, а тут еще и ухват слетел». Никифор даже сплюнул сердито, вспомнив тогдашний случай, и почти рысцой махнул в село.

Павло забрел в воду, ахнул сразу по грудь и весело заржал, так она была холодна. «Плохо, что штаны не застегиваются. Нужно было все-таки свой комбинезон надеть, — покаялся. — Да ведь новенький совсем еще...»

В первую заставку попалась в сак щука, зеленая и быстрая. Павло несколько раз хватал ее, но все неудачно, щука выскальзывала из рук, пока не плюхнулась в воду.

— Вот уже и нет одной, — сердито пробормотал Павло. — Так наловишь, разиня!

А тут вдобавок обожгло в паху, словно старой крапивой так, что ахнул и процедил сквозь зубы: «У-у, дубина. Пожалел комбинезон, пропади он пропадом!»

Поставил еще раз и долго толок ногами, поднимая ил со дна и приговаривая: «Давай-давай!» Потом рывком вытащил снасть — пусто, только ряска, тина, камышовые дудки да улитки. Солнце светило прямо в сеть, и все это зеленое добро из водяного царства ослепило глаза колкими, хрустальными лучиками. Павло стал медленно перегребать пятерней тину и вдруг: ляп-ляп — карась, широкий, в ладонь, и красный, словно из меди. Не рассматривая, отправил в брезентовую торбу, что намокла и тарахтела.

Потом он уже не чувствовал, кусало его или нет, а тихо крался между кувшинками, раздвигая их грудью, неслышно погружал сеть, орудовал ногами и весело, помальчишечьи, выкрикивал: «Валяй в сеть, щучка-паршивка! Валяй, говорю!»

Когда поймал вторую щуку, подумал: «С той было бы уже две».

Иногда останавливался передохнуть и слушал, как позади него шипят, укладываясь на свое место, листья кувшинки, как солнышко греет сухие плечи, а вода под берегом уже не студит грудь, облепленную рубахой, а со-

гревает, нежит мягко, что так бы вот и заснул в ее теплых объятиях. В тихих закоулках у самого берега вода была такая прозрачная, что просматривалось дно, нежно-зеленая водяная травка, мелкая рыбешка, стоящая косячками против тихого, чуть приметного течения.

Неподалеку, на чистоводье, оставляя за собой два тонких водяных уса, плыл уж. В груди у Павла похолодело, но он вдруг вспомнил, что ужи не кусаются, что еще в детстве носил их, холодные, гибкие веретена, за пазухой, и успокоился. От первого этого воспоминания о детстве проснулись и другие... Как голышом ловил старой корзиной без ручек вьюнов и окуней, как едва не каждый день летом и зимой продирался по лесу сквозь заросли с топориком за поясом, и каждый пень был для него не просто пень, а счастливая находка; как пас коровье стадо вот тут, на приречных лугах, и пек в кизячном жаре степную картошку, такую песчанистую, что и хлеба к ней не нужно было; как ходил лунными вечерами со своими однокашниками сосновым бором посреди села — «парубкувал», — а так как девчонки-подростки охотнее льнули к старшим хлопцам, они, младшая братия, сделали себе бубен, раздобыли где-то старенькую балалайку и сманивали их этим нехитрым оркестром к себе, хотя еще и понятия о том, как целоваться, не имели, а только хорохорились: тарахтели в бубен, тренькали на балалайке, горланили парубоцкие песни и затягивались по очереди фабричной папиросой.

Потом его провожали в ФЗУ, и девчушки пели ему под бубен с балалайкой прощальную:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

И Настя Кушнировская пела, выговаривая не «друзья», а «друздя». А когда прощались за руку, чего никогда прежде не делали, и расходились, Настя сунула ему в ладонь надушенный дешевыми духами платочек с двумя буквами, вышитыми зеленой ниткой: Н+П. Выходит, любила... А он, вместо того чтобы обнять, приласкать девушку, ставил ей подножку, когда шли бором, так, будто нечаянно, или толкал плечом на молодую сосенку и придурковато хохотал... Да... Видел ее однажды, когда приезжал три года назад к отцу. За офицера вышла. Красивая стала, полненькая, щеки блестят... Ну да и он не прогадал. Рита жена хорошая, хотя и погуливала в прош-

лом, слышал от хлопцев по работе. Зато сейчас ни-ни. Оно и лучше, если смолоду покрутит, замужем смирнее будет. Дурь-то выветрится!..

— Эге, что же это я стою, — упрекнул самого себя. — Там первую щуку прозевал, теперь размечтался. За это время уже, пожалуй, с десяток поймал бы.

И принялся ловить: то молча, то с радостными восклицаниями, если попадалось что-нибудь подходящее.

В полдень пришел Никифор с костюмом, туфлями и шляпой. Только тогда Павло вышел на берег и, ощущая томительную дрожь в ногах, помылся и переоделся.

— Во набрал! — удивился Никифор, поднимая торбу с рыбой. А сам подумал: «За что ни возьмется, чертов хлопец, все у него получается!»

Назад шли не спеша, потому что Павлю здорово натрудил ноги, едва переставлял их и думал с сожалением: «Если б та, первая, не ушла, как раз нормально было бы. Пятнадцать штук. А так только четырнадцать». И та, первая — пятнадцатая, щука казалась ему сейчас самой большой.

— Если уж звать кого-нибудь из чужих, так только нужных людей, полезных, — сказал Павло. — Председателя колхоза или еще кого, кто вам пригодится.

— А что председатель, — осторожно возразил Дзякун. — Пока на работу ходили, и председатель — председатель. А сейчас ему до нас дела нет, а нам до него. Пшеницу у механизаторов покупаем, пенсия по закону идет. Разве вот лесника, Митрия Лободу, позвать. Это такой человек, что без него не обойдешься: дров нужно — к Митрию, сена корове на зиму — к Митрию, коней огород вспахать или торфу привезти — опять к Митрию.

Так и порешили: звать лесника да еще директора школы с директоршей. Последних Павло пожелал. Как-никак люди они культурные, уважаемые в селе, к тому же, если бы не директор, быть бы Павлу и до сих пор простым слесарем. Разве не директор тащил его до седьмого класса, можно сказать, за уши: просил, умолял, заставлял — и все-таки вывел в люди? Он. Ведь первое, о чем спросили у Павла, когда выдвигали в мастера, — какое образование. Семь классов. Не пять и не шесть, а семь! Может, это и выручило, потому что кандидатур на бригадирство было три.

И еще договорились: родичи сойдутся и сами, а Митрия Лободу и директора с директоршей следует привезти машиной. Это раз. Второе: родичи, как люди свои, будут пить и самогонку, чужим нужно взять магазинной, потому что «неудобно». Митрий, правда, такой, что и горячую смолу надурницу будет пить, а директора и директоршу следует угостить по-культурному...

К вечеру стали сходиться гости, близкие и дальние родственники Дзякунов: братья, сестры, племянники и племянницы, даже один внук, сержант сверхсрочной службы. Женщины, перецеловавшись, скоренько развязывали узелки и совали Борьке гостинцы, со всех сторон осматривали Риту, новую свою родственницу, и удовлетворенные, принялись помогать потрошить рыбу, накрывать столы. Мужчины же уселись под грушей возле «Москвича», задымили ради воскресенья и предстоящей гулянки дорогими папиросами и завели свой разговор: расспрашивали Павла про тот край, где он живет, про то, есть ли и до сих пор в Ростове знаменитые ростовские ўрки, про работу, квартиру и опять-таки про заработки. И за всем этим у каждого таился главный вопрос: где можно взять такие деньги, чтобы купить машину? Однако об этом молчали, считая, что это «не нашего ума дело». Только сержант-сверхсрочник ни о чем Павла не расспрашивал, а сам, улучив минутку, когда все умолкли, порывался рассказать и начинал издалека: «А вот в нашей части, где я в данный момент служу...» Сержант только что приехал в отпуск и теперь с нетерпением ждал, когда он кончится: ведь в части его уже, наверное, оформили на новое, непривычное и красивое звание — прапорщик! Однако сержанта слушали не так внимательно, как Павла, — каждый служил в свое время — и часто прерывали.

Когда солнце коснулось камышей над рекою, Павло расчехлил машину и поехал за почетными гостями, размышляя дорогой, как быть: забрать директора с директоршей и Лободу вместе или привезти отдельно. И что купить: коньяк и шампанское или водку и вино. Так, сомневаясь, и в магазин вошел.

В магазине было многолюдно, как и в любое воскресенье; мужики брали по «маленькой» и шли к реке «потолковать»; бабы раскошеливались на рыбные консервы и миргородскую воду; детвора толпилась за конфетами.

Павло поздоровался со всеми своим «заcссте» и, чув-

ствуя, что все смотрят на него, неожиданно для самого себя сказал продавщице:

— Две — коньяка, две — шампанского.

И выложил на прилавок четыре десятки, хотя нужно было три.

Когда выходил с бутылками, услышал за спиной шепоток, от которого приятно заныло в груди:

— Кто это?

— Да Павло Дзякунов, не узнал, что ли?

— Ишь ты, каким козырем стал.

— Денежный, поди, черт рыжий!..

Директор школы Иван Лукич, а по-ковбышевски просто Лукович, встретил Павла во дворе с помойным ведерком в руках — кормил поросят, растрогался вмиг, как всегда, до слез и стал извиняться, что не может в таком виде обнять дорогого гостя. Лукович был человеком мягкого, даже нежного характера, больше всего любил деятельность и имел в селе множество обязанностей: директорствовал, читал лекции на фермах и полевом стане, собирал местный фольклор, заведовал народным музеем, пел в клубном хоре, играл главные роли в пьесах, которые сам же и ставил, редактировал «Комсомольский прожектор», был членом сельисполкома и председателем товарищеского суда, а если ковбышевским футболистам нужно было защищать честь колхоза, бегал в длинных трусах по полю, сияя седым чубом, и пронзительно свистел в судейский свисток...

Выслушав приглашение Павла ехать в гости на машине, Лукович умоляюще замахал руками:

— Что ты, что ты, Павлик, мы люди негордые, придем и пешком. Сколько ж тут ехать!

И закричал жене, копавшейся в огороде:

— Наташа Филипповна! Бросай тяпку да переодевайся, Павлуша вот зовет нас в гости.

Он проводил Павла к машине и все говорил:

— Повырастали мои орлики, разлетелись по миру. Вот и ты мужчина уже, полноценный гражданин. Да так оно и должно быть. — И прибавил по-латыни любимую свою, заученную еще в институте фразу: — Tempora mutantur, et nos mutamur in illis [1].

Митрий Лобода, уже заметно хмельной, согласился ехать не сразу.

---

[1] Меняются времена, и мы меняемся вместе с ними.

— Мне сегодня звонили из области, представитель едет. Работу будет проверять, — сказал и посмотрел вдоль улицы так, будто «представитель» вот-вот должен был показаться из-за крайней хаты. В селе знали, что Митрия хлебом не корми, а дай повеличаться службой. Если к нему, например, обращался за помощью кто-нибудь из рядовых селян, Митрий говорил: «Некогда сегодня. Жду представителя из района»; если же кто поважнее — председатель кооперации, бригадир или продавец из магазина, брал выше — «из области».

Так и стояли перед воротами: Митрий не торопился идти во двор, Павло — садиться за руль, зная, что «полезные люди» любят показать характер. И чем ниже должностью, тем больше.

— Ну что ж... — начал Павло после долгого молчания и шагнул к машине. — Если такое дело, то...

— А может, его сегодня и не будет, черт-ть его знает! — быстро сказал Митрий.

Через минуту он уже хлопнул дверцей, опустил стекло и откинулся на спинку сиденья.

— Гони! — кинул небрежно, будто Павло был его собственным шофером.

Павло не обиделся. Привык терпеть подобных людей, потому лишь улыбнулся и погнал машину.

— Много бензина жрет? — спросил Митрий так, будто он тоже имел машину и она «жрала» много бензина.

— Смотря какая дорога, — ответил Павло.

Дальше не нашлось о чем говорить, даром, что когда-то вместе учились в школе, писали чернилами из бузины, играли в снежки, ухаживали за девчатами, приманивая их балалайкой, обклеенной газетами, чтобы не рассыпалась, и самодельным бубном.

Когда это было!

Гулянки-крестин, однако, не вышло. Началось с того, что Домаха, Дзякункина сестра, которая командовала у печи, забыла про рыбу, и та пригорела одним боком. Промахнулся и Дзякун, подпоивши лесника в кладовке, пока договаривались с ним об ольхе на шалевку. А так как разговор предстоял откровенный, то и сам выпил. Митрий, опьянев, стал угрюм и задирист, ни с того ни с сего обиделся, что перед ним не поставили, как перед директором, коньяка, и с вызовом, сухо блестя глазами,

пил домашнюю рюмку за рюмкой, причем только с сержантом.

— Служба! — кричал через стол. — Давай вдвоем! За армию. Люблю армию! Там нет сильно грамотных и сильно культурных. Там все равны! Пьем за армию.

Директор, чтобы как-то образумить своего бывшего ученика, пересел к нему, гладил по плечу, шептал на ухо, наверно, что-то ласковое и примирительное, — лицо его так и светилось отцовской лаской, но это, кажется, еще сильнее разъяряло Лободу, он вырвался из объятий и, в упор глядя на Павла, спросил:

— Ты, хамаршельда! Слышишь? Признавайся: на чем имеешь навар, что таким паном прикатил, а? Заработал? Брехня! Молчишь! Тот-то и оно!.. Солдат, начинай:

Дальнневосточная-я,
Опорра прочная-я...

— Та закусывай, Митрий, — холодно сказал Павло.

— Что — Митрий? У Митрия, думаешь, денег меньше, чем у тебя? Дудки! У Митрия, если хочешь знать, на каждом дубу хромовые сапоги висят! И на каждой ольхе!!!

— Не нужно, не нужно, Митенька, — ворковал директор. — Висят, верим. Вот и хорошо. А теперь споем. Помогай, Наташа Филипповна.

И начал чистейшим тенором:

Ой, гаю мій, гаю,
Зелений мій гаю,
Чом на тобі, гаю,
Листя — листячка немає?..

Митрий и в самом деле притих, словно ребенок, склонил голову на грудь и тихо заплакал.

— ...А вот в нашей части, где я в данный момент служу, — рассказывал Рите сержант, перекрикивая песню, — у каждого младшего командира, как и у офицеров, три формы: парадная, выходная и рабочая. В данный момент на мне парадная...

— А почему бы мне не выпить, Лукович, скажите? — с пьяной деликатностью допрашивал директора Дзякун, когда песня кончилась. — Почему? Ежели ко мне сын приехал? Да еще какой! Вы ведь не дадите со-

врать: если б не такое время, как тогда было, разве не выучился бы мой Павел на инженера или еще на кого? Выучился бы. У него и сейчас двадцать семь душ. И все слушаются. Потому что умеет...

— Павлуша — золото, — соглашался директор, лакомясь неподгоревшим рыбьим боком, — уважительный, выдержанный... Золото!

Услышав этот разговор, Митрий Лобода выбрался из-за стола, нетвердой походкой подошел к Павлу и крепко, как арканом, обнял его за шею.

— А помнишь, друг Павло, как мы с тобой... У-у-у! Не вспоминай! Думаешь, я забыл? Нет! Это твоя молодица? — ткнул пальцем в Риту. — Эй, молодица, приезжая! Хочешь, я тебе расскажу, каким твой муж в детстве, еще до ФЗУ, был?.. Ну? Рыжий, скупой, пучеглазый... И стервец! Только ты, Павлуша, не обижайся, я по-дружески... — Митрий засмеялся хрипло. — Ей-богу, не вру! А теперь гляди: пан, хамаршельда! Нет, скажи хоть ты, потому что он не хочет, на чем он навар имеет, а?

— Домой, Митенька, домой. Спать,— ласково советовал Лукович. — А завтра со свежими силами за работу.

— Нет, пусть скажет! — пьяно хохотал Митрий и так сжал Павлу шею, что тот побагровел, поднялся с лесником на плечах и потащил его из хаты.

Очутившись за воротами на лавочке, Митрий скрипнул зубами, глубоко вздохнул и сказал уже сквозь сон:

— Нас не проведешь... Не-е-ет...

На дворе, низко над полтавским шляхом, светила полная луна. От хаты и сарайчиков лежали на земле длинные тени. Под завалинкой, облитые светом из окна, цвели и по-ночному свежо пахли желтые гвоздики, а под грушей прохладно блестел «Москвич».

Павло постоял посреди двора, прислушиваясь к немотной тишине в селе, и пошел к машине снимать аккумулятор, рассуждая, что тут, конечно, можно было бы этого и не делать, но кто его знает, на грех, как говорится, и курица свистнет...

В хате запели хором про «Ой ти, Галю», и Павло, отвинчивая аккумулятор, тоже подпевал:

Поїхали з нами,
З нами, козаками,
Краще тобі буде,
Ніж у рідной мами...

БОБЫЛЬ

Семьдесят лет прожил Свирид Хорошун и ни разу в жизни не стоял на базаре в ряду, чтобы выручить свежую копейку. Покупать приходилось: во время нэпа — коня, в войну — соль, спички и самодельное мыло, после войны пуд ржи как-то купил, чтобы грядку засеять. А торговать не торговал, хотя и было чем: картошка родилась хорошая и много, лук, чеснок, огурцы, яблоки в саду, груши, сливы синие венгерские, вишни... И все хорошего сорта, к тому же с молодого дерева, так как Хорошун дважды за свою жизнь сад, считай, заново пересаживал. Потому и родило как напоказ. Сушилось на узвар, засыпалось сахаром в бутылях, чтобы потом выиграться на самое лучшее питье — наливку. А больше раздавалось. Не всем, правда, а тем, кого Свирид считал людьми стоящими — не хитрыми, не подхалимистыми, работящими, каким был и сам: в работе — вол, в совете — мудрец, в компании — певец и весельчак.

За пятьдесят своих косарских лет никому не уступил Свирид Хорошун первой ручки, хотя были мужики и посильнее его, да, видать, не было у них той хватки в косьбе, какую имел Свирид. Случилось, правда, как-то, еще до войны, что Хорошун шел не первым в косарской цепочке, а вторым — за покойным Василем Карым. И не потому, что Василь косил лучше Свирида. Нет, просто председатель подговорил Василя поставить рекорд. Карый не был хвастунишкой, так и сяк отбояривался, потому что знал: не перекосит Свирида, хотя и здоровей его, и моложе на целых десять лет. Однако председатель настоял, и пришлось взяться за гуж. В селе до сих пор помнят, как все это происходило, и рассказывают младшим, даже детворе, чтоб учились быть рассудительными и не гонялись за ветром — его ведь все равно не догонишь. Если, к примеру, кто-нибудь брался за непосильное, его предупреждали: «Смотри, чтоб не получилось, как с Карым, — поднатужился, а потом и грех был». Это покультурнее. А большинство говорили напрямик: «Гляди, чтоб не пришлось подштанники стирать, как Василю Карому на рекорде».

А дело было вот как. До обеда Василь махал косой изо всей мочи — опередил косарей на целую ручку, хотя и исходил пóтом, а после обеда то ли съел мужик что-то не то, то ли переволновался, ну а к речке застирываться



бегал. Это все видели, и домой пешком не дошел — на подводе доставили. Свирид, косивший вторым, несколько раз пускал косу почти у самых пяток Василя и говорил мирно: «Может, Василь, хватит?» Не насмехался, а просто так говорил, жалея хлопца. На другой день опять косили, и Свирид, как всегда, шел первым, потому что Василь слег. Так и не уступил Свирид своего косарского первенства никому — ни на сороковом году жизни, ни на пятидесятом. А там пошли комбайны, косилки, и косари стали не нужны.

Еще Свирид лучше всех подавал в барабан молотилки, и если он, а не кто-нибудь из подменных, стоял у барабана, машинист преспокойно спал под паровиком на соломе — не боялся, что барабанщик пошлет в барабан перетрушенный сноп и маховик сбросит ремень или еще что-нибудь случится от неловкости подавальщика. Машина гудела ровно, как улей с пчелами.

Можно было бы насчитать немало работ, в которых

Свирид Хорошун был первым, но слишком уж много их переделано стариком за его век.

На пенсию вышел Свирид в шестьдесят пять, с медалью за хорошую работу и приемником «Рекорд», который подарило ему правление колхоза.

Теперь время Свиридово проходило в домашних хлопотах, вечерних беседах с одногодками да за курением. Жены у него не было никогда, потому что в войну с немцами, еще кайзеровскими, повредил ему осколок ту часть тела, которую Свирид называл «аппаратом». На старости, конечно, можно было бы взять какую-нибудь бабу просто для пары, чтобы хоть стирала да есть варила. И охочие случались — сами приходили свататься. Но Свирид уже так привык жить бобылем, что даже в переговоры с ними не вступал. Не хочу — и все тут.

На старости Хорошун сделался таким скупым, что дальше уже и некуда: сгнила доска в заборе — новой не вставит, хотя досок у него достаточно и даже дубовые есть; потеряла какая-нибудь машина охапку бамбука напротив его двора — куда тот бамбук везли и для чего, неизвестно, — Свирид первым выбежит на дорогу, притащит бамбук в сарай. И сколько потом сельские рыбаки ни просили у него на удилище, всем отвечал: пусть лежит, пригодится. Падают в саду фрукты, гниют в траве, винный дух от них на все село разливается, а никому и яблочка не даст, хотя бы попробовать. Соберет, обрежет гниль и посушит тоненькие зеленые кружочки или на сок в корытце передавит. Одним словом, скряга скрягой. Селянам даже смотреть на него жаль: рехнулся человек. Или о смерти забыл. А ведь про смерть грешно забывать. И то еще удивительно: в молодости, когда человеку все нужно, раздавал, что имел, на все стороны, а теперь, когда ничего уже не нужно, кроме солнца в затишке, тепла в хате для старых костей да еды, легкой для уставшего желудка, — все под себя гребет. В кладовке высыхают в плетеной корзине сотни яиц, стоят вдоль стен мешки с сушеными фруктами, изгрызенные мышами на муку, весной из них какая-то мошка тучей во двор летит. В хлеву на перекладинах шашель точит новые доски — пятидесятки, сороковки, тридцатки... По углам кадки рассохшиеся, наполненные до краев сосновыми шишками, золой, окаменевшей известью и желтым мелом, которые уже никуда не годятся. Дрова поросли грибком; хворост, нарубленный кто знает когда, слежался и сгнил

в середине; снопы соломы ржаной, побитые мышью... Только бамбуку ничего не сделалось, потому что растение это нездешнее, ни один вредитель его не трогает.

— Дедушка, зачем вам все это? — допытываются у старика и молодые, и пожилые соседи.

— А на то, — отвечает Свирид. Или молчит, будто и не слышит.

Он-то знает, для чего ему все это. Кто-кто, а он знает. Ночами, когда не спится старому, возвращаются к нему кони-года, и каждый год целый, словно день, потому что слежался в памяти, и дней тех много, ясных и черных, счастливых и несчастливых. Ясные молчат, светят далекими тихими звездами и, как звезды, не греют. А черные стращают:

«Забыл, как ты копался весной в грязи, когда еще вода с грядки не сошла, да искал вымерзшую, сплюснутую в оладушек картошину, чтобы растереть ее с горстью кукурузной муки, а потом испечь на сухой сковороде горькую лепешку?..»

«Забыл, как ходил в обмотанных рукавами от старого ватника галошах, что смерзлись за день и клещами сжимали ноги?..»

И наутро, проснувшись и позавтракав куском хлеба с яблоком или кружкой вишневого чая, принимался Свирид хлопотать по хозяйству. Если же делать было нечего, шарил во дворе, в саду или на дороге — может, найдется что-нибудь подходящее. Увидит в траве фасолину, выпутает из спорыша и принесет в хату — в горшок с фасолью положит; заприметит усохшую веточку на яблоне или груше — взбирается к ней по-стариковски неловко, чтобы обломить, — и в сарай ее, к дровам.

И так каждый день. Не живет, а охотится. На глазах у всего села, вызывая у людей жалость, или смех, или издевку. Но Свирид этого не то что боялся, а будто и не замечал.

«Смейтесь, смейтесь, посмотрим, кто плакать будет».

Боялся он единственной родственницы своей, племянницы Марфы, тоже одинокой, пожившей уже молодицы. Прибежит она, бывало, принесет горячих пампушек, меду базарного кружечку, а то и борща в горшочке горячего, и если он не успеет заметить ее еще издали и позапирать свои арсеналы, то Марфа, кажется ему, так и впивается взглядом в его добро.

«Ишь, пожирает, пожирает, будто она его нажива-

ла!» — думал Свирид зло и норовил хотя бы собою загородить двери кладовки, хлева или подступы к погребу. Да разве прикроешь, если она делает вид, что в хлев разогналась, а сама уже, глядь, в погреб шастнула.

«Как моцоклет!» — возмущался Свирид.

Более едкого сравнения не находил, потому что больше всего в жизни ненавидел мотоциклы. Может, потому, что сосед-тракторист вот уже десять лет будил его до рассвета своей двухколесной машиной.

«Дыр-дыр, дыр-дыр!» — передразнивал Свирид, услыша, как сосед заводит мотоцикл. Еще и вслед ему, когда тот выезжал далеко за село и мотора уже не было слышно, дыркал и плевался.

И не елся ему ни мед племянницын с пампушками, ни теплый хлеб с борщом.

«Подлизывается, думает, за ложку меду завещание на хозяйство скорее выудит. Ждет, видать, не дождется, пока дядька ноги протянет. Ну да подожди, подожди...»

Ему и в голову не приходило, что Марфе больно смотреть на него, старого, изнуренного работой, едой всухомятку и бессонницей от мыслей, как бы приумножить свое добро; что копается она в его тайниках только для того, чтобы спасти хотя бы то, что можно, ведь все же пропадет, не из чего будет дядьке и супа сварить зимой! Сгниет от старой прошлогодней картошки молодая, насыпанная сверху, превратятся в труху от старых свежие сушеные фрукты...

«Ишь ты, перещупывает! — бубнил Свирид. — Щупай, щупай!.. Еще не скоро будет сладко! Еще мой ворон не скоро прокаркает...»

Свирид решил не умирать до тех пор, пока космонавты не найдут еще одной земли с людьми и пока он не узнает, какая там жизнь: есть там правители или нет, верят ли те люди в бога или нет, а если верят, то в какого — отца, сына или святого духа. Главное же, как там строят хаты: так, как у нас, или, может, не так? У нас, например, окна в стенах, а у них, может, в потолке — кто знает.

Бывает, идет кто-нибудь мимо Свиридова двора подвыпивши — а есть и трезвые да глупые, — увидят старика за какой-нибудь работой, и:

— Стареем, дед?

— Конечно, не молодеем, — Свирид на это.

— А не страшно умирать, дед?

— Не знаю. Когда буду умирать, приходите, скажу.

— Неужели так ни разу про смерть и не думали?

— А зачем про нее думать? Придет — окликнет.

— А куда вам, дедушка, хочется попасть — в рай или в ад?

— Куда пошлют.

— Разве, дедушка, и там начальство есть, а?

— А как же! — уже весело скажет Свирид, потому что чувствует еще силу в теле, почему бы не пошутить.— Без начальства нельзя!

Когда же от села в район пустили автобус и селяне, кому было с чем, взяли моду ездить в городок на базар, зажил Свирид как никогда. Наберет две корзинки яиц, отвезет — деньги; зарежет двух-трех петушков, продаст — деньги; сбудет мешок сушеных фруктов — деньги.

Трижды в неделю базар. И три дня эти для Свирида — праздник.

Сначала не очень-то у него покупали. Стоит ошарпанный дедок, фуражка разве что курице на гнездо сгодилась бы, сам такой дохлый, стеганка вату показывает, сапоги, штаны — срам один. Потому и обходили. Тогда сообразил Свирид, что покупатель не просто человек с деньгами, а продавец не просто человек с товаром, иначе почему же у тех, кто лучше одет, охотнее и покупают. И приоделся, не отличишь в ряду от других: стеганка новенькая, крепко держится на швах, сапоги солдатские с вывернутыми передками, фуражка черная суконная, приятно тяжеленькая... О! Сразу дело закрутилось колесом. Не пройдет и полчаса, глядишь, размели все, что привез. Так, что хоть вторую ходку делай!

За лето научился и торговать. Привлекал покупателя не разудалыми выкриками: «Кому еще, подешевле отдаю, а ну подходи!» — а лаской и правдой:

«Вот крашанки[1]. Одна в одну. Рубль за десяток».

«Вот яблоки на узвар. Антоновские. Как солнце. Рубль за кучку».

«Вот петух. На совесть кормленный. Шесть прошу...»

И это была чистая правда: яйцо одно в одно, сушка и вправду из антоновки и вправду как солнце, петух откормленный действительно на совесть.

Однако продавал Свирид не все, нет. Ибо знал из опыта, что деньги не всегда в ходу: что захотел, то на

---

[1] Крашанка — яйцо.

них и приобрел. Деньги порой не больше, чем бумажки, которые только хрустят. Бывало такое. Поэтому завел у себя в кладовке тайник — соорудил закром с крышкой под замок и держал в нем: три центнера пшеницы, мешок кукурузы, несколько горшков фасоли, мешок сушеных вишен — словом, то, что долго сохраняется.

И зажил старик крепко, уверенно, как маленькая, однако сильная держава: голыми руками ее не возьмешь. Порой даже ловил себя на мысли, что ему хочется, чтобы наступил черный день или хотя бы тень этого дня. Вот тогда Свирид сказал бы тем, кто над ним насмехался: «А что!» Опомнившись, однако, гнал эту мысль прочь, стыдясь ее, покашливал, хмурился, сердитый сам на себя, и говорил вслух: «Пусть живут люди, зачем же так». И вновь уважал себя, как прежде.

А вечера какие приятные наступили для Свирида! Раньше, бывало, сиди, скучай, жди, пока сон старческий поздний придет, слушай, как в уголках мыши грызут добытое каждодневным трудом. К тому же кот обленился, только спит да парубкует ночами, стервец... Как человек. Пока есть у него всего вдосталь — роскошествует, лодырничает; нет — скулит. Ну и порода!..

Теперь не то. Теперь затопит Свирид печку — ужин приготовить (ведь для того, чтобы корзинки к автобусу таскать, сила нужна, а чтобы сила была, есть нужно хорошо), сядет, праздничный, на стульчик напротив огня и разравнивает ладонью деньги на колене. Потом сложит их в стопку и придавит чем-нибудь тяжеленьким: пусть слежатся, немятые деньги и в руки брать приятнее.

С мелочью хлопот побольше: часть нужно оставить на сдачу, часть обменять в магазине на бумажные. Потому долго звенит серебришком, пока рассортирует.

Когда выручка пересчитана, Свирид вкладывает ее между страницами евангелия так, чтобы знать потом, где какая валюта лежит: десятки в главу «От Матвея», пятерки — «От Луки», трояки — «От Иоанна», рубли — за обложку. Потом спрячет книжицу на печку, прикроет всяким тряпьем и чихает так, словно кнутом щелкает — душит его пыль, которой это тряпье пропитано. Отчихавшись, слезает с печи, ходит по хате от двери в угол, до иконы, почерневшей Варвары-великомученицы, туда-сюда, туда-сюда, бух-бух новыми сапогами. И под стук новеньких каблуков тянет его маршировать: припоминалась служба в солдатах и песни, которые пели в походах,

не теперешние, а тогдашние. И он запевает, хотя и хрипловато, зато по-молодецки, чеканя слова под каждый шаг:

Все вым-пе-лы вьють-ца и це-пи гремят,
Послед-ний парад наступа-а-ет,
Вра-гу не сдае-от-ца наш гор-дый «Варяг»,
Поща-ды никто не жала-а-ет...

Но вдруг остановится посреди хаты, словно наткнувшись на невидимую стену, скажет: «Тьфу! Как сдурел!» — и укладывается спать на жесткую деревянную кровать, которая умеет скрипеть на все голоса.

За два года торговли на базаре, летом, а как выпадет теплый денек, так и зимой, набралось у Свирида денег столько, что евангелие уже не закрывалось, и он, поколебавшись, отнес их на почту. Колебался долго, потому что никогда и ничего еще своего кровного не отдавал в чужие руки, непривычно как-то и страшновато: а ну как не отдадут! Скажут, где, дед, деньги взял? И не отдадут. Когда же узнал от людей, что государство не только сберегает трудовую копейку, но еще и проценты платит, отнес. Подать, правда, не сразу подал, а спросил у Сашки-почтаря, молодого еще, вечно торопящегося куда-то хлопца в очках, который, говоря, глотал по полслова:

— А сколько это, Сашко, за год процентов набежит, если я тебе шестьсот сорок два рубля сдам?

Почтарь схватил ручку, застрочил на бумажке какие-то цифры, шептал, черкал так, что из-под пера мелкие капельки чернил брызгали, потом сказал:

— Де'тнадца' 'блей и десят' коп, д'шка.

— Ты не спеши, — урезонил его Свирид. — Это тебе не марочки, а деньги.

— Де-ят-над-цать... — по складам повторил Сашко. Свирид удовлетворенно прокашлялся и вытащил деньги, завернутые в платочек и завязанные узлом.

— Пересчитай. И выписывай книжечку, пусть лежат у тебя.

Дома рассмотрел книжечку как следует: полистал, слюня палец, посмотрел листочки на свет. Ничего, волночки какие-то нарисованы синенькие, цифры печатные. Только тонкая очень. И вздохнул: с деньгами было лучше, веселее. А это так себе, книжечка, и все.

Как-то зимой, когда началась оттепель — каплет каждый день, туманы, — стало Свириду трудно дышать. Так трудно, что воздух, казалось, только до горла доходит,

а дальше нет. «Может, это она и есть?» — подумал Свирид и попросил соседей, чтоб позвали Марфу.

Прибежала, перепуганная, глаза лихорадочно горят. Что, как, чего вам, дядя? Может, купить что-нибудь, врачиху вызвать? Не нужно. Разве врачиха бог? Пора, видно, оттого и забирает... Ишь ты, как обрадовалась! Врачиху...

— Пойди перепиши книжку на себя, — сказал твердо. — Вон там, на печке. В евангелии... Похоронишь как надо, по всем правилам.

И чуть не расплакался.

— Да чтоб поминала, гляди. Там есть на что.

Марфа плакала. А он лежал, сложив руки на груди, и торжественно смотрел в потолок.

— Креста железного не ставь. Дубовый закажешь. Там, в сарае, дубок под соломой спрятан. Попа не нужно. Нет сейчас путных попов. Музыки тоже не нужно. Певчие пусть поют...

Оттепель стояла долго. Марфа каждый день сидела возле дядьки — отпросилась на работе. А наступили морозы, Свирид поднялся. Как будто и не было ничего. И снова позвал Марфу.

— Принеси книжечку. Пойдем завтра перепишем назад. Видно, не пора мне еще...

И так каждую зиму, каждую осень: то сляжет Свирид, то встанет, то Марфе книжку завещает, то назад отписывает.

«Сердце у вас, дедушка, здоровое, как у младенца, — сказала как-то врачиха, молоденькая и веселая. Сама пришла, услышав о болезни старого. — Только питаться нужно лучше...»

А теперь уже и летом не всегда хорошо старому. Особенно когда задождит.

А жаль. Проценты на книжке растут, как грибы вокруг пенька. Уже до тысячи добирается.

Если болезнь отпускает, Свирид выходит со двора, сидит под забором на лавочке, шаткой, подгнившей, у самой земли. Издалека его и незаметно: забор серый, и Свирид серый. Только бородка белеет. По ней и узнают старика. И здороваются, считай, с нею.

Сидит и смотрит на дорогу, недавно заасфальтированную, шумную — машина за машиной, туда-сюда. Ку-

да они едут? Что везут? Ага, вроде как ящички повезли новые.

«Вот если б упал хоть один, — думает Свирид. — Ладные ящички».

А это вовсе и не ящички. Это прокомбинатовская машина вату в район повезла людям на одежду...

Пришел как-то к Свириду завклубом Семен, рыжий длинный парнишка. Завел разговор о том о сем. А потом:

— Нет ли у вас, Свирид Леонтьевич, чего-нибудь такого, чтобы в народный музей его? Вышитой сорочки, шапки старинной или крайки[1]?

— Такого нет, — ответил Свирид. — Косу возьми, если хочешь, в сарае висит, наклепана, тряпкой промасленной обмотана, — как часы.

— Коса у нас уже есть, — вздохнул Семен, поднимаясь.

— Тогда шагай дальше, — буркнул Свирид. И заерзал на лавочке, ища спиной солнце.

Завклубом ушел, а Свирид долго молчал, жмурясь на ясный день, на машины, что мчались одна за другой по горячему блестящему асфальту, потом сказал сам себе хрипло и обиженно:

— Только бы жить... Да ниточка рвется. Эхма! — И закашлялся отчаянно, и засмеялся сквозь хрипоту, и стал вытирать тощие слезинки под глазами.

ОТДАВАЛИ КАТРЮ

Поздней осенью, когда листья в садах уже опали и остались только на сирени да на верхушках тополей, к хуторскому завмагу Степану Безверхову приехала из Донбасса младшая из трех дочерей, Катря, и объявила, что выходит замуж. Катря пробыла в Донбассе, верно, около года — работала в шахтерской столовой то ли буфетчицей, то ли официанткой, — однако никто на хуторе, где всё и про всех знают, не надеялся, чтобы она так быстро нашла себе пару.

Родителей это известие не очень обрадовало, однако не так уж и опечалило, потому что подходящих женихов среди хуторских хлопцев было негусто, а Катре поверну-

[1] Крайка — тканый пояс.

ло уже на третий десяток — как ни жаль, отдавать замуж когда-то нужно. Расспрашивали только, когда и где будет свадьба, кем работает будущий зять и каков он собой. Катря устало отвечала, что свадьбу желательно было бы сыграть здесь, на хуторе, — ей все же веселей будет: как-никак среди своих; что избранник ее работает на шахте инженером-экономистом, а о том, каков он собой, сказала:

— Приедет — ему шахта дает «Волгу» на два дня, — сами увидите. Мне нравится. А вам... Вам ведь с ним не жить.

Спокойно сказала, но с такой недевичьей печалью в глазах, что родители поняли: каким бы там хлопец этот ни был, а отговаривать дочку или затягивать со свадьбой не следует...

Катрю положили спать в светлице на ее еще девичью кровать, с горой подушек, чуть не вровень с рисованным ковром на стене.

На том ковре из старого байкового одеяла заезжий маляр изобразил синее круглое озеро, двух долгошеих лебедей, которые целовались клювами, и все это обсадил большими красными и желтыми цветами — тоже круглыми.

В светлице было чисто и уютно, как бывает только в хатах, где не сыны, а дочки. На стенах, украшенные рушниками, висели портреты всех трех Степановых девчат — тонколицых, кудрявых, с чуть испуганными глазами: видно, что фотографировались впервые в жизни. Они были похожи друг на дружку, как близнецы, может, потому, что фотограф-портретист из Полтавы подрисовал им брови всем одинаково ровно.

Катря блуждала взглядом от портрета к портрету, мечтательно улыбалась, потом сказала отцу и матери, сидевшим рядышком на лавке против кровати и печально смотревшим на дочку:

— Он ничего. Только строгий и неразговорчивый. Вы, когда он приедет, не очень приставайте к нему с разговорами да расспросами, а то еще что-нибудь не так скажете... Это я прошу.

Степан промолчал, только суетливее, чем обычно, зашарил по карманам, ища папиросы, а Степаниха сказала тихо:

— Да что ж мы, враги своему дитяти? Уж как-нибудь постараемся угодить.

Когда дочь задремала, старики тихо вышли в другую комнату и уселись на теплой лежанке рядышком, так же как сидели в светлице. Долго молчали. Степаниха вздыхала, а Степан курил. Потом сказал:

— Видать, штука!

— Да уж какой попался, — печально ответила Степаниха.

Свет не включали. Степаниха на ощупь постелила постель — себе на железной кровати, которая горела в войну, однако еще держалась, мужу — на лежанке. Степан тем временем пошел в хлев, бросил корове в ясли охапку сена, что-то сердито бормоча, потом ни с того ни с сего ударил корову навильником и сказал:

— Повернись, стерва собачья! — И сразу у него отлегло от души, стало жаль и корову, и жену, которая все умела терпеть и никогда не ссорилась, а только вздыхала, и дочку — последнее свое утешение. Думалось, приведет в дом хорошего парня, хозяина молодого, и будут жить на всем готовом, для них же приобретенном, а им с женой будет к кому на старости голову приклонить, потому что старшие дочки, тоже не дождавшись сватов в хату, поехали искать свое счастье — одна в Сибирь, по вербовке, другая на целину. Ехали ненадолго, а остались там навсегда. Повыходили замуж, обзавелись детьми, теперь только письма кое-когда шлют да дописывают после «До свиданья». «Целуем вас, папа и мама, семья Андреевых». Это старшая. А средняя, характером помягче да поласковей: «Целуем вас, дорогие папочка и мамочка, семья Евтушенковых». Приезжали как-то с детишками и мужьями. Ничего хлопцы. Бойкие, разговорчивые, собой хороши. Внуков и внучек навезли полдвора — щебетунчиков маленьких. «Дедушка, а это как называется?» — «Цеп». — «А что им делают?» — «Молотят». — «Как?» — «А вот так».

«Бабушка, а кому это такой большой чугун картошки?» — «Паци, деточка». — «Паци? А кто это? Поросенок?!» И хлопают в ладошки да подпрыгивают: «Пацяпаця, паця-паця!»

Говорил зятьям: «Оставайтесь, хлопцы, тут. Хаты вам всем хутором поставим в одно лето, приусадебные участки колхоз нарежет такие, что сады за два-три года выгонит, как из воды; телочку, поросят дам на развод, на новое хозяйство». А они: «У нас, папаша, там родные, там квартиры, заработки неплохие — чего же еще?»

Правильно, конечно. Кто ж свое родное бросит или от добра добро искать станет?

Теперь и Катря вылетает из родительского гнезда. Оставайтесь, папа-мама, ни с чем, живите, как знаете. «Мы вам на старости все вместе помогать будем, а если захотите — к себе заберем». Спасибо, дети. Вот только кто воды подаст, как захвораем, кто деда дедом назовет и на плечо кто попросится, чтобы повозил, как лошадка, кто бабке дров наколет или попросит сказку рассказать, кто за садом присмотрит, чтоб не захирел, а цвел-разрастался каждую весну, кто отцовскую да материнскую песню запоет зимними вечерами?

«Заберем». Вон Килину Волоховскую забрали было дети. Хата два лета пустая стояла, ребрами светила, стекла радугой переливались, словно их кто дегтем намазал, садик по самые ветви бурьяном зарос. Не двор, а заброшенная могила, только ежи по ночам в бурьяне хрюкали да одичавшие коты глазами светили. Продать бы, но кто ж ее купит, если все в странствия пустились. А этим летом вернулась Килина. «Тут родилась — тут и умру, — сказала дочке и зятю. — Если хотите, чтоб мать дольше прожила, не вывозите меня никуда, не трогайте с места». И снова ожила усадьба, сад стал чистым, хата белыми стенами красуется, а ежи и коты исчезли.

«Заберем»... Эге-ге! Разве что мертвых. Тогда — все равно.

Корова шуршала сеном, похрустывала сухими стебельками и похлестывала Степана хвостом. Степан уже не сердился на нее, отмяк душой. Еще немного постоял посреди двора, прислушиваясь, как набирает силы ветер. Голые деревья в саду не шумели, а трубили в осенние свои трубы.

Не спали долго. Решили со старой, что завтра нужно позвать Кузьму Белокобыльского, мастера резать свиней, и заколоть годовалого кабана пораньше, чтобы к вечеру уже и с колбасами управиться — до субботы ведь осталось всего три дня, а холодца можно будет и в четверг наварить; масло подсолнечное решили взять готовым, обменяв на маслобойне на семечки; мука была своя. Степаниха прикидывала, кого позовет стряпать, а Степан рассуждал вслух, сколько нужно будет самогонки, если пригласить на свадьбу всех родственников и хуторян:

— Андрюшка выгнал сегодня две бутыли. Давал

пробовать — хороша: в ложке горит и на пол капает — горит. Скажу, чтоб придержал. Завтра Мотря Решетковская собирается гнать, думаю, не пожалеет на такое дело. Да и Федор, брат, без своей не живет. А еще в лавке возьму ящик, ведь сваты тоже, наверно, приедут.

Так за хлопотами забылась и печаль.

— Одним словом, как-нибудь утрясется, — сказал Степан, зевая, и вскоре уснул, а Степаниха еще долго ворочалась, вздыхала, тихонько всхлипывала и задремала уже перед первыми петухами.

— Как же, дочка, свадьбу будем играть? — спросил утром Степан, свежуя уже внесенного в хату кабана. — По-старому или по-новому?

Катря одной рукой помогала матери хлопотать у печи, а другой придерживала под грудью концы большого цветастого платка. В этом платке, старинном, еще бабкином, сберегаемом на дне сундука, как самое драгоценное сокровище, которое каждой осенью перекладывали листьями ореха от моли и для запаха, Катря была похожа на хорошенького обиженного ребенка с глазами огромными, полными взрослой печали.

— По-новому, папа. Посидят люди, погуляют и разойдутся.

— А может, и дру́жек поводила бы да пригласила людей на свадьбу, хотя бы родичей, тех, кто поближе? — несмело спросила Степаниха.

— Какие там дружки, мама, — улыбнулась Катря. — Да и кто тут из моих ровесников остался...

— Ну хоть фату наденешь?

— Надену, если хотите.

— И то слава богу, — обрадовалась Степаниха.

— Теперь такая мода пошла, что по-нашему уже ничего не делают, — подкинул резчик Кузьма Белокобыльский, прищуривая единственный свой глаз. Он резал сало на широкие полосы, потом ровненько делил на куски и, густо посыпая солью, складывал в крепко слаженный немецкий ящик из-под мин. — Теперь так: раз, два — и в дамках! А бывает, сегодня свадьбу отгуляли, а завтра — га-га! — глядишь, молодую уже и в родилку отвезли!

Катря покраснела, низко наклонила голову и вышла в светлицу. А Степаниха сказала сердито:

— И такое же смелет при дитяти, что, господи, прости и помилуй.

— А что, разве не правда? — обиделся Кузьма. Он был добрый человек, подначивать не любил, а всегда говорил простосердечно, как думал, потому и не понял, за что на него рассердились.

— Хватит вам, — вмешался Степан. — Подавай, мать, свежину [1] на стол да будем завтракать.

После доброй чарки Кузьма растрогался и раза три пожелал Катре, чтоб ей с мужем «жилось, как с горы катилось», чтоб детей «навела» побольше да не забывала отца с матерью в «чужом, далеком краю». Кузьме казалось, что Донбасс где-то за морями да горами высокими.

Катря прилегла бочком на подушки, закрыла глаза платком и заплакала, а Степан, побагровев после стакана «домашней», часто заморгал, быстренько завязал в узелок резчику на гостинец кусок грудинки, два куска сала и, поблагодарив за помощь, выпроводил Кузьму за ворота.

— Перестань хныкать! — прикрикнул с порога на жену, заметив на ее щеках красные от печного огня слезы. — Что это тебе: свадьба или похороны?!

Степаниха быстренько утерлась и сказала так, словно и не она только что плакала:

— Без тебя знаю, что свадьба. Ты вон с утра нализался, так тебе и все равно, а матери, может, и поплакать хочется.

Степан смолчал, как всегда, когда бывал навеселе, прошел в светлицу, погладил дочку по голове, как гладил когда-то маленькую, и сказал:

— Не плачь, Катюша, не горюй. Тут, видишь, такое дело: не век же тебе жить при родителях. Достань-ка лучше мне одежу, пойду лавку открою, потому уже и так поздно.

В лавку Степан пришел, как новая копейка: в широких галифе прочного синего сукна, хромовых сапогах и куртке из той же материи, что и галифе. Еще и тонкими дочкиными духами благоухал — Катря попрыскала ему воротник.

Люди, толпившиеся у лавки, встретили Степана вежливенькими приветствиями, а не руганью, как это быва-

---

[1] **Свежина** — свежее жареное мясо.

ло всегда, когда завмаг опаздывал, — знали все: у человека хлопоты.

— Хлеба набирайте, чтоб хватило до самого понедельника, — объявил Степан. — Потому, как мне некогда будет, сами понимаете. А еще дочка просила — да и мы со старухой просим, — чтоб приходили в это воскресенье на свадьбу.

Хуторяне учтиво благодарили, расспрашивали, где будет гулянье да кто жених.

— На дворе посидим, если погода будет стоять, чтоб все поместились. А жених — главный инженер на шахте, — приврал Степан, думая, что «Волга», на которой приедет зять, свое дело сделает: кому б еще дали гнать такую машину за четыреста километров, как не главному инженеру...

Люди почтительно кивали головами, те, которые жили ближе к Степану, обещали одолжить столы, стулья и посуду, и все брали хлеба с избытком.

Женщины сразу же расходились, а мужчины терлись у прилавка и, когда последняя молодица, нагрузив полную корзину хлебом и ситро, вышла, вроде бы полушутя, с улыбочками да подмигиванием, заегозили возле Степана:

— Может, Кондратович, ради такого случая того... до десяти... — И начали шарить по карманам, доставая мятые рубли, а кое-кто копался за пазухой для вида: мол, чего спешить поперек батьки в пекло, может, завмаг на радостях и свою выставит.

Степан и вправду отмел ладонью кучку денег, сказав: «Заберите, я угощаю», накинул на двери крюк и достал из-под прилавка две бутылки «Столичной».

После двух пили еще и третью, закусывая консервами из камбалы, хлебом и пряниками, похваливая всех Степановых дочек за красоту и за то, что вот так ловко сумели «пристроицца» в жизни, пока Петра Малинюковского, знаменитого хуторского певца, не потянуло на песню. Тогда Степан легонько хлопнул ладонью по прилавку и сказал:

— Хватит, хлопцы, у меня еще работы да работы.

Мужчины, кто пошатываясь, кто ступая тверже, чем нужно, разошлись, а Степан запер лавку и отправился в село приглашать брата Федора, музыкантов и председателя колхоза, рассудив, что телевизора молодым он, конечно, не подарит, потому что они не колхозники, а

соломы корове на подстилку или дров при случае выписать не откажет.

Из села Степан вернулся навеселе, и так ему стало жаль Катрю и себя с женой, что он заплакал. Однако бодрая мыслишка о том, что выдает дочь не за когонибудь, а за главного инженера шахты (повторив свою выдумку брату, председателю колхоза и еще нескольким селянам, Степан и сам поверил в нее), успокоила, он умолк, вытер пьяные слезы и заснул, как был — в сапогах, праздничных галифе и шелковой рубахе.

В воскресенье с самого утра во дворе у Степана уже толклись люди: родственники, соседи, старухи. Ставили в ряд столы от самых ворот до сада, мастерили лавки из желтых, хорошо выструганных досок, а в боковушке и сенях все, даже пол, было заставлено мисками с холодцом, узваром и киселями. В светлице на столе, обставленный свечками из чистого воска и украшенный калиной, красовался каравай; на кровати были разложены новенькое белое как снег платье невесты, фата, прозрачно-матовая, как березовая ветка в инее, венок и белые туфельки, еще не вынутые из коробки. Все это привезла Катря.

Свечки тихо горели, пламя на них колебалось, когда кто-нибудь открывал дверь в светлицу, и в хате стоял церковный дух. Катря сидела в красном углу, покрытая уже не по-девичьи, а как замужняя, тем же бабушкиным платком, и, не мигая, смотрела на свечи. Стряпухи, возившиеся в боковушке, улучив минутку, когда Степаниха выходила за чем-нибудь в погреб или кладовку, перешептывались меж собой:

— А Катря сидит, как с креста снятая.

— Видать, не очень сладкое будет замужество...

— Да и жениха нет, а ему еще вчера пора бы приехать...

На дворе распоряжался Федор, младший брат Степана, высокий, крупный мужчина с такими же, как и у Степана, тугими румяными щеками и острыми карими глазами, правда, более скрытными, чем у старшего брата, — может, потому, что Федор часто прищуривал их, словно целился в кого-то.

— Вон тот большой стол посредине застелите самой лучшей скатертью, там будут сидеть жених с невестой и гости, — командовал женщинами Федор. — А вот те два, что по бокам, можно застелить и теми, что похуже, там

посадим родителей и родичей. Дальше — для всех, можно и клеенками: не велики господа!

Голос у Федора был громкий и веселый, парубоцкий голос. Женщины охотно покорялись ему, хихикали и старались быть ближе к Федору, а он не упускал удобного случая одну ущипнуть, другую обнять за плечи и скользнуть пальцами по натянутой грудью кофте или шлепнуть пониже поясницы. Жена Федора, бедовая, нарядная, быстрая в работе, видела все это, однако не сердилась на мужа, а смеялась вместе со всеми и щебетала:

— Федя, ты бы и меня хоть разочек обнял, как вон ту Гальку, что аж дух у молодицы захватило!

— С тобой я и дома наобнимаюсь!

— Э, дома оно не так приятно! А в темненьких сенях — будто чужой!

Пора стояла, как в бабье лето. Из-за сада сквозь голые ветви желто сияло солнце, пахло еще не подгнившей, росяной листвой, холодной после ночи — она лежала под каждым деревом пышными кучами, а с поля тянуло ароматом вспаханной земли и осенней стерни.

Степан хлопотливо метался по двору, то показывал, где что нужно взять, то высылал мальчишек по очереди бегать за хутор и выглядывать, не видно ли от дороги легковой машины, то ходил вокруг столов и, тыча пальцем да шевеля губами, уже в который раз подсчитывал, сколько людей поместится.

К обеду начали сходиться гости, и у каждого под полой если не бутылка, то две, а то и целая четверть. Пришли и музыканты из села: Иванушка-скрипаль, у которого верхняя челюсть выдавалась вперед, а нижняя немного запала; глаза у Иванушки были большие, серые и глядели на мир с доверчивой добротой; Шурко — баянист и завклубом, белочубый и застенчивый хлопец, который зимними вечерами, если в клубе никого не было, сидел в пустом фойе и сочинял свою музыку; Василь Кривобок — мастер играть на сопилке и конюх в больнице, который привез с войны один-единственный трофей — фабричную сопилку отличной работы; четвертым музыкантом был Мишко Мышлык, бубнист и колхозный шофер, который мог выбивать на бубне локтями, коленями, подбородком, головою и выкрикивал под гопак, краснея и вытаращивая глаза: «А давай-давай-давай! Гоп-ца! Га-ца-ца!» Музыканты, потихоньку переговариваясь меж собой, пробовали инструменты, а Иванушка и

Шурко настраивали скрипку: Шурко давал ноту, ведя ее долго, а Иванушка побренькивал струнами, то подтягивая их, то отпуская. Потом, для пробы, проиграли одно коленце из белорусской польки, сложили инструменты на скамье возле хаты и закурили: Степан не велел играть, пока не приедет жених.

К двенадцати часам двор был полон народу. Мужчины, видя, что свадьба затягивается, сели за крайние от сада столы и принялись играть в карты. Все они, как один, были в теплых выходных куртках, желтых или черных кожаных шапках, галифе и хромовых сапогах. Женщины цвели цветастыми платками, как маковая грядка, а детвора играла в ладки, шныряя между взрослыми, как воробьи между голубями, за хатой, за хлевом и погребом.

Но вот прибежал запыхавшийся мальчик, посланец Степана, и крикнул:

— Едут, едут!

Мужчины быстро собрали и припрятали карты, поднялись и следом за детворой да женщинами двинулись к воротам. Тут уже стояли четверо хлопцев из тех, которые еще не женаты, пересмеивались и перемигивались, ожидая жениха: они должны были брать магарыч и чувствовали себя немного неловко. Степан вертелся возле них и шептал то одному, то другому:

— Вы ж, хлопцы, глядите, того... делайте дело ладком да мирком, чтоб, не дай бог, драки не затеяли, а если что, я вам своей ведерко выставлю.

— Своей, дяденька, неинтересно!

— Ты, Кондратович, не мешай хлопцам. Что ж то за свадьба без магарыча за молодую.

В конце хутора поднялась пыль — ленивая, осенняя; куры, раскинув крылья, метнулись с дороги под плетни, и «Волга» на полной скорости подскочила ко двору. Толпа притихла, подалась вперед так дружно, что ворота затрещали. Из машины вышли трое: два молодых человека, среди которых трудно было опознать жениха, потому что оба они были одеты одинаково хорошо: в белых нейлоновых сорочках с галстуками, сурово-торжественных черных костюмах и новеньких «болоньях». Третьей была женщина, видно, мать жениха, сильно напудренная и с ярко накрашенными губами.

«Ишь ты какая пани сваха у Безверхих...», «Который же из них жених, а который боярин?» — зашептали в

толпе, проталкиваясь вперед либо становясь на цыпочки.

Хлопцы-магарычники тоже растерялись: с которого же требовать магарыч?

— Просим дорогих гостей во двор, — поклонился Федор и обеими руками указал на калитку.

«Невеста!» — крикнул кто-то в тишине, и все обернулись к хате: там на крыльце стояла Катря — в белом просторном платье, скрывающем талию, калиново-серебряном венке над короной аккуратно причесанных волос и длинной фате, которую, словно волну тумана, держали на руках девочки и молодицы в старинных вышитых рубахах и цветных платках с длинными шелковыми кистями — румяные, улыбающиеся, взволнованно-любопытные, им не терпелось поскорее увидеть жениха: кому навстречу вывели такую красавицу? Катря стояла, опустив руки вдоль тела, от чего ее узенькие плечи стали еще у́же, белая тонкая шея, которой словно никогда не касался солнечный луч, стала еще длиннее; голову Катря чуть наклонила и исподлобья смотрела через головы хуторян туда, на улицу. Глаза Катри сияли тихой смущенной улыбкой, а губы дрожали от волнения (сроду на нее не смотрело столько людей), она прикрыла их пальцами и не пошла — поплыла к воротам, как пава.

— Гляди, какую красавицу вырастил Степан, — зашептали женщины.

— Дева непорочная — да и только...

— И куда наши хлопцы глядели?..

— А что б она тут делала — за свиньями ходила?..

— Вон, вон жених, гляди: к калитке идет!..

Жених — это был хлопец лет двадцати восьми, с жиденьким чубом, зачесанным наискосок редкой расческой, чуть ли не ниже Катри, однако широкий в плечах, суровый лицом, немного изнеженным и бледным, — чуть улыбнулся Катре и протянул было руку, чтобы открыть калитку. Но тут один из парней заступил ему дорогу, набычил голову и буркнул:

— На магарыч давайте.

— Что? — не понял тот.

— На магарыч, говорю, давайте. Нашу девку берете, нужно выкупать.

— Это, извините, так у нас заведено, — объяснил Федор, щуря на жениха улыбающиеся глаза, — ставить магарыч за дивчину.

— Гм, — гмыкнул жених и высоко поднял одну бровь. — Что ж, пожалуйста. — Достал из кармана кошелек, медленно перебрал деньги и протянул хлопцу новенькие, еще не бывшие в употреблении пятьдесят рублей.

— Вот так! — восторженно выдохнула толпа, а хлопец спрятал хрустящую бумажку и сказал уже милостивее:

— Теперь заходите.

Молодой взял Катрю под руку и повел к хате узеньким коридором, потому что хуторяне не очень расступались: каждому хотелось поглядеть на приезжих вблизи. У порога уже постелили коврик — новое рядно в черную и красную полоску, тканное еще до войны, а за ним стояли Степан с миской зерна и серебряных монет и Степаниха, она немного сгорбившись, а он — навытяжку, как солдат, с двумя орденами и полдюжиной медалей, приколотых негусто, чтобы их казалось больше. Катря трижды поклонилась родителям, а жених лишь голову склонил. Степан посыпал молодых зерном и деньгами, потом сказал как можно торжественнее:

— Живите, дети, в мире и согласии.

Степаниха тоже что-то прошептала, поцеловала Катрю и зятя, который стоял, все так же склонив голову, и закрыла глаза платочком.

Музыканты лихо ударили «Ойру» — и молодые двинулись в хату.

— К чему эта комедия? — недовольно шепнул жених Катре на ухо. — Собрались бы родственники, скромно, тихо...

— Пусть делают как хотят, — кротко ответила Катря.

Пока родичи толпились в светлице, знакомясь, — приезжая сваха при этом ни с кем целоваться не пожелала, а только подавала руку, называя себя Клавдией Константиновной, — стряпухи быстренько накрывали столы, выставляя пироги и сметану, соленья, вареную капусту, свежую колбасу в кольцах, а девочки и молодицы, которые держали Катре фату, вынесли каравай. Свечки сразу же погасли, зато калина непорочно рдела в солнечном луче, как свадебное знамя. Федор выставлял на столы самогонку в трехлитровых бутылях — сизую, синеватую, чистую, как слеза, — и вскоре над столами словно туман отстоялся — так много было бутылей. А над туманом тем, напротив каравая, где должны были

сесть молодые, словно церковки с серебряными куполами, возвышались три бутылки шампанского.

Когда на порог вышли молодые и сваты, музыканты грянули туш, потому что ничего другого подходящего не придумали, а это было знакомое: на торжественных собраниях играли, когда колхозникам вручали премии и грамоты.

Первому, как представителю власти, дали слово председателю колхоза.

— Дорогие товарищи, — сказал председатель, худой мужчина с длинным носом смирного человека и с глубоко запавшими щеками, — это хорошо, что мы выдаем сегодня Катрю Безверхову, но это и плохо. Хорошо, что человек нашел свое счастье — тут не радоваться нельзя, и плохо, потому что не Катря привела мужа в наш коллектив, а ее от нас забирают. Это — минус. Вот я и говорю: товарищи девчата и молодицы, которые не замужем, принимайте приймаков! — Тут председатель и сам засмеялся вместе со всеми, даже жених передернул губами, словно улыбаясь. — Заманивайте мужчин в наш колхоз! А мы, со своей стороны, будем строить вам хаты и давать лучшие участки. Вон в старом колхозном саду — разве не земля? Да там, как писал наш земляк Николай Васильевич Гоголь, воткни дышло, а вырастет тарантас! Так что милости просим. За это и выпьем!

— Правильно! — загудели мужчины, наливая себе в стаканы прямо из бутылей. — Говорит, как другой по бумаге читает.

— Правильно! — закричали женщины, те, что позадорнее, тянулись рюмками к молодым, к председателю, осторожно, чтобы не залить закуску, а музыканты еще раз проиграли туш.

Потом пили за родителей невесты и жениха, причем кто-то из подвыпивших, верно, еще до свадьбы, задиристо выкрикнул:

— А где ж это сват донбассовский? Или, может, посаженого отца молодому выберем, а?

— Свата нашего дорогого,— поднялся с рюмкой Степан, — срочно вызвали на совещание в Ворошиловград! Так что он отсутствует по государственным делам, и я пью за него заочно!

Степан сказал это так торжественно, а сваха, Клав-

дия Константиновна, так важно сложила ярко-красные уста свои, что кое-кто из хуторян наклонил голову, пряча улыбку...

Жених поморщился и что-то шепнул Катре, а та умоляюще посмотрела на отца: мол, я же вас просила...

Воспользовавшись тишиной, которая залегла на миг, из-за крайнего от сада стола поднялся Омелькович, грузчик при сельпо и первейший выступала на всех колхозных собраниях. Брат Омельковича работал где-то в Астрахани юристом, летом наезжал в село и консультировал всех обиженных, вот и Омелькович взял моду говорить грамотно и официально.

— Тарщи! — громко и уверенно изрек Омелькович. — Фактицски, юридицски и практицски перед нами уже не жених и невеста, а муж и жена!..

Катря залилась румянцем и спрятала глаза, жених высоко поднял бровь и смотрел на оратора с нескрываемым презрением, а остроязыкая жена Федора быстро-быстро застрекотала:

— Что ты, Омелькович, несешь-то? Ну как скажет, ей-богу, так словно в пепел дунет!

За столами грянул хохот, а Омелькович придурковато заморгал и сказал:

— Юридицски они уже расписаны, значит — все, возврата к холостой жизни нет, разве только через развод. Вот что я хотел сказать!.. — И победно сел.

Музыканты, хоть и были навеселе (перед их скамьей поставили две табуретки с самогонкой и холодцом), поняли, что речь Омельковича нужно как-то замять, перемигнулись и врезали польку-бабочку, но тут поднялся дед Лавро, знаток и блюститель свадебного обряда, махнул музыкантам, чтоб затихли, и сказал, дождавшись полной тишины:

— Кхи, а почему это ты, Катря, не перевязала жениха платком? Разве ты не хочешь привязать его к своему сердцу?..

— Верно! — зашумели женщины. — Это как следует!

А за столами, где разместились мужчины (если сядешь рядом с женой, разве выпьешь по-человечески!), загудели:

— Ежели захочет в гречку скакнуть [1], так и на веревке не удержишь, ги-ги-ги!..

---

[1] Скакнуть в гречку — изменить жене.

— Что-то очень манежится. Такое пфе только газеты читает да телевизор смотрит...

Катря медленно встала, выдернула тоненькими пальцами платочек из-под рукава — новый, шелковый, заглаженный в ровный квадратик, — ласково улыбнулась нареченному. Тот поднялся, подставил руку, словно для укола. Когда платочек на его рукаве сверкнул шелковым клинышком, свадебная компания, словно сговорившись, дружно крикнула:

— Горь-ко!.. Горь-ко!.. Горь-ко!..

Катря всем телом потянулась к жениху, готовая, казалось, хмелем обвиться вокруг него, закрыть глаза и лететь в поцелуе, как в пропасть... А жених, напрягшись в шее так, что аж воротник врезался, едва дотянулся сжатыми губами до Катриной щеки и коснулся ее — горячей, как огонь.

— Не так-ак! — завопили женщины.

— Так, как впервые, давай!

— Как наедине!

— Горько!

— Покажи, как инженеры целуются!

— Ха-ха-ха!..

— И-и-ги-ги!..

— Язычники, — тихо сказал Катре жених, когда они, поцеловавшись, сели, и пригубил из рюмки — она дрожала в его руке, а Катря выпила свою до дна и ответила мирненько:

— Люди как люди. Ты лучше выпил бы, как все.

Жених сурово взглянул на нее сбоку, однако промолчал и еще крепче сжал губы.

Женщины завели песню, простую, не свадебную, потому что понимали: если «у нашей княгини» еще как-то подходит невесте, то «у нашего князя» уж никак не подходит жениху. Такой напыщенный — и князь?! Нет!

Катря, осмелевшая после двух рюмок шампанского, тоже пристала к песне, сначала потихоньку, словно сама себе напевала, когда же мужчины могучими басами заглушили запевавшую, взяла вдруг первым, звонким и чистым, как фонтанчик на дне криницы, голосом:

Ой, братіку, сокілоньку,
Ой, братіку, сокілоньку,
Та візьми ж мене на зимоньку...

От песни этой старинной, до краев налитой печалью песни, с которой выросло не одно поколение хуторян и не одно поколение ушло на тот свет, у женщин дрожали на ресницах слезы, мужчины хмурились, глядели грустно и трезвели, словно и не пили, а Грицко Байрачанский витал своим дрожащим тенором высоко-превысоко, как одинокая птица под облаками. Казалось, не десятки людей пели эту песню, а одна многоголосая душа... Еще вчера Алексей Цурка слонялся возле клуба пьяненький, ища «врага» своего, чтобы отвести душу, а найдя (то был бывший бригадир), подходил к парнишкам и умолял первого попавшегося: «Ванька, пойди затронь бригадира, пусть он тебя ударит, а я ему морду набью...» Еще недавно Параска Жмуркова с пеной на губах грызлась с соседкой Ялосоветой Крамаренчихой за межу, когда пахали на зиму... А сегодня все они плечом к плечу сидели за столами и пели песню, знакомую еще с детства, и были похожи на послушных детей одних отца-матери. Они это были — и не они.

— Вот дают хохлы! — восхищенно сказал жениху парень, приехавший вместе с ним на «Волге». Громко сказал, надеясь, должно быть, что его за песней не услышат. Однако Федор Безверхий, сидевший неподалеку за семейным столом, все-таки услышал, прищурил острые глаза и спросил:

— А вы сами, извините, откуда будете?

— О, я, папаша, издалека,— снисходительно ответил молодой человек. — Я из Винницы. То есть родители оттуда. А я коренной донбассовец.

— А-а, это далеко, — хохотнул Федор. — Это у вас, в Виннице, говорят «рабый», вместо «рябый»?..

— Когда-то говорили, а сейчас — нет.

— Ну, тогда давайте выпьем за ваши края, — осклабился Федор. — По полному, чтоб дома не журились, как говорится.

Выпил, утерся платком и крикнул певцам:

— А чего это мы такую грустную завели? Разве веселее нет для такого дня?

— Ну, давайте «Із сиром пироги...». Давайте?

Но тут снова поднялся дед Лавро и сказал:

— Кхи, эту песню на моей памяти никто у нас никогда не пел. И не нужно. Потому что, если б казаки бились за девчинонёк и пироги, так мы уже были бы

турками. Пусть лучше музыканты играют, а то зачем же их позвали...

— Мне мою, хлопцы, — выбрался из-за стола Лука Илькович Власенко, бывший кавалерист и ротный повар, а теперь сторож при сельмаге. Всю свою жизнь, и довоенную и послевоенную, Лука Илькович танцевал на гульбищах только «Барыню». «Барыней» его и прозвали, а свой рассказ о прошлом он начинал так: «Когда служил я в кавалерии, то шашка у меня была длинная и на колесике...»

— Грей, Мишка, бубен, — распорядился Иванушка-скрипаль.

Мишка-бубнист поджег клочок газеты, немного подержал над пламенем свой самодельный инструмент из собачьей кожи — и бубен загудел, как колокол. Иванушка прижал скрипку подбородком к плечу, поднял смычок, Василь-сопилкар послюнил языком мундштук сопилки, Шурко-баянист взял аккорд, а Лука Илькович стал в свою любимую позицию: положил ладонь правой руки на затылок, левой подбоченился и выставил вперед укороченную раненую ногу. Потом сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Ну?!

Иванушка коротко взмахнул смычком — и баянист медленно, чеканя каждый такт, на одних басах заиграл выход. К басам незаметно подкралась скрипка и, сладенько вскрикивая, как лукавая молодица, пошла с ними в паре; за нею ручейком влилась в мелодию и сопилка, только бубен молчал, выжидая удобного случая...

Лука Илькович крадучись пошел по кругу, припадая на левую раненую ногу, а правую выбрасывая перед собой ровно, как аист, — глаза прищурены, короткие седые усы встопорщены, — подпирал верхнюю губу нижней, представляя капризницу-барыню. А Мишка-бубнист, будто насмехаясь над той великой пани, скривил набок большой рот и приговаривал в такт музыки:

Е-е-е ба-ри-ня ла-са, ла-са
до лю-бо-ві, у-да-ла- ся,
ба-ри-ня цяць-ка,
ба-ри-ня киць-ка...

Их-их, и-хи-хих — залились смехом медные погремушки на бубне и сразу умолкли.

Що не вечір, то й новий, —

захохотал бубен.

Що не вечір, то й другий!

И мгновенно мелодия закружилась, словно вихрь.

Бариня—кицька!
Бариня—ласка!

— А давай-давай-давай! — не своим голосом завопил Мишка, краснея и выпучивая глаза.— Гоп-ца! Гаца-ца!..

Лука Илькович и сам что-то выкрикивал, молол ногами пыль, взмахивал руками, как ветряк крыльями на сильном ветру, выгибал тело и туда и сюда, и так и сяк, и казалось, не танцует он, а кувырком ходит... Потом цоп — стал как вкопанный, и все, даже те, которые видели старого в танце не раз и не два, подумали: все, устал, конец. А Лука Илькович, выждав нужный такт, пустился вдруг снова, с такой яростью шлепая себя ладонями по икрам, бедрам, груди, по шее и подошвам, что уже и музыки не было слышно, а только одни хлопки. («После каждой «Барыни», — жаловался не раз Лука Илькович дядькам, — у меня все тело в синяках, и ладони, и пальцы — чарки не удержишь. Тьфу!»).

— Ну, дают! — выкрикивал сквозь смех «коренной донбассовец» и толкал жениха под бок.

Тот тоже смеялся — уже не скупо, искренне, и оказалось, что смех у него тихий, мягкий, как у восторженного парнишки, а зубы ровные и белые. Он обнимал Катрю за талию, чувствовал под пальцами ее остренький твердый живот, и приятная теплая волна отцовской радости омывала его.

— Выпьем, Катюша? Вдвоем. Выпьем за... — сказал тихо.

Она догадалась за кого, опустила глаза и снова подняла их на него — грустные, прекрасные, влюбленные до самозабвения, и кивнула:

— Я капельку, мне ведь уже нельзя, а ты все.

Ей хотелось обнять сейчас и дядьку Луку, и музыкантов, и всех гостей за то, что ее любимый снова стал таким ласковым и добрым, как в первые дни их знакомства...

— Молодец, дядько! — закричали гости, когда музыка умолкла и Лука Илькович, покачиваясь от усталости, направился к столу. — Качать танцора!

— Качайте, — согласился Лука Илькович, — только глядите не упустите, а то, если и другую ногу покалечу, тогда конец «барыням»...

Сильные хлопцы-трактористы несколько раз подбросили дядька выше стрехи, под всеобщий хохот хуторян, отнесли к столу и налили полный стакан — как премию. Музыканты тоже уселись вокруг своих табуреток с холодцом и водкой. А за столами, где сидели мужчины, был слышен вкрадчивый голос известного на весь сельсовет трепача Самойла Шкурпела:

— Поньмаш, черт, забегаю я, значить, в Берлин и спрашиваю: «Где тут Гитлер?» Гляжу, трясется один в толпе среди немчуков, усы вот так вот столбиком, чубчик набок и с белым флажком в руках... А сам в штатском... Гляжу: бочком, бочком, за спины прячется. «Хенде хох! — говорю. — Попался, фон гад?» — и автомат ему в грудь наставил. «Ком за мною», — говорю...

— Ну и брехло ты, Самойло. Гитлер ведь сгорел!

— Погоди, погоди, — обиделся Самойло, — ты сначала дослушай, а потом обзывай... Вот, привожу в штаб, а там таких, как мой, целая очередь стоит, душ триста. Двойники, поньмаш...

— Так ты сам забежал в Берлин или с войсками?..

— С войсками, но я был в авангарде.

— ...А я, когда служил в кавалерии, — уже едва владея языком после «премиальной», молвил Лука Илькович, — то шашка у меня была длинная и на колесике...

— Да-а, — отозвался младший Самойлов брат Семен, — когда я служил в Карелии, вызывает меня как-то раз командир полка и говорит: «Бери, сержант Шкурпела, семьдесят тягачей, сам во главу колонны и аллюром в тундру за лесом, а то нечем солдатам баню топить...»

— ...Думаешь, почему тот опошнянский Кольчик так много зайцев в прошлом году набил и всех — с левого дула? Потому что оно у него крестиком золотым прострелено... И перед каждой охотой он себе глаза волчьей желчью мажет — тогда видать ему черт те куда...

— ...Это правильно, что внедряют воспитание молодежи. Потому что фактицски она забыла, что к чему. Меня, бывало, в сорок шестом Захарко вызовет в сельсовет и говорит: «Собери хлопцев-допризывников, построй — и марш-бросок под Зинькивскую гору». Так я выстрою да как крикну: «Арш!» — так, брат, бояцца.

А практицски бегут. И ты бежишь. Бежишь и чувствуешь за плечами ответственность...

— И никакой этот жених не инженер, а слесарь... — заговорил впервые за все гулянье Данило Шкабура, который никогда никому ни в чем не верил, а говорил всегда: «Все это брехня».

— Как не инженер? — спросили у него.

— А так. Инженеры не такие.

— А какие же?

— Не такие...

Были уже и пьяненькие. Первым отвели в хату и уложили на горелую кровать председателя колхоза, потому что Степан ему, как начальству, подливал крепчайшего первача и до тех пор, пока не свалило человека со стула. Председателю еще до того, как он упал, говорили: «Может, пойдете, Иван Лукич, в хату да отдохнете?» Но он обиделся: «Кто? Я? Нет-нет... Я свой взвод в бою никогда не оставлял — и вас не оставлю!»

Алексей Цурка бродил от стола к столу, упирался чуть ли не в каждого красными, как моченые сливы, глазами и спрашивал: «А где бригадир?» Приставал даже к хозяину: «А-а, Степан Кондратович... И-и сюда, поближе... Не хочешь, боишься... Знаем, как ты торгуешь... Пшено как продавал, а? Три кила пшена — полкила конфет растаявших в нагрузку. А сам брал те к-конфеты, тот солидол? Знаем!..»

Из-за сада, казалось, сразу за ним, поднималась против полуденного солнца огромная, в полнеба, синяя туча, дул холодный ветер, и вскоре пошел густой косой снег, лапчатый и мокрый, первый снег.

Молодые пошли в хату — легко одеты были и замерзли. К тому же пора было собираться в дорогу.

Один за другим, поблагодарив хозяев за хлеб-соль, стали расходиться и хуторяне, в большинстве женщины и дети. Мужчины же перенесли несколько столов в затишек, шумели, пели охрипшими с перепоя голосами, а кто уже был совсем пьян и тонкий на слезу, тот плакал, вспомнив давние свои обиды, или от жалости, кто знает к кому...

Наступили сумерки, когда молодые, одетые уже по-дорожному, сваха и товарищ жениха вышли из хаты и направились к воротам, возле которых их уже ждала

заведенная «Волга». Катря и Степаниха плакали, то и дело припадая друг к другу, жених морщился, как от боли, а Степан, бывший под доброй чаркой, уже в который раз твердил ему:

— Ты ж, сынок, не обижай Катрю. Она у нас жила, как ласточка в гнездышке, ни горя, ни нужды не знала, так гляди. Женой она тебе будет золотою — верь отцу. А мы вам в любое время и сала, и колбасы домашней, и курицу пришлем. А надо будет, картошки подкинем багажом, сколько захотите... Веришь? Я такой. Для своих — все!

— Верю, папаша, верю, — успокаивал его зять, держа руки в карманах плаща. — Спасибо, не волнуйтесь, все будет хорошо.

— А вы, сваха, — обнимая Клавдию Константиновну и целуя ее в сухие напудренные щеки, ворковал Степан, — глядите ж там. Если что не так будет делать, подскажите, научите, но не обижайте. Она ж у нас... — И махнул рукой. — А мы вам... Пишите, что нужно, — все будет...

Молодые и гости, простившись, сели в машину. Хлопнули дверцы, сильнее загудел мотор, и машина, срывая снег, помчала улочкой, оставляя за собой две черные полосы от колес.

— Да моя ж ты деточка дорогая, когда ж я теперь тебя увижу!.. — вскрикнула Степаниха и зарыдала.

Федор с женой подхватили ее под руки и повели в хату, а Степан, сгорбившись, пошел к столам, где гудели мужчины.

Машина выскочила за хутор, подсвечивая фарами чашечки на телеграфных столбах, и помчала к большаку, а Катря все смотрела и смотрела в заднее стекло, за которым уже едва виднелись хаты, укрытые снегом, поблескивал кое-где свет на столбах и в окнах, а когда хутора не стало видно, склонилась мужу на грудь и занемела, только плечи ее мелко дрожали.

У КРАВЧИНЫ ОБЕДАЮТ

Усадьба Юхима Кравчины у самого луга, каждый год заливается паводком, и ничего стоящего на ней не родится, разве что кормовые бураки да еще конопля — высокая, толстая, как лоза, годная не на пряжу, а скорее

на топливо. Про картошку и говорить нечего: никудышная, кормовая картошка. Юхим каждую осень продает ее в районном городке или в Полтаве — горожанам лишь бы крупная,— а себе покупает полевую, разваристую.

Зато сено у Кравчины самое лучшее — густое, буйное, косу не потянешь, как вызреет. К тому же из всякой травы. Не сено — чай.

«Сейчас так: у кого сено, у того и деньги», — рассуждает среди мужиков Юхим и, довольный собою, своим умением хозяйничать, улыбается, глядя в землю, и подбородок легонько пальцами поглаживает.

С ним соглашаются, потому что каждый может помножить четыре-пять копен сена и две-три отавы на шестьдесят, а то и семьдесят рублей. С огорода таких денег не выручишь. Соглашаются, похваливают Юхима в глаза. А за глаза смеются: что ж это за хозяин, если не помалкивает о какой-то своей выгоде. Разве умные так делают? Если ты умный, то, построив, к примеру, новую крепкую хату, не хвались, а лучше поплачься: «Не хата получилась — шалашик, холодно зимой, хоть собак гоняй. Кирпич, видать, недожженный (или пережженный). Черт его знает». Вырастил хорошие помидоры, говори: «Никудышные в этом году помидоры, завязалось такое — одни пупырышки». Все знают, что это вранье, однако уважают, потому что считают такого человека разумным. Хозяин! А то вот еще. Есть у тебя в загашнике деньги, а тут пришли занять, божись: «Да нет, мил человек, даже на соль, пусть меня громом побьет!» Проводи просителя из хаты да еще и с порога, вдогонку ему скажи: «Были бы, так разве я что — пожалел? С дорогой душой бы...»

Юхим этого не любит. Юхим любит наоборот. Поцепятся на его одной-единственной яблоне-райке десятка три яблочек, хвастается в компании: «Ну и яблок же у меня нынче уродило... Листьев не видать. Словно пчелиный рой обсел — золотистые такие да краснобокие...» Или: «Ну и бураки ж у меня в этом году... Один — на пуд тянет. Как ведра». Пойдет рыбу удить, поймал не поймал, а прихвастнет: «Сегодня на зорьке рыбачил. Недолго и сидел, а на две сковороды набралось».

Незлобивые мужики на это лишь головами согласно кивают, а те, кто полукавее, пряча занудливую улыбку, спрашивают, будто и не коварно, а с искренним любо-

пытством: «Расскажи-ка, Юхим, как ты ми́ня в позапрошлом году ловил...»

Юхим свертывал цигарку и неторопливо так заводил: «А-а, то было. Пошел я как-то на рассвете туда за Оступ, только закинул снасть, стал закуривать, гляжу, поплавка нет, как и не было, уже и конец удилища в воде. Подсек, тяну. Чувствую, крупненькое что-то. Вытащил, а там одна голова от ми́ня... То ли я сильно подсек?!»

Тут уж все слушатели, даже почтенные мужики, смеются. А тот, кто спрашивал, еще и присолит: «Я бы на твоем месте, Юхим, эти твои райские яблочки давно бы обтрусил, а то ведь ветки поломает ко всем чертям...»

И ну хохотать: и над тем, что у Юхима, кроме яблоньки-райки, ничего больше не растет (сколько ни сажал — вымокает), и над тем, что сена у него родят, и над пудовыми бураками, и над рыбой...

Юхим обиженно моргает обгоревшими у горна рыжими ресницами, бросает компанию и, ссутулясь, идет в кузницу, а вслед ему: «Га-га-га! Қах-ках-ках!» Чтоб знал, как хвастаться, чтоб знал!

А Юхим разводит погасшее за болтовней горно, пшакает мехом так, что искры аж из трубы летят, и бормочет: «Смешно им, видишь ли, смешно. Кугутня чертова! Вот придет который да попросит: «Сделай, Юхим, то, сделай се, шиш сделаю».

Однако проходит день-два, Юхим забывает обиду и никому ни в чем не отказывает. И заказчики знают, как легко к нему подкатиться. Нужно только стать на пороге кузницы, кашлянуть раз-другой и сказать эдак ласково, вроде бы от души: «Здравствуй, Евдокимович! Как оно сегодня куется-клепается? Слава ли богу? А я вот шел улицей, слышу, молоточек твой так и поет, так и поет... Вот уж послал тебе бог дар в кузнечном деле!» Это лукавые. А кто хитрить не хочет или не умеет, тот скажет: «Ты, Юхим, за вчерашнее не сердись. Мы ведь не со зла, а так, по глупости, можно сказать...»

«Да я что ж, не понимаю, что ли, — мирно отвечает Юхим, а самому так сладостно, так приятно на душе становится. — Давай, что там у тебя». И мастерит между делом, что бригадир по наряду дал, тому щеколду, тому петли дверь навесить, тому тяпку стальную — «вечную». А если нет срочной работы, закрывает кузницу и идет в сосновый бор — «хоть там подышать не чадом да окалиной». Бор начинается сразу же за кузницей и тянется

косогорами над рекой до самого дальнего села Бирок. Юхим увязает в песке, чувствует под подошвами сапог каждую шишку и прислушивается к постукиванию дятла где-то поблизости. Останавливается, закуривает цигарку и смотрит, как тот вертит головкой и орудует клювом.

«Экий кузнец-молодец», — думает Юхим, пыхкая дымом. И дальше идет, к понизовью, поросшему ольшаником, от которого тянет болотом и перемокшим в воде сушняком: тут ему легче всего дышится и прохладно после кузницы. Потом при случае Юхим ни с того ни с сего спросит у собеседника:

«А знаешь ли ты, какая птица самая работящая? Нет? Так я скажу. Дятел. — И постучит твердым, давно не стриженным ногтем по наковальне. — Воробей — это босяк. Налетел во двор, прыг-скок между курами, поклевал-поклевал, нахватался и улетел. Голубь — ленивый, выпятит зоб и ходит, ждет, когда накормят. Сорока — ворюга, на живое бросается. Сойка — цыганка: что увидела, то и стащила, спрятала на зиму. Скворец — как враг на сады налетает. А дятел — ууу... Трудяга. Изо дня в день, и летом, и зимой, все стук да стук, как плотник долотцом или, как я вот, молотком. И скажи, как у него голова не болит!..»

У Кравчины едва ли не самое большое во всей округе семейство: он с женой Мотрей, которая еще девочкой прибилась в двадцатые годы в Чернечью слободу из Екатеринослава, когда там был неурожай, пятеро детей — это только младших, которые еще не вылетели из родительского гнезда, — да старая, как мир, Кравчиниха, Юхимова бабушка. И все обуты, одеты, сыты (из-за редкости кузнечного ремесла Кравчина хорошо зарабатывает), все с покладистым характером, а дети к тому же хорошо учатся: младшие в слободской школе, старшие — в районной десятилетке. Юхим любит похваляться детьми, как и своим хозяйничанием, однако не при них.

«Маслом кашу не испортишь, а детей похвалой — мигом», — ласково поучает он Мотрю да старших своих сыновей и дочерей, которые уже обзавелись семьями. Это когда у Юхима хорошее настроение. А бывает он таким постоянно, если только не голоден. Если же голодный, то злее человека во всей слободе не найдешь. Поэтому в предобеденный час, когда из колхозного двора через луга доносится перезвон Юхимова молотка в куз-

нице, дома у него уже начинается суета: выносится во двор низенький круглый столик, потому что Кравчина летом, при хорошей погоде, обедает под яблоней в холодке; вытаскивается из колодца ведро холодной воды (если борщ покажется отцу горячим, то миску ставят на ведро, чтобы борщ быстрее стыл); перемываются и перетираются крашеные деревянные ложки, хотя они и без того чистые; приготавливается чистый рушник отцу на колени и ставится к столу отцова скамеечка. Только тогда Мотря велит самому младшему сыну Кольке бежать на кладбище и выглядывать, когда будет идти отец. Колька, худенький, чисто одетый мальчик с умными глазенками, шлепает босыми ногами по тропке между подсолнечниками и гудит, как машина. Высматривать отца на обед — это самая большая для него радость, наипочетнейшая обязанность, которая досталась ему от старших братьев и сестер. Колька выбегает на кладбище, самое высокое место в слободе, садится на горячий от солнца чабрец между могилами, смотрит на колхозную усадьбу по ту сторону лощины и напряженно прислушивается. Вот уже молоток в кузнице перестал вызванивать. Колька видит, как отец запирает дверь, чуть слышно щелкая запорами, но бежать домой не торопится: ждет, когда Юхим достигнет лощины. Кравчина идет медленно, заложив руки за спину, не глядя по сторонам и не останавливаясь со встречными: не до разговоров — наработался и проголодался. Когда же он опускается в лощину, сначала по колено, потом по грудь, по плечи, потом прячется с головой, Колька вскакивает, как перепуганный заяц, и несется по тропке назад, только кресты и памятники мелькают у него перед глазами.

— Идет отец! Слышите, ма?! Идет! — кричит, запыхавшись, Колька, а глаза горят как жаринки: он *первым* увидел отца!

Детвора ищет свои стульчики, сделанные *отцом*, ставит к столику, однако никто не садится. Мотря выносит кувшин с теплой водой, полотенце, мыло и кусочек гладенького обтертого кирпича.

Войдя во двор, Юхим обводит суровым взглядом все семейство и, заметив, что кого-то из детей нет, спрашивает:

— А где же Поля?

— У нее сегодня шесть уроков, — отвечает кто-нибудь из школьников.

Юхим закатывает рукава — руки у него по запястье синевато-рыжие от дыма и окалины, а выше белые: некогда им загорать, — берет из рук Мотри мыло, кирпичик и отмывает копоть. Дети молча, почтительно смотрят, как отец, стиснув зубы, трет руки кирпичом, а кто-то из старших говорит:

— Может, папа, вам жесткую мочалочку купить? В городе есть.

— Тверже кирпича ничего нет, — отвечает Юхим.

Умывшись, он первым садится за столик, за ним бабка Кравчиниха, сухонькая, согбенная девятью десятками лет, тонкорукая, одетая, как всегда, опрятно, во все длинное и просторное. А уже потом усаживаются дети.

Юхим пробует борщ и, если он не очень остывший и не очень горячий, спрашивает:

— А где перец?

Кто-нибудь из детей подает ему стручок перца, который лежал под чьей-то ложкой, и говорит радостно:

— Вот, папа. Спрятался!

Юхим отламывает темно-красный кусочек перца, кидает в миску, потом высыпает с ладони еще и зернышки.

— Не много ли, отец? — замечает Мотря. — Детвора языки попечет.

— Кому много будет, тот попросится, — отвечает Юхим.

Детвора ест молча: кто же «попросится», если отец *такой* борщ ест!

Юхим зачерпывает полную ложку, медленно подносит ко рту и какое-то время смотрит на нее, как на врага, потом хлёб! — громко, сердито и коротко, словно кнутом щелкнул, — и ложка сухая. Хлёб! Хлёб! Хлёб! — медленно и ожесточенно. Если кому-то из старших детей попадется куриный пуп или печенка, Юхим скажет, перестав хлебать:

— Отдай, Маня, находку Кольке, он ведь меньше тебя.

А Мотря при этом еще и добавит:

— Он у нас сегодня молодец, маме дров к печке наносил и отца бегал выглядать.

Юхим молчит: маленького иногда не мешает и похвалить.

Бабушка ест из отдельной мисочки, потому что ей нужно долго разжевывать. Юхим никогда не обходит ее вниманием за столом и, если она, бывает, не доест бор-

ща, или тушеной картошки, или каши молочной, спрашивает:

— Что это вы, бабуля, так плохо сегодня едите?

— Доживешь до моего, — отвечает Кравчиниха, — и тебе еда не будет в радость, моя детка. Раньше, когда помоложе была, хотелось есть, да нечего было, теперь вдоволь, да не хочется.

Детворе чудно, что бабуся называет отца деткой, и кто-нибудь из старших спрашивает, почтительно улыбаясь:

— Разве папа — детка?

— Все мы, детки, дети. И старые, и малые,— отвечает бабушка и смеется — немо, без единого звука.

Это «мирный» обед. А бывает и так, что Мотря чем-то не угодит Юхиму. И чаще всего — очень горячим борщом. Тогда на Кравчину находит голодное бешенство. Он хватает миску, бегает с нею вокруг хаты, ища ветра, а найдя, принимается веять ложкой борщ, как веют зерно для помола, и кричит так, что соседские собаки лай поднимают.

— Мало меня у горна печет?! А? Мало?!

Если же ветра нет, Юхим подхватывает на руки чуть ли не ведерный чугун с борщом и тащит к колодцу.

— Опускай в воду! В воду, говорю! — командует Мотре и обвязывает чугун так, чтобы дужка была.

«Что там за суматоха?» — удивляются те, кто не часто бывает на этом краю села.

«Да у Кравчины обедают», — равнодушно поясняют соседи кузнеца, привыкшие к этому. Они так привыкли, что, если кто-то на кого-то кричит, ему говорят: «Чего ты вопишь, будто горячего хлебнул!»

После обеда Юхим сразу же добреет и становится еще ласковей и разговорчивей, чем всегда.

— Про что тебе на завтра урок задали? — воркует он сыну или дочке и гладит чуб или косички.

— Про перпетуум-мобиле, папа.

— А что ж это такое?

— Вечный двигатель, папа.

— Гм, — произносит Юхим и надолго задумывается. — И что же, есть такой двигатель?

— Нет, папа.

— Правильно, нет такого! — радуется Юхим. — Ничего вечного нет.



— А вы, папа? — мигает глазенками Колька.

Юхим хохочет и говорит:

— А я, сыночек, вечный. Я как тот перепетмобиле! И ты подрастешь — и ты будешь вечным двигателем. Кто работает, тот и двигатель.

— А кто не работает? — допытывается Колька.

— А кто не работает, тот свистит, — смеется Юхим.

Но больше всего любит он учить младшенького сына, еще не школьника, грамоте. Станет смирно, как солдат, прижмет растопыренные пальцы к бедрам и Кольке:

— А ну-ка скажи, какая это буква?

Колька склоняет голову набок, прищуривает умненькие глазенки и быстро-быстро отвечает:

— «И», папа, только без точечки вверху.

— А это? — Юхим выбрасывает руку в сторону.

— «Ге», папа.

— А это? — радуется Юхим и как можно круглее ставит руки на пояс.

— А это «фе».

— А это ж какая?! — уже выкрикивает в счастливом азарте Юхим и ставит только одну, левую руку на пояс.

— А это, папа... — Колька нарочно делает паузу, а Юхим напряженно ждет, и, когда на лице у него появляется уже чуть приметная тень досады, Колька, смеясь, говорит:

— А это, папа, «э-э-эр»!

Старшие дети, которые тоже прошли по очереди отцовскую «школу», обнимают Кольку и хвалят, а Юхим вдруг хмурится и говорит:

— Ну хватит. Марш за уроки, а я пошел на работу.

Дети неохотно расходятся каждый к своему делу — не так уж часто выпадает побыть с отцом, а Юхим, заложив чистые, отмытые кирпичом руки за спину, идет в свою кузницу. Дорогой он с удовольствием останавливается поговорить, если кто случится навстречу, сам напрашивается сделать что-то такое, чего, кроме него, кузнеца, никто в слободе сделать не сумеет: если Кравчина не голоден, он каждому рад услужить, каждому не пожалеет доброго слова или совета, даже насмешникам своим. И потом до самых сумерек вызванивает его молоток по наковальне — веселенько и ловко, словно зазывает людей в прокопченную кузницу у соснового бора. А если умолкнет, это значит — притомился Юхим, снял свой жесткий брезентовый фартук, побитый искрами, и, растирая правую руку — она уже частенько стала неметь, — пошел к понизовью подышать ольховой прохладой.

КОРНИ

Воспоминания о Григории Михайловиче Тютюннике

1

Хата наша, отцовская и дедовская, старинная, с плетеной дымовой трубой и без ставен, стояла над дорогой, ведущей из Полтавы в Гадяч. Стояла у самой гати, что вела к мосту через речку, — вся в вербах, берестах, желтой акации и кустах бузины. Сразу же за глухой стеной, едва ли не от завалинки и до самой реки, лежал богатый низовой сенокос, трава на нем выгоняла чуть ли не в пояс косарю. Весной, когда разливалось половодье, мутные грунтовые воды подступали к самой хате, и дед наш Василь Феодулович с тремя сыновьями, Павлом, Михаилом и Филимоном, защищался от потопа запрудой из навоза.

Хата была просторной, как загон. Стояли в ней желтая некрашеная лавка, стол, высокий черный комод, побитый древоточицей, и деревянная кровать, на которой могли уместиться четверо; под нею шел дымоход от лежанки, которую зимой топили на ночь, чтобы спать было теплее. Кроме большой комнаты, были еще боковушка и кладовая. В боковушке наш с Григорием отец, Михаил Васильевич, средний из трех братьев, столярничал — делал мебель, простую, селянскую, кадки, ступы и прочие вещи домашнего обихода.

С хатой нашей — сейчас от нее и следа не осталось — связаны у меня первые воспоминания о Григории Тютюннике[1], или, как его звали тогда в селе, Егоре Буденном.

Я увидел его из окна, у которого играл под солнышком, стройного, чубатого, с гордо откинутой назад и немного набок головой, и кто-то, теперь уже не припомню, кто именно, сказал мне:

— Вон твой брат пошел.

Потом я узнал, что он «копия Михайлы», то есть нашего с ним отца. С той поры и по сей день образ отца в моем сознании неразделен с образом Григория. Я соединил их вместе — внешность Григория, его манеры и то, что слышал о характере отца или придумал сам, и получился отец, которого я не помню и не знаю даже, каков он был собой, потому что единственная его фотокарточка (он не любил фотографироваться) потерялась.

Я не случайно начал рассказ о Григории с отцовской хаты. Ей, мне кажется, Тютюнник многим обязан как писатель и особенно как автор «Водоворота». Да и сам он говорил об этом не раз.

Может, потому, что стояла хата над дорогой, или потому, что во дворе был колодец, единственный на весь край Гасановку, или потому, что в ней жили одни мужчины без хозяйки (бабушка наша умерла рано), — она стала удобнейшим местом для посиделок, «закураций», а следовательно, и разговоров до первых петухов. Тем более что все Хтудулы — так нас прозывали в селе по деду — всегда держали на столе деревянное корытце с сеченым табаком, умели артистически передразнивать, то есть копировать односельчан, и вообще любили беседу. К хозяйству же, по свидетельству нашего дяди Филимона Васильевича и других людей, Хтудулы, кроме отца, были равнодушны.

Так вот, едет, скажем, опошнянский дядько в Зиньков на ярмарку с подводой горшков, кувшинов, крынок, свистков, пересыпанных половой, или возвращается до-

[1] Тютюнник Григорий Михайлович (1920—1961) — известный украинский писатель, автор сборника рассказов «Распаханные межи», сборника стихов «Журавлиные ключи», повести «Тучка солнце не закроет» и романа «Водоворот», в котором с глубоким историзмом воссоздана жизнь украинского села в предвоенное десятилетие, борьба народа против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

мой, распродав все это,— где напоить волов, где закурить да поговорить, как не у Василя Феодуловича? И говорят, и хохот поднимают такой, что стреха шелестит, а из распахнутых настежь дверей дым валом валит, как из кабака.

Но чаще всего собирались у Хтудулов люди — почти все они близкие или дальние наши родичи, — наделенные природным юмором, тонкой наблюдательностью и незаурядным артистизмом. В селе нашем, Шиловке, до сих пор не могут без веселой улыбки вспомнить Павла Васильевича, старшего брата отца. В то время, о котором идет речь (тридцатые годы), он уже был женат и жил отдельно. Жил пребедно, ходил зимой в латаной-перелатаной сирячине и деревянных постолах. Однако никогда из-за этого не печалился и никого не упрекал, потому что знал: не хозяин он, и земля не его стихия. Искал лишь какую-нибудь компанию, слушателя и зрителя, а найдя, веселил до колик в животе, однако сам при этом никогда не смеялся. Он умел передразнить, скопировать чуть ли не каждого шиловца или шиловчанку, беря от каждого самое характерное и трактуя его самым комическим образом. Это вызывало восхищение и смех. Копировал даже своего отца, Василя Феодуловича, на что тот реагировал самым спокойным образом, сказав разве что снисходительно :«Хе, сук-кин сын, стервец! Ты хоть ел сегодня? Дай-ка ему, Михайло, супу...»

Его даже пожурить было невозможно, потому что, выслушав нарекания, он принимался журить самого себя, идеально копируя того, кто начал разговор, и все кончалось смехом.

Казалось, кому бы, как не ему, выступать на сцене? И дядя Филимон, который одно время руководил шиловским драмкружком, пригласил брата на роль. Тут-то и произошло недоразумение. До своего выхода Павло Васильевич, он играл попа, уже в поповской рясе, спал спокойненько в гримировочной. Когда же наступило время выхода, его разбудили и вытолкали на сцену. Роль он знал наизусть. Однако, выйдя перед людьми, оглядел зал, заулыбался на все стороны, развел руками и обратился к публике: «Чего не умею, люди добрые, того не умею», — и пошел за кулисы, наступая на полы рясы.

В гримировочной его стали спрашивать, что же такое случилось, и он объяснил: «Да оно мне и на репетициях надоело...»

Он был импровизатор и любил не писаных героев, а живых.

Заходил Михайло Иванович Тютюнник (по-уличному Гасан), вернее, не заходил, а втанцовывался из сеней в хату, обычно спиной к публике, заложив руки в рукава драной своей сирячины и напевая: «И по сеням тупу-тупу, и по хате тупу-тупу... Дайте, люди, закурить-залюлячить!» — и притопывал разбитыми сапогами, обмотанными мешковиной, и улыбался добродушнейшим образом

Гасан передразнивал не хуже Павла Васильевича, но не умел одного: петь, как пел Павло на клиросе в церкви всеми голосами, от баса до детского дисканта. Батюшка и не сердился на Павла за это. Только спрашивал после службы: «Это ты, Павел, блуждал сегодня из партии в партию?..» — и смеялся.

Хаживал еще Грицко Макарович Тютюнник, большой приятель нашего отца, спокойный великан, который проходил в дверь обычно боком, чтобы не зацепить плечами дверные косяки — так был широкоплеч, а также Егор Лукич Чобот, страстный поклонник слов «философия», «мужик», «адвокат» и разговоров на эту тему. (Как-то он сказал мне, держа на веревке корову, что паслась посреди выгона: «Если б тот университет да сюда бы вот на выгон, я тоже, сынок, его бы кончил!»)

Самым младшим из всех этих людей был наш дядя Филимон Васильевич, в семье которого мне пришлось прожить около восьми лет и услышать многое из того, о чем рассказываю. У Филимона Васильевича была прекрасная память, вкус к образному слову, и был он сам неповторимым рассказчиком. Григорий очень любил его слушать, глаза его всегда сияли, когда рассказывал дядя, а рука так и тянулась к записной книжке, с которой он, по крайней мере в Шиловке, почти никогда не расставался. Позже, работая над «Водоворотом», он просил меня в одном из писем, чтобы я записывал все, что рассказывает дядя, и посылал ему.

Я вспоминаю тут этих людей потому, что убежден: сельские типы, характеры, импровизированные ими, были находкой, благодарным материалом и своеобразной школой для будущего автора «Водоворота». А Павло Гречаный, Гнат Рева, некоторые бывальщины и детали сельского быта — это почти законченные творения Павла, Филимона и Михаила (Гасана) Тютюнников. Григо-

рий умел слушать, ценил услышанное («Нет! Ты только послушай. Этот народ гениальный!») да и сам под настроение не против был скопировать кого-нибудь так же артистически, как и его дядьки.

2

Случилось так, что отцу нашему не пришлось пожить с первой женой — матерью Григория — и года. И кто сейчас, кроме отца, мог бы определенно сказать, почему так случилось? Мне же судить об этом не приходится... Известно лишь, что разлучение было молниеносное, без свидетелей и скандальной канители, а женитьба — нелегкой. Дело в том, что, когда будущие супруги уже должны были стать под венец — традиция эта была тогда еще прочной, — местные духовные власти категорически отказались их венчать, ибо по святцам Михайло Тютюнник и Евгения Буденная были родственниками. После нескольких отчаяннейших попыток выхлопотать разрешение на брак по-христиански отец, так ничего и не добившись, надел праздничную чумарку, взял харчи и отправился пешком за семьдесят верст в Полтаву искать счастья у архиерея. И нашел: молодым разрешили обвенчаться.

Прошло семь или восемь месяцев его жизни в приймах, но однажды поздним вечером отец перешел мост и снова оказался в родном жилище — с больной матерью, которая уже несколько лет не владела ногами (если бабушка пряла, то дед или кто-нибудь из хлопцев крутили прялку, а она тянула нить), и двумя братьями: старшим Павлом и младшим, еще подростком, Филимоном.

Дед встретил сына довольно спокойно, словно знал, что так оно и получится. Только спросил, выглянув с печи:

— Нажился, говоришь?..

Видно, что-то не понравилось ему в сыновнем браке, однако в натуре Василя Феодуловича не было характерной для того времени домостроевской жилки — «как отец сказал, так и будет», — и он дал сыну волю. Вообще, рассказывают, дед не любил командовать в семье. Он любил другое: поговорить. Например, о том, что было сначала — слово или бог, читал и пояснял вслух «Четьи-Минеи», просиживал часами у окна и, заметив кого-нибудь на дороге, выкрикивал насмешливо: «Гляди,

гляди, кто пошел! Хе, сук-кин сын бар-рбос... Так что? Погнался, брат, за белым хлебом, да и черный потерял?!»

Есть люди, которые устают от разговора. Дед уставал от молчания. Власть над ним имел только мой отец. Когда дед говорил уж чересчур много, отец деликатно прерывал его: «Ну хорошо, папа, хорошо, пойдемте-ка в поле» или «Разжигайте печь, а то тесто скоро из макитры выскочит». После смерти бабушки они хлопотали и у печи, и по хозяйству вдвоем.

Нельзя сказать, чтобы отец характером своим мало был похож на братьев и деда. Он также не упускал случая вставить меткое слово, умел скопировать, пошутить, однако никогда не превращался в балагура-весельчака, как это с радостью и вдохновением делал Павло Васильевич. Зайдет, к примеру, в лавку, постоит, погуторит с кем-нибудь о том, о сем, а если не с кем, то с лавочником, потом подопрет ладонью щеку и запоет чудесным баритоном:

Ой, я нещасний,
Що маю діяти,
Є горілка в лавці,
Та ні за що взяти...

Таким образом, мой отец, имея старшего брата, влюбленного в компанию и приверженного к слову старика отца, вынужден был взять на себя все хлопоты по хозяйству: днем мастерил в боковушке, копался в огороде или хлопотал у печи, а в воскресенье стриг и брил, как теперь бы сказали, на общественных началах, шиловских дядьков или сидел над книжками. Отец любил литературу, знал наизусть едва ли не всего «Кобзаря», множество стихов Пушкина, а «Полтаву» так часто декламировал старшему сыну, что тот на слух тоже выучил ее наизусть. Не раз, бывало, когда мы с Григорием сошлись как братья, рассказывая об отце (для нас это был праздник любви к отцу и радость взаимооткрытия через него), Григорий читал мне любимый отрывок из второй песни этаким неторопливо торжественным баском человека, немного печального и до нежности доброго:

Тиха украинская ночь,
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...

И говорил:

— Когда отец по вечерам читал мне это место, я всегда смотрел на нашу церковь, белевшую под луной на холме, словно вырезанную из серебряной бумаги, и думал, что это написано о ней. О городе Белая Церковь я узнал уже потом...

Или неожиданно и восторженно:

— А ты знаешь, что наш отец пошел как-то в Зиньков на базар, увидел объявление, что Буряченко — был такой частный учитель в Зинькове — принимает экзамены у тех, кто хочет поступить на краткосрочные курсы учителей, бросил свои базарные дела и сдал экзамены. Без подготовки!

Это было преувеличением, но не более чем поэтическим, потому что отец готовился стать учителем. А то, как сдал экзамены, правда — в порыве, экспромтом.

3

После того как отец расстался с первой женой, он десять лет прожил в одиночестве, а Евгения Федотовна семь лет не выходила замуж, и мост через реку не был крепкой границей между ними с первых же дней расставанья: они ждали ребенка.

Когда родился Григорий — это было 6 мая 1920 года, — его решили назвать Георгием, или, как у нас говорят, Егором. Назвали. И послали Федота Осиповича Буденного, деда Григория по матери, записать внука в сельсовете. Выпив на радостях дома — внук ведь! — дед направился в сельский Совет. Но дорогу ему преградила монополька известной на всю околицу Гузийки. Как не зайти ради такого случая еще и к ней! И он зашел... Когда же наконец доплелся туда, куда его послали, уже не соображал, как велено ему записать внука. Стал вспоминать — не вспоминается, и сказал секретарю: «Пиши Грицьком. Оно, может, и не так, как сказали, зато просто, по-нашему!» И стал Георгий Тютюнник, которого его мать так и не разучилась называть Горей, Григорием. О дедовой выходке узнали только в 1935 году, когда брали в райзагсе справку о рождении, чтобы хлопец мог учиться в зиньковской десятилетке. Так и стало нас два Григория у одного отца.

Впервые Григорий узнал о том, что у него есть отец — ведь дома говорили — нет, — когда еще играл в песочке.

Открытие это было, вспоминал он, большим и незабываемым.

«Играю как-то у дороги, — рассказывал он весело, — а тут баба какая-то идет. Не знаю, кто она была, помню только, что «ч» не выговаривала. «Цього ты, — говорит, — сыноцек, к отцу не бежишь? Видишь, вон он где идет, и-ги-ги, вон где, гляди!» Смотрю, от моста мимо верб на гати трое дюжих молодцов идут. Черные, загорелые, белозубые и в белых рубашках. Улыбаются, глядя на меня. Подхватили на руки, понесли в лавку. Что говорили, не помню. Знаю только, что накупили полную пазуху конфет, пряников, донесли назад до нашей улочки, потом тот, кто был чернее всех, поставил меня на землю, легонько подтолкнул и сказал: «Беги домой. А если спросят, где был, скажешь: «Ходил с отцом в лавку». Это были Павло, Филимон и отец. Так и зажил я с того дня на два двора. Прекрасное время наступило! Как только бабушка замахнется на меня веником, так я круть — и к Хтудулам через мост...»

Как-то зимой Григорий заболел скарлатиной. Тогда это была опасная болезнь, лечили ее в большинстве случаев домашним способом: парили горло над чугуном с горячей картошкой, отлеживались на печи в горячем зерне (так и просится сюда совет Павла Гречаного Тимку из «Водоворота», когда тот простудился, попав в омут: «Пареными конскими кизяками обкладывайся. У нас в Заброде все так лечились»). От скарлатины умер в ту зиму шиловский мальчик, с которым Григорий любил играть. И вот однажды вечером, когда Григорий лежал в горячке, на пороге хаты стал запорошенный снегом отец.

— Евгения Федотовна, — сказал он (редко в селе обращаются к женщине так), — наши отношения могут быть какими угодно. Но не сейчас, когда болен наш сын. Я отвезу его в больницу.

Евгения Федотовна одела Григория, повязала отца поверх шапки башлыком и проводила обоих до дороги...

И еще один эпизод рассказывал мне Григорий о нашем отце. Печальный эпизод. Его и сейчас тяжело вспоминать.

Как-то Григорий по дороге в школу забежал к нам утром и положил перед отцом, который сидел за столом опухший, с поникшей головой, краюшку хлеба. Отец разломил ту краюшку надвое, половину дал Григорию в

школу, а вторую еще раз разломил — кусочек себе и кусочек мне (я тоже тогда опух с голода) — и едва вымолвил: «Спасибо, сын. Славный ты у меня растешь», — и стал понемножку есть, закрыв глаза ладонью...

4

В школу Григорий пошел рано, шести лет. Так рвался, что отговорить его было невозможно. Он не был рослым мальчиком, и заведующая школой, Наталья Ивановна Рябовецкая, будущая наша тетя (потом она стала женой Филимона Васильевича), заколебалась: принимать такого маленького в первый класс или отказать. Тут Григорий расплакался, и Евгения Федотовна, наклонясь близенько к учительнице, заговорщическим шепотом (такая у нее манера говорить интимно) сказала:

— Пусть идет. Посидит день-другой, и надоест, не будет хоть голову морочить...

Однако эта надежда не оправдалась. Наука давалась Григорию легко, и учился он хорошо. Хотя и озорник был не последний. Можно было, скажем, сделать со старшими, более крепкими хлопцами пирамиду, выжаться на их плечах в стойке так, чтобы ногами достать потолок и выложить там ступнями, натертыми углем, следы. И каким же это было наслаждением, когда директор школы увидит на потолке отпечатки человеческих ног! Но, увидя, скажет: «Хм, хм... А ну-ка разуемся и покажем подошвы!..»

Окончив седьмой класс, Григорий перешел в зиньковскую десятилетку — в ту пору едва ли не единственную на весь район среднюю школу. Это за восемь километров от села. Ходить нужно было пешком каждый день, в любую погоду. Дорога хотя и неблизкая, особенно для подростка, зато какая! Она разделяет село пополам и под старыми, в три обхвата вербами (в их дуплах, начинавшихся от самой земли, прятались в непогоду влюбленные) взбирается на Бееву гору. За селом, вправо от нее, — овражек, шиловцы засадили его кленом, осиной и дубком, чтобы глину на огороды не заносило с водой; влево — глубочайший овраг (у нас его называют «стенкой»), над которым всегда носятся тучи береговых ласточек — там их гнездятся тысячи. По этому оврагу стекают весной полевые воды в речушку Грунь; а дальше

над дорогой — Кирсанов лес, обсеянный рожью и пшеницей, и марево, марево — глаза болят смотреть, как оно меняется. Украинский шлях — иначе не скажешь. А оглянешься — село в долине как на скифском щите, речка сине блестит среди тальниковых низов, и туман над нею русло выписывает... На Беевой горе и родились первые строки «Водоворота».

Как-то Григорий, когда мы поднялись на гору и долго смотрели на село, сказал: «Вот отсюда, Григор, я увидел начало «Водоворота», а пока назад домой дошел — уже и написалось».

И прочитал наизусть:

«Село Трояновка гнездится в долине. На север от него Беева гора, покрытая лесом, на юг — затянутая маревом равнина, по которой вьется полтавский шлях. По обеим сторонам его то тут, то там маячат в степи хутора, маячат на далеких небосклонах, как зеленые острова по синему морю. В центре села течет река со странным, должно быть татарским, названием — Ташань...»

Прочитал он, как всегда, глухо, даже как будто сурово, и, помолчав, добавил:

«Слова, слова... А в действительности, посмотри: лучше, брат, лучше, просто непостижимо прекрасно».

И погрустнел, как это обычно для него, — вот так вдруг, неожиданно. Вероятно, он ощущал в этот миг вечную горечь художника: условность понятий, ограниченность человеческих представлений перед лицом природы, жизни... Меня же этот отрывок будто осиял. До этого мне казалось, что я понимаю прозу, читал у Горького даже, что это «необыкновенная кладка слов», но только тогда, на Беевой горе, ощутил ее внутреннюю жизнь, если можно так сказать. Позже я пережил нечто подобное, когда Григорий (это было ночью на шиловском мосту) прочитал мне, тоже наизусть, отрывок из «Хаджи-Мурата» — медленно, просто, без нажима и театральщины:

«В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирно́й аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спо-

рящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана».

И надолго умолк. Потом сказал, будто подумал вслух:

«Вот так умел писать граф. Одним абзацем въехал в аул».

Мне довелось как-то прочитать, что в «Водовороте» царит стихия народной жизни. Это было написано с заметным отрицательным или, сказать бы, сочувственным оттенком, потому что само понятие «стихия» привязывалось к особенностям авторского дарования. И мне припомнилось то, что не раз повторял Григорий: «Терпеть не могу книг, которые написаны словно по учебнику логики Асмуса. Не сочинение, а тоска. Нет прозы. Стефаник, Тесленко, Чехов, Толстой так не писали. Правда, у Толстого есть «логические» места в «Войне и мире» — размышления раненого Болконского на Аустерлицком поле брани, Платон Каратаев... Запрограммированность, скука».

На те годы, когда Григорий учился в зиньковской десятилетке, приходятся первые его поэтические пробы. Тем, кто не избежал этого увлечения в юности или даже вырос потом в писателя, вероятно, известно, как относятся к пишущим близкие, да еще в селе, где не то что шила — сапожного гвоздика в мешке не утаишь. На них посматривают как на чудаков, над ними частенько посмеиваются даже родные.

Григорию тут, можно сказать, повезло. Когда в зиньковской районной газете появилось первое его стихотворение и хлопец прибежал с ней к Хтудулам, отец, обрадовавшись, как ребенок, осторожно вырезал этот стишок и на ладонях понес его через всю хату в комод. Это было «признание», даром что домашнее, но настоящее, неподдельное! Кто знает: может быть, отец мечтал об этом, ждал этого... И легко представить, как чувствовал себя Григорий, когда потерял отца, а вместе с ним и своего первого ценителя...

5

Шевченко писал как-то, что Брюллов ни одной линии не разрешал себе провести «без модели». Вероятно, каждый серьезный писатель тоже не может написать настоящее художественное произведение «без модели». Не

писал без нее и Григорий Тютюнник. Попробовал раз, когда принялся работать над романом о Западной Украине «Буг шумит», увидел, что без «модели» его тянет на уже проторенный путь, к «Поднятой целине», — и бросил. В «Водовороте» же что ни пейзаж, что ни характер, что ни реплика, то и Шиловка, по-художественному, безусловно, осмысленная и обобщенная, как образ целого народа.

В «Водовороте» жизненная модель взяла верх над литературной. Это особенно четко видно, когда читаешь «Буг...».

Есть люди, которых и хлебом не корми, а дай поразглагольствовать про «любовь к народу». Они всегда вызывают скуку, а чаще — насмешку, ибо известно: о любви молчат. Мне не приходилось слышать от Григория и слова об этой любви. И вместе с тем я никогда прежде не встречал человека, так самозабвенно влюбленного в свой народ, и такого знатока украинского характера — от мельчайших деталей до самых высоких обобщений. (Речь идет, конечно, не о привязанности кулика к своему болоту, а о высоко человечном восприятии родины.) Григорий обладал, говоря словами Чехова, талантом человечности. И врожденным, и выстраданным. Нужно было видеть и слышать, как он рассказывал и показывал своих героев из «Водоворота», как глубоко знал их и как умел через деталь — реплику, мимику, жест — распознавать характер. Он, по существу, перевоплощался в них, как перевоплощается актер. «Ведь это же законченный тип! — было его любимым резюме. — Дядя наш, Филимон, — непревзойденный мастер воспроизводить характер, лепить его из мелочей, которые мы даже не заметили бы. Он мог бы быть хорошим писателем, если бы считал бумагу и ручку полезным открытием...»

О ком бы ни рассказывал Григорий — Павле Гречаном, Гнате Реве, Охриме Горобце и т. д., — он сам становился Гнатом, Павлом, Охримом. Казалось бы, странно, что множество деталей, которые так ложатся в образ того или иного героя «Водоворота», остались за страницами романа. Григорий был б о г а т материалом и именно поэтому не смаковал его в произведениях, не расписывал.

Больше всего он любил рассказывать о том, кто стал прообразом Павла Гречаного, и часто копировал его даже в обычном, «не литературном» разговоре.

Жил по соседству с Евгенией Федотовной ее дядька,

а Григорию двоюродный дед Павло Осипович Буденный, великий курильщик, добряк, увалень, молчун и силач. Он копал колодцы, ямы на кладбище, когда кто-нибудь умирал, косил, молотил, одним словом, что ему велели, то и делал.

«Ты бы меня, Егорка, побрил», — ни с того ни с сего скажет, бывало, через плетень Павло Осипович, прозванный в селе Штавлом.

Григорий, тогда еще подросток, ласковый, всегда готовый услужить, к тому же подражая отцу, бросается в хату, выносит бритву, скамеечку, полотенце, чтобы обернуть воловью шею «клиента»...

«Садитесь, дяденька!» — и принимается за дело.

Бритва тупая, как щепка. Как проведет лезвием по дядькиной шее, так следом и кровь выступает. А Штавло сидит и дремлет... Григорий кое-как добреет, если это слово можно употребить при такой ситуации, смоет кровь холодной колодезной водой, чтобы как-то ее остановить...

«Готово, дяденька!»

Только тогда Павло просыпается, сладко улыбается спросонья и говорит:

«Ну и бьитва у тьебя, Егорий... Огонь! Не бьеет, а как водой смывает, ня-а-а...» (последнее у него означало «да-а-а»).

Он не чувствовал боли!

Или сложит на плетне огромные руки, по-собачьи положит на них подбородок и долго молча, пыхкая цигаркой, водит глазами за Григорием, который мотается по двору. Потом скажет, как на волах мимо двора проедет:

«Ня-а-а... Дай мне, сынок... газету на цигарки».

«Да ведь я дал вам позавчера целых пять! — удивленно воскликнет Григорий. — Куда же вы их дели?!»

Штавло молчит, виновато моргая глазами, и, когда его просьба уже забыта — так долго он молчит, — скажет:

«Те я уже скурил, ня-а-а...»

«За два дня?»

«Так я ж сейчас сторожу,— пояснит не скоро Павло.— А ночью курится... как в жнива вода пьется: раз за разом...»

Штавлу же и принадлежит песня, которую Григорий под веселую руку пел по-штавловски и называл «шиловским вариантом модернизма». Эту чудную песню спел Штавло лишь один раз, когда шел из Гузейкиного шин-

ка-монопольки, и осталась она в памяти благодарных шиловцев:

Йе-ех, чорнобрьива Гузійка-а...

Дальше Павло Осипович, как всегда, долго молчал, ловя ногами тропку и ища вторую строку с подходящей рифмой. Но не нашел и закончил так:

І чорнобрьиві... ня-а-а... пеньки!

Это в шутку. В действительности же народные песни Григорий глубоко уважал, и знал их бессчетно, и сам хорошо пел, обладая густым приятным баритоном. «Наша народная песня, — говорил он, — как роман. Даже построение имеет эпическое. И ни одной легкомысленной». Последней тихой влюбленностью его была песня о журавушке, которую мы пели не раз на старом деревянном шиловском мосту вчетвером: Григорий, Федор Тютюнник, Владимир Винниченко (Григорий любил этого веселого и умного хлопца) и я.

Ой, журавко, журавко.
Чого крячеш щоранку?
Ой як мені не крячать,
Як так високо літать.
Полечу я до саду,
До листочка припаду...

По очереди брали первым, по очереди — вторили, а в реке вскидывались щуки, и светилась «одинокая звезда над ветряками» под недальним хутором Лейбовкой.

6

После того как не стало отца, судьба разлучила нас с Григорием на пятнадцать лет: меня забрали из Шиловки в Донбасс тетя и дядя, Григорий поступил в Харьковский университет. Разные дороги, разные судьбы. Я знал, что у меня есть брат, знал, и только. То же самое, вероятно, было и с Григорием. Да и что могло быть общего между нами без отца? Голос одной крови? Он породнил нас позже, где-то в пятьдесят втором-третьем годах. Правда, мы иногда виделись в эти пятнадцать лет, но о чем могли говорить подросток и взрослый человек?

Память сберегла лишь мелкие детали. Вот мы, ученики пятого класса, вместе со всей школой, со всеми ши-

ловцами стоим у цементных ступеней старенького клуба. Алеют знамена, плачут, смеются люди. А на ступенях — председатель сельсовета, члены сельисполкома, председатели колхозов, и выходит Григорий, произносит речь. Он в длинной шинели, зажал в одной руке шапку с красной партизанской ленточкой поперек, а другая рука на груди в перевязи. День Победы.

Вот у школьной стены стоит лестница, а на ней Григорий. Опускает кисть в ведерко и выводит белыми буквами: «Добро пожаловать, земляки-воины!» Ждут демобилизованных.

1946 год. Я толкаюсь в толпе ремесленников перед училищем, ожидая, пока нас «запустят» в столовую, а невдалеке посреди центральной улицы останавливается ЗИС, и из кузова на мостовую спрыгивает Григорий. Длинные черные волосы падают ему на лицо и закрывают его почти до подбородка. Не помню, знал я тогда или нет, что Егор Буденный, двадцатишестилетний мой брат, уже носит над сердцем двадцатиграммовый осколок немецкого снаряда...

А вот Григорий сидит в хате, куда нас с мамой приняли в «соседи», потому что своя сгорела. Какие-то женщины поучают его, что нужно ехать в Харьков кончать учебу, а не жениться на красивой бедовой татарке Файе, которая работает на молочной ферме. (Ее забросила в наше село война.) Егор сердится на женщин, что-то им возражает, потом обнимает меня за плечи и говорит: «Так ведь, братик?» Мне оттого, что он говорит «братик» и обнимает, неловко... Я не знаю, что означает «так ведь», однако отвечаю: «Угу...»

Вот, кажется, и все.

Сближаться мы начали в ту пору, когда я служил на Дальнем Востоке. Туда пришло мне первое письмо от Григория. Он писал, что мы братья и должны общаться, не забывать друг друга.

Письмо было из Львова или из Шиловки — не помню. Я пишу «начали сближаться», потому что сразу не сблизились. Слишком уж долго были чужими. А еще меня тогда мучило почти болезненное недоверие к людям, к тому, что они могут быть искренними. Поймать человека на неискренности было моим сатанинским утешением. Письма Григория казались мне фальшиво искренними. «Почему он не замечал меня раньше, а только теперь заметил, когда я уже и сам не пропаду?» — думал я. А тут

неожиданно получаю из Львова письмо... не письмо, а записочку — с вопросом о том, как мне живется, сухую, короткую, без сердечности!

Прочитал и с комментариями на полях — они казались мне остроумными — отослал назад...

Через месяц пришел убийственный ответ.

«Григорий! Я получил свое письмо с твоими комментариями и не сержусь на тебя потому, что я родной твой брат и к тому же старший: я понимаю, что ты обиделся, но причин для этого не было. Я действительно писал письмо наспех, как раз перед отъездом моих знакомых (во Владивосток) и решительно не мог написать ничего другого, кроме того, что написал. То, что ты прислал мое письмо назад со своими пометками... свидетельствует о том, что у тебя нет такта культурного человека, а, наоборот, есть немного хамства и слабых попыток «стать в позу»... Ты это брось. Будь скромным и знай, что хвастунов я органически не переношу. И потом ты, очевидно, не понимаешь, что даже для того, чтобы писать письма (не говоря о рассказах), нужно быть чуточку мудрецом и знать, что ты пишешь и для чего. Обвинять меня в пустоте да еще к тому же в душевной — это уже слишком; тем более что с моими душевными качествами ты слабо знаком... и потому, мне кажется, ты можешь судить о них, но не можешь осуждать и торопиться делать свои выводы, тогда как «поспешность нужна при ловле блох», а ни в коем случае не в отношении к людям.

Теперь относительно твоего рассказа... Я прочитал его несколько раз и хочу поделиться с тобой своими впечатлениями...

Ты не имеешь четкого представления о том, как строить рассказ. В этом отношении советую познакомиться с теорией литературы (учебник проф. Тимофеева), внимательно прочитать какой-нибудь рассказ Чехова и проследить, как он построен; ну хотя бы такой, как «Тоска», «Попрыгунья», «Душечка» и т. д. Вообще прочитай произведения Чехова внимательно... (Дальше назывались основные элементы сюжета, что иллюстрировалось пересказом простенькой новеллы Мопассана.)

Но я не хочу, чтобы ты подумал, что рассказ строится только на острых ситуациях. Нет. Чехов — мастер строить его на простейших, обыкновеннейших вещах. В письме к своему брату он писал: «Я могу написать рассказ о чернильнице, о пепельнице» и т. д. Эта же са-

мая «Тоска», «Сумерки», «Толстый и тонкий», «Крыжовник» построены на простых вещах.

Твой рассказ построен на впечатлениях, которые тебя взволновали, ты их пережил, и они заставили тебя сесть и написать о них. Это хорошо. Хорошо, что ты берешь факты из жизни. Должен сказать, что у тебя много данных, которые свидетельствуют о том, что ты можешь писать и из тебя «будут люди». Но ты сам знаешь, что писателем можно стать только тогда, когда ты без этого не сможешь жить, не сможешь представить себе жизнь, когда писать о людях, природе... станет каждодневной потребностью, твоим «злым гением», дыханием, твоей сутью, жизнью. Литература — это не спорт, не развлечение...

Итак, ты строишь свой рассказ на впечатлениях. Это хорошо. Ты можешь подать несколькими штрихами обстановку, в которой действует герой, у тебя хорошо получаются диалоги, беседы; сам того не понимая, ты чудесно выписываешь образы (а это очень важно, и не каждый это может даже из маститых литераторов)...

Но главный твой недостаток — это еще неумение пользоваться словом. А слова, брат, это алмазы, из которых делаются красивые вещи. Слово у тебя неточное и часто «не до шмиги», как говорят, не к месту. Я эти места подчеркнул...

И еще много есть неточностей, которые все не перечислишь.

Советую: рассказ почистить, «подраить», «протереть песком и пролопатить», чтобы каждое слово блестело. Пиши новые вещи, заведи записную книжку, записывай туда выражения из живой речи и свои мысли.

Только умные, глупых не нужно.

Твой брат Григорий.

6.I.1954»

За учебник Тимофеева я в тот раз не взялся, «драить» рассказ не захотел, потому что возненавидел его, а нашел ожеговский «Словарь русского языка» и прочитал толкование слова «хам». Я знал его и без словаря, но мне хотелось дать «квалифицированный ответ»... Оказалось, что ни одна из трактовок этого злополучного понятия никак ко мне не подходит. Я сел и написал, что... я не хам. В форме протеста. И заявил о разрыве отношений.

Однако, к превеликому удивлению, ощутил после этого, что Григорий — мой брат, настоящий старший брат! Я всегда был один. И когда видел, как моего товарища дерет за что-то старший его брат, завидовал... младшему. Хотелось брата. И вот он объявился и выдрал!

Я ждал сердитого ответа. Месяц, в течение которого шло письмо из Владивостока до «материка» (так мы называли запад) и назад, казался мне годом. К тому же было страшно, что ответ совсем не придет. Но ровно через месяц получил бандероль с «Энеидой», подписанной Григорием: «Читай нашего великого земляка и не забывай родного языка». А вскоре — вторую, с «Мартином Иденом»: «Эта книга научит тебя достигать цели. Григорий Тютюнник».

Однако переписка между нами и после этого не наладилась. Я не забыл «хамства» (именно тогда я жаловался в дневнике на судьбу за то, что она не дала мне «счастья прощения») и продолжал чувствовать себя обиженным. Это чувство было сладким...

И вот пришло письмо уже не только с «моралью».

«...Если ты знаешь мое «кредо»... то по какому праву ты задрал хвост и оскорбляешь своего старшего брата? Вот приедешь домой, так не посмотрю, что ты моряк, а сдеру с тебя твой «клеш» и высеку за такое безобразие, чтоб знал, как нос задирать. Таких в нашем роду не было, и я не хочу, чтобы ты эту традицию нарушил. Хоть сердись, хоть нет — дело твое.

Сейчас я в Шиловке. Вчера вечером был у мамы. Извини, ты хлопец деликатный, я это знаю, знаю также, что мне заранее нужно просить прощения, потому и прошу: извини, я прочитал твои письма, так как хотел услышать твое слово, уловить между строк твое настроение, твои мысли, определить, как исподволь ты умнеешь, и мысли твои из растрепанных становятся стройными, логичными. Я знал тебя совсем маленького, и теперь ты для меня ребус, который мне нужно постепенно, шаг за шагом разгадывать. В душе моей к тебе есть лишь теплые братские чувства, которых ты не понимаешь и не ценишь, чертов ты турок! Вот что! Приедешь — сказал, высеку, — и высеку! Ну, попугал, и хватит. Теперь о другом. Ты скоро демобилизуешься. Хочешь ехать в Щетово (к дядьке Филимону). Хорошо. Не возражаю. Хочешь кончать девятый класс — одобряю и очень рад, что ты хорошо понимаешь цену науки и образования... Однако я серьезно подумы-

ваю относительно того, а не забрать ли тебя во Львов, если для этого благополучно сложатся условия и ты согласишься на этот шаг. Видишь ли, дело в том, что я перехожу на другую работу, то есть буду работать в самом Львове в журнале «Жовтень» редактором прозы...»

Это письмо датировано августом 1955 года.

А через месяц мы встретились, можно сказать, впервые как братья, которые уже немного узнали друг друга... Я не видел Григория около девяти лет и плохо представлял его. И вот поезд подходит к львовскому вокзалу. Он еще не остановился, когда я увидел Григория — в старепьком кремовом макинтоше, без шляпы, с высоко и немного набок закинутой головой. Он шел быстро, поглядывая на номера вагонов, потом увидел меня и побежал... Мы обнялись. Нас толкали, сбили с моей головы бескозырку, кто-то полез за нею под вагон и нацепил на голову Григорию. Это вывело нас из того состояния, когда нет слов, нет мыслей, а только сердце стучит и глаза жжет от слез. Мы засмеялись и так, обнявшись за плечи, пошли к вокзалу: Григорий в бескозырке и макинтоше, а я простоволосый, стриженый, потому что как раз перед демобилизацией попал на гауптвахту. Мы сидели в вокзальном ресторане до тех пор, пока нам не сказали, что ресторан уже час как закрыт, но нас не трогали, потому что не хотели мешать. Мы говорили в тот вечер о всей нашей жизни, об отце, о Шиловке, Владивостоке, войне, пили водку — и не пьянели, плакали — и не замечали слез...

Я смотрел на Григория и медленно узнавал его заново — так изменилось его лицо: покрылось глубокими, как шрамы, морщинами, а глаза стали выпуклыми, и зрачки были печально-нежными. Я знал, что Григория оперировали и вынули над самым сердцем осколок. («Ура!!! — писал он мне в одном из писем во Владивосток. — Мой враг лежит теперь на столе в коробочке из-под часов. Двадцать граммов смерти».) Знал и то, что ему словом и делом, материально помогал в ту, вероятно, очень трудную для него пору Олесь Гончар.

Но не знал, что операций было три, из них две неудачные, потому что врачи не смогли добраться до осколка, и образовался только свищ на спине — рана, которая не зажила до конца жизни Григория, так и оставшись под бинтами. На другой день, уже в Каменке, он показал мне ее. «Иди посмотри, Грицуня!» — крикнул он из

спальни, где Олена Федотовна, жена, делала ему перевязку. Поднял майку, стоя ко мне спиной, и тотчас ее опустил. Я успел лишь увидеть синие шрамы, их было много, и между ними маленькую ранку.

Ночевали мы в ту львовскую ночь на квартире товарища Григория, который любезно оставил для нас ключи у соседки, а сам отправился к знакомым, чтобы не мешать нам. Мы проговорили до самого утра. Григорий уложил меня отдыхать на диван, а сам стоял на коленях возле меня и читал свои стихи:

Мы спали із ним у окопі однім,
Ми мріяли з ним про покинутий дім,
Цигарку курили удвох пополам
І разом дивилися в очі смертям.
В атаках страшних, що не бачаться в сні,
Назустріч ішли двадцять третій весні.
І нам, що в атаках зуміли дружить,
Вмирать не хотілось, хотілося жить.

. . . .

Я ніч пам'ятаю. Ми брали село.
Всього нас дванадцять у темінь пішло.
Здригалась земля і гуділа в огні...
Чи страшно було чи не страшно мені,
А тільки я в серці своєму зберіг —
Товариш в селі біля тину приліг,
Підповз я до нього — рухнутись не зміг,
Лежить мій товариш, товариш без ніг...
І, може, тому, що не зовсім пора,
Лежить тільки стогне, лежить, не вмира...
І тихо, як жалоба, сіється сніг...
—Дострель мене, — каже. — Ну, як я без ніг...
Я взяв його й тихо поніс між пожарищ,
А губи шептали: — Товариш, товариш...

Он сам был «товарищем», которого после последнего ранения вынес на себе какой-то балтийский моряк в прошлом, а затем партизан. Восемь километров нес и вынес. Где сейчас тот Костя-моряк и знает ли, может ли знать, как часто вспоминал его Григорий?.. Снаряд разорвался у него за спиной, и в глазах возник лишь красный всполох, уши резанул крик — и все покатилось в черную яму беспамятства. Потом был госпиталь, палата безнадежных, откуда выносили уже навсегда. Ему привиделось, что он лежит на спине в нудно-горячем болоте, и оно сосет, сосет его спину и медленно втягивает в себя. Он закричал. Ворочался в окровавленной постели и кричал, но в палату никто не заходил: все, мол, кричат, потом затихают. Он стал ругаться страшнейшими словами, и

тогда вошел врач... Вскоре его перенесли в палату для живых... Но тот болотный сон-бред еще долгие годы мучил его, заставлял отворачиваться от черного цвета и ям.

На другой день мы побывали в «Жовтене» и двинулись на Каменку-Бугскую. Автобуса не оказалось, поэтому забрались в кузов грузовика. Август тогда выпал холодный, по-западному влажный, листья на деревьях казались мне более темными, чем у нас на Полтавщине. Мы мерзли, жались друг к другу и укрывали — я его короткой полой бушлата, он меня стареньким, заштопанным в нескольких местах макинтошем...

В Каменке пришлось вместе пробыть недолго: Григорию нужно было ехать на работу в журнал, мне — торопиться в Донбасс в школу, потому что учебный год уже начался.

Вскоре я получил на адрес дяди письмо, в котором впервые упоминалось о работе над «Водоворотом»:

«...Мне интересно, Грицуня, вот что. Возьми ты, пожалуйста, и заведи такой блокнот и записывай буквально все, что будет говорить наш славный Филимон Васильевич. Особенно то, что касается хроники Шиловки. Все, что он скажет. Потому что это, брат, золотая пыльца, самоцветы народного юмора, на который наше поколение уже не способно. Только делай это так, чтобы он не замечал, иначе ему будет неловко и, может, неприятно. С умом делай, а не в лоб. А потом все эти записи мне переправишь. Фиксируй отдельные меткие, интересные словечки, на которые так богата его речь. Ибо задумал я, брат, писать про Шиловку или повесть, или романягу целый. Это пока лишь тебе признаюсь...»

Известно, что Григорий начал писать еще до войны. А читатели узнали его и, осмелюсь сказать, полюбили или оценили только после появления первой части «Водоворота».

Дело тут не только в том, что Тютюнник не мог себя найти — хотя за работой и операциями и это нелегко было сделать. Дело в том, что то, чем болела его душа, та его «главная книга», которая часто остается так и ненаписанной, не укладывалась в «модную схемку». «Водоворот» — это не сюжетик, а целый народ, целая эпоха! Товарищи Григория потом удивлялись, как быстро он вырос на их глазах, но не догадывались, что Тютюнник просто раскрылся, свободно и легко вздохнул, ощутив

возможность взяться за то, что мог и страстно желал осуществить.

Все эти годы я жил в окружении, в котором говорили по-русски, и начинал писать на русском языке. Поэтому брат, отвечая на мои письма, тоже писал по-русски.

«27.XI.1957 г.

Роман мой, Гришуха, движется. Уже имею 500 печатных на машинке страниц. Это двадцать печатных листов. А еще первая часть не окончена. Думаю, к весне одолею. Понимаешь, испытываю затруднения в недостатке фактического материала для общественно-политической линии; интимная, бытовая идет хорошо. Ведь я описываю жизнь села до войны. В Шиловке собрал часть, но мало. Да и то: у кого соберешь? Ведь ты наших шиловских гушаков знаешь. С ним пока разговоришься, два раза в Артилярщину сходить можно. Спрашиваю как-то Брынчука: «Ну как же вы жили до войны? Какая, по-вашему, разница между довоенной жизнью и теперешней?» Он почесал затылок, насунул на глаза «картуз», вынул кисет, закурил, молчал полчаса, а потом вместо ответа на мой вопрос спрашивает: «А тобі навіщо воно нужне?» «Так, — говорю, — вспомнить интересно». Он молчал еще с полчаса, а потом: «Що ж до війни? Тоді все на коровах, а тепер на тракторах».

Вот тебе и поговорили...

Поэтому на этой неделе еду во Львов, привязываюсь в библиотеке к стулу и начинаю рыться... Нужно, ничего не поделаешь. Роман я назвал условно «Вир» — «Водоворот». В украинской лексике «вир» имеет более широкое значение и точно передает события, о которых идет речь. Но меня смущает очень важное обстоятельство: будет ли понимать название средний читатель? Поэтому я подыскиваю новые. Но дело, конечно, не в названии. Писать мне все тяжелее, то ли становлюсь вредный и придирчивый, но многое меня из написанного уже через два дня не удовлетворяет, я переделываю, злюсь, бурчу про себя: «Ах ти ж анахтемська душа», — и «дряпаю» дальше. Все же дело идет. Иногда я прекращаю работу над романом, потому что в голову врывается какой-нибудь сюжет и мучит, и мучит, и долбит мне мозги, тогда

я отбрасываю все в сторону, сажусь и шпарю новеллу или рассказ. Например, сегодня окончил одну новеллу, которую аллюром шлю в Киев... Потом у меня начато две повести, зовут, но разорваться не могу. Пусть подождут немного. Да. Еще новости. Повесть «Хмарка» все же переводится на русский язык. Переводит Кедрина, жена очень хорошего, но почему-то малоизвестного поэта, безвременно погибшего, Дмитрия Кедрина. Она прислала мне сборник его стихов. Чудесные стихи. Так вот, она переводит. Скоро должна прислать мне на читку...

У нас мороз. Была оттепель. Снова морозец. Дед Кирило Билокобильский убил косого и принес мне «выпимши». Я был занят, зайца взял, дал ему, деду, на «сто пятьдесят» и отпустил з богом. Дед врал безбожно, как все охотники, что он «вбив зайця одною дробиною. Ось як розрізатимете — побачите... У вухо».

Ах, как мне хочется еще с тобой поговорить. Подольше... Кгм. Значит, так... Я в комнате еще не топил. Озябли ноги. Обожди, «потупаю»... Все. Продолжаю. Итак, о Цвейге. Я, как только получил и прочел твое письмо, пошел в магазин, купил и читал весь вечер. Прочел «Амок» и «Двадцать четыре...». Пишет он великолепно. Психология потрясающая, детали сделаны исключительно мастерски, но, увы, я никогда не смогу быть беспристрастным читателем... Дело в том, что манера его письма в психологии мне абсолютно подходит, там есть чему научиться, и это великолепно; мы так писать еще не умеем, и бог знает, может, и не научимся; но манера его письма в коллизиях — не подходит... Сенсационно. Сенсационно начинает каждый рассказ, то есть с какого-то необычайного, загадочного происшествия, чтобы сразу заинтриговать читателя. Я такой манеры не люблю. Это мне почему-то напоминает дельца, стоящего на рынке и показывающего краденую вещь из-под полы: купи, мол, хорошая вещь. Я люблю спокойное, эпическое повествование а-ля Лев Толстой, где нет ничего необычайного, нет игры эффектов, но это простое... такое простое и такое сильное. «Поликушка», например, рассказы Чехова, Гоголя, Успенского, что разрастаются в твоих глазах в грандиозное, незабываемое. Притом, если ближе присмотреться к Цвейгу, психология, поведение его героев однотипны, может, здесь имеет влияние манера вести рассказ от «я». Безусловно, имеет и ограничивает, очень ограничивает писателя, так,

например, леди из «Двадцать четыре...» и врач из «Амок» чувствуют почти одинаково. А это несправедливо и невозможно. Они разные люди, и психология их не может быть одинаковой...»

«16.II.1958 г.

Неисправимый брат мой!

...Новостей у меня особенных нет. Арбу с романом «пхаю» дальше, гора крутая, ехать тяжело, путь бесконечный. На днях был во Львове на совещании писателей. Три дня. Жил в гостинице «Львов», один в комнате. На совещании подводили итоги творческих дел наших «списователей» за два года. Все нормально...

Получил московскую «Литературную газету» с докладом Тихонова на пленуме писателей 13 февраля о состоянии и задачах литературы; между прочим, с этой высокой, всесоюзной трибуны, вспоминает докладчик и обо мне. Ищи на 3-й строке вверху, первая колонка. В «Лит. газете» 15 февраля на первой странице жирным шрифтом найдешь заметку — «В Союзе писателей». Там сказано, что будет, дескать, организована творческая встреча с писателями Львова и Ужгорода. На эту встречу с группой львовских товарищей поеду и я. Это будет с 5 по 15 мая. Потом мы из Москвы поедем, кажется, в Ленинград. Дальше: повесть моя должна выйти на русском языке в издательстве «Советский писатель», с которым я веду активную переписку.

Все это, в конечном счете, не суть важно, мне сейчас главное — написать роман. Вот. А там посмотрим...

Пиши мне почаще.

С приветом Григорий Первый».

«18.IV.1959 г.

Здравствуй, Гришуня!

Целую тебя в щечку, Людочка!

Я понимаю, что у вас, у студентов, мало времени на письма, но все-таки пишите старику, не забывайте, ибо я потом рассержусь и бог знает что могу... Та нічого я не зроблю, бо дуже вас люблю, чортенят!

Сейчас я устроил себе небольшой перерыв в работе, ничего не делаю, только читаю, читаю, читаю и даже пишу дневник, что очень редко со мной случается. Пер-

вую книгу романа я уже закончил и поэтому «байди-кую»[1], вторая в черновиках тоже готова, но на днях я ее прочитал и решил писать заново, потому что многое меня не удовлетворяет. Жена говорит, что я каторжник, буквально оттаскивает от стола, а я все равно потихоньку пишу, когда она на работе. Она говорит, что во второй части «все хорошо, не смей ничего делать», а я делаю и не каюсь: получается лучше. Упрямства у меня хоть отбавляй. А в общем, на лето, как всегда, у меня найдется работа, и огромная, так что не знаю, будем ли мы с тобой, Гриша, ходить на рыбалку. Между прочим, у меня на это лето уже выработана программа. Мы от слов перейдем к дії, к делу то есть:

1. Мы должны пешком исходить весь наш район, особенно меня интересуют глухие хутора, где я смогу послушать истинно украинский язык, а это для меня очень важно, посмотреть людей, поговорить с ними...

2. Ты должен мне помогать и сам учиться у народа твоего родного...

На днях я закажу телефонный разговор с тобой и Людой, из которого я хочу узнать, как ты живешь. Пиши, что тебе нужно, я помогу. Мне кажется, что у тебя плохо с обувью и рубахами. Пиши, чтобы я знал, стесняться нечего.

Роман, первая часть, еще у меня на столе, я его правлю, из трех редакций я получил приглашение отослать его. Но я держу. Пусть отлежится. Какая его судьба будет дальше — посмотрим. Я потом вам напишу.

Еще раз целую и прошу писать мне письма чаще. Особенно прошу Люду. Ну и тебя, конечно, Гриша. Пишите, скучаю за вами».

7

Зимой 1960 года мне выпало счастье побыть вместе с Григорием в Каменке-Бугской около трех недель. Олена Федотовна, жена Тютюнника, была как раз в отъезде, и мы хозяйничали вдвоем: я помогал ему как умел править перевод первой части «Водоворота» на русский язык, он мне — готовить еду для нашего «куреня»[2], как мы весело себя называли. Еще служа на флоте, имея не

[1] Байдикувати — бездельничать.
[2] Курень — казацкое подразделение.

одну возможность побывать в очередном (да и внеочередном) наряде на камбузе — кухне, я немного набил руку в поварском деле, по крайней мере, знал, что после чего кладется в борщ... Поэтому вся «тонкая» кулинарная работа выпадала на мою долю, а Григорий взял на себя «общее руководство» — показывал, где и что брать в погребе, как пользоваться газовым баллоном и т. д.

Жил он тогда в двухквартирном домике на Шевченко, 13, на втором этаже. Был этот этаж похож чем-то на мансарду из двух небольших комнат и с кладовками по бокам. В комнатах в ветреные зимние дни стояла холодина и, то ли мне теперь кажется, или так оно и было в действительности, все там скрипело: деревянные узенькие лесенки, ведшие на второй этаж, пол, даже кладовки... Из мебели лучше всего помню большой продавленный диван, обтянутый облысевшим красным бархатом, едва ли не дореволюционного тканья, и большое зеркало с желтыми пятнами по краям. Ведь Григорий приехал в Каменку-Бугскую, по его словам, имея лишь старенький чемодан с книгами и единственный, местами уже починенный костюм. К тому же учительствовать ему пришлось недолго из-за раны и операций, литературные дела по той же причине едва двигались, а пенсия составляла мизерную сумму — тридцать рублей в месяц. После выхода романа можно было бы, разумеется, приобрести другую мебель, но Григорий надеялся вскоре получить квартиру во Львове, поэтому в мансарде все оставалось так, как в трудные времена.

Работал Григорий за небольшим шатким столиком в спальне. Тут висел портрет М. Шолохова за рабочим столом. Как-то, заметив, что я рассматриваю портрет, Григорий сказал: «О, это мудрый вешенец. Великий знаток своего народа».

Язык перевода во многих местах не удовлетворял Григория, и он работал над ним с утра до вечера, переделывая заново целые страницы, ища соответствующее отдельным словам и идиомам, и кричал мне из спальни на кухню, чтобы искал и я. Но чаще обходился сам, или с помощью словарей, или припоминая прозаические или стихотворные тексты из русской классики, которых знал наизусть немало.

В полдень мы садились завтракать и обедать одновременно, и Григорий всячески расхваливал мои кулинарные способности, обнимал за плечи и нежно уговари-

вал бросить филологию и перейти на шеф-повара... Или ласковенько обещал:

— Я тебе, братик, за такой вкусный обед завтра клеш так отутюжу, что муха как ударится с лету о складку, так и голову рассечет. Вот увидишь!

Кстати, бросить филологию он советовал мне не только шутки ради, но и вполне серьезно, и не однажды...

После обеда мы шли на прогулку или в сад — искать опавшие поздние яблоки в листьях под снегом, или в старый чудесный парк неподалеку от домика (Григорий говорил, что в этом парке родилась глава «Водоворота»), или на леваду, к Бугу, который еще не замерз и чернел сверху извилистой полосой.

Но самым любимым для нас были вечера, когда мы разговаривали в мансарде, не включая света, прислонясь спинами к теплому кафелю печи, в которой уютно, по-сельскому, потрескивали дрова, а по стенам скользили красные отблески пламени.

А бывало, Григорий вдруг предложит весело:

— Знаешь что, давай проведем собрание с Кольвахом! Ты — Кольвах, я — председатель.

И начиналось.

Я шел к двери, подпирал плечом косяк, расстегивал манжеты сорочки и засовывал в рукава руки, будто они мерзнут, — так дед Кольвах всегда слушал собрание в колхозной конторе. А Григорий клал на стол стопу книжек, хватался за нее с обеих сторон, как за трибуну, и торжественно произносил:

— Дорогие товарищи! Наш рабочий класс и трудовая интеллигенция с величайшим энтузиазмом...

Далее шла импровизированная речь. Мне, «Кольваху», следовало слушать ее, глядя в пол, кивать головой и все время мудро или угрюмо улыбаться.

— А у нас что? — распалялся «докладчик». — А у нас ни одной исправной подводы, двигатель до сих пор в МТС на ремонте, в молотилке порхают воробьи, как в драной клуне, понимаешь, а на молочной ферме систематически расхищается обрат вместо того, чтобы идти в корыто свиньям!.. — В конторе гнетущая тишина, все слушают понурясь, и вдруг, когда докладчик делает паузу, «Кольвах» от двери, не поднимая головы и не вынимая рук из рукавов, спросит:

— Вот вы это сказали: рабочий класс, трудовая интеллигенция... А мы кто ж такие?

Тут докладчик какое-то время должен ошеломленно смотреть на «Кольваха» — у Григория это получалось неповторимо: выпуклые глаза его неподвижно останавливались на «старом» и, казалось, пронизывали его насквозь, и наконец медленно так, с ударением:

— А вы, дедушка, селяне!

— А-а... селяне, да и только... — как можно более скептически говорил «Кольвах», кивал головой и умненько улыбался самому себе, не отрывая глаз от пола. — Слышь ты, селяне... Так-так...

Потом мы менялись ролями Причем роль Кольваха оставалась неизменной, а доклад повторять запрещалось: импровизируй!

В один из таких вечеров я и решился сказать Григорию, что хотел бы прочитать ему свой рассказ. Я знал, что он не охотник вести узколитературные, профессиональные разговоры, по крайней мере со мной, и не раз говаривал: «Сам, сам докапывайся до своего источника. Творчество дело такое: тут никто никого не научит. Флобер учил Мопассана? Нет и нет! Он только поддерживал в нем желание писать, и то довольно скептически. Так что сам тянись. Тебе же полезнее будет».

Кроме того, я никак не могу забыть один неприятный разговор, угнетающий меня до сих пор, — таким бестактным он был с моей стороны.

Случилось это в Шиловке, вскоре после того, как журнал «Жовтень» опубликовал первую часть «Водоворота». Григорий приехал к маме в отпуск, я — на каникулы. В первый же день мы встретились в сумерках на мосту, по дороге друг к другу. Ему, конечно, хотелось услышать мое, хотя бы и незрелое, слово о романе, и он спустя некоторое время спросил:

— Как тебе мой «Водоворот»?

Я похвалил — и похвалил искренне, но вышло это у меня мимоходом, бегом, как нечто само собой разумеющееся. Так жеребенок ткнется губами в шею лошади-матери, и снова брыкаться и скакать по лугу... Через минуту я уже высказывал ему свое увлечение Ремарком, которого только что прочитал: кажется, это была «Триумфальная арка». А вдобавок еще и воскликнул:

— Вот как нужно писать!

— Всем? — глухо, равнодушным голосом спросил Григорий.

— Всем! — сказал я горячо. — Особенно украинцам,

потому что у нас не пишут, а размалевывают. К тому же юродствуют в романтизме. А где психологизм? Где интеллект?

Григорий долго молчал, так долго, что я успел обидеться на это молчание и хотел уже «гордо уйти», как он сказал:

— Ремарка я тоже читал и ценю его... Может, к о м у-т о (он с особой силой произнес «кому-то», явно намекая на меня) даже хотелось бы пощекотать нервы интеллигентной публике, дать ее интеллекту калорийную пищу... — Тут он сделал долгую паузу. — Только кто же будет писать вот для этих людей — и кивнул на село. — Для них и про них. Ремарк?

В тот вечер мы еще долго ходили по селу, говорили о всякой всячине, но по его голосу, интонациям, холодноватым, отчужденным, я понял, что вел себя глупо...

На мое предложение прочитать рассказ Григорий недовольно, как мне показалось, взглянул искоса своими черными, как графит, глазами и сказал:

— Если ты считаешь, что он удался, давай, а если нет — переделывай, пока не удастся, или брось и принимайся за другой. Полуфабрикатов не читай.

Я сказал, что не знаю, удался рассказ или нет, но надоел, опротивел так, что я, наверно, его выброшу.

— О, тогда давай, — сразу оживился Григорий. — Раз надоел, значит, там что-то есть!

Я вытащил из-под покрывала на диване спрятанный там свой горький опус и готовился читать: откашливался, перебирал страницы, чувствуя себя как сельский допризывник перед военкомовской медкомиссией.

Но Григорий, к счастью, сказал:

— Нет, нет, я на слух не воспринимаю. Сам прочитаю. — Забрал из моих рук помятые листы и пошел в спальню, прикрыв за собой дверь.

За те полчаса, пока он читал, я испытывал два острых желания: одно — дождаться приговора, другое — убежать. Но как убежишь: приехал по-студенчески, имея деньги только в один конец.

Но вот дверь из спальни стремительно распахнулась, и в ней стал Григорий.

— Есть! — воскликнул он громким баритоном и потряс над головой бумагами. Потом сказал спокойно-деловито: — Садись за стол, будем работать. Осторожнень-

ко этак, нежненько, чтоб с водой не выплеснуть и рыбину.

Мы сдвинули стулья, склонились голова к голове, и Григорий прочитал первое предложение.

— Так?

— Так.

— А если без этого слова? — Черк карандашом — и фраза сразу зазвучала по-новому, так, как я и хотел бы ее написать, но не сумел.

— А это зачем? Вот тут точечку давай поставим. Давай? Вот так. Теперь читай!

Он возбужденно дышал у меня над ухом, щекотал своим чубом и рокотал баском:

— Тепереньки, как говорила бабка Вушкалка, вот это предложение читай. Что тут лишнее? Это? Пр-равильно, Хтудуличику ты мой дорогой. Дальше.

— Погоди, — сказал я, когда уже вспотел, хотя в комнате было довольно прохладно. — Ты скажи об общем впечатлении. А так ковыряться в каждом предложении — возненавидеть можно.

— Э, мальчик мой маленький, это тебе и есть черная писательская работа, мучительница наша и радость. В предложении — все. Общее впечатление начинается со слова, предложения, даже со знаков препинания. Если ты лишним или недописанным словом искалечил предложение — ты искалечил и настрой произведения, а вместе с ним общее впечатление. Так что вперед, не отлынивай.

К полуночи рассказ был прочитан. По предложениям. Мы встали из-за стола радостные, взволнованные, как разгоряченные кони, ходили друг за другом вокруг стола, и Григорий гудел вдохновенным баском:

— Молодой Чехов писал патриарху Григоровичу, что старается не истратить на рассказы дорогие ему образы и детали, бережет их для чего-то другого. И каялся. Правильно. Писать нужно так, словно пишешь свою последнюю в жизни вещь. Выкладывайся весь: слово, настроение, образ — все отдай, что взлелеял. Настроение у тебя есть. Нужно работать над словом и образом, новым, объемным, точным. Помнишь, у Гоголя в ремарке к «Ревизору»: «Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен». Одно предложение, а какой образ! Это уже тип! «Несколько вольнодумен»... После пяти книг!..

И еще. Вот ты пишешь по-русски. Ну что ж, раз уже так сложилось, пиши. Только знай, братик, язык — душа народа. Как же ты будешь писать об украинцах не их языком, как выразишь их душу не через их язык, то есть опять же душу? Ты непременно попадешь в тупик и попятишься назад, жалея, что потерял столько времени. Тогда вспомнишь меня!.. — И закончил после длительного молчания: — Так что ищи, Параска, онучи, дорога дальняя, сказал бы наш милый дядя Филимон. За сим и отдадимся объятиям Морфея. Ложись отдохни, а то я тебя сегодня, кажется, немного утомил...

А на другой день случилось такое, что и до сих пор стоит у меня перед глазами и болит.

Погода с утра была чудесная: белел снег вдали, за черным Бугом, сияло солнце, снег на деревьях как вороньи гнезда, а тишина стояла святая. Мы решили, что сидеть в такое утро дома грех, попросили в школе лыжи и двинулись садом на леваду. Впереди был крутой спуск в овраг, и Григорий по-мальчишески весело, даже дерзко, воскликнул:

— Ну, моряк, держи свой клеш, сейчас атакуем этот трамплин!

Стали рядом, опершись на палки, прикинули.

— Не боишься? — уже серьезно спросил Григорий.

Я ответил, что на Дальнем Востоке спускался с сопок, хотя это было и давненько.

— Тогда вперед!

Я оттолкнулся первым. Летел метра четыре в воздухе, широко раскинув руки, потом приземлился на одну лыжу, да еще и левую, а правая задралась носом вверх. «Сейчас упаду», — подумалось, и в тот же миг услышал, как позади стукнулись лыжа о лыжу, щелкнули палки...

Когда я встал — все-таки не удержался на одной ноге — и оглянулся, увидел: Григорий стоит пошатываясь, округло раскинув руки, чуб в снегу и из-под него — глаза... Я подумал, что он шутит. Такую позу — голову вперед, руки (а они у него были, как у отца, крепкие, могучие) разведены, как у борца, — он принимал, когда изображал Тараса Бульбу: «А ну подойди, сынку!»

И я засмеялся. Над его позой, снегом в волосах, над тем, как лихо мы бросились брать трамплин и так вот осрамились.

Когда же подобрал лыжи и подошел к Григорию, он уже держался обеими руками за грудь, и в глазах его

было столько черной боли и страдания, что мне, кажется, до хруста сдавило горло... Он упал грудью вперед.

Я подхватил его и свои лыжи на плечо и хотел взять Григория под руку, но он чуть слышно прохрипел:

— Ничего, ничего, я сам, — и, едва переставляя ноги, двинулся к саду.

Потом к нему вернулся голос, и он все говорил мне через паузы:

— Ты иди, иди... А я сам потихоньку... Ты... испугался за меня?.. Иди, иди... Я как-нибудь помаленьку доберусь...

Это была его предпоследняя зима.

Каждое лето Григорий приезжал в Шиловку на отдых, хотя отдых этот был скорее условным — в селе ему, наверно, лучше работалось, особенно к осени, когда его товарищи разъезжались после отпуска. Тогда он садился за машинку и выполнял намеченную норму. Не всегда, конечно, выполнял. Он не был педантичен ни в чем.

Стало уже своеобразным штампом писать, вспоминая о Тютюннике, что он любил брать машинку в лес, ставить ее там на пенек и работать над романом. Это преувеличение. Лес от Шиловки не очень близко, пока дойдешь до него, да еще с машинкой, бумагой, «тормозком» — так и писать расхочется. Было это, может, раза два, ходил, а вот писалось ли — не знаю. Обыкновенно Григорий работал дома, за хатой, в холодке, где росла бузина и закрывала его от людей, которые проходили улочкой, или в сарае, где лежали дрова и гнездились ласточки.

Однажды я пришел к нему раньше, чем мы условились, и услышал, как в сарае стучит машинка. Я лег во дворе на траву и принялся ждать, пока он закончит работу. Печатал он медленно, с длинными паузами, потом совсем перестал. Тогда я подошел к сараю и заглянул в него: Григорий сидел на пеньке и смотрел куда-то вверх, улыбаясь, а в машинке торчала недопечатанная страница. Я вернулся назад, но он заметил меня и позвал:

— Заходи. Я уже закончил. Смотри, вон какие ротастые сидят.

Я посмотрел вверх. Там, над дверью, было ласточкино гнездо, отлично прилаженное к срубу, а из него выглядывало пятеро птенцов.

— Сейчас прилетит их папа или мама и будет кормить вон того, крайнего слева, — сказал Григорий.

— А откуда ты знаешь, что именно его?

— Потому что они их по очереди кормят. И ни разу еще не ошиблись. Я заметил.

Вскоре прилетела ласточка, птенцы завозились в гнездышке и потянулись к ней разинутыми клювиками, но она накормила крайнего слева...

— О, видел? — обрадовался Григорий. — Я же говорил. У них, брат, порядок...

Одевался Григорий в селе по-домашнему, чтобы можно было и за машинкой посидеть, а если нужно, то и по хозяйству что-то сделать.

Евгения Федотовна частенько корила его несердито:

— Ты, Горя, хотя бы оделся как следует, а то бог знает на кого похож. Люди вон понаедут, и каждый день, смотри, все в новеньком и в новеньком.

— Так это ведь люди, — отвечал Григорий (тут он прикидывался простачком и продолжал уже голосом деда Федота): — А я, собственно говоря, хто? Бедный «списыватель», как говорят чехи, ня-а-а... К тому ж люди приехали в гости, а я домой. — Брал спиннинг и шел к реке в стоптанных туфлях и вылинявшем спортивном костюме.

Он любил охотиться за щуками. И был в своем увлечении неутомим. Ловится, не ловится, а он все бросает блесну, пока не оторвет ее, зацепив за корягу, или все-таки что-нибудь поймает.

Как-то мы отправились на реку вдвоем. Навстречу попался известный шиловский рыбак и сказал:

— Сегодня, хлопцы, дела не будет. Солнечно. Душно...

— Будет! — воскликнул Григорий, потрясая спиннингом. — У нас вон блесна такая, что за ней и дохлая щука погонится.

— Ну, дело ваше, — вяло кивнул рыбак и пошел дальше.

Река и вправду была как мертвая. Парило так, что даже лягушата сидели неподвижно в лужах между кочками. При заходе солнца стало прохладнее. А Григорий все махал и махал спиннингом. Наконец устал, поморщился и пробурчал:

— Может, и правду рёк тот мухомор, что не будет дела.

И в этот момент уцепилась щука, жилку повело вбок, скрипнуло удилище — подсек.

— Есть!!!

Щука подпрыгивала уже в прибрежном иле, когда мы увидели, что зацепилась она слабо и сейчас оторвется. Я бросился к ней, упал на колени и накрыл руками, а Григорий сгоряча еще раз дернул удилище, и крючки впились мне в ладонь. Когда щуку нанизали на клюшку из чернотала, а кровь на руке остановили листком подорожника, Григорий стал утешать меня:

— Ничего, братик, за кровь, пролитую из-за нее, — нашу хтудуливскую кровь! — мы ее зажарим. Ты съешь серединку, а я, как виновный, буду жевать хвост и голову! — По дороге домой он неожиданно воскликнул: — Ну вот, а тот пророк сказал, что не поймаем. Вот и слушай людей!

В другой раз мы возили лес на хату. С луга вытаскивали ольху на сухое место веревкой, уцепившись за нее гуртом, а потом клали на подводу и на волах отправляли в село. Григорий, сколько его ни отговаривали, закатал штанины и, увязая в торфянике, пошел за нами в луг. Обвязали ольху, стали сдвигать с места, выкрикивая все: «Раз-два, взяли!» Григорий дернул раз, другой... Потом схватился рукой за спину, побледнел и отошел в сторону. Все мы смутились, бросили веревку и молчали. А дядя Филимон Васильевич (он как раз приехал в отпуск с Донбасса) рассердился и сказал: «Иди, Григорий, к быкам. Тебе ведь говорили, не нужно». Григорий виновато улыбнулся и побрел, глухо покашливая.

Когда мы притащили ольху к подводе, он уже стоял возле быков и что-то записывал. Мужчины сели перекурить, а Григорий позвал меня и сказал, кивнув на быков:

— Смотри...

Быки жевали, а ветерок срывал с их губ слюну, и она тоненькими нитями летела за ним над травой. Григорий вытащил из кармана записную книжку и прочитал: «Слюна с бычьих губ летит по ветру, как осенняя паутина», — правда ведь, хорошо?

Эта деталь, выписанная точнее, встречалась мне потом, как и много других, знакомых уже, в «Водовороте».

Были ль еще замыслы у Григория, кроме «Водоворота»? Безусловно. И не один. Ведь он, в сущности, только начал свою литературную жизнь.

«...За роман еще не брался, — писал он мне в одном

из писем, вернувшись из Шиловки. — Руки уже чешутся, черти щиплют за бока и злорадствуют, что я их не могу прогнать, так что в недалеком будущем засяду. В голове вертится сюжет для новой повести, ах, как мне хочется приняться за нее, какой материал, сколько в сердце чувств, а в голове мыслей, но вот... роман, нужно писать роман, а повесть в сторону, потом, позже. А в ней такая природа, интересные люди (уже очертил хорошенько пять физиономий) и чувств, столько чувств... И луна, и грозы степные, и речка, и опошнянские гончары, и гм... гм... горе людское... Так. Вот как...»

Осенью 1960 года умер наш мудрый, веселый и добрый дядя Филимон Васильевич. Григорий не смог приехать на похороны: он заболел. Не стало дяди — и мы почувствовали себя осиротевшими... Понятие рода никогда не было для нас формальным.

Ровно через одиннадцать месяцев я получил от Григория такое письмо:

«Грицко!

Было бы очень хорошо, если бы ты приехал в Харьков, устроился с жильем, «отметился» в деканате и вернулся бы в Шиловку еще на неделю. Выдумай что угодно, только бы вырваться...

25.VIII.1961 года».

В тот же день через час я получил телеграмму: Григорий умер...

На столе в его комнате осталась аккуратно сложенная в потертой папке вторая часть романа «Водоворот».

Счастливый дар человека — память его. Она сберегает порой, казалось бы, обычные, ничем не приметные на первый взгляд полутени былого, словно знает: настанет в жизни человека такой час, а может, такой миг, что они оживут вновь, озарятся лучами чувств и вознаградят его поэзией, имя которой — воспоминание.

Спасибо же тем, кто дарит нам счастье добрых воспоминаний.

...Тогда мы условились не расставаться до рассвета и встретить зарю посреди нашего старого моста, где не раз простаивали, опершись грудью на перила, до самой полуночи. Потом прощались, и Григорий говаривал: «Пойдем, братуха, провожу тебя до конца моста, да и по домам».

В конце моста снова прощались, и уже я говорил ему:

«Пойдем же, теперь провожу и я тебя до конца моста».

И так, бывало, долгонько провожаем друг друга. Потом засмеемся своему чудачеству и поплетемся в противоположные от моста стороны: он к своей хате, а я к своей.

А то порешили: простоим до утра, пока люди в селе зашевелятся. Тихо было, тепло, звезды светили. Над рекой поднимался туманец, парило от воды, пригретой за день, потому что речушка мелка, до самого дна напивается солнцем — даже ил теплый.

Село давно уже спало. Дудукал деркач в лугу — без него летняя ночь на Ташани как и не ночь, а просто тьма. Камыш молчал. Рыба не вскидывалась. И все же в речке время от времени что-то плескалось. Далеко чернели сосновые боры — один около мельницы под хутором Лейбовкой, другой возле Дубины — луговой глуши. А Байрак, небольшой лесок на Беевой горе, только угадывался в мареве.

Мы наслаждались молча и курили. Папиросу за папиросой. Потому что курилось и молчалось. С вечера находились: Григорий водил меня над рекой — с серебристо-зеленой капустой на берегу, головастыми высокими подсолнухами, роскошными кустами укропа и густющим помидорным зельем, что выгоняет вверх выше колена, а помидоры родит мелкие и поздние, — водил и рассказывал, с каких мест писал картины в «Водовороте».

— Вот тут Орися стирала, — остановился у осокоря, который вышел корнями из земли и греет их на солнышке. — На этих корнях, у самой воды, лежала широкая вербовая доска — кладка.

— А вон там, под тем берегом, тонул в омуте ее милый Тимко. Когда-то тут, говорят, водоворот был и пучина бездонная. Теперь нет...

— А вот этой тропкой Оксен в колхоз ходил. Только я ее повернул немного, когда писал...

Теперь, стоя на мосту, над туманом, в тепле, которым дышала Ташань, и тишине предрассветной, видел я и горбатые корни осокоря — обыкновеннейшие корни, местами обшарканные сапогами, местами зеленоватые от моха; видел кладку — неприглядную, треснутую с одного конца доску; и тропку видел в старом жилистолистом подорожнике и притоптанные тыквенные плети, что выползали на нее погреться... Сколько у нас на Украине

таких кладок, диковатых тропок, осокорей, сколько маленьких речушек, в которых вода словно бы и не течет, а спит... А сколько старых пепелищ и воронок от бомб на месте бывших хат, что полетели в войну в небо, как вот наша, вырванные с корнями, и растут теперь на месте бывших порогов, через которые нас впервые в жизни пересаживали мать или отец, выводя во двор, на белый свет без окон, только бурьян да искалеченные взрывами в самом зародыше вербочки, что так и не разрослись, лишь выбрасывают каждую весну все новые и новые побеги...

А сколько у нас на Украине Оксенов, Орись, Тимков, Гречаных, Дорошей — живых, милых сердцу героев «Водоворота»...

И все это, и все они — виденные, родные. Но не все замеченные, не все вырастают в честь, поэзию и славу народа. Ибо для того, чтобы вырасти им в поэму красоты, поэму счастья и горя, радости и печали, нужно, чтобы начались они из сердца доброго, любящего, самоотверженного... Мало видеть. Мало понимать. Нужно любить.

Нет загадки таланта. Есть вечная загадка Любви.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

МУЖЕСТВО ДОБРОТЫ

Еще не прошло и двух лет с того мартовского дня, когда многочисленные почитатели таланта Григора Тютюнника собрались у свежей его могилы. Уже по-весеннему потемнел снег, где-то в глубине земли, в корнях деревьев просыпалась жизнь, а над кладбищем в потрясенной тишине звучали скорбные слова надгробных речей. Запомнилось чье-то удивительно точное определение: «Он был так добр, что стыдился своей доброты и пытался хотя бы внешне выглядеть суровым». Это самая короткая и, пожалуй, самая меткая его характеристика.

Если свою почти детскую доброту он мог хоть как-то скрывать за внешним поведением, то в произведениях его она светится чисто и нетронуто — от первой написанной им строки до последней оборвавшейся... Он не мог не любить людей, не излучать на них добро, ибо обладал даром истинного художника. А это, по его собственной мысли, означает не только видеть и понимать происходящее, но прежде всего — любить, искренне, честно, с болью и радостью. Оттого что «нет загадки таланта. Есть вечная загадка Любви».

Писать о Григоре Тютюннике легко и в то же время трудно. Легко потому, что с первого абзаца, с первой фразы приобщаешься к живой жизни, живым характерам и судьбам, относишься к ним с таким же волнением, как к собственной судьбе. Трудно же потому, что автор обладает способностью до такой степени проникнуть в каждый жест, каждое слово героя, а за самым коротким описанием стоит такой огромный и разнообразный мир, что страшно заблудиться в нем и, приняв за настоящий, утратить «отстраненную» объективность.

Не оставил он своим исследователям и той спасительной ниточки, которая тянется обычно от произведения к произведению, выстраивая их в определенной естественной последовательности,

дающей возможность проследить путь от ученичества к зрелости.

У него не было ученичества. Он никогда не помечал написанное датами. Рассказы, с которыми он дебютировал в литературе, перепечатывались в последующих книгах, входили в избранные и переводные издания, и самый дотошный читатель не мог бы по степени мастерства отличить их от более поздних произведений.

Однако же при всей якобы статичности путь этого писателя отмечен нелегкой судьбой, в которой были и спады, и безмятежный покой, освещенный теплой радостью и сочным юмором, и глубокая боль... Не будем расставлять на этом пути хронологических вех. Истинный художник всю свою жизнь пишет одну-единственную книгу, и здесь совсем не важен порядковый номер ее страниц. Когда же поставлена последняя точка, когда не суждено более родиться ни одному новому слову, вот тогда эти страницы сами занимают надлежащие им места, даря нам единый и неповторимый мир. Именно это должен ощутить в первую очередь исследователь, намеревающийся воссоздать духовную эволюцию писателя, проникнуть в результат познания им человека и мира.

Начало 60-х годов — это время повсеместного проникновения в прозу лирического начала. Рядом со зрелым словом О. Гончара, И. Сенченко, С. Жураховича, О. Сизоненко, И. Чендея всходила новая поросль, означенная именами Е. Гуцало, В. Дрозда, В. Шевчука, Ю. Щербака, Е. Концевича, Р. Федорова, Ю. Логвина, Ю. Коваля, а позднее — В. Яворивского, Д. Герасимчука, Ф. Лесового, А. Колисниченко... Стремительные поиски нового содержания и формы вызывали то восторг, то скепсис. «Молодую прозу», как потом отмечалось, то возносили до небес, то подвергали уничтожительной критике.

В такой атмосфере нелегко было удержаться на гребне волны, даже имея уже изданный сборник рассказов. Тем не менее, когда в периодике появились первые рассказы Григора Тютюнника («В сумерках», «Чудак»), все поняли, что в литературу пришел человек, который способен сказать свое слово. Его творчество формировала сама жизнь (военное детство, ремесленное училище, работа на заводе, в колхозе, в донецких шахтах; после службы в армии — вечерняя школа, филфак университета, учительство...) и собственный писательский опыт: первый рассказ Тютюнник напечатал уже будучи тридцатилетним — чуть ли не через десять лет после того, как начал писать.

Пошли впрок и добрые советы старшего брата Тютюнника Григория, известного украинского прозаика, автора романа «Водоворот», учившего так «драить» написанное, чтобы «каждое слово блестело»

(воспоминания «Корни»). Для Григора следовать этому завету стало делом чести и совести. Не случайно уже в первых рассказах проявилось зрелое мастерство писателя.

В них же четко обозначились две основные линии всего его творчества. Назовем их условно «дети войны» и «мир чудаков». Оригинальность Тютюнника в развитии первой линии состоит не в том, что никто до него не касался темы военного и послевоенного детства. Напротив, к моменту его дебюта в литературе утверждались более молодые — те, кто сохранил в памяти не столько саму войну, сколько впечатления первых послевоенных лет. Чуть ли не каждый из тогда еще молодых писателей ощущал потребность рассказать о тяготах своего детства, о боли, которая не забылась. Появилось множество повестей и рассказов о том, как ждали фронтовиков, о голодном сиротстве, о слезах вдов и матерей, об одиночестве женщин, словом, о раннем познании ребенком сложных противоречий взрослой жизни.

Со временем и Григор Тютюнник обратится к этой теме («Перед грозой», «Сито, сито...», «Печеная картошка», «Обновка»). Но не для того только, чтобы исповедаться перед читателем, поделиться с ним тем, «как было на самом деле». У Тютюнника эти рассказы органически вписываются в цельное мозаичное полотно его творчества, на котором ярко зацветут все нехитрые краски тогдашней жизни его народа. Над этим полотном он будет упорно трудиться в течение всех тех неполных двадцати лет, которые отпустила ему судьба для творчества, — все глубже проникая в недра народной жизни, все точнее запечатлевая каждый ее штрих и оттенок. И не автор повинен в том, что вначале мрачная тональность преобладает в его вещах — ведь в их основе не расхожие пятаки медных правд, но чистое золото истины, глубоко проникшей в изболевшуюся детскую душу.

Горькие, а порою беспросветные дни его детства открывали ему высокую правду: в основе всего прекрасного в человеке и жизни — доброта... Она-то и является его мерилом, его сутью. На второй год войны эта истина вплотную встала перед одиннадцатилетним подростком, когда, спасаясь от голода, возвращался он из далекого Донбасса в родную деревню на Полтавщине. Слабые, еще совсем детские ноги исходили сотни километров разоренной фашистами Украины. Находясь то по одну, то вдруг по другую сторону линии фронта, брел он, полураздетый и голодный, ночевал где придется... Но физические лишения оказались пустяком по сравнению с тем, что видел он вокруг себя на покалеченной родной земле, что навечно сохранил в памяти, которая через много лет очнулась щемящей исповедью в автобиографической повести «Окружение».

Здесь уместно вспомнить мудрые слова Валентина Распутина: «Я уверен, что писателем человека делает его детство, способность в

раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что потом дает право взяться за перо».

А впрочем, автобиографический жанр сам по себе в данном случае мало что говорит и читателю, и даже самому дотошному критику. Ибо у таких писателей, как Тютюнник, все автобиографично, все пережито им самим, все прочувствовано, глубоко и непосредственно. Видимо, именно здесь кроется одна из причин небольшого объема его наследия, особенно в сравнении с ровесниками и даже младшими его коллегами.

И все же «Окружение», если можно так сказать,— самое автобиографическое произведение Григора Тютюнника. Целые фрагменты повести прямо перекликаются с документальными воспоминаниями «Корни», в ней так или иначе прослеживается едва ли не все, что написано автором о детях войны. Разве что имя маленького героя повести вымышлено, да и годами он постарше — четырнадцать. Видимо, по прошествии времени Тютюннику и самому трудно было поверить в то, что столько может вынести маленький человек.

От села к селу, от хутора к хутору продвигался Харитон на запад. Однажды он попал к нашим радистам, прожил у них безбедно несколько дней, но после тяжелого прорыва фронта дороги разошлись... Вот, казалось бы, и нехитрая внешне сюжетная канва. Однако сколько за ней человеческих судеб, сколько всего, хорошего и плохого, открывается подростку, какие ассоциации всплывают из его крошечного, но уже безмерно отягощенного горестями жизненного опыта!

Вначале мир взрослых предстает перед Харитоном сплошным клубком загадок, которые, кажется, ему никогда не разгадать. Никак не поспевает его собственная жизнь за наукой старших: пошлют его украсть мыло у немцев и променять на еду или одежду, а его поймают и изобьют; подучат зайти в самый богатый дом и попросить поесть, а там не только не дадут ничего, но еще и обидят подозрениями...

Не успев еще толком сориентироваться в этой трудной взрослой жизни, он четко усвоил, что мир разделен на добро и зло: первое нужно искать, найдя же, — хранить как зеницу ока, второе само следует за тобой по пятам. И самое страшное в жизни — одиночество среди людей, когда видишь в их глазах лишь пустоту и безразличие. Такого окружения не выдержит и самое крепкое сердце.

Подростку суждено познать то, что должно бы прийти к нему намного позднее. Наплывами вспоминая довоенную жизнь, он многому удивлялся. Вот, например, к его отцу, умелому столяру и косарю, так тянулись односельчане, а в глазах его почему-то стояла печаль. Статная же и веселая мать открыто не уважала

отца, и ее насмешки над ним резали даже детское ухо: «Фу! Живицей от тебя несет как от покойника, аж тошно. И пóтом... Фу!» И ребенок чувствовал недоброту матери, ее равнодушие, которое даже между близкими людьми могло возвести непреодолимую стену.

Перед Харитоном со временем открывается вся трагическая непоправимость подобных отношений; то же самое произошло с героем уже упомянутого рассказа «В сумерках». Его мать тоже больше всех любила себя, страшилась того, что увянет ее молодость и красота до того, как вернется муж с фронта, и она позволяла себе временные утехи с другим, «тыловиком». Однако измена не бывает временной. Тем более, когда она остро отзывается в сердце ребенка, где живет светлая память о сильной отцовской руке, надежно защищавшей сына. Восемнадцатилетняя разлука не вернула нежности к матери, хотя ему очень недоставало ее советов и ласки. Пусто в душе теперь уже взрослого сына. Не прорастает в ней так легко попранная материнским небрежением доброта. Казнится и будет казниться до конца своих дней и его мать...

«А стоило ли уж так драматизировать события, сгущать краски, описывая, конечно же, нетипичные моменты?» — перелистав рассказ, спросит сегодняшний молодой читатель. И мне послышится отзвук некоторых высказываний критики (честно говоря, автор этих строк в свое время почти полностью их разделял), вызванных появлением первой книги Григора Тютюнника «Завязь». И вправду, едва ли стоит говорить о типичности данной ситуации. Однако почему-то тут же вспоминается напечатанная лет через десять после «Сумерек» повесть Виктора Близнеца «Молчун». Сюжет повести — будто развернутый рассказ Тютюнника. Позднее сам писатель вновь возвращается к этой теме в рассказе «Устин и Оляна». А может быть, это все-таки нечто большее, чем просто случайное совпадение?..

Принадлежа к поколению детей войны, как было не сказать ему свое наболевшее слово о ровесниках, которые в морозные ночи засыпали с молитвой, обращенной к «волшебному» ситу: «Сито, сито! Ты святую муку сеешь... А где наш отец? Скажи мне правду... Святую правду...» («Сито, сито...»). Дети взваливали на свои худенькие плечи заботы о голодных малышах и больной матери («Перед грозой»), носили одежду, сшитую из плащ-палатки, радовались, как драгоценной обнове, «магазинным» галошам («Обновка»).

Это поколение трудно освобождалось от последствий войны, нелегко вживалось в мирную жизнь. И все же где-то в глубине души именно оно хранило веру в незыблемость добра. Недетский опыт научил этих детей скрывать добро от постороннего глаза, избегать и бояться фальши. Но ничто не могло заставить их расстаться с этой верой, она генетически унаследована от предков, заложена в характере с первых дней жизни. Недаром в прифронтовой одис-

сее Харитона его так согревают воспоминания о добросердечной и ласковой бабушке Марфе, о сильных и нежных руках отца («Окружение»). Стремление во всем быть честным перед теми, кто далеко отсюда насмерть сражается с врагом, не позволяет маленькому Ильку спокойно съесть заработанное обманным путем яблоко («Сито, сито...»); насквозь промерзшего Игорька согревает на завьюженной дороге память о погибшем отце и доброе слово героя-замполита («Смерть кавалера»)... Этим светлым лучом добра пронизаны самые драматичные произведения Григора Тютюнника. Именно здесь ключ к пониманию его рассказов о военном и послевоенном детстве.

Что же касается общей тональности сборника «Завязь», то уже сразу после выхода книги один из старейших в ту пору украинских критиков и литературоведов Григорий Майфет отметил, что, «несмотря на трагизм многих ситуаций, книга лишена пессимизма, воспринимается в мажорном ключе». Свою мысль критик обосновывает на примере композиции сборника, замкнутого в кругу двух психологических рассказов «Завязь» и «В полнолуние», родственных друг другу по теме зарождения юной любви, которыми открывается и завершается сборник.

Итак, военное детство — не единственная тема первой книги Г. Тютюнника. Как ни странно, но это осознается намного позднее — столь, видимо, сильно впечатление от «военных» рассказов. Особого внимания среди «мирных» рассказов заслуживает «Чудак». Рассказ этот выделяется не только своей светлой тональностью, но и тем, что в нем автор выводит конфликтную ситуацию не из внешних обстоятельств, а из внутреннего состояния самого персонажа, его духовной сущности и мировосприятия.

Герои «военных» рассказов Г. Тютюнника — все эти несовершеннолетние Харитоны, Игорьки, Ильки — очень трудно освобождаются от черного мрака войны. Возможно, более остро, чем взрослые, ждали они ее победного конца, ведь с возвращением фронтовиков для них связывалась та счастливая и беззаботная жизнь, которая шла до войны. Но возвращались отцы — если не свои, то хоть чужие, — время уже называлось послевоенным, а груз неразрешенных проблем все так же давил на хрупкие плечи подростков. И мирное время представало перед ними уже не в таком радужном свете, как это представлялось до победы. Это были их первые еще не осознанные шаги во взрослую жизнь, полную драматизма и противоречий. Будет в ней и добро, и радость. Однако не вдруг; за них предстоит бороться один на один с суровой действительностью, а завоевав, — искать единомышленников и товарищей.

Но к этому писатель еще придет. Пока же он ищет ту чистую и первозданную человеческую душу, которая непосредственно и орга-

ничио воспринимала бы природу, людей и все окружающее. И находит ее. Олесь еще совсем малолетка, только что начал ходить в школу, а глаза у него — «черные, глубокие, как вода в тени, смотрят широко, словно хотят сразу постичь весь мир» («Чудак»). Рожденный в мирное время, он не обременен никакими тяжелыми воспоминаниями, прошлое его не тревожит. Единственное, что слегка беспокоит его, — это разговоры старших, которые считают его слишком робким, тихим и неспособным. Но зато, как же хорошо, выйдя из дому, первому ступить на нетронутый снег, чертить на нем палочкой всякие разности! Хорошо бродить по лесу, вслушиваясь в его чуткую тишину, смотреть на деревья и птиц, чувствуя при этом, что, попади они в беду, он в любой момент придет им на помощь, выручит.

Однако, любуясь заснеженным лесом, наблюдая жизнь речных обитателей, мальчик вдруг сталкивается с явной несправедливостью: зубастая щука поймала маленькую плотвичку и, как он ни просил ее отпустить, все равно проглотила. Но больше всего его поражает несправедливость среди людей, как ровесников, так и взрослых. Ребята шумной ватагой носятся по тонкому льду, а когда Олесь сказал им, что нехорошо портить молодой лед, подняли его на смех, а Федька Тойкало еще и фонарь под глазом посадил... На уроке рисования учительница велела нарисовать скучный цветочный горшок, Олесь же старательно нарисовал дятла, которого он утром видел на сосне, и получил за это двойку...

Малыш не понимает, отчего так получается, и обращается за советом к деду. И слышит такие мудрые в кавычках речи: «Прыти у тебя маловато. Все чего-то в земле копаешься. А нужно к людям поближе. Да вот так возле них, вот так... Того — локтем, того — почетом... Глядишь — и вперед вышел. А первого не опередишь, потому что не догонишь. Вот!» Все это не очень понятно Олесю, однако сердцем чует он — нет здесь добра. Когда же дед взялся учить его принципу «своя рубашка ближе к телу», внук и вовсе заплакал.

Пока еще только таким способом может он реагировать на всю эту науку. Да и как тут не заплакать, когда взрослые такие умные, а не хотят видеть окружающей их красоты, не чувствуют гармонии всего живого на земле да и сами забыли, что они — часть окружающей их природы. Сохранит ли Олесь свое отношение к миру, когда повзрослеет, не растеряет ли его, как теряет трава росу под лучами рассветного солнца? Бывает ли вообще такое?

«Бывает!» — страстно утверждает писатель и стремится, чтобы и читатель поверил в это. Ведь именно таким сохранился в памяти Харитона его отец, который в разгар сенокоса мог вдруг бросить работу и засмотреться на обыкновенную перепелку («Окружение»). Таков и Ефим Онайко, кроткий и работящий парень, который вмес-

то того, чтобы построить себе новую хату, остался жить в землянке, а на заработанные деньги купил жеребца и в лунные ночи на сопилке изливал ему свою душу («Комета»). Добрую усмешку вызывают и такие вспыльчивые, но вместе с тем до наивности доверчивые натуры, как Никон из рассказа «Хлопоты» или кузнец Кравчина («У Кравчины обедают»).

Говоря о героях Тютюнника, нельзя, конечно же, не вспомнить Василия Шукшина, который и пустил бродить по страницам современной прозы «чудиков». Творчество писателей, подобных Григору Тютюннику, порою воспринимается как продолжение шукшинской традиции, перенесенной на национальную почву. Кстати сказать, Тютюнника еще при жизни стали называть «украинским Шукшиным». Не вдаваясь в конкретные аналогии, следует сказать, что подобный взгляд отражает весьма поверхностное понимание типологии художественного творчества.

Человек, слывущий чудаком, наделенный непонятными окружающим странностями, — отнюдь не новый в литературе персонаж. Вспомним хотя бы Дон Кихота Сервантеса, а если глубже — национальный фольклор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шукшин, сильный, самостоятельный и талантливый мастер, шел тем не менее по стопам Достоевского, Лескова, Чехова (интересно и убедительно пишет об этом В. Сердюченко в статье «Надежность традиций», «Новый мир», 1980, № 9). Тютюнник же, отнюдь не чуждый русской и зарубежной классике, формировался также под воздействием своих выдающихся предшественников: Коцюбинского, Тесленко, Стефаника, Васильченко. Его чудаки, как следует из рассмотренных выше рассказов, отнюдь не повторяют шукшинских героев, которые мечутся в растерянности на перекрестке социальных и моральных проблем города и деревни (неудовлетворенное достоинство личности, которая «не умеет духовно осуществиться»,— (Л. Аннинский), — они написаны в иной, я бы сказал, более элегической манере. Наконец, ни о каком подражании не может быть речи хотя бы потому, что Шукшин и Тютюнник входили в литературу одновременно, обладая к тому времени каждый своей собственной, вполне сформировавшейся творческой индивидуальностью.

Здесь, пожалуй, более целесообразно говорить о возможности типологического исследования творчества обоих писателей. И действительно, «у обоих доминирует характер и ситуация, оба стремятся в обыденном факте разглядеть черты духовности человека» (Н. Ильницкий). А кроме того, — пусть кому-то это и покажется натяжкой,— невозможно избавиться от ощущения некой предопределенности в самих совпадениях многих моментов их жизни и творчества.

...Почти ровесники (1929 и 1931 годы рождения), росли без

отцов в пору военного лихолетья. Обоим было по четырнадцать лет, когда пришлось в поисках самостоятельного заработка покинуть родную деревню: Шукшин — слесарь, маляр, грузчик, Тютюнник — слесарь, шофер, токарь... Оба служили во флоте. После демобилизации бросились страстно наверстывать упущенное: Шукшин экстерном сдает экзамены за 8—10 классы, Тютюнник с пятиклассным образованием сразу идет в восьмой класс вечерней школы, а потом — сразу в десятый... Получив аттестат зрелости, оба немедленно приступают к осуществлению своей давней мечты: один поступает во ВГИК, другой — в Харьковский университет. Оба, хотя и не долго, учительствуют в вечерних школах. Одновременно появляются первые публикации — в 1961 году... Оба начали поздно — тридцатилетними, и оба не перешагнули порога своего пятидесятилетия...

Тютюнник перевел на украинский язык книгу рассказов Шукшина «Калина красная», посвятив его памяти свой рассказ «Ди́ко́й», но не успел произнести проникновенное, искренное слово, посвященное юбилею своего старшего брата. «Народ — главный герой всего созданного Василием Шукшиным в литературе и кино. Народ — не как безличная масса, а как совокупность неповторимых индивидуальностей. Высоких душ и ничтожных. Счастливых и несчастных. Разных...» Однако более всего их, конечно, роднило отношение к судьбе современной деревни, к тем людям, души которых были так им близки и понятны.

И хотя герои Тютюнника более мягки и элегичны, не так «ершисты», как шукшинские, они тоже страдают не только оттого, что нарушена гармония между человеком и природой. Не только от этого плачет маленький Олесь, разочарован Ефим Онайко, чувствует себя обездоленным Кравчина. Ведь далеко не всем по душе эти открытые и ласковые люди. Ведь с ними нужно общаться на их же волне, а кто на это способен? Дед Олеся или, может быть, те, кто поднимает на смех простодушного кузнеца? Или тот, кто обладает железным кодексом житейской мудрости: «Если ты умный, то, построив, к примеру, новую крепкую хату, не хвались, а лучше поплачься: «Не хата получилась — шалашик, холодно зимой, хоть собак гоняй. Кирпич, видать, недожженный (или пережженный). Черт его знает». Вырастил хорошие помидоры, говори: «Никудышние в этом году помидоры, завязалось такое — одни пупырышки». Все знают, что это вранье, однако уважают, потому что считают такого человека разумным. Хозяин! А то вот еще. Есть у тебя в загашнике деньги, а тут пришли занять, божись: «Да нет, мил человек, даже на соль, пусть меня громом побьет!» Проводи просителя из хаты да еще с порога вдогонку ему скажи: «Если бы были, так разве я что — пожалел? С дорогой душой бы...» Так переплетаются в жизни дороги чудаков и, будем называть их прямо, обывателей. И очень часто смеется над просто-

душным чудаком хитрый обыватель, над его наивно открытой душой, даже если это душа ребенка. А ведь дети, как никто, интуитивно чувствуют скрытую фальшь, откровенно не приемлют лицемерия. Особенно дети войны, на долю которых выпало не постепенное познание жизненных противоречий, а внезапное и острое столкновение с ними, чему немало помогли обыватели, мещане, способные равнодушно наступить на нежные ростки добра в детских душах, сеющие разлад даже среди самых близких людей.

Здесь сошлись и те линии творчества писателя, которыми отмечено начало его пути: став взрослыми, дети войны в основном сохранили мировосприятие чудаков, объединившись с ними в обоюдной ненависти к мещанству, от которого пострадало их детство. Григор Тютюнник вышел на главную прямую своей творческой магистрали — осмысление проблемы морального становления человека в современном мире, его прав и возможностей, его духовного возмужания.

Казалось бы, ничего особенного не кроется за этим, на первый взгляд, общим определением. Сегодня едва ли не о каждом, даже посредственном писателе нечто подобное можно прочесть в обзорных статьях. И не удивительно, ибо здесь сказывается общая тенденция нашей литературы, в развитие которой каждый вносит свою посильную лепту. Однако дистанция между умением конъюнктурно приспособиться к общему течению, влиться в него тихим ручейком и той бурной рекой, которая круто пролагает свое русло, воистину огромна. Именно последнее характерно для Тютюнника. Его поиски настойчивы и откровенны. Его стремление собственными силами, через своих героев самостоятельно решить эту проблему очевидно.

Он не боялся заново открывать уже открытое, он знал, что истина познается лишь тогда, когда выстрадал ее. Он болел душою за лишенного крыльев, согнутого судьбой простого человека: будь то бывший ударник или щедрый в прошлом хлебосол, который, выйдя на пенсию, впадает вдруг в непонятную односельчанам скупость, ибо, как выясняется, не может не вспоминать гнилую, мерзлую картошку своего далекого детства, лохмотья вместо одежды и обуви, и старику делается страшно от мысли, что все это может вернуться. Писатель переживает и за полтавского крестьянина, который в тяжелые послевоенные годы подался на заработки на Донбасс, но сейчас, стоит ему прикрыть глаза, встает перед ним родная хата, огород, слышится запах бузины и цветущей картошки («Мягкий»), и за человека, у которого даже перед женой не сходит с лица выражение покорной благодарности — не способен он даже на собственное мнение, а ведь смолоду была в нем искра божия («Нюра»)... Но больше всего Тютюнник болел за тех товарищей далекого своего детства, которые,

входя в пору зрелости, оказывались под угрозой духовного обнищания.

Ржавчина на человеческой изначальной чистоте — так воспринимал писатель мещанство. И со всей решимостью клеймил его. И не Чехов ли, которого он очень любил и у которого призывал его учиться старший брат Григорий, дал ему в руки такое меткое, без промаху разящее оружие, как ирония?.. Критика мало обращала внимания на эту черту письма Тютюнника, тем не менее владел он иронией блестяще. Красноречивое тому подтверждение — рассказы «Затмение», «Чудная история», «Поминали Маркьяна», «Сын приехал».

И действительно, разве не ощущается школа великого русского гуманиста, когда Тютюнник рассказывает о том, как хихикают от удовольствия Антон и Палашка, которые сегодня ночью должны стать настоящими собственниками: вот-вот опоросится свинья, а за продажу каждого еще не родившегося поросенка уже старательно подсчитаны деньги и что на них можно купить. Но... появился на свет единственный поросенок, да и того задушил со сна нерадивый Антон («Затмение»). Как не вспомнить унтера Пришибеева при знакомстве с Маркьяном, которого даже усопшего никто искренне не оплакал: ни дети, ни жена, ни родственники — всем казалось, что он и мертвый вдруг вскочит и, выкатив налитые кровью глаза, гаркнет свое излюбленное: «Порядок надо знать!» («Поминали Маркьяна»).

Ирония у Г. Тютюнника часто перерастает в сатиру. Блестящим примером этого является рассказ «Сын приехал». Как и в большинстве произведений Тютюнника, действие в нем развивается плавно и естественно, словно бы без всякого вмешательства автора. Описывается приезд Павла Дзякуна с женой и сыном в гости к родителям. Кажется, ничего особенного не происходит — многие с детьми и женами приезжают погостить в деревню к родичам. Разве только один штрих остановит наше внимание: Павло Дзякун прибыл на собственном «Москвиче». Гости навезли всевозможных городских подарков, жена молодого Дзякуна Рита пошла на огород и слегка пропола грядки, сам Павло наловил рыбы в пруду, а под вечер, как водится, устроили небольшую вечеринку в честь прибывших. Вот и весь рассказ. Однако внешний сюжет ничего не передает из того, что хотел сказать и сказал писатель. Именно здесь ярко проявляется двуединство объективного изображения действительности и активной позиции автора. Взять хотя бы тот же «Москвич». Идет простое описание его внешних примет: блестящая окраска, никелированные буфера, всевозможные циферблаты на приборах, покрытые ковровыми дорожками сиденья, репсовые занавески на заднем и боковых окнах... Но незаметно приходит ощущение, что от вещей нечем ды-

шать. Затем выясняется, что все эти коврики и занавески, канистры и брезент Павло приобрел еще в ту пору, когда первые детали его автомобиля «только еще отливались где-то на заводах». Итак, мечта давняя и несокрушимая. Выясняется также, что из-за «Москвича» Павло долго не женился — уже было за тридцать, знал, что семья потребует больших расходов: мебель, одежда, множество других вещей для жены — деньги и разойдутся. А он в последнее время даже в отпуск не ездил к родителям, избегая непредвиденных трат.

И вот перед нами апофеоз многолетних стремлений: «Теперь Павло имел все: квартиру, жену, машину, сына, двести рублей заработка вместе с премией, и чувствовал себя так, как ему хотелось: спокойно, уверенно и независимо». Обратите внимание на то, в каком порядке перечисляет автор «добытое» Дзякуном, все для него выстроилось в один общий ряд: вещи, деньги и самые близкие люди — жена и сын.

Кое-кто из писавших в то время о Тютюннике говорил, анализируя этот рассказ: вот, мол, смотрите, еще одна жертва меркантильности и голого расчета, этому человеку уже никогда не дано испытать счастья. Однако все дело в том, что сам Дзякун над таким сочувствием только бы посмеялся: он-то счастлив более, чем кто бы то ни был. Имеет все, о чем мечтал, живет спокойно и сыто — чего еще нужно? Разве не в том счастье, чтобы, стоя возле новенького своего автомобиля, независимо скрестив руки на груди, в новом костюме и башмаках в тон, в ответ на приветствия односельчан, отвечать им, глядя куда-то поверх их голов: «Засстe»? А разве не удовольствие смотреть на всеми уважаемого директора школы, где когда-то с грехом пополам окончил семь классов, как он возится со свиньями в сарае, а ты, меж тем, подъезжаешь к его дому на собственном новеньком «Москвиче»?.. А может быть, счастье в том, чтобы на работе начальство тебя уважало, а подчиненные боялись? Так и это есть! Дзякуна, конечно же, уважают нужные ему люди, а подчиненные опасаются, потому что «раз не послушался, а в другой — на такие наряды посажу, что в получку только расписаться придется». Женился он, правда, не на той, которую когда-то полюбил первой своей почти детской любовью. И все равно не прогадал: Рита, хоть и не прочь была раньше погулять, зато теперь ни-ни, надежнее в семье...

Тютюнник вскрыл духовную пустоту такого человеческого типа, которого, кажется, ничем не проймешь: он «законно» возьмет свое в любом положении, у него на все свой холодный взгляд и железный расчет. Даже на счастье и мораль. Однако именно эта уверенность в себе закоренелого обывателя заставила писателя задуматься над другой стороной явления. Своевременно выявить зародыш мещанства в

обыкновенном человеке, показать обстоятельства, при которых расцветает такое отношение к жизни и людям, предостеречь от этого чистые души — вот новая творческая задача Тютюнника. Вспоминается один из лучших рассказов писателя «Тысячелистник», давший название его второму сборнику. Этот рассказ неизменно включается во все последующие издания. Как было отмечено О. Никаноровой сразу же после первой публикации рассказа, во внешне спокойной и композиционно уравновешенной сюжетной структуре таится «непоказной», «тихий», но свежий и неожиданный психологический конфликт» («Дніпро», 1969, № 6).

На первый взгляд, и вправду ни о каком конфликте не может быть и речи: старый лесник Данило Коряк каждое лето с нетерпением ждет в гости из Харькова дочь и зятя, особенно последнего — хорошего, доброго, образованного человека. Живут молодые в согласии, растет у них дочка — только бы и радоваться старику. Но один разговор засел в памяти Данилы еще с первой встречи с зятем. Старик, видя, как Игорь каждое утро, едва проснувшись, хватается за книги и все что-то там вычитывает, а потом что-то чертит карандашом и все думает, думает, однажды не выдержал и спросил: «Разве ж, сынок, так отдыхают?» Потом Данило и зять беседовали мирно и с полным уважением друг к другу, однако оба ощутили, как что-то встало между ними, какое-то непонимание. В словах Игоря старику слышится некая высшая истина, которую он не способен постичь. Вспомнил он свою молодость: с фронта вернулся на погорелый двор, трудно добывал свой собственный кусок хлеба, долго вынашивая мечту о достатке в семье. Коряк с беспокойством размышляет над жизнью зятя: «Чего ему еще? Работа — лучшей не сыщешь: чистая, культурная... Одеты оба, как с иголочки... Квартира, ребенок, еды вдоволь... Разве так живут, как мы когда-то?» И захотелось ему сказать Игорю, посоветовать от души: «Ты, сынок, про всех не очень пекись, а про себя больше заботься, потому что никто о тебе не позаботится».

Вот здесь-то и возникает некий моральный акцент. Разумеется, Данило Коряк не обыватель. Он скупо, по-крестьянски любит зеленый мир лесов, лугов, озер, щедр на доброе слово, с нежностью вспоминает свою юную любовь к Польке, с которой душа в душу прожил вот уже не один десяток лет. Но тем не менее собственные невзгоды привели его к мысли, которую так часто можно услышать ныне от пожилых людей: «Пускай хоть наши дети не знают тех трудностей, что выпали на нашу долю, пусть поживут в достатке!» И все начинает постепенно «подверстываться» под это убеждение: модная одежда, со вкусом обставленная квартира, сытная еда становятся целью существования, а чтобы как-то оправдать все это перед самим собой, невольно вырабатывается соответствующая философия «обо

всех не очень беспокойся...» Не удивительно, что молодыми такого рода советы воспринимаются уже как правило, возникает потребность иметь больше, чем позволяют возможности, для этого выискиваются сверхсредства, приносится в жертву все, что не «блестит». Откуда же взяться искренней любви к природе, земле, людям?

Данило Коряк не собирался настраивать свою дочь на обывательское существование, как это было в семье Дзякунов. Это почувствовал Игорь и старается разбудить сознание старика, заставить его посмотреть на все иными глазами. И пусть это действительно «тихий» конфликт, однако Данило уже не сможет жить по-прежнему. Недаром он, хоть и собирался вначале, так и не сказал зятю о том, что нужно прежде подумать о себе, а уж потом заботиться о других. Что-то остановило старика...

Если в рассказе «Тысячелистник» писатель еще прибегает, условно говоря, к публицистическому воздействию на читателя, то гораздо более тонко он решает подобную проблему в рассказе «Отдавали Катрю». Деревенская девушка, дочь хуторского «лавочника», полгода работавшая буфетчицей на Донбассе, выходит замуж за городского инженера. Однако возникает ситуация, обратная предыдущей: муж Катри, приехавший на собственную свадьбу к родителям молодой жены, свысока относится к хуторянам. Не признавая местных обычаев, свадебный обряд он называет комедией, а захмелевших шутников и плясунов — язычниками. Все ему здесь чуждо, и единственное, чем он успокаивает себя, это то, что скоро, усадив молодую жену в казенную «Волгу», уедет отсюда.

Соответственна и реакция на него односельчан Катри, глазами которых мы видим героя: лет двадцати восьми, с невзрачным чубчиком, с изнеженным, бледным лицом. «Как будто для укола», подставил он руку, когда повязывали ее свадебным платком; часто морщится, ни с кем не разговаривает... Одним словом, полностью соответствует тому, что едко сказал о нем один из местных остряков: «Такое пфе только газеты читает да телевизор смотрит».

Итак, противоречие между городским интеллигентом и обитателями сельской глубинки очевидно. К сожалению, некоторые критики так и не поняли самой сути этого рассказа, не дали себе труда пойти дальше первого впечатления, забыв о том, что главный принцип рассказа предполагает непрямое выражение идеи, уходящей в подтекст. На автора посыпались упреки в апологетике патриархальности, непонимании позитивных процессов научно-технической революции, незнании «настоящей жизни города и деревни», «реальных стремлений и забот типичного современного советского человека...».

А между тем писатель хорошо понимал положительную сторону технического прогресса в деревне, и это подтверждается не одним

рассказом, написанным до и после разбираемого. И не столь уж важно, где начинали прорастать корни духовной ограниченности и мещанства — в городе или деревне, — главное состояло в том, чтобы выявить их своевременно в человеке, уберечь его от духовной деградации. Именно таков пафос «Тысячелистника» и еще больше — рассказа «Отдавали Катрю». Ведь не только «истинно» городской избранник деревенской девушки, но и его товарищ, вчерашний деревенский парень родом из Винницкой области, свысока смотрит на деревенских жителей, уверяя всех, что в деревне жили только его предки. Для Тютюнника очень важно подчеркнуть, что к мещанству тяготеют прежде всего те, кто не способен уважать свою «малую родину».

Писатель отнюдь не идеализирует и хуторской люд. Колоритно изображает он веселящихся на свадьбе. Достаточно вспомнить Омельковича с его «юридическими» речами, неутомимого плясуна Луку Ильковича или «известного всему сельсовету вруна» Самойло Шкурпелу, который самого Гитлера арестовывал в Берлине... Под пьяную руку они могут, припомнив свои давние обиды, выложить их при всем честном народе самому хозяину дома, отпустить ехидную реплику в адрес приезжих, возобновить давнюю ссору с соседом.

Тютюнник готов отстаивать каждого человека, которого еще можно вызволить из сетей мещанства. Ибо мещанство — это не только духовная деградация отдельной личности, но и замутненные души всех тех, кто непосредственно с ним соприкасается. Сегодняшнему обывателю мало ощущать себя выше «непрактичной массы», он стремится посеять в этой массе свои убеждения. Обыватель расцветает от удовольствия, когда слышит такие речи:

«— Кто это?

— Да Павло Дзякунов, не узнали, что ли?

— Иш ты, каким козырем стал.

— Денежный, поди, черт рыжий!» («Сын приехал»).

В силу своего крайне пренебрежительного отношения к людям обыватель способен не только умышленно унизить заслуженного и скромного человека даже в тяжелой для него ситуации («Чудна́я история»), но и напрочь забыть о своей старой одинокой и больной матери («Уточка»), извлечь выгоду даже из болезни сына («Винт»); мало того, он не пожалеет сил, чтобы воспитать себе достойных преемников и единомышленников («Чудак»)... Тупая целенаправленность обывателя порою способна парализовать окружающих, а это, в свою очередь, подогревает его уверенность в собственной непогрешимости и безнаказанности. Но всему приходит конец. Герои Тютюнника, осознав социальный вред мещанства, проникнув в его истоки, приходят к за-

кономерному выводу: добро нужно не скрывать, а защищать, решительно бороться за него. Добро должно быть мужественным!

К этой истине не столь уж прямой и легкий путь. Детский протест против человеческой черствости писатель отразил еще в одном из первых своих рассказов («В сумерках»). Но то был эмоциональный порыв юного сердца, а не продуманное действие взрослого человека. Именно на такое действие отваживается герой рассказа «Холодная мята», в недавнем прошлом морской офицер, который после службы во флоте возвращается в родное село и становится трактористом. Здесь-то он и почувствовал, как сразу переменились к нему жена Клава и теща — стали будто чужие. Не могли они простить ему такого чудовищного падения: вместо блестящего офицерского обмундирования — кирзовые сапоги, грязная спецовка, запах солярки...

Пастельные тона рассказа как бы не очень вяжутся с программой борьбы за мужество добра. Но, тем не менее, это борьба. За право переоценки ценностей, за право отстаивать свою духовную сущность, бросив вызов мещанской затхлости.

Эту проблему ставит Тютюнник в повести «День мой субботний». Недавний выпускник исторического факультета Микола Порубай, получивший, казалось бы, удачное назначение не в сельскую школу, а референтом в Общество охраны памятников культуры в Киеве, начинает всерьез задумываться над тем, что есть истинное счастье. И в какой-то момент ему открывается, что он отнюдь не может считать себя счастливым сейчас, когда пишет казенные ответы на письма из районов и областей, когда иронизирует по поводу ограниченности и демагогии директора Общества, когда, наконец, с помощью взятки ему удалось без ордера и прописки заполучить квартиру...

Счастье, как выясняется, приходит к человеку помимо конкретных материальных условий — «он не выдумывает его себе сам, не рвется к нему из последних сил, а наслаждается им, как воздухом и водой». Для Порубая самым счастливым временем оказываются дни детства, когда он, еще несмышленый подросток, после окончания войны работал на колхозной ферме, готовил свиньям еду, кормил их, а после работы украдкой приносил матери и старенькой соседке припрятанную в карманах горячую картошку: «греешь об нее руки — и уже счастлив теплом». И он был счастлив. Трудно жилось в те далекие годы, но он был внутренне свободен, следовал порывам своей души, чего, к сожалению, он не может сказать о себе сегодняшнем, хотя и осуществилась наконец его заветная мечта — «стать образованным человеком».

Герой повести остро переживает свое моральное падение, презирает себя за отступничество, ненавидит свое так называемое благоно-

лучие. Почти физически ощущая, до какой степени все это «унизительно, несовместимо с человеческим достоинством», решается он на рискованный шаг навстречу настоящей жизни. Будущее предстает перед ним пока еще в романтическом свете: снимет комнату в деревне у какой-нибудь старенькой бабуси, будет помогать ей таскать воду и рубить дрова, а вечерами готовиться к урокам и читать «Жизнеописание» Плутарха...

Прямые и резкие столкновения с мещанством есть и в рассказах позднего Тютюнника. Но это уже не просто взрыв детской ненависти, как в «Окружении» или «Обновке», а нынешнее стремление воздать обывателю по заслугам, хотя для этого порою приходится ждать, пока сравняешься с ним силой («На перекате», «Дико́й»). В этих рассказах мы видим процесс внутреннего возмужания героев, когда в них растет уверенность в правильности своей позиции, когда они начинают четко осознавать свое моральное превосходство, и это помогает им бороться за правду. А в одном из последних рассказов («Грамотный») с большой убедительностью показано противостояние обывательщине уже не один на один, а коллективное — всем обществом.

Хочется обратить внимание на тот факт, что в самых последних своих повестях «Климко» (1976) и «Огонек далеко в степи» (1979) Тютюнник как бы возвращается снова к теме военного и послевоенного детства. И действительно, герой одноименной повести Климко скитается по оккупированному фашистами Донбассу (вспомним Харитона из «Осады»), а повесть «Огонек далеко в степи» о деревенских подростках, попавших в ремесленное училище, словно бы выросла из рассказа «Смерть кавалера». Однако суть не в сюжетном сходстве.

Григор Тютюнник, как мне представляется, намеренно возвращается к истокам своего творчества. Не для того, конечно, чтобы, взглянув на прошлое с большей временной дистанции, как-то его переосмыслить. Сравнивая повести «Окружение» и «Климко», видим, что последняя написана отнюдь не с меньшим драматическим напряжением. Суть, пожалуй, в том, что теперь, когда не только познание людей и окружающего руководит писателем, но и стремление активно отстаивать добро как условие полноценной жизни человека, он решает обратиться к истокам, снова «пройтись» по тем давним дорогам. Это не повторный круг — это новый виток творческой эволюции писателя. Судите сами.

«Улыбающийся, молчаливый и синеглазый» Климко младше Харитона, однако цель его путешествия, так сказать, более высока — он тайно пробирается в неведомый Славянск, где, как он слышал, можно легко раздобыть соль. Соль же нужна не столько ему и его неразлучному другу Зульфату, сколько необходима учительнице

Наталье Николаевне, которая с грудным ребенком на руках осталась в оккупированном селе без всяких средств к существованию.

В этом поступке раскрываются все особенности характера подростка, который складывался под благотворным влиянием дяди-машиниста и его товарищей-железнодорожников, под воздействием школы, где такие учителя, как Наталья Николаевна, сумели привить ему любовь к родной земле, народу и простому человеку. Добро вошло в плоть и кровь маленького Климка, определив раз и навсегда его моральное кредо, от которого он не отступился даже тогда, когда пришлось заплатить за него жизнью.

Повесть «Огонек далеко в степи» воспринимается как своеобразное продолжение предыдущей. И хотя речь идет о послевоенном времени, герой-рассказчик — это словно бы воскресший и повзрослевший Климко: та же душевная ранимость, бескомпромиссность, готовность взять на свои слабые мальчишеские плечи заботу о ближнем.

Каждый день девять километров в один конец — от села до районного городка — и обратно меряет Павло и три его товарища, три Василя. Шагая по этой дороге в распутицу и зимнюю стужу, они вступали во взрослую жизнь. Много чего случалось в пути — шло испытание не только голодом и холодом — проверялась крепость мальчишеской дружбы, надежность первой, еще несмелой любви. Но самым главным испытанием было испытание на честь и совесть. И далеко не всякий его выдерживал. В этом Павло убедился, едва не поплатившись, как Климко, жизнью.

В ремесленном училище узнал Павло настоящую дружбу, увидел, что товарищ способен отдать другу последний кусок хлеба, защитить его даже от взрослого обидчика. Пример тому — детдомовцы, которые сумели отомстить шоферу полуторатонки, пытавшемуся покалечить маленького «реушника».

И шофер (недаром мальчишки прозвали его Фрицем), и живодер-спекулянт из повести «Климко» — не случайные персонажи. Делая акцент на активной борьбе за добро, на необходимости мужественно его отстаивать, писатель не идеализирует реальную действительность, где существуют и подлость, и мещанство. Не так легко сдают они свои позиции. Борьба продолжается. И с каждым днем растут ряды мужественных защитников добра, среди которых одним из первых можно назвать Григора Тютюнника, с честью оправдавшего свое высокое звание художника и человека.

В. МЕЛЬНИК

Перевод с украинского Е. УМАНСКОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Григор ТЮТЮННИК

ХОЛОДНАЯ МЯТА

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1981, 384 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **С. Розенберг**

Сдано в набор 16/XII-80 г. Подписано в печать 12/III-81 г.
Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Латинская».
Печать высокая. Печ. л. 12,00. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,88.
Зак. 4200. Тираж 235.000 экз.

Цена 1 руб. 60 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий
Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1981 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Бакунц. Альпийская фиалка. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

Я. Брыль. Стежки, дороги, простор. Повести. Рассказы. Перевод с белорусского.

В. Гейдеко. Горожане. Роман. Рассказы.

П. Загребельный. Евпраксия. Первомост. Романы. Перевод с украинского.

П. Кадыров. Звездные ночи. Роман. Перевод с узбекского.

А. Личутин. Повести.

П. Нилин. Знакомство с Тишковым. Повести.

В. Орлов. Гамаюн.

Молдавские повести.

А. Рыбаков. Тяжелый песок. Роман.

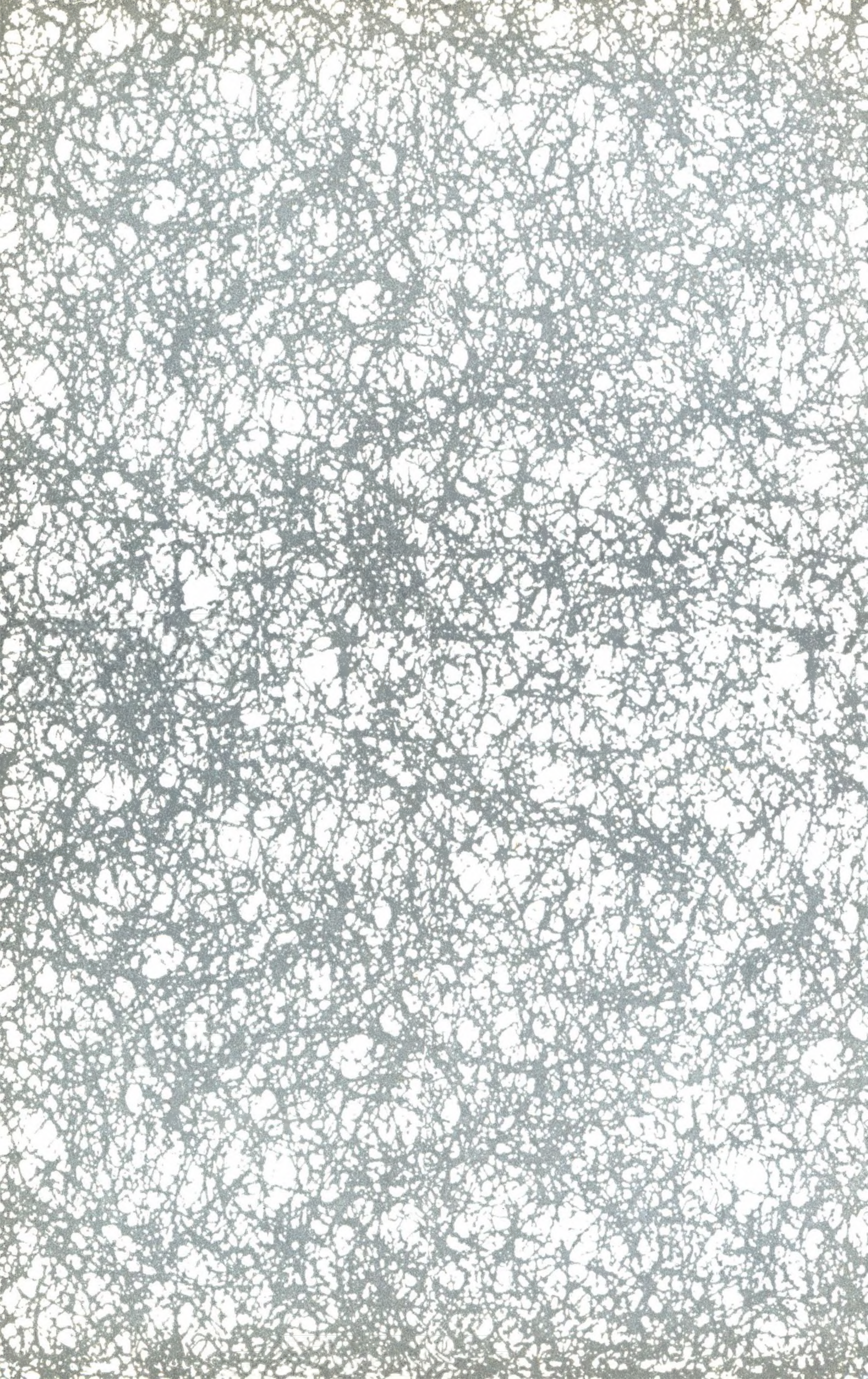
К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том I.

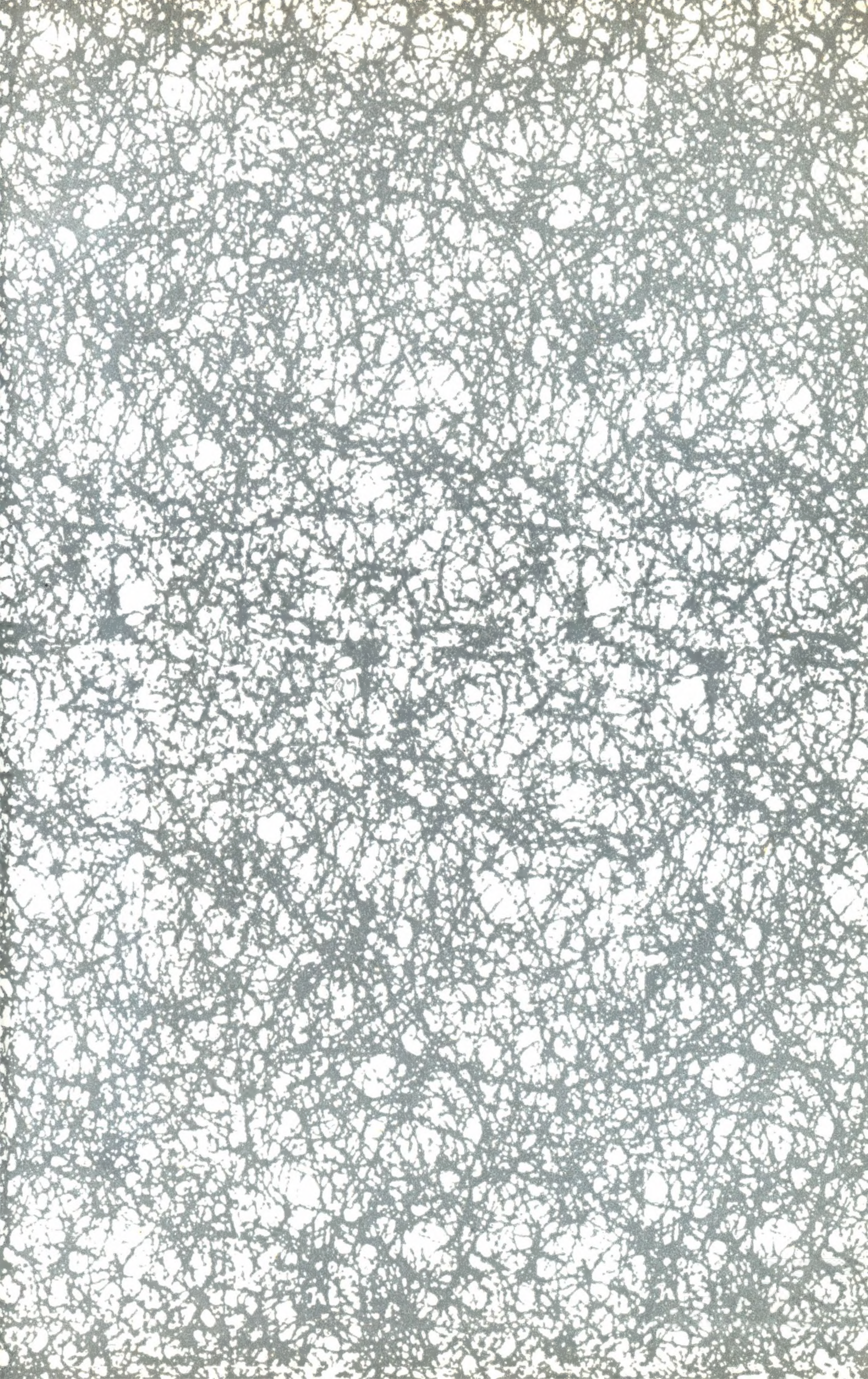
К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том II.

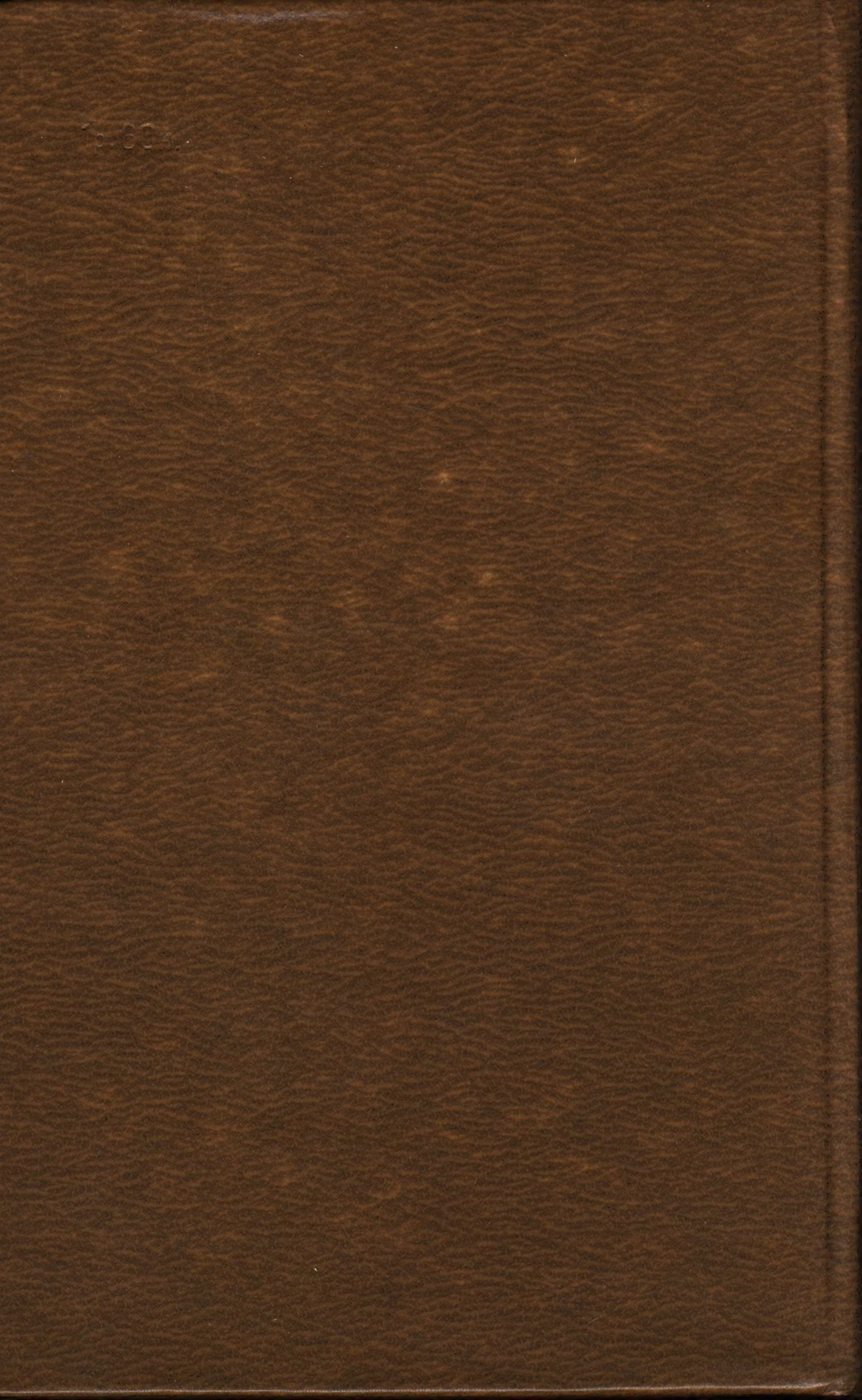
Г. Тютюнник. Холодная мята. Повесть. Рассказы. Перевод с украинского.

И. Чигринов. Плач перепелки. Оправдание крови. Романы. Перевод с белорусского.

Эльчин. Смоковница. Повести. Рассказы. Перевод с азербайджанского.








Г. ТЮТЮННИК